6.1978

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Цветные иллюстрации номера —
работы конголезского художника Эжена Малонги

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1978

6 ИЮНЬ

Содержание

КОРНЕЛЬ ФИЛИПОВИЧ — Рассказы *(Перевод с польского К. Старосельской. Вступление Ярослава Ивашкевича)* 3

АНТАЛ ГИДАШ — Стихи *(Переводы с венгерского Леонида Мартынова, Н. Горской)* 33

АЛЬФРЕД АНДЕРШ — Винтерспельт *(Роман. Окончание. Перевод с немецкого И. Млечиной)* 40

Критика

РАДКО ПЫТЛИК — У истоков социалистического реализма в литературе Чехословакии *(Вступление и перевод с чешского Р. Филипчиковой)* 205

Литературные портреты

ЭЛЬВИО РОМЕРО — Розы в броне Рауля Гонсалеса Туньона *(Перевод с испанского Павла Грушко)* 211

Культура и современность

Заметки на полях

Михаил Курганцев — «Лотос»: писатели Азии, Африки и Октябрь. Т. Миронова — Веха в жизни чехословацкой литературы 219

Публицистика

ЛЕВ ГИНЗБУРГ — Гёттингенский семинар 226

ЮРИЙ ТРИФОНОВ — Интервью о контактах 243

Антирубрика

ДЖЕЙМС ПАТРИК ДОНЛИВИ — Кодекс без изъятий и сокращений. Полный свод правил выживания и поведения в обществе *(Перевод с английского Сергея Белова)* 252

АКИЛЛЕ КАМПАНИЛЕ — Рассказы *(Перевод с итальянского Николая Живаго)* 257

Наши гости

С. ФАДЕЕВ — Андраш Фодор, Миклош Верешш, Ференц Можи (Венгрия) 261

Среди книг

Издано в СССР

Б. Николаев — Марио Бенедетти в Советском Союзе ✦ Иоаким Бэр — О. Генри из Гринсборо ✦ А. Тишков — Старинные повести о счастливых и несчастных влюбленных... 263

Издано за рубежом

В. Фурника — Открытое сердце Джеякантана ✦ Н. Павлова — Несчастная жизнь без желаний 269

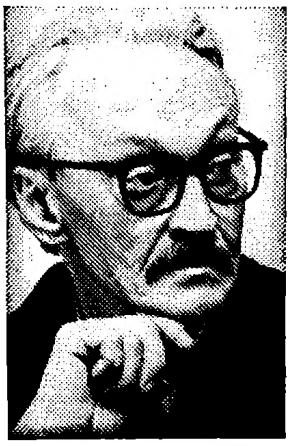
Из месяца в месяц 274

Авторы этого номера 286

На обложке: картина конголезского художника ЭЖЕНА МАЛОНГИ.

На стр. 204, 210, 218, 225, 251 воспроизведены графические работы польского художника ТАДЕУША КУЛИСЕВИЧА.

© «Иностранная литература», 1978.



КОРНЕЛЬ ФИЛИПОВИЧ

Рассказы

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Самый прекрасный период в жизни писателя начинается с той минуты, когда с него спадает вся шелуха, все аксессуары, все маски и искусственные украшения и остается чистая жизненная материя. Даже если эта материя оказывается не самого высокого — на первый взгляд — качества, каждое произведение этого автора будет ясным и выразительным, волнующим и человечным.

Обычно такой большой внутренней простоты писатель достигает после долгой борьбы, страданий и переживаний.

Корнель Филипович с давних пор известен нам как спокойный рассказчик, идущий своим путем и не особенно прислушивающийся к тому, что о нем говорят. Да к тому же редко кто и высказывался о нем. Мало внимания уделено его творчеству в хрестоматиях, мало сказано о нем и в учебниках. А по-моему, это один из самых чистых, самых выдающихся наших прозаиков, который свою безыскусственность довел до виртуозности. Для Филиповича характерна скромность красок, кажущаяся блеклость цветовой гаммы. Однако художникам хорошо известно, сколько красок можно извлечь из серенькой с виду палитры, какое огромное множество оттенков заключено между черным и белым. Именно столько оттенков, столько смысла, столько гуманистического звучания скрыто в коротких, неброских, почти совсем лишенных драматичного диалога рассказах Филиповича.

Последний сборник Филиповича, выпущенный краковским издательством «Выдавництво литерацке», озаглавлен по одной из вошедших в него новелл — «Кот в мокрой траве». Есть там несколько спокойных небольших рассказов, которые смело можно отнести к числу шедевров польской современной прозы. Рассказ Филиповича о собаке и рассказ о коте — поразительные достижения краковского прозаика.

Рассказ о коте — верх совершенства по наблюдательности, знанию жизни, а вместе с тем и «философии животных». «Философия животных» — наука особого рода, которую мы постигаем путем общения с нашими младшими, а по существу старшими, братьями. Таким знанием нельзя пренебрегать. «Мардер (герой рассказа),— говорит Филипович,— не сделан рукой человека, не выструган из дерева и не высечен из камня. На земле, под небом, среди растений и животных он лишь одна из частиц, составляющих мир (а может, и вселенную?), разве что более сгущенная, своеобразная и в высшей степени самостоятельная; именно это и есть существование Мардера. Но известно ли что-нибудь об этом коту Мардеру?»

Великолепный конец рассказа — доказательство тому, что и бессмысленно глазеющий на экран телевизора папаша, и его чересчур самоуверенный сынок знают о мире лишь немногим больше кота. Да, как же прекрасен этот конец!

Рассказ о собаке — это, собственно, рассказ о человеческом одиночестве. Но сколько в нем точных наблюдений, касающихся и животных, и людей. Собачьи игры и проказы и «собачья преданность» подвергнуты внимательному анализу и при этом чрезвычайно образно описаны. Картина метаморфозы безобразной старой собачонки (после ее смерти) в верного друга и неземное существо — своего рода шедевр. Нечто вроде «Простого сердца» Флобера, где попугай старой служанки превращается в святого духа. Такое родство, как мне кажется, весьма лестно для Филиповича — тем самым по справедливости воздается должное его недооцененному писательскому мастерству.

Новелла о собаке и новелла о коте — не единственные в сборнике. Внимание привлекает и потрясающий рассказ «Машина, полная хлеба», и сцены из семейной жизни, сотканные из тонких подтекстов, и великолепно, с необыкновенной легкостью и, если б не печальная тема, я бы даже сказал благозвучностью, написанный рассказ «Все, что можно иметь» Этот рассказ, гладким стилем повествующий об очень красивых и приятных вещах, создает ощущение кошмара: нужно быть очень умелым мастером, чтобы написать нечто подобное.

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

Редкая бабочка

Было осеннее тихое солнечное утро. Ветра не чувствовалось, но, когда я раскрыл двери и окна, прохладный, плывущий с затененной стороны дома воздух стал гулять по квартире. Окна моей комнаты, однако, выходили на юг, солнце грело, в комнате было тепло. Я листал какую-то книгу, поджидая, пока вся квартира наполнится чистым воздухом: потом я собирался закрыть двери и окна и сесть за работу. Оторвавшись от книги и ни о чем ни думая, я смотрел прямо перед собой. Так я видел все, в то же время не видя ничего, впрочем, мне и не требовалось ничего видеть, поскольку за долгие годы в моей комнате не произошло почти никаких перемен. Мебель и другие предметы не сдвинулись ни на сантиметр, ни одной вещи не убыло, а добавилось немногое.

И вдруг на углу пустого стола, самое большее в полутора метрах от себя, я увидел живое существо, которого не видел очень давно, а на таком близком расстоянии, пожалуй, никогда. Это была бабочка, подалирий. Когда полвека назад эта необычная и редкая бабочка попадалась мне на глаза, я испытывал чувства, которые бессилен с чем-либо сравнить. От одного ее вида у меня просто дух захватывало. Как же мне тогда хотелось ее поймать — настичь, накрыть, трепещущую, сачком, подержать в руке, а потом, ну конечно же, потом усыпить хлороформом, распялить прекрасные крылья на дощечке, проколоть ее булавкой, поместить в свою коллекцию! Часто смотреть на нее! Я так мечтал поймать эту бабочку, что в те мгновенья, когда она, прилетев из далеких краев, присаживалась на долю секунды на цветок, на камень, на ствол дерева, все иное переставало существовать. Не было времени, мира, дома, семьи, школы. Ничего. Даже о своем существовании я забывал.

И вот сейчас, в одно прекрасное утро в начале октября 1975 года, эта редкостная бабочка прилетела ко мне из дальней дали и села совсем близко, почти рядом. У меня не было никаких сомнений, что это она. Да, это была она, путешественница, неутомимая странница, чей полет стремителен и точен, как полет птицы. Не какая-нибудь хилая и заурядная бабочка из числа тех, с которыми ветер играет словно с опавшими листьями И не из тех, слабеньких и глупых, которые, не помня, откуда взялись, не стремятся никуда возвратиться, живут минутой и местом, в котором случайно оказались. Подалирий же совершал далекие путешествия, зная, куда летит и зачем. Эта бабочка преимущественно парила на больших высотах, однако порой, повинуясь какому-то воспоминанию или повелению или, быть может, чтобы передохнуть и отдышаться, прерывала полет, складывала крылья и медленно, мягко покачиваясь, плавно опускалась на белый, одуряюще пахнущий цветок дикой сирени, на куст терновника, на сырой берег ручья, на сухую тропинку, по которой я как раз шел. То были минуты, когда она на миг попадала в поле моего зрения — но тут же срывалась с места и улетала. Ее нервная торопливость, казалось, говорила о том, что передо мной не обычная бабочка, а тайный

посланец, спешащий с приказом от кого-то великого — бога, солнца, короля? Она была осторожна, чутка и пуглива, но не из трусости: она знала, что доверенная ей тайна не должна попасть в чужие руки. В то время когда мне было лет десять или двенадцать, я не понимал, что, охотясь за ней, лишая ее свободы и жизни, могу стать причиной разрыва каких-то очень важных нитей, связывающих деяния и предметы нашего мира: холмы, долины, скалы, цветы, небо, землю, воздух, воду, ночь и день. А может быть, кое-что я все-таки понимал, только моя жажда обладания была сильнее, чем боязнь, как бы не случилось чего-нибудь плохого? В ту пору весь свет мог перевернуться, могли пересохнуть реки и завянуть все цветы — но эта прекрасная и редкая бабочка должна была принадлежать мне!

И вот сейчас она была очень близко от меня, в моей комнате. Двигалась неторопливо по краю стола, раскрывая и складывая свои чудесные крылья. Их материал был наивысшего качества, свежесть красок бесподобна. Безукоризненный покрой, безупречная элегантность. Детали отделаны столь тщательно, будто подалирию назначалось существовать вечно. Вот бабочка сложила крылья, притушила на секунду ослепительное сверкание красок, сняла напряжение контрастов желтого, черного, синего, красного, застыла в неподвижности. Теперь она казалась серенькой, невзрачной. Должно быть, дальнее путешествие ее утомило. Она отдыхала. Я тоже сидел не шевелясь и смотрел на нее, продолжалось это долго. Я мог в любую минуту, когда б ни захотел, сделать шаг в сторону окна, захлопнуть его, пленить бабочку, достаточно было лишь предупредить ее движение. Почему я не вскочил, не захлопнул окно? Почему? Пятьдесят лет назад я бы это уже давно сделал. А сейчас, чем дольше я тянул, тем меньше у меня оставалось надежды на успех. А ведь я знал, что второй раз в жизни такое не произойдет, что это — чудо, которое больше не повторится. Бабочка шевельнула крыльями, расправила их — и я снова увидел желтую бархатную поверхность, покрытую мозаикой черных продолговатых пятнышек и, точно драгоценностями, украшенную красными и голубыми крапинками. Увидел еще раз идеальное целое, законченное двумя похожими на ласточкин хвост острыми выростами, которые, казалось, говорили: вот завершение формы, которое не может быть другим, поскольку всякое другое было бы хуже. Еще мог восхищаться ее легкостью, изысканностью, обаянием, силой. И тем, что описать невозможно: особенностью, исключительностью этого существа как явления.

А подалирий все не улетал. Складывая и расправляя крылья, он медленно шествовал на своих белых мохнатых лапках по деревянной столешнице. Если еще не было слишком поздно, то уж наверняка это была последняя возможность его схватить, последняя, совсем короткая доля минуты, когда я мог бы это сделать. Но я этого не сделал. Потому что хотя и был по-прежнему тем самым существом, пятьдесят лет назад охотившимся за необыкновенной бабочкой, но чувства мои стали иными, иного качества. Я все еще был в достаточной мере мальчиком, который очень хорошо видит и кое-что чувствует, но был уже и тем, кто не сделает ничего, чтобы завладеть предметом своего восхищения. Ибо я был стар и даже самые сильные мои страсти постепенно сменялись бескорыстием и равнодушием — тем, с чем я и умру. Однако мне было немного грустно, и грусть эта имела какой-то неприятный, терпкий и горький привкус, словно меня обуяла тоска по ком-то, кого во мне уже не было. Хотя я еще видел бабочку, еще мог оценить ее красоту и необычайность — от нее уже не исходило то волшебное очарование, которое некогда преисполняло меня злым, жестоким, требующим немедленного удовлетворения желанием. А

подалирий в ту минуту, когда я еще видел его и думал о нем, вдруг — хотя это не было для меня неожиданностью — взлетел, описал дугу в воздухе и исчез. Исчез, перестал существовать, подобно тому как внезапно обрывается мысль, как стирается образ и затихает звук. Остался пустой угол стола. Стены. Дверь. Окна.

Все, что можно иметь

Право, не знаю, отчего моему отцу так не по душе была моя дружба с Анджеем. Ведь Анджей был хорошо воспитан, очень неглуп, располагал к себе. Никто о нем худого слова не мог сказать. Не слышно было, чтобы он участвовал в студенческих дебошах или позволял себе какие-нибудь дурацкие выходки. И никто никогда не видел, чтоб он пробирался тайком в ресторан — поиграть на бильярде и выпить пива — либо прикладывался украдкой где-нибудь, скажем на скамейке в парке или даже в подворотне, к бутылке с водкой. Его отношения с девочками не выходили за пределы товарищеских, то есть ограничивались невинной дружбой, прогулками, шутками. Все в открытую, на глазах у всех, у нас и наших родителей.

Учился он хорошо, но, как говорится, неровно. Мог, например, по математике или химии нахватать, одну за другой, двоек — и вдруг блеснуть ответом, который приводил в изумление и класс, и учителя. Он вообще хорошо разбирался в разных областях, однако наши учителя это недооценивали. Анджей свободно говорил по-немецки и по-французски, но за классные работы частенько получал плохие отметки. И хотя знал больше нас, его знания учителям представлялись ненужными для школьной программы. Думаю, впрочем, что именно наши знания — те, которые мы с великим трудом и неохотой приобретали в школе,— оказались совершенно бесполезны в большом мире, то есть в настоящей жизни. Так, по крайней мере, я полагал тогда.

Чтобы Анджей дышал «чистым воздухом», его отдали в нашу провинциальную гимназию и сняли частную квартиру с пансионом, но каждую неделю, в субботу днем, голубой «мерседес» его отца ждал возвращения Анджея из школы в узкой улочке, напротив дома одной офицерской вдовы, у которой Анджей жил, и отвозил его на два дня к родителям. Очень часто летом либо в погожий зимний день Анджей приглашал меня покататься в автомобиле; иной раз из таких поездок я возвращался лишь в воскресенье. Мне было уже пятнадцать лет, я учился в пятом классе гимназии и считал себя почти взрослым. Поскольку окна нашей столовой и комнаты моего отца выходили на улицу, а отец имел обыкновение после обеда выкуривать у открытого окна сигарету, чаще всего он первым замечал стоящий перед нашим домом автомобиль.

— Приехал твой товарищ,— говорил отец, поворачивая голову.

— Да? — удивлялся я, хотя знал, что он приедет, мы условились еще в школе. Потом я выглядывал в окно и видел автомобиль Анджея. Машина была открытая, с откинутым верхом, я видел ее удобное, выстланное темно-красной кожей нутро. За рулем сидел шофер в синей фуражке. Анджей на заднем сиденье казался маленьким мальчиком, хотя был почти одного роста со мной. Он смотрел вверх, на лице его появлялась улыбка, которая мне очень нравилась. Вообще лицо у него было приятное — умное и открытое, в глазах ни тени коварства. Анджей не таил никаких дурных мыслей, никаких лукавых намерений. И никогда ничего у меня не выманивал. Ничего от меня не хотел. Он вообще был добрый и бескорыстный. Почему же тогда мой отец противился нашей дружбе? Мать была другого мнения.

Однажды я даже услышал случайно разговор моих родителей относительно Анджея:

Отец: Это не самое лучшее общество для нашего сына.

Мать: Не понимаю, чего ты от него хочешь? Мальчик хорошо, даже очень хорошо воспитан, вежлив, неплохо учится.

Отец: Не в этом дело.

Мать: А в чем? Наверно, опять в политике?

Отец: И даже не в политике.

Мать: Тогда почему же?

Отец: Не люблю молодых людей, которые уже сейчас имеют все, что только можно иметь в жизни.

Вот что, оказывается, не нравилось моему отцу! Я был не так глуп и, кажется, тогда уже понимал причину его неприязни к Анджею. Просто у моего отца не было таких доходов, как у отца Анджея, и он не мог купить всего того, что мне хотелось иметь. Например, мне был нужен новый приличный велосипед. Или очень бы пригодился легкий бельгийский штуцер вместо старой спортивной винтовки с граненым стволом, стертой нарезкой и разболтавшимся затвором. Мои тяжелые, ясеневые, сделанные деревенским столяром лыжи годились разве только на растопку. Что касается меня, то ради этих вещей я готов был отказаться от новых костюмов, ботинок и даже учебников. К сожалению, отец придерживался иного мнения, а на то и на другое денег у него, видно, не было.

Всякий раз повторялась примерно одна и та же сцена: я спускался вниз, потом возвращался наверх и сообщал, что Анджей пригласил меня к себе на субботу и воскресенье и что на понедельник нам ничего не задано или я уже все сделал. Отец откашливался, смотрел на меня, потом на мать и спрашивал: когда мы вернемся? Я говорил, что в воскресенье днем, совал пижаму и зубную щетку в портфель, выложив оттуда тетради и книги, и спускался вниз. Шофер выходил, козырял (я заметил, что перед Анджеем он снимает фуражку, для меня же только прикладывал два пальца к козырьку), открывал дверцу с правой стороны, я садился, шофер закрывал за мной дверцу. Отец мой никогда не смотрел, как мы уезжаем, зато мать, высунувшись из окна, посылала мне воздушный поцелуй. Анджей кланялся, мы трогались с места. (Я всегда боялся, как бы именно в этот момент не закапризничал мотор, но такого ни разу не случилось.) И вот мы уже едем и очень быстро отдаляемся от дома.

Мы проезжали по главной улице, и кое-кто из прохожих оборачивался нам вслед. Те, что нас знали, говорили: глядите-ка, ну и ну, едет вместе с Анджеем, у которого отец один из ста самых богатых людей в Польше. Поразительно было не то, что Анджей едет в автомобиле своего богатого отца — это, в общем, естественно,— а то, что я еду вместе с Анджеем. Существовал, правда, в городе один человек, с которым мне бы не хотелось в ту минуту встретиться: некий депутат сейма. Однако в такое время дня в городе его видели редко. Он сидел в комитете своей партии или в рабочем кооперативном магазине, где никто ничего не покупал: хотя цены там были ниже, чем везде, но, как утверждала моя бабушка, чай отдавал корицей, а мука — селедками. Миновав центр, мы выезжали на шоссе. Анджей говорил:

— Ну, теперь можем спокойно закурить. От преследователей мы оторвались.

Он доставал портсигар, угощал меня. Шофер, словно только того и ждал, протягивал через плечо раскаленную докрасна зажигалку. Я закуривал, подавал огонь Анджею. Нажимал кнопочку, выдвигалась пепельница. В первый раз, когда я бился с пепельницей, не зная, каким образом ее открыть, Анджей показал мне, как это делается. Он

не стал надо мной смеяться. Вышло у него это очень красиво и естественно. Просто. Итак, мы едем, шоссе пересекает леса, поля, луга, потом снова леса, мы проносимся мимо домов, деревьев, мостиков. Через дорогу перебегает заяц, кошка, собака. Женщина, работающая в поле, едва успевает поднять голову, а нас уже и след простыл. Дорогу, по которой я столько раз шагал, возвращаясь из леса или с рыбалки, столько раз плелся потный, усталый и голодный, теперь мы одолеваем в мгновение ока. Иногда мне становится жаль, что я не могу задержаться, постоять и посмотреть, подойти и взять в руки то, что привлекло мое внимание, но у меня нет времени даже на сожаление, поскольку все это уже исчезло и в следующую долю секунды я вижу нечто новое, иное; однако, прежде чем я успеваю хотя бы задуматься, и это новое уже рассеивается в воздухе. Так что я ничего не могу рассмотреть вблизи, но зато вижу, недолго, правда, и издалека, множество новых вещей, а впереди все новые и новые, еще невиданные, неизвестные, и я очень быстро несусь им навстречу. Таким образом я охватываю мир большими кусками. А как же детали, мелочи? Известно ведь, что мир состоит из деталей, но я и без того каждый день вижу их в изобилии. Дома, на улице, в школе. Впрочем, я всегда могу попросить Анджея, чтобы он велел шоферу остановить машину. Тогда и мир останавливается, приближается, замирает. Мы видим траву, деревья, цветы, камни на обочине. В воздухе очень громко поют жаворонки, из леса откликается кукушка либо какая-нибудь другая птица. Из глубины остановленного, недвижного теперь мира, от картин, которые мне отчетливо видны, и звуков, которые явственно слышны, доходят запахи, которые я ощущаю, и легкие движения воздуха, которые касаются моего лица. Тишина такая, что я вдруг слышу очень громкое хлопанье крыльев бабочки, на мгновенье присевшей на жестяное крыло автомобиля. Но она тотчас вспорхнула и исчезла стремительно — я даже не успел разглядеть, что это была за бабочка. Увидел только цветной лоскуток, растаявший в воздухе. Анджей спрашивал: — Ну что, поедем, пожалуй, дальше? — Да,— отвечал я. Мы усаживались, автомобиль трогался, мы ехали — и все, что нас окружало, по мере того как машина набирала скорость, вновь рассыпалось, распадалось, стиралось, исчезало. Но мы спешили вперед. Порой замедляли ход, чтобы не раздавить курицу, утку или хромую собаку, потом снова набирали скорость. Иногда останавливались по другим причинам, например, если начинал накрапывать дождь. Тогда шофер вылезал и растягивал над нашими головами кожаную крышу, которая обычно, сложенная гармошкой, лежала у нас за спиной. Так мы ехали в город, где был дом Анджея.

Мне бывало немножко досадно, что мы уже приехали, уже стоим перед остекленным и поблескивающим латунью парадным. Лифт поднимал нас на третий этаж. Анджей открывал дверь, звонил прислуге, забегал в ванную, здоровался с собакой, кошкой, с разноцветными диковинными птицами, которые жили в большой серебряной клетке и, когда с ними заговаривали, склоняли набок головки и чирикали. Анджей рассказывал мне когда-то, что этих птичек привезла его мать из Южной Америки и что по дороге половина погибла, так как на корабле не было для них подходящих условий. Я мыл руки в ванной, выложенной розовым кафелем, потом разглядывал картины, висящие в прихожей. Мне эти картины не нравились, потому что на них были цветы или коровы, неподвижно лежащие под деревьями. Анджей окликал меня из глубины квартиры, из бывшей детской, расположенной где-то между спальней родителей и кабинетом отца, но из кабинета в детскую нельзя было войти, так как дверь была заперта и на ней висел ковер. Я не сразу смог туда попасть. Анджей хотел

показать мне настоящий индейский убор из перьев, который он любил надевать, когда был маленький, или паровую машину, киноаппарат с лентой Чаплина, или еще какие-то вещи, на что уходило немало времени. Наконец нас отыскивала горничная в белом фартучке и кружевной наколке и сообщала, что скоро обед. Потом приходил пан Михал (у которого не было ни полосатого жилета, ни баков, как в фильмах, носил он обыкновенный серый полотняный пиджак) и говорил, что обед подан. Пан Михал, как утверждал Анджей, был не лакей, а ординарец отца, его боевой товарищ. Вот это была еще одна хорошая черта в характере Анджея — его демократичность. Родители Анджея большей частью отсутствовали. Отец был то на какой-нибудь конференции, то на заседании акционерного общества или контрольной комиссии, мать за границей, во Франции либо в Испании. Так что обедать мы садились одни, разделенные длинным столом. Комната была ярко освещена, окна задернуты тяжелыми портьерами. Если б не электрический свет, в столовой было бы темновато, поскольку окна выходили на серые и грязно-красные стены каменных домов, а небо было затянуто дымами заводских труб. Честно говоря, обеды у Анджея были не такие вкусные, как у нас дома, но у них подавались разные закуски, всего понемножку, и это мне нравилось. Кроме того — у нас такое случалось только по праздникам или когда приходили гости,— за обедом пили водку, вино или пиво. Обращались с нами совсем как со взрослыми. У Анджея спрашивали, какое вино подать, мне наливали водки. Анджей пил мало, но мне говорил:— Не стесняйся, пей, если нравится. Я вставал из-за стола слегка захмелевший, настроение у меня делалось одновременно и веселое, и сонное. Анджея спрашивали: куда подать кофе? Сюда, в столовую, или в кабинет? — Будем пить у папы,— говорил Анджей, и мы шли в кабинет отца. Усаживались в глубокие, тяжелые, обитые кожей кресла и пили кофе из маленьких чашечек. Письменный стол не запирался. Анджей выдвигал ящик и показывал мне собрание фотографий отца времен мировой войны (он тогда был очень похож на Анджея — та же тонкая, мягкая улыбка). Так что я видел отца Анджея в разных местах, в разные времена года, в разных позах и ракурсах. То он стоял с бутылкой вина в руке на фоне деревьев, то сидел на лошади, то высовывался в открытую дверь железнодорожного вагона, лежал в окопе с винтовкой, прижатой к плечу, и, наконец,— на кровати в госпитале с забинтованной головой. Мне было немного обидно, что у нас дома сохранилась только одна военная отцовская фотография, да и та сделанная в плену. Итак, я рассматриваю снимки. Анджей придвигает к себе телефонный аппарат, садится на письменный стол, наклоняется, набирает номер. Заказывает билеты на Шекспира, на «Кармен», на футбольный матч, на балет, на собачью выставку. Что еще можно посмотреть? В одном из ящиков лежат пистолеты отца: старый барабанный, тяжелый маузер с мировой войны, два черных блестящих пистолета марки FN, маленький, с ладонь, браунинг с рукояткой, инкрустированной перламутром,— такой изящный, что хоть носи его в кармане как портсигар. Неужели из такой игрушки можно убить человека? Ясное дело, была бы охота. Мы могли бы пострелять, да вот где? Хотя бы в подвале. Вот еще, в подвале. Анджей снова звонит по телефону. Заказывает разговор со Швейцарией, с санаторием для легочных больных. При этом санатории есть гимназия. Анджей провел там два года, у него было что-то с легкими. По наследству от матери. Мне нечего бояться — это оказалась не чахотка, а всего-навсего бронхоаденит. Анджей разговаривает с кем-то по-французски, переходит на немецкий, потом снова на французский.— А, Эльжбетка, ну как, не потеряла еще ту смешную плюшевую собачонку? Нет? Слушается она тебя? А что

поделывает фрау доктор? Да? Пенсне на цепочке? Еще что? Ха-ха-ха! Что? Да. Математика, представь себе, везде одинаковая. Да, конечно, история немного отличается. Ну, пока, Эльжбетка! Всего! Когда? Возможно, на каникулах. Да, да, конечно! Поцелуй Тересу, Михаэля и Эрнста. Что? В марте? Бедняга. Впрочем, как знать, как знать. Ну, тогда поцелуй Тереску и Михаэля. Пока! Да, закончил. Анджей еще раз передо мной извиняется и заказывает разговор со своим варшавским кузеном, но не застает его, кузен на теннисном корте. Я рассматриваю картины на стенах отцовского кабинета, их много, в некоторых местах они висят так близко, что соприкасаются рамами. За одну из этих картин, написал ее Коро, можно купить большой каменный дом в Варшаве. Тогда почему же отец не продаст эту картину и не купит дом? Анджей точно не знает, но, кажется, у них в Варшаве целых два каменных дома, так зачем же продавать картину? У нас еще остается полтора часа до кино, театра, балета, матча. Мы разглядываем альбомы с марками. Анджей пошел в столовую — поискать в буфете варенье к мороженому, за которым он послал горничную с большим термосом. Картины, разговоры по телефону, марки, мороженое с вареньем. Звонят из Варшавы, кузен уже вернулся и просит к телефону Анджея. Я откладываю трубку и иду его искать, хожу по комнатам, квартира вдруг будто вымерла. Все двери открыты, я прохожу через две спальни (еще час назад спальня была только одна), через ванную (замечаю, что там два входа), миную маленькую комнатку, детскую Анджея, столовую, еще одну маленькую комнату с книгами и пишущей машинкой, покрытой клеенчатым чехлом, и снова кабинет отца, прихожая, вторая прихожая, третья прихожая, кухня, комнатушка кухарки, еще одна — горничной, пан Михал, кажется, живет отдельно, на четвертом этаже. Неожиданно я вижу балкон, которого раньше не было. На балконе много горшков с цветами, которых в доме нигде больше нет. Зову Анджея, никто не откликается. Выглядываю с балкона, внизу пустой двор с зарешеченным сточным каналом. Возвращаюсь в кабинет, говорю в трубку, что Анджей куда-то вышел, ничего, кузен позвонит через полчаса. Иду в комнату Анджея и продолжаю листать альбом с марками. Две, очень редкие, Эквадор и Мадагаскар, я мог бы украсть, вот они уже у меня в верхнем кармашке пиджака, они мои. Вынимаю марки из кармана и кладу обратно в альбом. Были мои. Потом я еще раз их беру, прячу в карман — и снова кладу в альбом. Я бы мог, если б захотел, украсть не две, а десять марок, но что-то у меня пропала охота, будто марки вдруг утратили всякую ценность. Внезапно возвращается Анджей, я говорю, что искал его, ему звонил кузен — а Анджей, оказывается, сидел в темной комнате, оттуда ничего не услышишь — дверь плотно закрывается и на двери тяжелая черная штора, он там кассеты заряжал. Я не знаю, где темная комната, ну, конечно, он забыл мне показать: темная комната возле кухни, за дверью, которая окрашена в цвет кухонных стен. Однажды Анджей туда вошел, а там пан Михал с горничной, не с этой, с той, что была прежде. Странные повадки, верно? Нет чтобы в комнате, обязательно в темном чулане. А может, поглядим графику Фелисьена Ропса? Мы снова идем в кабинет отца. Анджей достает папку с гравюрами, на которых среди цветов, деревьев, скал — обнаженные женщины и мужчины, огромные члены, чудовищные гениталии. Мы едим мороженое с вареньем, потом фотографируемся при магниевой вспышке, я снимаю Анджея, он — меня. Я в пробковом шлеме с арабским кинжалом в зубах, Анджей приклеил себе усы, в руке у него искусственная красная роза. Жаль, что еще нет цветной фотографии. Уже есть, в Америке. Мы бежим в темную комнату и проявляем пластинки, прополаски-

ваем их, окунаем в спирт, чтоб быстрей высохли. На пластинках лица у нас черные, будто у негров, волосы белые как снег, рубашки черные, а красная роза, которую Анджей держит в руке,— белая. Печатать снимки будем только вечером, когда вернемся из театра. Но до театра еще далеко, и пока что мы слушаем радио — из Германии, из Франции и Италии. Анджей лег на диван и закрыл глаза, мне он советует поудобнее расположиться в кресле. Кто-то играет на рояле Моцарта, а может быть, Гайдна, потом раздается колокольный звон, поет женщина, потом в передаче из Милана мужчина рассказывает что-то о птицах, слышен вой ветра, шум волн, разбивающихся о скалы, грохот, удары грома. Постепенно все успокаивается и начинается такая монотонная музыка, как будто на свете ничего уже нет, одна земля, море да небо. Не спишь? Мне показалось, ты задремал. Куда поедешь на каникулы? Еще не знаю, может, в Устронь или к родным на восток. Ну и как там? Ты же был в Устрони. А у родственников? Как в деревне. Ходим купаться, иногда на рыбалку или за грибами, играем в волейбол. А если дождь? Вот именно. Тоска зеленая. Сиди, играй в карты или в шахматы и жди, когда дождь кончится. А может, и нам сыграть в карты? Давай в покер? У меня же денег нет. Не беда, у меня есть. Но ведь не всегда тот, у кого есть деньги, проигрывает. Если проиграешь, будешь мне должен. Анджею лень вставать с дивана, мне тоже не хочется подниматься с кресла. У меня такое ощущение, будто я вешу сто килограммов. Мой отец частенько говорит матери:— Меня беспокоит Анджей, он капитулянт.— Что это значит — капитулянт? Мы понимаем, но не можем выразить другими словами. А ты куда на каникулы? Тоже еще не знаю, наверно, куда-нибудь в австрийские Альпы или в Швейцарию. А то просто в Закопане, мы там давно не были. У нас еще полчаса времени. У меня нет галстука. Можешь идти без галстука, но если для тебя это имеет значение, возьми мой. К спортивной рубашке? Наденешь белую рубашку и подберешь галстук. Мы встаем, идем в ванную, «освежаемся», как говорит Анджей. Спускаемся на лифте вниз. Шофер сидит в машине, поджидая нас. Куда? В театр, и не ждите нас. Мы заглянем к девочкам, а потом пройдемся до дома пешком. Шофер кивает головой. Мы едем, выходим из машины, входим в театр. Анджей кому-то кланяется, с кем-то здоровается, представляет меня, машет рукой, кого-то приветствуя, улыбается. Заходим в зал, садимся. В воздухе запах духов, слышен гомон, взрывы смеха, оркестранты настраивают инструменты. Появляется дирижер, кланяется. Аплодисменты, аплодисменты, еще не стихли голоса, шорохи, шелест. Два удара дирижерской палочкой по пюпитру — и сразу, мгновенно, наступает тишина. Увертюра, медленно гаснут огни, в темноте поднимается занавес. На сцене берег моря, избушка лесника, городская площадь, дворянская усадьба, утро или вечер, откуда-то из глубины сцены веет холодом, пахнет лесом, лугом, землей, собирается гроза, идет снег, всходит солнце, заходит солнце. Актеры в бархате и кружевах, в лохмотьях и доспехах, полуобнаженные и увешанные золотом, поют, говорят, кричат, жестикулируют, падают, погибают, умирают, поднимаются, кланяются, уходят. Аплодисменты, аплодисменты, еще раз аплодисменты. Занавес опускается, в зале становится светло. Все светлее, все оживленнее, все громче голоса. Мы выходим. Прохладная ночь, черное небо, на улицах пусто. Но витрины освещены. Мы идем не торопясь, разглядываем фотоаппараты, книги, оружие, спортивные принадлежности. Проходим мимо парикмахерских, магазинов с дамскими блузками, шляпами, сумками, перчатками, мимо витрин с шоколадом, пирожными, конфетами. Останавливаемся, чтобы поглядеть, как вертит головой негритенок, как

электрический поезд въезжает в туннель, выезжает из туннеля, проскакивает станцию, въезжает в лес и снова в туннель, исчезает, появляется, мчится, проскакивает станцию. Мы довольно долго стоим и смотрим, потом идем дальше. Вот ночной ресторан. Приглушенные звуки, притушенные красные и зеленые огни. Зайдем? Анджей смеется. Я здесь был один раз с папой и мамой, возвращались, как сегодня, из театра и зашли выпить оранжаду. И, как ты думаешь, кого мы там увидели? Понятия не имею. Нашего инспектора, Лютневича. Вот так. Но я был с родителями. Представляешь, входим мы сейчас с тобой — а навстречу, брат, сам директор... Ну и вытаращил бы глаза! Разумеется, в ночной ресторан мы не заходим. Идем дальше. Анджей говорит: если тебе очень приспичит, можно позвонить, барышня приедет на такси. Домой? Конечно! А тут старик возвращается: кто там у тебя, сыночек? Девица легкого поведения, папочка... Ах, извини, не буду мешать, презервативы в левом ящике... Мы оба смеемся. Дальше идем кратчайшим путем через парк. Слышны звуки мандолины. На скамейке сидят три проститутки, одна поднялась и сказала: — Ну что, котик? — Ничего, мы спешим домой, к мамочке,— отвечает Анджей.— Идите, идите, завтра придете,— говорит проститутка и смеется. Мы тоже смеемся, потом разговор заходит о венерических болезнях. У самого выхода из парка, когда мы уже в двух шагах от улицы, на которой живет Анджей, позади нас, из-за деревьев, из темноты раздается вдруг не то странный крик, не то пение. Звук неожиданный, непонятный, нелепый. Мы останавливаемся и смотрим на черные деревья парка. Приостанавливается на минутку и полицейский, но потом неторопливо двигается дальше.

Мы вошли в парадное, Анджей открыл лифт. В лифте я поглядел на себя в зеркало: потный лоб, блестящие глаза. Я заметил, как Анджей усмехнулся. Потом мы ужинали, подавал нам пан Михал. Горничная уже спала. На ужин была ветчина и пирожки с мозгами. К мясу мы выпили бутылку белого вина с содовой водой. После ужина пошли в темную комнату смотреть пластинки. Они уже высохли, так что можно было печатать фотографии. Теперь все получалось как надо: у нас были белые лица, темные волосы, я улыбался дурацкой улыбкой, хорошо мне знакомой. Роза, которую держал в руке Анджей, вышла как живая, очень отчетливая, только, конечно, не красная. Фотографии мы повесили на веревку, пусть сохнут. Анджей сказал, что, когда поедет в Австрию или в Швейцарию, непременно купит себе электросушилку — так невозможно, это не работа. Нужно ждать несколько часов, а потом держать снимки под прессом, пока не расправятся. А с сушилкой через десять минут все готово. Мы идем в комнату Анджея и рассматриваем старые фотографии, которые лежат в большой берестяной шкатулке. Анджей с матерью в Биаррице, в Остенде, в Венеции, на берегах норвежских фиордов, с отцом на охоте, на фоне заснеженного леса, на строительстве железной дороги, среди голых по пояс рабочих. Потом Анджей в Швейцарии, сидит с двумя товарищами на скамейке, шея замотана клетчатой шалью, за его спиной, очень близко, высокая, покрытая снегом гора; гора прозрачная, точно стеклянная. Это Юнгфрау, волшебная гора, просто волшебная,— говорит Анджей. А здесь? Здесь? Ах, это никто. То есть, конечно, кто-то, только чужой, незнакомый, неизвестно кто. Смешно, правда? Где-то, не помню, то ли в Мадриде, то ли в Барселоне, фотограф по ошибке положил в наш конверт чужую фотографию. На краешке скамейки сидит господин в соломенной шляпе, с бородой и большими усами и очень грозно на нас смотрит, словно запрещает нам подходить к своей скамейке. Мы с Анджеем смеемся. Почему же ты не выбросил эту фотографию? Сам не знаю почему. Может, потому, что смешная

или не такая, как все. А к этому бородатому господину, возможно, попала твоя фотография, он удивляется, откуда она взялась, и не знает, кто ты такой. Смешно, правда?! Звонит телефон. Анджей идет в кабинет. Я слышу, как он говорит: — Да, да, у меня товарищ. Смотрим фотографии. Были в театре, да, поужинали, уже поужинали. Нет, нет, да, да. Хорошо, хорошо. Пока! Пока, папа, до свидания! Анджей возвращается: звонил отец, сказал, что вернется только завтра после обеда, мы не увидимся, так как должны выехать не позже двенадцати, если хотим попасть на матч. Но у нас еще целая ночь впереди. Можем пойти в ночной ресторан или устроить бал дома. Можем скучать или развлекаться. Спать или не спать. Читать «Шерлока Холмса» или самим отправиться на поиски приключений. Весь дом спит. Можно пойти в кладовую и пошарить там, не найдется ли какого варенья, маринованных грибков, салата с майонезом. Открыть банку с франкфуртскими колбасками, ананасовым джемом, лососем — да мало ли с чем! Чего душа пожелает. Мы можем делать все, что нам угодно.

Анджей лег спать в своей комнате, но потом перебрался в спальню родителей, потому что, как он сказал, детский диванчик ему коротковат. Для меня приготовили постель в маленькой комнате. На столике у кровати поставили стакан и бутылку минеральной воды. Окно было завешено плотными портьерами. У окна стояла на столике пишущая машинка, на подоконнике лежали какие-то книги, календари и проспекты машин. Когда я закрыл дверь, в комнате стало душно и пахло, как в лавке, где продают бумагу, карандаши и краски. Из библиотеки отца Анджея я взял две книги по искусству и каталог лондонской Национальной галереи, ведь я интересуюсь искусством, но что-то мне не читается и не смотрится. Вроде бы и хочется спать, но сердце прыгает в груди, в голове от вина сумбур и шум. Я погасил свет и попытался заснуть. Засыпал, просыпался. Проснувшись, не знал, относится ли минута моего пробуждения к прошлому, принадлежит ли настоящему или только еще наступит. Мир был расколот на мелкие части, сжимался и расширялся, в голове моей мелькали сотни мыслей, сотни картин, сотни людей говорили на разных языках, которых я не понимал. Образы, звуки, понятия и слова путались, утрачивали между собою связь, потом снова собирались вместе и сцеплялись, притягивались и отталкивались. Я старался остановить это беспрерывное движение, чтобы всмотреться, вслушаться и понять, но мои усилия были тщетны. Я открывал глаза, зажигал свет, видел гладкие неподвижные стены комнаты, портьеру на окне, всю в застывших складках, пишущую машинку, безмолвствующую под клеенчатым чехлом. Тушил свет, засыпал, но минуту спустя опять просыпался. По-настоящему мне удалось заснуть, наверно, только под утро, когда движение мыслей и вещей улеглось, а я убедил себя, что все это меня не касается, что мне абсолютно безразлично, будет ли это множество обступивших меня предметов принадлежать мне или кому-нибудь другому, приобрету я их или утрачу, что мне дела нет до их названий, происхождения и назначения, когда я почувствовал, что свободен, что вокруг меня много пустого, не заполненного вещами пространства, а на душе легко и спокойно и я могу начинать все сначала, от нуля.

■

После окончания школы я поехал в университет, Анджей же с согласия — а скорее, думаю, поддавшись уговорам — отца (чтобы сын возмужал, закалился и вообще чтобы это было уже позади) поступил в военное училище. Больше я его ни разу не видел. Война? Ах нет, гораздо раньше, дурацкая вышла история. Абсолютно дурац-

кая. Однажды, было это скучным воскресным днем в гарнизонном городе, Анджей, получив увольнительную, ушел — и к девяти вечера в казарму не вернулся. Назавтра его нашли мертвым, скорчившимся, лежащим в прибрежных зарослях. Его конфедератка и маленький пистолетик, инкрустированный перламутром, лежали рядом, в снегу. Два дня спустя отец Анджея получил письмо, в котором сын писал, что, когда это письмо дойдет, его уже не будет в живых. Анджей просил у отца прощения за то, что сделал, и благодарил за все, за то, что тот был очень, очень хорошим отцом. И кто это сумеет понять?

Машина, полная хлеба

Оба моих товарища шатались от слабости. Говорили, что устали. Дремали по целым дням в палатке, которую мы поставили среди кустов можжевельника и елок, либо, расстелив одеяло, лежали в тени растущего на краю поляны дуба. Они часто повторяли, что освобождение пришло в последнюю минуту, что отняло у них остаток сил. Запоздай оно на несколько дней, их бы уже не было в живых. А у меня еще кое-какие силы сохранились. Немного. Столько, чтобы можно было, волоча ноги и опираясь на палку, выходить ежедневно на поиски пропитания.

Сначала я шел краем поляны, потом вдоль шоссе, того самого бегущего среди лесов шоссе, на котором неделю назад мы обрели свободу. Я кружил по лесу, постоянно возвращаясь на дорогу или приближаясь к ней настолько, чтобы увидеть в просвете между деревьями ее ровную безопасную поверхность. Часто я останавливался, озирался по сторонам и прислушивался. Напрягал зрение и слух, всматривался вперед и потом некоторое время стоял неподвижно, словно поджидая возвращения из глубины леса своих лазутчиков. Лес был тих и безлюден, и я брел дальше. И снова смотрел на землю. Вероятно, я немного походил на человека, ищущего вчерашний день. Приостанавливаясь, я ворошил палкой хвою, кучки сухих листьев, тряпки, бумагу. Обходил вокруг каждого дерева, обшаривал канавы, ямы, воронки от авиабомб. Иногда я натыкался на трупы немецких солдат. Еще недавно тяжело раненные солдаты эти плелись из последних сил в надежде найти среди деревьев убежище, спасение или спокойную смерть, лишь бы подальше от шоссе и открытого поля. Их лица, руки и пятна крови на мундирах были облеплены тучами мух. На меня эти трупы особого впечатления не производили, но все же я обходил их стороной. Нередко мне встречались следы тех, кто забирался в лесную чащу, чтобы переодеться в гражданское и уйти, как уходили другие. От них, словно от насекомых, которые вывелись из куколок, остались пустые выползки: раскрытые чемоданы, брошенные мундиры, белье, горстки пепла от документов и фотографий. Порой рюкзак или вещевой мешок. Оружие. Винтовки, пистолеты, патроны. Я разгребал палкой этот хлам, искал что-то — сам не знаю что. Прежде всего, конечно, еду, но еду найти было трудно. Пистолеты я осматривал, брал в руки, взвешивал на ладони, проверял в действии. Несколько дней назад, когда у меня еще не было оружия, произошла встреча, которая могла для меня плохо кончиться. В тот раз я отошел довольно далеко от нашего бивака и на железнодорожной ветке, заканчивающейся в лесу тупиком, наткнулся на несколько товарных вагонов. До меня здесь уже побывали другие. Открыли вагоны, повытаскивали солому, вспороли ножами мешки с цементом, разбили ящики с артиллерийскими снарядами. Я шел вдоль вагонов, взбирался на подножки, заглядывал в темноту, потом шел дальше.

В последнем пустом вагоне я увидел сидящего в углу человека. Он был в полосатой одежде лагерника, лицо бледное, обросшее. В меня впились два сверкающих глаза. Человек сидел неподвижно, на коленях у него лежал вещевой мешок; там он прятал свою правую руку. Вдруг, неожиданным рывком, он вытащил руку из мешка, я увидел дуло пистолета и услышал грохот выстрела. Я отшатнулся непроизвольно — быстрее я не успел бы и глазом моргнуть, да и пули, наверно, не летят быстрее,— и, должно быть, поэтому пуля не задела меня. А может, я сделал это движение на секунду, на долю секунды раньше, может быть, моя интуиция, проникнув в намерения этого человека, заставила меня отклонить голову, когда его рука была еще неподвижна? Не знаю. Знаю только, что тогда я избежал смерти. Кто был тот человек? Умирающий узник, отыскавший спокойное место, чтобы распрощаться с жизнью? Спокойная смерть — ведь мы мечтали о ней! Она нам казалась возможностью спастись либо воскреснуть! А может, это был немец, преследуемый, как и мы когда-то, переодевшийся в нашу полосатую лагерную форму? Или он сидел на ящике с консервами и потому готов был убить каждого, кто мог бы на этот ящик посягнуть? Кем бы ни был человек в полосатой одежде — он хотел меня убить. И поэтому в тот же день я раздобыл оружие. Первый пистолет я просто поднял с земли, он лежал в траве. Но это было не то, что мне нужно. Это был «бэби», старый, со стершейся нарезкой, да и заедал к тому же. Так что я продолжал поиски. Мне хотелось найти пистолет, который пришелся бы мне по руке, достаточно массивный, но не слишком тяжелый. Несколько раз попадались парабеллумы, но я даже не прикасался к ним. Эти пистолеты были мне известны, у них слишком длинное дуло, они чересчур тяжелы, оттягивают карман, кроме того, выбрасывают вверх гильзы. Правда, бьет парабеллум как пушка и без промаха, но его мощь превосходила мои потребности. Среди брошенных офицерских мундиров часто попадались миниатюрные браунинги в изящных кожаных кобурах, но то были игрушки, которые хороши в сутолоке, для близкой цели, или если захочешь пустить себе пулю в лоб. Я же не намеревался когда-либо использовать оружие подобным образом. Пистолет мне был нужен скорее для защиты своей жизни. Иногда, если найденное оружие казалось подходящим, я его испытывал: заряжал обойму, досылал патрон, прицеливался и стрелял разок-другой в ствол дерева или по консервной банке. Через мои руки прошло несколько десятков пистолетов. Я забавлялся, привередничал — пока, наконец, не нашел то, что искал. В кабине перевернутой грузовой машины, из которой высыпалась груда бумаг — счета и складские квитанции, так вот, в кабине этого грузовика, среди промасленных грязных тряпок, я нашел плоскую картонную коробку, вмещавшую то, что было изображено на цветной наклейке: пистолет «стейер 7,65». Пистолет был средней величины, новый, черная оксидированная поверхность отливала благородной синевой. Две запасные обоймы оказались пусты, но у меня в кармане лежало несколько патронов нужного калибра, да и такого добра везде было вдоволь. Война окончилась, но еще много боеприпасов осталось нерасстрелянными. Вся земля, словно семенами, была ими засеяна. Они поблескивали в траве, валялись в песке, прятались под соломой. Вскоре я убедился, что мой новый пистолет — превосходное оружие: его механизм действовал идеально, без заминки выбрасывая патроны. Он был настолько точен и меток, что, казалось, скрывал в себе какое-то таинственное устройство, исправляющее ошибки стрелка и автоматически наводящее пули на цель. Наконец-то я получил такое оружие, какое мне было нужно. По примеру человека, хотевшего меня убить, я носил пистолет в мешке, который вешал на шею, и при плохой видимости, приближаясь к незнакомым

местам, засовывал руку в мешок и обхватывал пальцами холодную рукоятку пистолета. Но по лесам я блуждал не затем, чтобы искать оружие. Прежде всего я был голоден, и оба моих товарища были голодны и больны. С едой, однако, дело обстояло хуже, чем с оружием.

Сегодня, например, я возвращался к своим товарищам с пятью маленькими картофелинами, которые мне удалось откопать в куче прелой, заплесневевшей соломы; лишившись белых корешков и стеблей, картофелины эти выглядели весьма плачевно. Еще у меня была горсть муки, вытряхнутой из пустого мешка на газету, и два тонких ломтика хлеба, переложенных чем-то черным. Этот бутерброд, завернутый в бумагу, я нашел торчащим в развилине дерева. Хлеб был твердый как камень, по нему ползали муравьи. Так что обед у нас сегодня был скудный. Пять тертых картошек — те самые — и хлеб, опаленный над костром и раскрошенный, варились с бульонным кубиком «магги» в котелке, и из этого должен был получиться суп. Под конец мы засыпали туда горсть муки, прокипятили еще раз и съели. Было вкусно, но через час нам снова захотелось есть. Стефан сказал, что чувствовал себя сегодня немного лучше и, пока я бродил по лесу, совершил первое небольшое путешествие, а именно: обошел вокруг всю поляну. Трое пожилых лагерников и женщина, которые живут в шалаше на другом конце поляны, сказали, что завтра перебираются отсюда в город. Советовали к ним присоединиться. Но до города было восемь километров, а Казимеж был еще так слаб, что не прошел бы и одного. Стефану от них перепала половина толстой сигары. Он высушил ее, разрезал на дощечке, и после обеда каждый из нас выкурил по отменной папиросе. Однако к вечеру Казимежу снова стало хуже, и есть очень хотелось. На ужин мы съели по сухарю и запили чаем. Когда уже лежали в палатке, Стефан сказал, что если и дальше так пойдет, то мы на свободе сдохнем с голоду, хотя и пережили лагерь. Я сказал, что завтра встану пораньше и попробую пойти в другую сторону. Сначала туда, откуда мы пришли, на юг, потом сверну влево, к большому озеру, которое мы видели издалека, с дороги. На берегу этого озера стояло несколько домов, по которым тогда била американская артиллерия, а вечерами в той стороне висело зарево пожара. Теперь мы больше зарева не видели, вероятно, гореть уже было нечему. Наверняка оттуда все убежали. Люди, когда им валится крыша на голову, убегают, спасая жизнь, и не думают о еде. Я схожу туда завтра утром, пороюсь среди пепелищ и развалин и безусловно что-нибудь найду. Нет такого дома, где бы не было каких-нибудь, пусть самых скромных, запасов: картошки, муки, сала, хлеба. Я возьму рюкзак — вдруг отыщу кусок обугленного сала, а то и буханку хлеба? Буханка хлеба придала бы нам много сил. Мы б ее разделили на три равные части, соскребли уголь и пепел и съели, запивая чаем. А если не будет хлеба, то уж картошка непременно найдется. В буртах либо в подвале. Так что, может быть, мы наедимся досыта картошкой? От нее тоже набираешься сил.

Ночью я несколько раз просыпался и засыпал. Шел дождь, я слышал, как барабанят капли по палатке. Но утром, когда я встал, дождя уже не было. Я размочил полсухаря в холодном чае, который отдавал ржавчиной. Проходя мимо бивака соседей, увидел, что там уже пусто. Костер догорал, над ним вились белые струйки дыма. Люди, видно, ушли, едва рассвело. Пустое логово, если прежние обитатели его покинули или умерли, нужно немедленно обыскать, там всегда найдется что-нибудь полезное, что может пригодиться, однако я не стал задерживаться, зная, что это непременно сделают мои товарищи. Миновал опустевший бивак, посреди которого валялась солома, бумага и банки из-под консервов, вышел на шоссе и двинулся по обочине

прямо на юг. В лес я не сворачивал, мне хотелось как можно скорее оказаться среди разрушенных домов над озером. Я знал, что, шагая по дороге, попаду туда быстрее, чем если пойду лесом. Итак, чтоб добраться до поселка на берегу озера, придется с полкилометра идти через лес или по опушке. Шоссе было пусто, по нему как метлой прошлись. Неподвижные танки и машины, между которыми неделю назад нам приходилось пробираться, спихнули в канавы. Исчезли трупы немецких солдат и лошадей. В одном месте я увидел в канаве нечто неопределенное, напоминающее человеческую фигуру в полосатой лагерной одежде. Скрюченное, высохшее как щепка тело было до того плоским, втоптанным в глину, что утратило свою материальность — это был лишь отпечаток, след человека. Никаких чувств оно не вызывало, ни страха, ни отвращения. Даже мухи на эти мощи не хотели садиться. С правой стороны лес отступил, открылись зеленые, далекие и широкие луга со спаленными до седого пепла стогами сена и огромными закопченными танками, остановившимися в своем бегстве там, где их настигли снаряды. За лугами раскинулись вспаханные поля, за ними поля озимых. Светило солнце, было тихо, звенели жаворонки. Слева еще долго тянулся высокий лес, но я помнил, что, когда лес кончится, до озера будет уже недалеко. Я тогда сверну влево и буду идти по опушке, пока не дойду до того места, где на берегу озера стоят пять или шесть домов, к которым я направляюсь. Стоят? Когда я их видел, они еще были целы, но потом там разгорелся бой; уже когда мы проходили мимо, начинался артиллерийский обстрел. Мне было интересно, что там теперь. Шоссе долго оставалось пустынным, потом появился открытый американский джип, обогнал меня, скрылся и умолк, и снова стало тихо. Я подумал было об американских солдатах, которые сидели в машине с автоматами наизготовку, но мысль эта только мелькнула и расплылась, потом подумал, что я тоже неплохо вооружен и, пока передо мной открытое пространство, при встрече с любым противником преимущество на моей стороне. Обойма моего пистолета полна, да еще в стволе один патрон, всего восемь выстрелов, а если считать запасную обойму — пятнадцать. Здесь, на пустом шоссе, мне ничто не угрожало, никто не мог застать меня врасплох. В случае чего я всегда успею ретироваться, отскочить в лес, а уж в лесу меня голыми руками не возьмешь. Опасность скрывалась только там, среди развалин, в полуразрушенных домах, в темной глубине подвалов и бомбоубежищ, которые надо будет обшарить, если я не намерен возвращаться к товарищам с пустым рюкзаком. Но сознание того, что я вооружен, что я имею право и возможность выбирать обстоятельства и момент, когда надо пустить в ход оружие, придавало мне сил. Я чувствовал себя спокойнее и увереннее. Мне хотелось как можно скорей попасть туда, на берег озера. Однако ноги меня не слушались, я еле тащился, казалось, цель нисколько не приближается. Поэтому время от времени я переставал смотреть вперед и по сторонам, опускал глаза и глядел только на свои башмаки, на асфальт, на растущую вдоль обочины траву. Когда я снова поднимал глаза, я видел, что часть пути все-таки пройдена. Опушка была уже близко. Влево, в лес, уходила узкая дорога, которую я раньше не заметил. На краю этой дороги, среди деревьев, лежала опрокинутая полевая кухня. Земля в лесу была устлана обугленной соломой, бумагами, тряпками. Еще полсотни шагов — и я увидел большое, бледно-голубое, широко разлившееся озеро, окруженное полями и окаймленное зарослями тростника и камыша. Однако разноцветных, крытых красной черепицей домов на высоком, прилегающем к опушке берегу не было. Не было стен, деревянных балкончиков, овинов и беседок в садах. Одни обуг-

ленные трубы и деревья без листьев, с обломанными ветвями торчали над пепелищем. Вся земля от шоссе до самого леса и озера была вспахана снарядами и бомбами, разворочена гусеницами самоходок и танков. На дне воронок и в колеях стояла вода. Край леса больше не обозначался чистой, отчетливой линией — опушка была завалена обожженными и перекореженными стволами деревьев. Видно, вскоре после того, как мы прошли, здесь разыгрался танковый бой. Немцы, вероятно, пытались оборонять шоссе и подступы к лесу, но были отброшены, зажаты между лесом и озером, разбиты, уничтожены. Пробраться по опушке уже не было возможности. То есть возможность была, нет такого бездорожья, по которому нельзя пройти, но на это ушло бы слишком много времени. Если мне хотелось побыстрее добраться до развалин на берегу озера, надо было пойти назад, свернуть на ту дорогу, которую я только что миновал, идти дальше по ней и приблизиться к развалинам со стороны леса. Так что я повернул обратно и пошел по лесной дороге. В песке и опавшей хвое отпечатались следы автомобильных и мотоциклетных шин, некоторые совсем еще свежие. На минуту я задержался возле перевернутой полевой кухни, но в котле были только остатки засохшего, шелушащегося супа, по которому ползали муравьи и черные жуки, и я пошел дальше. Дорога была сухая, но местность понижалась, и вскоре я очутился в овраге, по дну которого протекал ручей. Ручеек был неглубокий, вода быстро бежала по песку. Я сел на пень, чтобы снять башмаки, и тут увидел очень близко, может быть, в метре или полутора от себя, американскую консервную банку, а немножко подальше — несколько окурков сигарет «кэмел». Мяса было еще много, чуть не полбанки, во всяком случае три-четыре добрых куска. А сигареты — выкуренные только до половины, сухие, брошенные несомненно сегодня, уже после дождя, может, минуту назад? Я чувствовал, как безграничное счастье переполняет мое сердце, веселит его, заставляет биться. Я обшарил все окрестности в радиусе нескольких десятков метров. Нашел вторую банку с цветной картинкой, изображающей разрезанный пополам окорок, правда, пустую, но зато подобрал еще два окурка. Такая удача превосходила самые смелые мои мечты. Ведь мясо дает силы. Я радовался за себя и за своих товарищей, что осчастливлю их, что именно я принесу эту добычу. Вырезав ножом из банки маленький кусочек мяса, я смыл с него муравьев в ручье и съел. Это было нечеловечески вкусно! Я не удержался и съел еще два крохотных кусочка, потом закурил самый коротенький окурок. Сигарета оказалась чертовски крепкой, после первой же затяжки у меня закружилась голова. Не хотелось подниматься и идти дальше. Охотнее всего я посидел бы здесь и даже немного вздремнул, а потом вернулся к своим товарищам. Добыча у меня уже есть, и неплохая, не лучше ли без лишнего риска возвратиться с нею в палатку? Я сидел, слушая негромкий шум деревьев, в который врывались резкие, звонкие голоса птиц, несущиеся с разных концов леса. И вдруг услышал, поначалу не услышал даже, а, скорее, почувствовал, что где-то, еще далеко от меня, есть люди. Не один человек, не двое, а множество людей. Прислушавшись, я понял, что человеческие голоса доносятся со стороны озера и что различимы они лишь тогда, когда оттуда дует ветер. В них не было ничего угрожающего, они звучали беззаботно — как голоса людей, вышедших на прогулку или в лес по грибы. Близость людей меня встревожила, но одновременно и заинтересовала. Инстинкт приказывал немедленно убираться отсюда — и вместе с тем толкал в ту сторону, откуда доносился гул голосов. Я спрятал банку американских консервов в рюкзак, окурки положил в жестяную коробочку. Зашнуровал башмаки, постоял, при-

слушиваясь и осматриваясь, потом спустился на дно оврага и очень медленно стал продвигаться вниз по ручью, в направлении озера. Каждые два-три шага я останавливался, вслушивался. Открыл мешок, вытащил пистолет, зарядил, поставил на предохранитель. Положил пистолет обратно, но застегивать мешок не стал. Овраг поворачивал и расширялся, течение воды в ручье замедлялось, почва становилась топкой. Мне приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не увязнуть в болоте. Я старался шагать по кочкам, поросшим мхом и густой травой. Выход из оврага был загроможден поваленными, вырванными с корнем деревьями, переломанными сучьями и, словно занавесом, заслонен ветками с вянущими листьями. Когда я осторожно раздвинул ветки, сразу открылось свободное пространство и я увидел луга и озеро. Сожженные дома были еще далеко и несколько в стороне. Они переместились влево и оказались как бы в другом месте, не там, где я их видел, когда смотрел с шоссе. Передо мной лежал большой, спускающийся к озеру луг. Я не заметил его раньше, потому что он был загорожен выступом леса. Луг не был пуст — он представлял собой огромное поле битвы. кладбище подвод, мотоциклов, автомобилей. Посреди этого нагромождения обломков лежал на боку большой автобус с закрашенными белым окнами и красным крестом на крыше. Некоторые машины, как бы в попытке укрыться на дне озера, по оси ушли в воду. Две черные санитарные машины, пустые внутри, заехали дальше других, но не успели спрятаться целиком и, погрузившись наполовину, торчали из воды. В камышах, покачиваемые волной, плавали вздутые конские трупы, бочки от бензина, доски, пустые ящики. Большой обоз, который неделю назад длинной колонной проезжал мимо нас по шоссе, теперь недвижимо лежал в болоте. Вокруг, словно муравьи, копошились люди. Сближались, расходились, сталкивались, взбирались на подводы, заползали внутрь машин. В некоторых местах сбивались в кучу, за чем-то наклонялись, что-то подбирали, их руки были в постоянном лихорадочном движении, к чему-то тянулись, что-то подносили ко рту, что-то прятали в рюкзаки и мешки. Над этим скопищем кружили белые чайки. Они садились на воду или на торчащие из озера обломки, взлетали и снова описывали круги в воздухе. Сам не знаю, когда я пустился бегом. Я бежал в сторону этой гигантской кормушки, мне хотелось попасть туда как можно скорее, я боялся, я знал, что, чем позже добегу, тем меньше на мою долю останется. Но луг был подмокший и по мере того, как я приближался к увязшим посреди него машинам, превращался в сплошное болото. Тот край, откуда я шел, был особенно трудно преодолим — пришлось перебираться через пойму ручья. Я тяжело дышал, хотя двигался еле-еле, мне казалось, что я стою на месте и топчу ногами размякшую глину. Но наконец я добрался до самой близкой ко мне большой открытой платформы, полной буханок хлеба. Полной? Когда мне удалось на нее вскарабкаться, хлеба осталось уже немного, не больше сотни буханок — смятых, растоптанных, раскрошенных. На машине хозяйничали несколько человек, молодых и сильных, они запихивали хлеб в мешки. Те, у кого сил было еще меньше, чем у меня, обступили платформу, цеплялись за брезент, протягивали руки, просили хлеба у тех, кто был наверху. Им доставалось лишь то, что свалилось с платформы, ошметки, крохи. Кругом, под ногами, полно было хлеба, втоптанного в грязь. Самые слабые ничего не просили и ничего не пытались урвать, они только ели то, что упало, вместе с грязью и илом. Меня задевают, пинают, отталкивают, сбивают с ног, я снимаю рюкзак и, стоя на коленях, засовываю в него первое, что мне удается схватить: две помятые, но целые буханки и еще не-

сколько кусков хлеба — растоптанного, облепленного грязью, однако же... хлеба. Завязываю рюкзак, надеваю на спину. Теперь у меня есть хлеб. Много хлеба. Больше мне ничего не нужно. Возможно, где-то здесь есть еще хлеб, а то и консервы, сигареты, водка, а может быть, даже чай или кофе, но я знаю, что, если останусь, могу потерять то, что уже имею,— хлеб, который нам, мне и моим товарищам, очень нужен, ибо мы должны набраться сил, тронуться с места и дойти до города, а потом вернуться на родину. А значит, мне необходимо вырваться отсюда с хлебом в рюкзаке, я должен отступить, убежать, скрыться с глаз людей, которым захочется у меня этот хлеб отобрать. Но для чего же мне тогда пистолет?

Не верьте тем, кому хочется быть обо мне лучшего мнения, кто считает, что я использовал оружие, например, таким образом: выхватил пистолет и, выстрелив несколько раз для острастки в воздух, заставил людей опомниться, чтоб не губили зря хлеб, чтобы прекратили отнимать его друг у друга, выхватывать, втаптывать в грязь, не превращали в глину, в навоз. Чтобы опустили руки, занятые уничтожением, чтобы обуздали свои дикие, животные инстинкты, чтобы захотели оказать нам, тем, что наверху, капельку доверия — и тогда они убедятся, что мы будем выдавать каждому по одной, а может и по две, буханки, что каждый из этих нескольких десятков голодных получит свое, что им даже больше достанется, поскольку ничего не пропадет, поскольку мы разделим поровну даже крошки, которые останутся на дне машины. Я мог так поступить, меня бы на это хватило, но я поступил иначе. Вот что я сделал: спустился с платформы по чьим-то головам, спинам, плечам; меня дергали, останавливали, хватая за одежду, осыпали проклятиями, ругательствами, поднялся крик, плач. Какие-то старухи в полосатых лохмотьях, с маленькими круглыми головками, обросшими седой щетиной, норовили меня повалить, сорвать рюкзак, разодрать его в клочья, расхватать мой хлеб. Я катался в грязи, меня топтали. Я поднимался и снова падал в грязь. У меня слетела шапка, голова моя, поросшая коротким желтоватым пухом, была похожа на головы этих старух. Все же мне удалось стряхнуть с себя женщин в полосатой одежде. Я убежал на четвереньках, волоча за собой рюкзак с оборванной лямкой. Кое-как выкарабкался из болота, встал и оглянулся: никто за мной не гнался. Полосатые гарпии уже снова облепили машину с хлебом, пытаясь на нее взобраться. Их спихивали и отбрасывали. Потом я увидел, как они напали на одного из тех, кто спрыгнул с машины с мешком хлеба за спиной. Но это был молодой парень, он быстро убегал в сторону, где земля не была такой болотистой, как вокруг меня. Двое еще пытались, забежав спереди, словно при игре в регби, заступить ему дорогу, но он поочередно их отталкивал, сбивал с ног и бежал дальше. Мы — он и я — были звери, которым удалось схватить кусок и удрать. Другие звери пробовали отнять у нас добычу, но не смогли и отказались от преследования. Я уходил все дальше, расстояние между мной и стаей, охотящейся за пропитанием, увеличивалось. Мне пришла в голову мудрая мысль: вместо того чтобы брести краем трясины, идти по середине, где протекал ручей. Здесь было глубже, но дно не проваливалось под ногами — вода несла с собой песок.

В конце оврага я остановился и еще раз оглянулся: никто меня не преследовал. Люди, которые были там, на лугу, вероятно, пришли с другой стороны и в другую сторону уйдут. В том месте, где ручей пересекал лесную дорогу, я устроил привал. Я так устал... не могу выразить словами. Так ослабел, что, как это ни смешно, не чувствовал усталости. Я был с ног до головы в грязи. Грязь набилась в башмаки и в волосы, в карманы и даже в рюкзак. Пистолет мой был весь

облеплен рыже-черным месивом. Его я первым делом привел в порядок. Разобрал, вымыл в ручье и вытер досуха тряпочкой, которая служила мне носовым платком. Потом помыл башмаки, руки, лицо. Пока я мылся, мой пистолет, снова чистый и исправный, лежал сверху, на камне, рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки. Я был готов защищать лежавшую в рюкзаке добычу, если б кому-нибудь вздумалось у меня ее отнять. Теперь я снова обладал преимуществом перед врагом. Я бы его увидел и услышал издалека. Разумеется, и у врага могло быть оружие. Но у меня было очень хорошее оружие, да и стрелял я, в общем, неплохо. Впрочем, никто не пытался отобрать у меня хлеб. Мой прекрасный меткий пистолет так и не пригодился, я не использовал его даже для устрашения. Борьбу за хлеб, в которой я участвовал, нельзя назвать сражением. Это была просто свалка, возня, схватка с голодными, слабыми, едва держащимися на ногах людьми, у которых было еще меньше сил, чем у меня.

Поляна, на которой стояла наша палатка, была залита солнцем. Мои товарищи лежали на одеяле в тени дерева. Казимеж спал с открытым ртом, подложив руку под голову. Стефан просматривал какие-то обрывки газет то ли книг, которые принес на поляну ветер. Я опустился на колени и стал неторопливо выкладывать на одеяло свою добычу. Сначала хлеб — его было почти четыре буханки. Потом я вынул консервную банку с мясом и окурки сигарет и уложил их ровненько, один возле другого. Казимеж открыл глаза, посмотрел бессмысленно, потом что-то сказал — не помню что. Быть может, это было одно из тех грубых ругательств, которые сами срываются с языка в минуты, когда не хватает нужных слов? Не помню я и о чем мы говорили потом. Моя память не удержала уже больше ничего из происходившего в тот день. Не знаю, что было позже, не помню, что мы делали, о чем разговаривали. Все образы и звуки, все наши действия, слова, движения и жесты канули в пустоту, словно какое-то громадное алчное чудовище пожрало их, поглотило. Одно лишь я знаю наверняка, хотя и не помню: мы ели хлеб, мясо, пили чай и курили сигареты.

Кот в мокрой траве

Льет дождь. Льет и льет. Днем и ночью. К тому же холодно. Старый котище Мардер с большой квадратной мордой и маленькими, несколько обезображенными в боях ушами, целиком заросший короткой, желтоватой, несмотря ни на что тщательно ухоженной шерстью, дремлет, укрывшись в глубокой нише подвального окна. Невидимый сам, он в любую минуту может увидеть, что творится вокруг. Сидит он в позе, которая позволяет ему занимать как можно меньше места в пространстве, обеспечивает идеальнейшую неподвижность, да и в такой позе легче сойти за предмет, ничем никому не угрожающий, а в холодные дни, вроде сегодняшнего, наилучшим образом сохранить собственное тепло. Кот Мардер идеально неподвижен, и все же он не кирпич, не камень, не кусок дерева. И не голубь, не ворона, не собака. Мардер чрезвычайно остро ощущает, что он не вообще какой-нибудь кот, а именно тот, которым в данную секунду является. Более того — ощущение, что это именно он, не утрачивается даже при столкновении с человеком. Следовательно, у него очень развито самосознание.

Я назвал Мардера старым котом. Это верно. Мардеру сколько-то там лет, однако это ничего не значит, ибо Мардер не стареет. Был он, правда когда-то давно, маленьким, тихонько мяукающим котенком,

но потом, подросши, остановился и перестал меняться. Не вылинял, не запаршивел, не раздобрел, и брюхо у него, как, например, у многих окрестных собак, не обвисло. Его тело осталось стройным и гибким, шерсть — гладкой и блестящей. Глаза чистые, как небо перед восходом солнца. Смотрит Мардер ясными своими глазами и видит все, днем и ночью, начиная от муравья, ползущего по земле, и кончая совой, которая присела на стреху. Этому занятию Мардер посвящает очень много времени. Он смотрит, когда охотится, но и смотрит, чтобы просто смотреть. Причем смотрит так, словно все, что он видит — трава, дома, люди, деревья,— тоже его насущный корм.

Трудно сказать, почему в доме профессора университета, у которого Мардер прожил несколько лет и где ему было совсем неплохо, его назвали «убийцей». Кот Мардер убийца не в большей степени, чем другие. Мало, что ли, раз ему случалось наблюдать, как жена профессора с помощью прислуги убивала большую рыбу, как они возились с ней и вопили благим матом! Мардер видел такое из-под буфета не раз и не два. А откуда брались эти горы красного мяса на кухонном столе, эти куры и цыплята, зайцы и фазаны? Груды белых костей? Кровавые печенки, шипящие на сковородке? С тех пор как профессор вместе с женой и прислугой куда-то исчезли, а их пахнущую кедром мебель погрузили на большую подводу, запряженную лошадьми, и увезли, двери дома, в котором Мардер жил, закрылись перед ним навсегда. Навсегда? Мардер часто сиживал под знакомой дверью, поджидая, пока она откроется, и пытаясь проскользнуть внутрь, но его всякий раз прогоняли. Он пробовал взять судьбу измором, и его еще долго видели на лестничной площадке, где он по целым дням спокойно дремал на подоконнике, однако мебель в квартиру профессора не возвращалась. Это было крайне неприятно, но Мардер рассматривал новое состояние как преходящее и никогда не переставал считать профессорскую квартиру своей, лишь до поры до времени недоступной — не говоря уж о доме и ближайших окрестностях. От них бы он не отрекся ни за какую плату. Впрочем, это неверно сказано: ни о какой, даже самой высокой, плате не могло быть и речи, ибо Мардеру никогда такое намерение в голову не приходило, даже мысли такой не было, даже каприза. Если бы неведомой силе удалось — вопреки воле Мардера — перенести его за пятьсот километров от дома, он бы и тогда сделал все, чтобы в этот дом и в эти окрестности возвратиться. Шел бы ночью и днем, в дождь и в зной, напрямик через поля и леса, пробирался бы в темноте окраинами городов и поселков. И дошел бы. А если б не дошел, то лишь потому, что погиб бы, разорванный собаками либо раздавленный машинами на большой автостраде, однако так или иначе — по дороге домой.

Мардер ненавидит суету и шум, а пуще всего визг и скрежет, которые издают железные машины на колесах. К постоянному грохоту, производимому городом, где с утра до вечера и даже ночью скребет железо о камень, он привык — по необходимости. Поскольку вынужден был в этом городе жить, поскольку жил в нем с рождения. Он научился не слышать эти неприятные звуки, вернее сказать, он обладал умением отделять их и отдалять от тех звуков, которые были ему приятны либо просто нужны,— таких, как шаги людей, возня крыс, щебетанье птенцов, шуршание мышей, шелест листьев.

Так вот, Мардер, который ниоткуда не возвращался, ибо никто его никуда насильно не увозил, сидит в нише подвального окна и, кажется, глубоко счастлив оттого, что он такой, какой есть, и место, в котором он в данный момент находится, именно это, а не иное. Мог ли бы он быть еще счастливее, если б у него сначала отобрали это самое место, а потом бы он вновь обрел его? Неизвестно. Я считаю,

что он был бы столь же счастлив, ничуть не меньше и не больше. Ибо стремление у кота Мардера всегда было, есть и будет одно: вернуться на старое место — независимо от того, откуда придется возвращаться: из соседнего ли сада, из другого воеводства или даже из другой страны. Потому что величайшую радость и удовлетворение он получает от постоянного бдения: все ли основные элементы окружающего мира — деревья, камни, кусты и заборы — так сказать, обретаются на своих местах. Лишь твердо осознавая, что он это он и пребывает в знакомой местности, кот Мардер может жить и действовать. На фоне того, что неизменно, и не меняясь сам, он лучше видит и понимает то, что непрестанно меняется, растет, шевелится.

Дождь понемногу утихал, и холодный ветер тоже успокаивался. Подул еще разок, словно только для того, чтобы стряхнуть капли с деревьев, согнуть и раздвинуть стебли трав, взъерошить мелкие листочки на кустах,— потом наступила тишина. Мардер еще долго сидел в оконной нише, но в какой-то момент, выбор которого зависел только от него, принял решение и незамедлительно его осуществил: легко и очень осторожно спрыгнул на землю. Так осторожно, будто прыгал не с полуметровой высоты, а со второго этажа. Постоял минутку, присматриваясь и прислушиваясь, чтобы убедиться, не нарушило ли это движение чего-либо в окружающем мире. Но ничего не произошло, вокруг царило спокойствие, только время от времени падали капли с деревьев. По своему обыкновению, дабы спровоцировать какую-нибудь перемену, которая, возможно, таилась где-то под видимостью тишины и покоя, чтобы объявиться нежданной угрозой,— Мардер сам раза два или три энергично подвигал хвостом. Потом стоял, смотрел и слушал. Продолжалось это довольно долго, но Мардер был терпелив. Терпение было основной чертой его характера. Мардер не знал, что такое потеря времени — чувство, которое возникает даже у самых терпеливых людей, если им приходится, например, долго ждать поезда или выполнять какие-либо скучные, однообразные действия. Когда, замерев, Мардер всматривался в темное отверстие норки, откуда в любую минуту могла выскочить мышь,— он и не замечал, как идет время. Неподвижность, неизменность данного состояния, ожидание были для Мардера тем же, что движение, прыжок, бегство, погоня, схватка, а какая же это потеря времени? Просто несколько иная, но не менее необходимая форма существования во времени и пространстве.

Мардер шел теперь в траве, которая была вровень с ним, шел медленно, ленивым шагом, словно очень устал. Обходил высокие кусты сорняков, чтобы не касаться мокрых листьев, чего крайне не любил. Мардер вообще не любил воду. Большая капля, которая минуту назад неожиданно упала на него с дерева, пронзила его болью, точно стрела. Мардер извернулся и языком лизнул шерсть в том месте, куда угодила водяная капля. Он терпеть не мог воду — однако им владело нечто более сильное: великая страсть к охоте. Родись Мардер неподалеку от реки — он бы наверняка ловил рыбу. Трудно, правда, себе это представить, но ведь известно, что многие его сородичи с успехом занимаются рыболовством. Поэтому не следует удивляться, что Мардер, если бывал очень голоден, охотился в любых условиях, даже в мокрой траве. И вот вдруг, не успев еще повернуть голову и спрятать язык, Мардер краем глаза увидел, а быть может, только угадал какое-то движение у забора. Повернув голову, он замер, всматриваясь. Рот его так и остался полуоткрытым, розовый язык — слегка высунутым. Уши Мардера тоже были обращены в ту сторону, куда смотрели глаза, и старались помочь взгляду. Вдоль забора, от стены дома по направлению к бетонному мусоросборнику бежала большая

коричнево-серая крыса. Передвигалась она не очень быстро, по дороге ей нужно было все обнюхать. У бетонной стены она повернула, тем же путем побежала назад и исчезла. Мардер стоял будто окаменелый, но это только так казалось: внутренне он был взволнован, возбужден, дрожал от напряжения. Встреча с крысой означала большее нежели просто охоту. Это была борьба, порой не на жизнь, а на смерть. Однажды — дело было зимой,— охотясь в подвале на мышей, кот Мардер внезапно подвергся нападению нескольких крыс и был уже на волосок от гибели. Он тогда был еще очень молод и неопытен. Дрался отчаянно, катался среди мусора, угля, разбитых бутылок, стараясь избавиться от врагов, отпихнуть их ногами, сбросить с себя. Двух или трех загрыз. Но другие крысы висли на ушах, на хвосте, подбирались к горлу. Спасли его внезапно загоревшийся свет и появление человека с лопатой. Крысы боятся людей, он, Мардер, их тоже боялся, но несколько меньше. Честно говоря, коту Мардеру немало доставалось от людей: дети бросали в него камнями, взрослые науськивали собак. Но, с другой стороны, он видел от людей и много хорошего. Были среди них такие, что давали ему молоко на блюдечке, кидали мясо и кости, а в профессорской квартире ему жилось, как уже было сказано, совсем неплохо. Тем не менее Мардер предпочитал людям на пути не попадаться. Он охотнее наблюдал за ними издалека, старался предугадывать их намерения, поскольку, как правило, намерения эти были неясны, переменчивы, почти непредсказуемы. Крыс со времени истории, случившейся в молодости, Мардер остерегался. Если чувствовал свое преимущество — дрался, уничтожал, загрызал (но никогда не ел, брезговал). И удирал, когда преимущество было на их стороне, когда замечал, что крысы норовят зайти сзади, окружить, отрезать путь к отступлению. Мардер вообще научился держать ухо востро в любых обстоятельствах, днем и ночью, когда спал и когда бодрствовал. Существовало лишь одно место, где Мардер чувствовал себя уверенно, жил, не ожидая подвоха (если не считать случая, когда он получил тряпкой по морде за то, что приволок мышь, но это было давно): дом профессора университета. После весенних бессонных ночей, после охоты, прогулок, драк он мог, свернувшись клубком на шкафу, на стуле, а иной раз и на письменном столе, спать как убитый, не обращая внимания на разговоры, стук, пение. Если чья-нибудь рука порой касалась его или даже гладила, он поднимал голову, смотрел на этого человека, потом еще удобнее укладывал голову на собственную шубу и продолжал спать. Но, увы, в доме профессора больше не было мебели, пахнущей кедром, и жил там кто-то другой. Время от времени Мардер вытягивал шею и заглядывал в окна на третьем этаже, но видел незнакомых людей, чужие лица, новые цвета и формы. Мардер никогда, ни на минуту, не переставал верить, что рано или поздно туда вернется. Верить? То не была вера, то было твердое убеждение, что в квартиру на третьем этаже возвратится мебель со знакомым запахом и снова войдут люди, которые назвали его «Мардер» и были добры к нему. Добры — значит не делали зла, только и всего. Этого Мардеру было вполне достаточно, что-нибудь большее ему бы уже пришлось не по нраву. Ибо Мардер никоим образом не хотел чувствовать себя благодарным людям. Впрочем, прошу прощения: однажды он все-таки притащил в зубах мышь и осторожно положил ее, полуживую, на пол в кухне. Однако жертва, принесенная Мардером профессорскому дому, не была принята надлежащим образом, и Мардер никогда не возобновлял подобных попыток.

Кот Мардер долго стоял неподвижно, всматриваясь в то место, где пробежала крыса,— но крыса больше не появилась. Докучливые

звуки, которые издает город, совсем затихли, словно наглухо позакрывались все окна, выходящие в тот, чужой, мир. Мардер подождал еще минутку и двинулся дальше, в глубь своего мира. Он идет, ступает бесшумно. Поднимает левую переднюю лапу, чтобы переступить веточку, лежащую поперек дороги; если б он до веточки дотронулся, она бы понапрасну подала голос. Потом левой задней лапой переступает эту веточку, не коснувшись ее, не оглянувшись даже, будто у него и вправду в задней лапе глаз. Лапой, разумеется, видеть нельзя, ну и что же, что нельзя? Кот Мардер проделывает левой задней лапой именно такое движение, какое нужно, чтобы не задеть веточки,— и все тут. Потому что кот Мардер каждое свое движение — шагнет ли он, остановится, повернет или прыгнет — должен проделывать безукоризненно. Мир Мардера в его постоянстве и устойчивости, которые он так ценит, тем не менее весьма разнообразен — настолько разнообразен, что, кажется, беспрерывно меняется. Дабы существовать в этом мире, Мардеру надлежит быть мягким, гибким, движения его должны быть плавными и никогда не повторяться. От каждого движения требуется, чтобы оно было непохожим на предыдущее, но обязательно точным. Тело Мардера не может быть твердым и угловатым, как края бетонных ступеней, как оконный косяк, как железные перила. Мардер не сделан рукой человека, не выструган из дерева и не высечен из камня. На земле, под небом, среди растений и животных он лишь одна из частиц, составляющих мир (а может, и вселенную?), разве что более сгущенная, своеобразная и в высшей степени самостоятельная; именно это и есть существование Мардера. Но известно ли что-нибудь об этом коту Мардеру? Кот Мардер не должен ничего об этом знать, ибо он сам — эта жизнь, это существование. Достаточно, если у него, как я уже сказал, сохранится ощущение, что он не является не кем и не чем иным, кроме как самим собой. Что он аутентичен, как говорят люди. И что в любую минуту, когда только вздумается, сможет сделать то, что следует сделать. Вот, например, неподалеку от Мардера вдруг выскочила из травы небольшая четвероногая тварь, подпрыгнула кверху и плюхнулась обратно в траву. Мардер замер, но лишь на мгновенье: на таких тварей он не охотился. Он позволил ей удалиться. То была всего-навсего лягушка, существо довольно-таки смешное (Мардера, когда он был помоложе, созданьица эти приводили в хорошее настроение, он их подкарауливал, делал вид, что нападает, подбрасывал лапой), к тому же мягкое и скользкое, однако обтянутое такой прочной кожей, что ни когтем, ни зубом не возьмешь. Так что Мардер позволил лягушке спокойно удалиться. Покосился еще разок в ее сторону: она сидела в траве на корточках, подпершись передними лапками, и глядела на него выпуклыми, широко расставленными глазами. Отвернувшись от лягушки, Мардер пошел дальше, по направлению к груде кирпичей и камней. Идти приходилось по-прежнему в высокой мокрой траве, кот вздрагивал, отряхивался, но шел. Приближался к месту, где трава была низкая и редкая, земля усеяна гравием и мелкими камешками, утыкана хилыми пожолкнувшими ромашками. В этом месте часто что-нибудь случалось, и Мардер имел обыкновение, прежде чем приблизиться, некоторое время присматриваться издалека. Никогда не следует чересчур опрометчиво на что бы то ни было надеяться, но нельзя и исключать неожиданностей. Нужно быть готовым ко всему. И вот Мардер видит, слышит и чует: в самой середине этой лысоватой полянки — мышь. Стоит на задних лапках, в передних держит кусочек хлеба, хлебную корочку, и грызет его. При этом то и дело поглядывает по сторонам, но Мардера не видит. Зато Мардер отлично ее видит, хотя ему немного мешают стебли травы. Мардер голоден, он ничего не ел дня три, а то и все четыре. Чтобы

приблизиться к мыши на расстояние, с которого можно совершить прыжок, ему нужно по уши погрузиться в еще более густую и мокрую траву, нужно обойти мышь сзади. Мардер поворачивает голову направо, потом налево, проверяет, что делается рядом, в той части пространства, которое окружает это самое важное в данную минуту событие: мышь, грызущую хлеб. Головой Мардер вертел, поскольку хотел увидеть все, что имело отношение к сцене, которая в то мгновенье оказалась как-никак в самом центре его мира. А может быть, и всей вселенной? Кот Мардер осматривался еще и для того, чтобы, оставаясь незамеченным мышью, выяснить, не угрожает ли что-нибудь ему самому. Не получилось ли так, что, охотясь, он в то же время стал предметом чьего-то внимания и вожделения? А мышь тоже поглядывает вправо и влево, так как хоть и занята едой, а хочет, обязана знать, не грозит ли ей что-нибудь. У кота Мардера была еще одна, казалось бы, смешная причина, которая заставляла его отрывать взгляд от мышки: он хотел убедиться, не привиделась ли ему она. Мышь ему не привиделась, она была реальностью: в настоящую минуту, не выпуская из лапок хлеба, она смотрела куда-то вправо, в сторону кустов сирени; что-то, видно, ее встревожило. Однако это продолжалось совсем недолго, мышка снова принялась за свою корку. Тогда Мардер двинулся вперед; теперь он был вдвое меньше ростом, он почти полз на брюхе в мокрой холодной траве, от прикосновения которой его бросало в дрожь. В таком положении он был абсолютно невидим, только кто-нибудь, глядящий сверху, мог бы его заметить, но сейчас Мардера это не интересовало. Он был к тому же неслышим, ибо передвигался настолько осторожно, что и сам не слышал себя. А если он себя не слышал — кто ж мог услышать его? Мардер был голоден, и, возможно, кого другого на его месте нетерпение давно бы заставило совершить какую-нибудь ошибку, опрометчивый шаг — сделать торопливое движение, раньше времени прыгнуть. Но то не был бы кот Мардер. Он по мере приближения к цели становился все осторожнее, все собраннее, движения его настолько замедлились, что почти перестали быть действием. Он был уже совсем близко. Еще два шага, еще только напрячь мускулы перед прыжком, остановиться, отыскать наилучшую позицию для толчка задними ногами... как вдруг что-то произошло: мышь исчезла, словно ее ветром сдунуло. Но это не он, не Мардер, ее спугнул. Что-то задрожало в воздухе, треснуло, Мардер на этот звук особого внимания не обратил, но мышь услыхала на какую-то долю секунды раньше — и Мардер увидел брошенную хлебную корку, голую землю, неподвижные камни, еще вздрагивающий стебелек травы. По саду шла женщина с ведром; она высыпала мусор и повернула обратно к стене, в которой была дверь. Остановилась на пороге, переложила ведро из руки в руку, закрыла за собой дверь.

Кот Мардер еще долго стоял без движения, потом вышел на открытое пространство, на то место, где только что была мышь. Отряхнулся от капель, усеявших его шубу. Он был зол и неспокоен, нервно подергивал хвостом. Из города, из чужого мира, неслись звуки, которые Мардер терпеть не мог: гудки, дребезжание, скрежет. Прежде чем двинуться дальше, Мардер вынужден был навести порядок в мире, остановить трамваи и автомобили, отделить шум от тишины. Это заняло довольно много времени. О неудаче, постигшей его минуту назад, он не думал. Ведь неудача—это лишь нечто такое, что приближает успех. Пускай хоть десять, хоть двадцать раз не повезет — кот Мардер не перестанет охотиться. Ибо охота — его страсть и потребность.

Я говорил, что кот Мардер стар. Но он никогда не умрет, во всяком случае не умрет от старости, как те безобразные, толстые и неуклюжие собаки, которых в конце концов приходится усыплять у вете-

ринара. Мардер никогда не умрет, разве что его кто-нибудь убьет или задавит машина. Если Мардер не умрет насильственной смертью, тела его никто никогда не отыщет. От него не останется ни единой косточки, ни клочка шерсти. Мардер просто-напросто исчезнет. Однажды я не увижу его сидящим в оконной нише или бредущим неторопливо по саду. Как бы я ни всматривался, мне не увидеть больше той точки, в которой материя столь чудесным образом сконцентрировалась в столь совершенную форму подвижного, живого, видящего и чувствующего существа. В опустевшем воздухе передо мной будет только земля, камни, трава. Если я перестану видеть то, что видел прежде, это все равно как если бы у меня отобрали вещь, которая прежде мне принадлежала. И мне станет грустно.

■

— Папа, правда, кошки злые, хитрые и кровожадные? — сказал Анджей отцу. В слове «кровожадные» он особенно нажал на буквы «р» и «ж».

— Что ты говоришь?

— Кошки хитрые и кровожадные,— повторил Анджей и повернул голову, чтобы посмотреть на отца. Для этого ему пришлось на секунду оторвать щеку от приклада духового ружья, лежащего на подоконнике. Его глаз перестал видеть прорезь, мушку и цель. Отец сидел в кресле с газетой на коленях и смотрел на экран телевизора; диктор, причесанный на пробор, говорил о катастрофическом падении фунта стерлингов, о незначительном увеличении курса доллара и о повышении цен на золото. Потом перевернул страничку и стал говорить о другом — о войне в Африке. Отец посмотрел на сына и сказал:

— Будь осторожен, Анджеек, как бы кого не задеть!

— Никого нет,— ответил Анджей. И снова посмотрел в сад; с высоты третьего этажа все там было видно как на ладони: деревья, кусты, поросшая травой земля, заросли крапивы, куча щебня под забором. Но цель, в которую он метил, передвинулась, и Анджею тоже пришлось передвинуть дуло ружья на сантиметр-другой.

Собака вдовы Вурм

Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?

(Екклесиаст, III, 21)

Вдова налогового инспектора Станислава Вурма, пани Леокадия, занимала квартиру на третьем этаже и, вероятно, за долгие годы своей одинокой жизни не причинила бы никакого беспокойства соседям, если б не ее собака. Быть может, десять, а то и больше лет назад Феликс — так звали собаку пани Вурм — был прелестным неуклюжим щенком, вызывающим неодолимое желание коснуться его, погладить, подержать на руках; однако было это, конечно, давно, раз никто в доме такого уже не помнил. Теперь эта божья тварь заслуживала бы названия чудовища — будь она покрупнее. В своей же весовой категории она была лишь существом, вызывающим гадливость и отвращение. Если б пани Вурм меньше следила за Феликсом, дворник, хоть и был человеком вовсе не злым, давно бы пристукнул эту пакость палкой от метлы — так, как убивают крыс,— и выбросил на помойку. Но пани Вурм не расставалась с собакой. Наверх, на третий этаж, она таскала своего Феликса на руках. Сверху он

спускался сам. Спускался? Нет, скатывался: эта старая, облезлая и раскормленная, омерзительная собачонка с выпученными глазами скатывалась со ступенек бочком, как могла, порой перекувыркиваясь, и, чаще всего не успев добежать до двора, оставляла в подъезде большую лужу. Потом, перед домом, на прямоугольном, обсаженном узкой полоской красно-белых маргариток газоне, единственном украшении мрачного семиэтажного дома, она присаживалась по серьезным делам, долго и обстоятельно выбирая место. Облегчившись же, начинала буйствовать: рычала, рыла ногами землю, лаяла, никого, правда, не кусая, впрочем, этого бы еще не хватало! Пугала детей, угрожала взрослым, отгоняла других собак. Даже большие псы удирали, поджавши хвост, а огромный добродушный сенбернар, который никогда никого не боялся, но и никого пугать не имел привычки, останавливался, наморщив лоб, и с удивлением наблюдал за дурацкими выходками маленького злобного создания.

Несмотря на конфликты, возникавшие с соседями из-за собаки, у пани Вурм все-таки были в доме знакомые — два-три человека, одни, правда, женщины, которые время от времени к ней заглядывали; благодаря им жизнь пани Вурм не составляла тайны для мира. Известно было, например, что два года назад в Гданьске скоропостижно скончался ее единственный сын, но пани Вурм на похороны не поехала. В тот день ее видели в закусочной «Крокет», где она с аппетитом ела свиную отбивную, за что и была единодушно осуждена. Кажется, сын не очень-то интересовался жизнью пани Вурм, однако что из этого? Каждому известно, что мать, даже не любимая детьми, сама обязана их любить, ибо таков ее материнский, как бы природой определенный долг. Именно от соседок, которые навещали пани Вурм (вероятно, скорее из любопытства, нежели из дружеских чувств к одинокой старушке), в доме узнали, что с некоторых пор собака пани Вурм прихварывает. Она уже не выходит со своей хозяйкой на прогулку. Четыре дня назад выходила в последний раз: пани Вурм снесла ее вниз и осторожно поставила на краю газона, среди цветов и травы. Собака постояла минутку, дрожа и покачиваясь, но с довольно большим интересом обнюхивая какую-то травинку, однако потом, когда захотела пройти чуточку дальше, упала и своими силами подняться уже не смогла. Пани Вурм стояла в траве на коленях, плакала и уговаривала Феликса. Просила, чтобы он встал, побегал как прежде, сделал свои дела на травке, полаял в свое удовольствие. Чтобы снова был здоров и весел. Но Феликс не мог встать, не было у него сил, он тяжело дышал и весь был мокрый, словно вылез из воды. Пани Вурм положила собаку в сумку, выстланную мягкими бумажными салфетками, и отвезла к знакомому ветеринару, который осмотрел ее в точности так же, как осматривают людей, померил температуру, выслушал легкие и сердце и потом спросил:

— Вы знаете, сколько вашей собачке лет?

— Восемнадцать, доктор, в апреле будущего года девятнадцать. Я очень хорошо помню, потому что...

— Нет, собачка гораздо старше. Ей что-то около ста тридцати...

— Да что вы, доктор, чепуху говорите... Феликсу восемнадцать лет, я прекрасно помню, потому что в марте будущего года исполняется двадцать лет со дня смерти моего мужа.

— Мне семьдесят один, а если пересчитать на собачий возраст — около десяти. Собачке же, считая по-людски, сто тридцать...

Ветеринар прописал собаке лекарство, но пани Вурм сочла себя оскорбленной и тотчас отправилась к другому ветеринару, помоложе. Тот осмотрел Феликса так же, как первый, только ничего не стал говорить насчет возраста — ни собачьего, ни человечьего. Лекарства

прописал похожие, но еще сделал укол, после которого пес почувствовал себя лучше. Когда пани Вурм привезла его домой и поставила на пол, он простоял часок, понурив голову, а затем снова лег. Пани Вурм перенесла Феликса на его зеленую бархатную подушку, с которой он уже не встал. Упрашивала, чтобы он не смотрел на нее так умоляюще, таким извиняющимся взглядом, и пусть намочит подушку, на здоровье, лишь бы только жил. Но Феликс, видно, жить уже не мог, потому что спустя два дня, в пять часов утра, на рассвете, издох. Издох — это для соседей и остального мира. Для пани Вурм он умер.

Его смерть не оставила соседей равнодушными, даже вызвала с их стороны сочувствие, в особенности когда они узнали, с какой самоотверженностью (на которую мы, люди, далеко не всегда способны по отношению к другим людям) пани Вурм ухаживала за собакой во время ее болезни. Рассказывали, как вдова два дня и две ночи не отходила от Феликса, поила его лекарствами, меняла компрессы, выгребала из-под него целые кучи нечистот, сгустков крови, гноя, кусков сгнившего мяса, легких, кишок, печени. Дивились, откуда в таком маленьком теле столько зловонных внутренностей, и в течение некоторого времени (недолго, впрочем) о пани Вурм говорили с симпатией. А недолго потому, что она сама дала новый повод для возмущения. В тот же день по дому разнеслась весть, что пани Вурм заказала у столяра по соседству гробик для собаки, в точности такой, как для людей, только соответственно меньших размеров, разумеется. Феликс лежал в нем на белой постели из бумажных салфеток в своей синей суконной, обшитой желтой тесьмой курточке, в которой часто прогуливался зимой. Пани Вурм вытерла его влажную и перепачканную шерсть и тщательно вычесала гребнем и щеткой. Так что собака удобно лежала на мягкой подстилке с закрытыми глазами, как будто спала (пани Вурм опустила ей веки), но рот у нее остался полуоткрытым и виден был кончик языка. Пани Вурм, вероятно, не хотела закрывать маленькую зубастую пасть, а может быть, не сумела этого сделать. Тело Феликса съежилось и опало, стало похожим на кусочек пустого мехового рукава. Белый сосновый гробик стоял посреди комнаты на табурете, покрытом черным плюшем, в окружении цветов, между двумя зажженными свечами. Пани Вурм уже перестала плакать. Была спокойна, сдержанна, деловита. На ней было темное платье, у воротника — аметистовая брошка, вокруг шеи — лиловый батистовый платочек. По-видимому, она примирилась со смертью Феликса. Угощая на кухне соседку с четвертого этажа кофе с бисквитом и наблюдая за выражением ее лица, она вдруг спросила:

— Как вы думаете, на могиле друга можно поставить крест?

— На могиле друга?

— На могиле собаки, которая была лучшим другом.— Пани Вурм не спускала взгляда с соседки, которая как могла отводила глаза.

— Крест на могиле собаки? Не думаю, пани Вурм, не думаю, чтобы можно было. Хотя, впрочем, кто знает? Во всяком случае нельзя писать на кресте «блаженной памяти»...

— Во Франции и в Англии существуют кладбища для животных. Люди ставят своим друзьям памятники и делают на них разные надписи, даже в стихах. Но у нас...

— Что ни край, то обычай...

— А знаете, я, пожалуй, поставлю крест на могиле моего Феликса,— после недолгого раздумья сказала пани Вурм.

Никто так и не узнал, где похоронила пани Вурм свою собаку и поставила ли она на могиле крест. Но на следующее утро ее видели выходящей из дома с большой дорожной сумкой, а потом, вечером,

кто-то углядел, как она вылезала из автобуса. Стало быть, целый день она провела вне дома. И действительно, в тот день пани Вурм была далеко за пределами города, на краю парка, который переходил в одичавший лес, а затем в густые заросли, луга, поля. На опушке леса, среди кустов терна и шиповника, она с немалым трудом, специально прихваченной с этой целью лопаткой для угля, выкопала прямоугольную ямку, положила туда гробик с телом Феликса и насыпала сверху могильный холмик. В землю она воткнула маленький, сделанный из двух связанных прутиков крест, совершенно такой же, какой ставят дети на могилке сдохшей канарейки. Потом долго сидела на лесной опушке и смотрела на пустынные луга и далекий, затянутый дымами и туманом город. Минутами ей казалось, что Феликс бегает по лугу, носится кругами, катается в траве, тявкает, прячется в кустах. Он не очень-то послушен, но это не беда, потому что, если позвать погромче и построже, покорно возвращается, укладывается у ее ног, дышит, зевает, чихает. И вдруг исчезает бесследно. Нет его ни на лугу, ни рядом с ней. Мир снова пуст.

Потом, когда пани Вурм ехала обратно в город, и в течение многих последующих дней, везде, где бы она ни находилась, дома, на улице, в трамвае, Феликс очень часто появлялся перед ней. Прибегал без зова, запыхавшийся, то веселый, то грустный, но столь же неожиданно исчезал, и бессмысленно было повторять его имя. Ведь это была душа Феликса, ибо тело его покоилось в земле. Отнюдь не воспоминание, именно душа. Пани Вурм подумала, что бедная, растерянная, покинутая телом душа собаки, подобно душам умерших людей, не может найти себе пристанища ни здесь, среди живых, ни там, в окружении мертвых. И потому пани Вурм сделала то, что полагается делать после смерти человека: заказала заупокойную мессу. Ради этого она поехала на другой конец города, в приход, где ее не знали, а несколько дней спустя, в шесть часов утра, стояла на коленях у бокового алтаря и, устремив взгляд ввысь, поверх головы ксендза, который молился за упокой души Феликса,— беседовала непосредственно с богом. Заговорщически ему подмигивала, словно хотела сказать: провели мы с тобой, господи, этого благочестивого бюрократа, который сейчас как раз служит обедню, но ведь ты-то, господи, знаешь, в чем дело! Господь, однако, молчал и смотрел на нее сурово, так что пани Вурм немножко испугалась и стала просить у него прощения. Она просила у господа бога прощения, но сама продолжала упорствовать: ее друг Феликс заслуживает вечного спасения. Пани Вурм была достаточно образованна, она окончила гимназию и в диалоге с богом не выглядела невеждой. Когда ей напомнили, что животные не были сотворены по образу и подобию божию, а следовательно, и души иметь не могут, пани Вурм возразила: Феликс столько раз доказывал обратное, что, возможно, тут какая-то ошибка? Может быть, вовсе не бог, а человек в своей грешной гордыне и мании величия, не желая видеть в животных братьев, отказал им в праве иметь душу? К концу богослужения пани Вурм забрела в такие дебри и так запуталась в противоречиях, что, выходя из костела, решила завтра же исповедаться и причаститься.

На следующее утро пани Вурм добрый час простояла на коленях возле исповедальни. Ксендз слушал ее долго и терпеливо, лишь вздыхая по временам и поднимая глаза к распятому на кресте высоко под сводами костела Христу. Пани Вурм сосредоточенно и смиренно выслушала все, что ксендз ей сказал, приняла причастие и долго еще стояла на коленях на холодном каменном полу и молилась. Домой она возвращалась пешком, по дороге заходя в магазины за покупками. Поскольку с ней уже не было собаки, которая своим пугающим уродст-

вом привлекала всеобщее внимание, то больше замечали ее. Она казалась бледней обычного, глаза как будто посветлели, а узкие губы были сжаты еще плотнее, чем всегда. Однако держалась она прямо и выглядела спокойной. Соседка, которая в тот же день после обеда заглянула к пани Вурм якобы для того, чтобы сообщить о появлении в магазине мороженой печенки, застала ее сидящей в кресле и пьющей кофе. Кресло было повернуто спинкой к окну и придвинуто к комоду, где среди фарфоровых статуэток, между двумя подсвечниками, в старомодной рамке, из которой был вынут какой-то семейный снимок, стояла фотография Феликса. Когда соседка ушла, пани Вурм принесла себе из кухни еще полчашки кофе и выпила его маленькими глотками; теперь она могла, удобно опершись головой о спинку кресла, спокойно смотреть на фотографию. Снимок был сделан семнадцать лет назад, Феликсу тогда не исполнилось и года. Пани Вурм никогда не допускала мысли, что Феликс может умереть, однако до чего же хорошо получилось, что она когда-то велела увеличить эту фотографию. Сейчас можно смотреть на него — молодого, живого, здорового. Видеть его в движении и спящим, положившим голову на лапы. Бегающим и отдыхающим. Глядящим на нее, улыбающимся (да, да, улыбающимся, даже если вам это не нравится!). Пани Вурм видела смертельно испуганные глаза Феликса, когда ему, привязанному поводком к ограде, впервые пришлось расстаться с ней на четверть часа, пока она что-то покупала в магазине,— и его радость, когда она вернулась, радость необузданную, стихийную, ни один человек не способен проявить столько чувства по отношению к другому человеку. Феликс был тогда так счастлив, что обрел ее вновь, так безумно, беспредельно счастлив, что готов был тотчас попасть под машину, погибнуть, перестать существовать, ибо, вероятно, считал, что ему даровано величайшее счастье и ничего более высокого в жизни испытать не придется. А мелкие случаи непослушания — когда страстишки заставляли его ненадолго отлучаться и забывать о хозяйке,— как же он потом перед ней извинялся за свою минутную слабость! Его отчаяние и стыд оттого, что он посмел ослушаться, и мольба о прощении — тоже не имели границ. И опять Феликс готов был провалиться сквозь землю, умереть, не существовать более.

Последние восемнадцать лет жизни пани Вурм были целиком заполнены Феликсом. Он неотлучно находился при ней, повсюду ей сопутствовал, дарил ее чувствами, которые пани Вурм больше неоткуда было получать, и хозяйка платила ему тем же. Ни сестра, тоже давно овдовевшая, спокойно коротавшая дни в собственном домике на другом конце Польши, ни сын, живущий отдельно от пани Вурм, ни его дети — не говоря уж о соседях и знакомых — никто не в состоянии был дать ей то, что давал Феликс: неподдельное чувство, истинную радость, абсолютное счастье. Разумеется, пани Вурм переписывалась с сыном и родными, а время от времени и встречалась, но это было совсем-совсем не то. «Любимый мой сын, дорогие мои дети, милая моя невестка, дорогая Лилечка. Обнимаю вас. Целую. Желаю здоровья. Радуюсь. Горюю. Сочувствую вам» — и так далее. Это были слова, не более того, пустые слова, как говорится. Слова, фразы и выражения, продиктованные обычаем и привычками, начисто лишенные содержания. Нечто подобное тому, что можно услышать в передаче концерта по заявкам, когда кто-то, нам незнакомый, желает кому-то, кого мы тоже не знаем, счастья, здоровья, благополучия и заверяет в неизменности своих чувств.

Первые несколько лет после смерти мужа порой выдавались такие минуты, когда пани Вурм казалось, что в ее жизни мог бы еще появиться какой-нибудь мужчина. Она даже пыталась иногда, в парке

либо в ресторане, взглядом или улыбкой привлечь внимание одиноких и подходящих по возрасту мужчин, однако если знакомство и завязывалось, то обычно заканчивалось лишь беседой, несколькими ни к чему не обязывающими фразами. Один только раз ей довелось пережить, к счастью, короткое, но достаточно мерзкое, любовное приключение. Как-то вечером она вернулась после трех- или четырехчасового отсутствия до такой степени морально и психически разбитая, что ей стыдно было глядеть собаке в глаза. Вернулась домой, к чистой любви, к подлинному счастью, к Феликсу, который не мог не видеть ее лица и тем не менее встретил, как всегда, радостно, чихнул несколько раз по своему обыкновению и завилял хвостом, отчего все тело пришло в движение. В его взгляде, однако, мелькнуло что-то ироническое, казалось, его глаза говорили: ну, видишь, нужно тебе это было? Не приятнее ли наша обычная жизнь с ее нескончаемыми приключениями? Впрочем, я тебя понимаю, кому, как не мне, лучше такое понять, сам ведь по временам поддаюсь этой дурацкой слабости, а возвратившись, не знаю, куда деваться, и стыжусь смотреть тебе в глаза! Но ведь все уже позади, давай-ка поскорей забудем о том, что случилось, и займемся нашими делами, обычными, повседневными делами, которые приносят нам обоим столько истинной радости. Делами привычными — будем спать, просыпаться, есть, оставлять на газоне кучки, бегать, ходить, лаять, говорить, дремать, глядеть, молчать...

Феликса больше нет в комнате. Его тело покоится далеко отсюда, в земле. От него осталась только зелеиая бархатная подушка в углу, на которой он спал (хотя последнее время предпочитал спать на тахте), пропитанная его запахом, да немного коричневой шерсти на подушке, на одеяле, на креслах, везде, где он любил лежать или ненадолго присаживаться. Там, где было его живое теплое тело, теперь пустота. Но Феликс по-прежнему присутствует в жизни пани Вурм, хотя пани Вурм не всегда его видит. Вдруг в каком-нибудь месте воздух уплотняется — и пожалуйста, вот он, Феликс, смотрит на нее, зовет — головой, лапой, всем телом, повизгивает, говорит: ну, давай подымайся со своего кресла, пошли, я хочу тебе кое-что показать, вон видишь, там пробежала кошка и спряталась в подвале, а тут крот, гляди, я чую его, сейчас я буду рыть землю в этом месте, схвачу его и принесу в зубах живое еще тело, облаченное в мягкую шубку. Крота Феликсу, разумеется, поймать не удается, но это ничего, он готов тут же пуститься в погоню за бабочкой, неизвестно зачем забраться в заросли или замереть вдруг, всматриваясь во что-то, чего пани Вурм разглядеть не может,— в духа, в призрак, в нечто такое, что только еще должно случиться и чего пани Вурм предвидеть не в состоянии. Потом он опять опускает голову к земле, бежит, нюхает. Машет хвостом, уговаривает хозяйку: пошли, побежим в ту сторону, по струйке того запаха, который приведет нас в такое место, где нам встретятся вещи удивительные и необычайные. Феликс исчезает, растворяется в воздухе, прячется куда-то, за куст или в какой-нибудь закоулок, но вот появляется вновь — еще моложе, еще веселее, чем был, еще более задиристый, изобретательный, предприимчивый.

И пани Вурм оставляет свое уже малоподвижное и грузное тело в кресле, а сама, легкая, воздушная, как батистовый платочек, что у нее на шее, не чувствуя никакого недомогания, тяжести, усталости, одышки, спешит за Феликсом.

■

АНТАЛ ГИДАШ

■

С венгерского

■ ■ ■

О, редкий час!
Какая тишь!
Она
столь бестревожна, как бывало,
когда мне грезилось в былые времена
под песню, что мне матушка певала.

■ ■ ■

Добро
вокруг его обсело,
и зло
его кругом объело.
Огнем кругом
за годом год пылали
день за днем.

■ ■ ■

— Где выход?
— меня вопрошают
тягучие ночи,
горючие зори, пылая.
И сердятся...
Думают:
знаю,
да только сказать не желаю.

■ ■ ■

На небесном куполе
мирового цирка
гаснет свет-закат,
будто
из-под купола
мирового цирка
на арену сбросился
вечер-акробат.

■ ■ ■

И вот она
передо мной,
река.
И, бледный, все забыв,
на побережье Леты
жду оклика
Харона-старика.
Надеюсь,
кратким
будет слово это.

Перевод ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

Тьма

Нервы мои гудят,
как на столбах
телеграфные провода,
когда — в холода —
ветра, ошалев,
несут, несут и несут
черный снег.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

■ ■ ■

Ты
небу, муравей, решил
вручить награду.
Дозволило оно
и, голову нагнув
и как бы говоря:
— Я очень рад!—
расхохоталось, солнцу подмигнув.

■ ■ ■

Восстало Эхо,
местью дышит:
не то кричит в ответ, что слышит.

■ ■ ■

Опередить Руссо решил? Опереди!
Напишешь к «Исповеди» предисловьице,
и сразу твое имя установится
не позади Руссо, а впереди!

■ ■ ■

Явилась.
В полусне
приблизилась ко мне
и над гранитом плит
метнулась в желтизне.
Стоял в испуге я.
Холодный ветер. Пыль.
Над лбом седая прядь
качнулась,
как ковыль.

Орга́н

В конце концов
я стал
таким орга́ном,
что коль нажмешь
хоть на единый клавиш —
все трубы разом загудеть заставишь!

Перевод ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

Спасибо

Как пламенеющей зарей
завороженный бедуин
подсолнух-голову
повертывает на восток,
чтоб посылать и принимать
глаголов нескудеющий поток —
так мы с тобой,
судьбой
разлучены,
друг другу слали
в годы бед
истерзанной любви
животворящий свет.

Черешни

Семьдесят пятый раз
расцвела —
с тех пор как живу —
черешня.

Ветерок осторожный
иногда невзначай
тычинки ерошит...

Но вспять уже потекла
в моем горле
песня.

■ ■ ■

Нельзя понять,
зачем стареть
надумал я,
когда ничто
мне так не шло,
как молодость моя.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

■ ■ ■

Как на ветру оконная
разболтанная рама,
стихотворенье скверное
скрипит. скрипит
упрямо...

Перевод ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

1919

Думали мы, что владеем землей родной,
и дышали сладко, в полную силу.
Был я ровесником века этой весной,
а точней — девятнадцать мне было.

Непокоренные

Не только тот героем был,
кто шел бесстрашно
в бой —
на подвиг ратный,
когда алел над ним глагол,
как в пламени зари
алеют Татры.

И тот героем был,
в ком корчилось от боли слово,
как лава
в получившем по зубам
вулкане.
Кто вынес все —
без содроганья.

■ ■ ■

Потому что с тобой
мы были одно,
не дано тебе быть
отдельно.

И когда
в холодеющем теле
моем
угаснет тепло,
то отхлынешь и ты
от земного тепла
навсегда.

Будет эта минута
легка,
словно
радуга мотылька,
и — как прежде —
вдвоем
среди белых снегов постели
отдохнем мы с тобою
тогда.

Муравьи

Вдаль муравьи уносят на спинах минуты...
В юности мне муравьи приносили на спинах минуты,
каждый — по сотне,
но я говорил им: — Эй, поскорее!
Сотни минут — целое лето,
лето — целая жизнь.

Позже, когда я достиг поры возмужанья,
время перекачнулось:
нес муравей на спине лишь одну минуту,
но полновесную, емкую, круглую.

И это прошло.

Ныне они не приносят, уносят на спинах минуты...
Время ускорилось:
стала неделя минутой,
год — как неделя.

В ночь подниму я бокал новогодний,
а на заре календарь возвещает
Нового года канун.

Несколько слов поутру. Взгляд пополудни.
Снова готовлюсь ко сну.
Ночь тяжела и бессонна,
а на рассвете мне чудится, будто
ночь не длиннее минуты.

В лапы схватило меня
жестокое время
и без билета обратного
мчит к рубежу...

Вдаль муравьи уносят на спинах минуты,
а минут почти не осталось.

Вдаль их уносят, уносят, уносят.
Куда?..

Не будет новой Хиросимы

Ты встал, и — солнце над тобой,
и облака бегут гурьбой,
и крыши — как цветы.
Заря восходит по весне
и зажигает свет в окне.
Что слаще знаешь ты?

Улыбка глаз, напев души,
весны приказ — стихи пиши!
Озер-фантазий блеск,
мелодий плеск, строки ручей...
И жажда жизни горячей,
и новых ждешь чудес!

Но слово вдруг пришло одно,
мелькнуло будто тень оно —
не шевельнуло трав,—
но прогремело, словно взрыв,
дорогу молниям открыв,
грозой покой поправ.

И сердце прыгнуло в гортань.
Дыханья нет. Бессильна длань
Глаза — как два бельма.
И не горит заря в окне...
О люди, объясните мне:
откуда эта тьма?

Чтоб хлынул свет...

Не надо
лета мне —
на лето
рушится зима.
И чем сильней
жара
июльских дней,
тем нам страшней
метели кутерьма.

Мне нужно,
чтоб весна
прекраснозвучная
настала вдруг,
чтоб хлынул свет,
свежей, чем кислород,
и чтобы, как друзья,
не размыкали рук
восток
и север...
запад...
юг!..

Перевод Н. ГОРСКОЙ

■

АЛЬФРЕД АНДЕРШ

Винтерспельт

РОМАН

Перевод с немецкого И. МЛЕЧИНОЙ

В ту субботу (7 октября), когда Кэте передала Хайнштоку план Динклаге и уговорила его участвовать в нем, хотя бы в роли «почтового ящика», Хайншток, пока она еще не ушла, поручил ей передать Динклаге, чтобы он немедленно приостановил всякую деятельность патрулей в лесистой долине восточнее Хеммереса и тем самым гарантировал безопасность Шефольда.

Ему доставляло удовольствие сознание, что он может передать приказ офицеру фашистских войск, майору и кавалеру Рыцарского креста. При этом он действительно употребил такие слова, как «деятельность патрулей» и «гарантировать безопасность».

Вслед за разочарованием, причиненным Хайнштоком, еще и неприятный поворот событий, виной чему был Динклаге.

Она пришла к нему в два часа, так как знала, что в это время в канцелярии никого нет. Он повел ее в свой кабинет, но оставил дверь открытой, чтобы видеть, если кто-нибудь зайдет в канцелярию. Они даже не обнялись. Они сидели друг против друга у его письменного стола. Кэте рассказывала о Шефольде Она старалась правильно описать Шефольда — какова бы ни была политическая позиция Динклаге, ему, как офицеру, неприятно будет узнать, что в его линии обороны есть незащищенные места и что есть люди, которые этим пользуются. Сотрудничать со шпионом он бы не стал. Ей удалось представить Шефольда в правильном свете.

— Отлично! — сказал, наконец, Динклаге. И тоном, каким договариваются о светской встрече, добавил: — После всего, что ты мне сказала, для меня будет удовольствием познакомиться с господином доктором Шефольдом.

— Такой возможности у тебя не будет,— сказала Кэте. И она объяснила, к какому соглашению пришли они с Хайнштоком: — Шефольд будет доходить только до Хайнштока, а Хайншток будет передавать принесенные Шефольдом известия мне, я же буду приходить с ними к тебе

«Три человека вместо одного,— подумала она.— Если бы Хайншток показал мне дорогу, я бы провернула все это дело одна».

— Отлично,— повторил Динклаге.— Превосходно продумано. Хайншток — специалист по конспирации.

Окончание Начало см. в № 5.

Она не стала говорить, что та часть связи, которая касалась лично ее, предложена ею самой. Умолчала она и о том, что предлагала более удачное решение, операцию без сомнительного участия Шефольда. Поскольку Динклаге знал природу ее отношений с Хайнштоком — она не утаила их от него,— ей не хотелось даже намекать ему, будто ей что-то не нравилось в поведении Хайнштока.

Динклаге сам развеял все ее сомнения, связанные с использованием Шефольда.

— Самое лучшее во всем этом,— сказал он,— то, что Хайншток связан с человеком, который является доверенным американцев. Боюсь, я не мог бы удовольствоваться посредничеством одного Хайнштока.

Она пристально посмотрела на него. Хотя Динклаге в этот момент глядел в окно, на пустую деревенскую улицу, он, очевидно, почувствовал ее взгляд и поспешил объяснить, что́ имел в виду.

— Конечно, я доверяю Хайнштоку,— сказал он.— Но, само собой разумеется, мне пришлось бы потребовать от него установления прямых контактов. Этого я требую и сейчас.— Он отвернулся от окна, посмотрел на Кэте.— В плане должна быть намечена одна важная деталь,— сказал он.— Последнее сообщение должно прийти через линию фронта.

Она не поняла или, во всяком случае, подумала, что пока имеет право не понять его.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она.

Несколько секунд она с нетерпением ждала ответа.

— Я ставлю на карту все.— Он начал перечислять, делая паузы после каждого слова: — Себя. Мой батальон. («Впервые он назвал его своим»,— подумала Кэте.) Даже тебя, Кэте! — Это прозвучало так, словно он разговаривал с самим собой.— И потому я вынужден требовать, чтобы и американцы что-то поставили на карту,— продолжал он.— Немногое. Только то, что своего курьера, который принесет мне их окончательное решение, они отправят ко мне через линию фронта.

Теперь настала ее очередь смотреть в окно. Субботние послеполуденные часы и свет октябрьского солнца, лишь слегка приглушенный дымкой, делали эту деревенскую улицу, где правил майор Динклаге с его системой ведения войны, совсем безжизненной. Дом Телена напротив, свинцово-белый, лежал, словно окопавшись, отгородившись от мира дневным сном.

— Так не пойдет,— сказала она решительно.— Это слишком опасно. Ты не можешь требовать такого от Шефольда.

— Я позабочусь о том, чтобы с ним ничего не случилось,— сказал Динклаге тоном офицера, привыкшего действовать.

— Ну, хорошо,— сказала она,— мы можем сделать так, что он придет к тебе своим обычным путем. В таком случае он отправится от каменоломни по дороге в Винтерспельт. Или, может быть, ты бы встретился с ним у Хайнштока? Это можно было бы устроить.

— Ты не понимаешь, Кэте,— сказал Динклаге.— Если он придет через линию фронта, для меня это будет единственным доказательством, что американцы относятся ко всей этой истории всерьез.

Охваченная внезапным чувством, что все ее усилия бесполезны, она не стала предлагать другие решения. Дело ведь не в том, что он вбил себе в голову мысль, от которой, как бы он ни упрямился, она, в конце концов, могла бы его отговорить. Условие, поставленное им, было выражением определенных убеждений, определенного образа жизни и мышления, где доводы разума не находили опоры, скользили, как руки по голой стене.

— Так уж он устроен,— сказала она Хайнштоку вечером того же дня (все это происходило 7 октября, в прошлую субботу), стоя в темноте у двора Телена.— Нечто не подлежащее изменению.

— Да какое там,— сказал Хайншток.— Это вроде той истории с рыболовами, когда ему больше всего хотелось обратиться к американцам по радио, чтобы они забрали своих людей с берега. Этот господин все еще воображает, что существует некий кодекс чести среди офицеров.

Кодекс чести или что-то другое, но она, во всяком случае, к концу своего разговора с Динклаге была подавлена и растеряна. Она подумала о том, чтобы отказаться от его плана, объявить Динклаге, что при таких условиях его план неосуществим.

Она содрогнулась при мысли о Шефольде, о тех последствиях, какие это могло для него иметь; и все потому, что она, Кэте, вмешалась в авантюру, которая, не будь ее, осталась бы просто игрой ума. Полная страха, дурных предчувствий, она смотрела на Динклаге, который заговорил о чем-то другом, потому что кто-то вошел в канцелярию. Но она так и не сумела заставить себя настроиться на эту новую тему, не слушала, сидела молча, так что Динклаге пришлось встать и закрыть дверь. Он положил руку ей на плечо, но она сидела будто застыв; вполголоса она сообщила о пожелании Хайнштока, чтобы в ближайшие дни в лесную долину восточнее Хеммереса не посылались патрули; она заметила, что Динклаге помедлил, прежде чем дать согласие: по-видимому, ему было не так-то легко прогнать мысль, что в обороне на его участке фронта есть пробелы.

Несколькими часами позже она спросила Хайнштока:

— Не стоит ли нам отменить все это дело?

Он был перед этим у Вайнанди, купил продукты и газеты; она нашла его в гостиной старого Телена, где он беседовал с хозяином. Потом они вышли вместе во двор. В темноте военной ночи, в которой пряталась деревня — хоть глаз выколи,— она передала ему разговор с Динклаге. Коттедж полугородского типа на другой стороне улицы — командный пункт батальона — был почти невидим: только серые контуры.

Хайншток сразу понял, что в этот миг и, по-видимому, в последний раз он держит в своих руках судьбу плана Динклаге. Если бы он сейчас ответил на ее вопрос решительным «да», то с этой ужасной, на его взгляд, идеей — сдать американцам немецкий батальон — было бы покончено. Но он не сказал: «Да» или: «Правильно! Покончим с этим пока еще не взялись!», а сказал лишь:

— Слишком поздно. Я уже говорил с Шефольдом.

Логических причин для такой реакции Хайнштока нет. Он сам признает слабость, даже ничтожность приведенного им довода, потому что когда Кэте возражает, что еще вполне можно объяснить Шефольду что акция не может состояться и почему, он говорит:

— Конечно, я мог бы позвать Шефольда и дать отбой.

По поводу того, что он упорно не желает этого делать, как показывает условная форма приведенной фразы и слово «конечно», могут быть высказаны следующие предположения:

1. Возможно, что за время, прошедшее с сегодняшнего утра, когда Кэте передала ему новость, он изменил свое мнение о плане Динклаге, понял, что, независимо от того, удастся он или нет, речь идет о событии, имеющем в военной истории чрезвычайное значение.

2. Он действительно считает, что делу уже дан ход. Если Динклаге говорил с Кэте, Кэте с ним, Хайнштоком, он с Шефольдом, Шефольд с этим американским офицером в Маспельте, то это значит, что события уже приняли определенный оборот и повернуть их вспять невозможно. Является ли это выражением тривиальной логики типа «взялся за гуж, не говори, что не дюж» или чем-то гораздо бо́льшим, остатком веры в неотвратимое у этого приверженца абсолютного просвещения,— кто знает?

3. Он увидел — не в самом плане, а просто в осуществлении — результат любовной связи между Динклаге и Кэте и почувствовал, что их связь такого испытания не выдержит и ему достаточно поддержать одно, чтобы разрушить другое. Неудовольствие, даже страх Кэте, причиной которого явилось поставленное Динклаге условие относительно Шефольда, были для Хайнштока первым знаком ее сомнений, той критики, которой она подвергла Динклаге. Все это, конечно, он ощущал весьма смутно, не очень давал себе в этом отчет. Но при его характере ревность может привести к неожиданным действиям, и это тоже нельзя игнорировать.

Однако он не привел ни одной из перечисленных здесь причин своего отказа «дать отбой», а ограничился технической стороной дела, сказав Кэте:

— Ах, знаешь, если Динклаге гарантирует Шефольду безопасность при переходе через линию фронта, то для Шефольда это не так уж и рискованно.

Сознавал ли он, что тем самым принимает тот офицерский кодекс чести, который только что отрицал?

С помощью этого довода ему удавалось также поддерживать в Шефольде нужное настроение, хотя это было и не так просто.

Когда на следующее утро, в воскресенье 8 октября, Шефольд появился снова, настроение у него было заметно хуже.

— Кимброу вел себя странно,— сообщил Шефольд.— Он меня выслушал, задал кое-какие вопросы, а потом сказал лишь, что поговорит с командиром полка. Он сказал, что не представляет себе, чтобы там пошли на это предложение.

— Ну, а я вам что говорил,— сказал Хайншток, но не упомянул, что такое решение считает наилучшим. Если американцы откажутся играть в эту игру, Динклаге может спрятать свой бессмысленный план, план, придуманный одиночкой, в ящик, а Кэте, Шефольд и он, Хайншток, спокойно дождутся конца войны.

— Во-первых, сам Кимброу не обнаружил ни малейшего восторга,— сказал Шефольд.— Вы мне можете это объяснить?

— Интернационал офицеров,— сказал Хайншток.— Они не любят, когда кто-то из них нарушает общий порядок.

Шефольд покачал головой.

— Вы не знаете Кимброу,— сказал он.— Он совершенно не похож на стопроцентного офицера.

— Зато Динклаге — офицер на сто пятьдесят процентов,— сказал Хайншток и сообщил, какое условие придумал Динклаге для последнего этапа шефольдовской миссии.

Поначалу Шефольд начисто отказался выполнять это требование.

Хайншток наблюдал, как он в полном замешательстве выкрикнул:

— Нет! Это уж чересчур!

Багровое лицо Шефольда не обладало способностью бледнеть. Только его глаза, тоже голубые — но не фарфорово-голубые, как у Хайнштока,— несколько потускнели, затуманились.

Овладев собой, он сказал:

— Исключено! Я охотно сделаю все, но не желаю, чтобы меня сцапали наци.

Хайнштоk не любил слово «наци», которое было в ходу на той стороне. Он впервые услышал его от Шефольда. Оно казалось ему слишком мягким по сравнению с тем, что обозначало. На его немецко-богемской родине слово «Наци» было сокращенной формой от католического имени Игнац.

Вопреки своему намерению убедить Шефольда он сказал:

— Я, конечно, понимаю, что этому господину недостаточно получить те известия, которые ему, возможно, передадут американцы, так сказать, в приватном порядке, через женщину...

Он осекся.

Шефольд тотчас зацепился за эти слова.

— О,— сказал он,— так тут замешана женщина. Кто она?

— Это вас не касается,— сказал Хайнштоk. Теперь он вымещал на Шефольде раздражение, вызванное тем, что он совершил ошибку, упомянув Кэте.

Шефольд не дал увести себя в сторону. Казалось, он на миг даже забыл о возмущении, которое вызвало у него неслыханное требование Динклаге. Он сделал выводы из оговорки Хайнштоka.

— Так, значит, все это затеяла женщина,— сказал он, не обращая внимания на то, что Хайнштоку это явно не нравилось.— Черт побери! Это, видимо, необычная личность, если она одновременно пользуется доверием майора и вашим и может служить связной между вами. А я представлял себе, что вы сами...— Он оборвал свою мысль, не договорив.— Я ломал себе голову, как вы вообще узнали о намерении Динклаге, но не допытывался, потому что не хотел лезть в ваши тайны и думал, что когда-нибудь вы меня в них посвятите. Самое позднее — когда все уже будет позади. Кстати, Кимброу меня сразу спросил, каким образом вы узнали об этом плане. Теперь я могу ему рассказать.

Казалось, он не замечал, что Хайнштоk смотрит на него с раздражением.

— Она хорошенькая? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, добавил: — Хотел бы я только знать, она выспрашивала майора по вашему заданию или...

— Боже милостивый,— сказал Хайнштоk,— замолчите же, наконец!

По виду Шефольда нельзя было понять, обиделся он или нет. Он улыбнулся, но в его улыбке чувствовалась растерянность.

В этот момент он наверняка вспомнил о том, что болтали о Хайнштоке в трактирах Айгельшайда или Хабшайда,— эти разговоры и побудили его в один прекрасный день посетить владельца каменоломни. Упоминали в трактирах и некую приятельницу Хайнштоka — молодую учительницу, которая эвакуировалась в Винтерспельт. Ему стало неловко, что он настаивал на продолжении этой темы. Он не был бы Шефольдом, если бы не начал сразу же романтизировать образ неизвестной ему Кэте. Мысль о таинственных, смелых и красивых женщинах-подпольщицах взволновала его. Он был последовательный приверженец Стендаля, и всякая женщина, даже

та, которую он никогда не видел, тотчас обожествлялась им. То, что сейчас предметом его страсти была официантка в Сен-Вите, его не смущало. Возможно, мысль о том, что в операции принимает участие женщина, побудила его согласиться на условие майора скорее, чем утверждение Хайнштока, что переход через линию фронта будет для него не столь уж рискованным, если майор гарантирует ему безопасность.

Хайншток ничего не мог противопоставить своим сомнениям в том, что такая гарантия вообще возможна. Во власти Динклаге принять любые меры (издать приказ, запрещающий стрелять, поставить на линию обороны меньше людей, позаботиться о том, чтобы на ней находились только самые надежные и опытные солдаты) — момент, когда Шефольд возникнет у окопов, все равно чреват опасностью.

— А эта дама,— спросил Шефольд,— не может объяснить майору, что было бы гораздо проще, если бы я пришел в Винтерспельт по дороге? Я бы явился в его канцелярию, предъявил свое письмо,— вы о нем знаете! — и он, таким образом, принял бы уполномоченного по охране произведений искусства. Это было бы абсолютно естественно! При этом риск для меня был бы очень незначительный, а для него — вообще никакого.

Хайнштоку не хотелось объяснять ему, почему Динклаге не устраивало такое предложение. Кэте уже предлагала это майору, хотя и не уточняла деталей, но в ответ услышала лишь что-то насчет «доказательства», в котором он нуждается.

Он решил отложить разговор.

— Я думаю, нам незачем ломать себе голову,— сказал он.— Американцы не будут участвовать в этой операции.

Но оказалось вполне достаточно, чтобы из всех американцев в игре принял участие только этот капитан Кимброу, и вот Шефольд попал в руки нацистских солдат, шел сейчас рядом с одним из них, поверженный властелин, произведший на Кэте впечатление особенно беззащитного человека. Если бы она знала, каков он на самом деле, она еще решительней воспротивилась бы тому, чтобы Динклаге и Хайншток использовали его для этой миссии.

В конце концов все свелось к тому, чтобы подвергнуть Шефольда испытанию на мужество. Она знала, что Хайншток не согласится с таким утверждением. «Ведь он мог отказаться»,— возразил бы он, если бы Кэте сформулировала свою мысль именно так. И действительно, еще вчера он ей сказал:

— Жаль, что он, в конце концов, все же не отказался.

Однако на ее вопрос:

— Но ты не намекнул ему на это? Почему ты просто не запретил ему?

Хайншток ответил:

— Вы же хотите, чтобы все осуществилось, ты и Динклаге? Или вы уже этого не хотите?

Она медлила, не уходила, так как не могла избавиться от мысли, что никогда больше не увидит этой хижины, при этом она думала о том, какой шанс (завоевать ее расположение) упустил Хайншток,

не запретив Шефольду переход через линию фронта и тем самым не остановив всю операцию.

Возвращаясь на велосипеде в Винтерспельт, разгоряченная, но без всяких признаков испарины, Кэте размышляла о мужестве. Существуют разные виды мужества. Мужество Шефольда, пошедшего через линию фронта, было совсем иным, нежели то, которое пришлось бы проявить ей, если бы она пошла к американцам и обратно к Динклаге. Для этих одиноких прогулок через лесную долину («провернуть это дело одной»), вероятно, вообще не нужно никакой смелости, а нужно нечто другое, что присутствовало в ней и так: неудержимое желание вырваться, перебраться на новое место (сегодня ночью она это сделает), желание, которое она обнаружила в себе в тот момент, как покинула Берлин.

В это время Шефольд...

Когда, почему, при каких обстоятельствах человек решается проявить мужество? Ведь даже то, что его подвергли испытанию на мужество, не является достаточной побудительной причиной. Хайншток был абсолютно прав: Шефольд мог отказаться.

Он должен был отклонить хотя бы этот, предварительный, вообще не предусмотренный программой поход. Никто не мог бы его за это упрекнуть.

Рождение партизанки

Кое-что проясняется

1

Знакомство между Кэте и майором Динклаге состоялось так быстро — в первый же день появления Динклаге в Винтерспельте — благодаря тому что ближе к вечеру 1 октября в доме Телена появился ординарец, который, смутившись при виде трех молодых женщин, спросил, не найдется ли у них ночника для майора.

В этой связи следует объяснить, что тот дом полугородского типа, покрытый серой штукатуркой и какой-то безликий среди чисто выбеленных крестьянских домов и сараев из бутового камня,— дом, который реквизировали все части, стоявшие в Винтерспельте, и использовали как командный пункт,— находился напротив двора Телена по другую сторону деревенской улицы и принадлежал ему. Старый Телен построил его для своего брата, священника, но тот умер, не успев выйти на пенсию. Поскольку дом принадлежал Телену и находился рядом, то получалось, что майор, когда ему что-то было нужно, первым делом посылал к нему.

Ефрейтор-ординарец, по-видимому, одновременно и денщик Динклаге — догадка, подтверждение которой Кэте обнаружила за ужином на следующий день,— смущался все больше, потому что старый Телен, словно сплетенный из ржавой проволоки, сидел за столом со стаканом домашнего шнапса и молчал, а девушкам доставляло удовольствие видеть растерянность ординарца.

Конец этому молчаливому, даже враждебному наблюдению за ординарцем положила Тереза.

— Ты единственная среди нас,— сказала она Кэте,— у кого есть ночник. Может, одолжишь его господину майору?

— Но лампа мне самой нужна,— сказала Кэте. Она и на секунду не хотела себе представить, что лишится возможности читать вечером в постели.

Когда солдат ушел, Элиза вспомнила, что в кладовке на чердаке у них есть еще одна лампа. Они втроем пошли наверх и стали искать; от мрачной нелюбезности, которую они проявили внизу, в гостиной, не осталось и следа — их вдруг охватило смешливое, дурашливое настроение. Они нашли ночник, принесли его вниз, ввинтили лампочку, проверили, горит ли она, стряхнули пыль с ветхого лилового абажура.

Оставалось отнести ночник в дом напротив, на «командно-наблюдательный пункт батальона», это поручили Кэте. Хотя старый Телен даже не взглянул на дочерей, а только пристально смотрел куда-то в угол гостиной, Тереза и Элиза в его присутствии не посмели отважиться на этот визит, который они, возможно, осуществили бы с величайшим удовольствием. Элиза сослалась на работу в хлеву, а на лице Терезы появилось выражение, которое Кэте истолковала не только как робость перед отцом, но и как озабоченность: Тереза думала о Борисе Горбатове, который сегодня, в воскресенье, не работал на дворе. Роман с русским вынуждал ее по возможности избегать встреч с немецкими солдатами.

2

В доме было тихо. Кэте, не постучав, отворила дверь канцелярии и увидела прямо перед собой Динклаге: он стоял у письменного стола штабс-фельдфебеля Каммерера и тотчас поднял на нее глаза, оторвавшись от какой-то бумаги, которую читал. Он был один; по-видимому, поскольку было воскресенье и наступал вечер, он отпустил писарей, чтобы они могли устроиться на квартирах.

— Это просто прекрасно,— сказал он, сразу сообразив, в чем цель ее прихода. И, взглянув на посетительницу и по ее внешности сразу же заключив, что она поймет смысл его замечания, добавил: — Это спасет мне вечера.

— Мы раскопали ее в кладовке. Я не могла уступить вам свою, потому что мне просто необходимо читать перед сном,— сказала Кэте; мысль о том, чтобы уступить этому человеку свою лампу, вдруг перестала ей казаться столь уж невероятной.

— Понятно,— сказал Динклаге.

Она нехотя призналась себе, что ей импонирует мрачный блеск его Рыцарского креста, и решила: это потому, что его носят на шее.

Динклаге сказал:

— Давайте поднимемся вместе наверх! Проверим, работает ли лампа.

На это приглашение, конечно, следовало ответить: «Она проверена, она работает, в доме напротив такое же напряжение, как и здесь», но Кэте молча последовала за майором, который зажег свет в коридоре и, слегка хромая, как она заметила, пошел впереди нее по лестнице в мансарду, куда она, кстати, еще никогда не заглядывала. Тон, каким он предложил ей «подняться вместе наверх», не был непристойным, но и не был вполне безобидным: чувствовалось, что он просто ищет предлога, чтобы побыть с ней еще какое-то время.

На лестнице он остановился, повернулся к ней и спросил:

— Могу я узнать ваше имя?

— Ленк,— сказала Кэте.

— Меня зовут Динклаге, фрейлейн Ленк,— сказал он.

Она посмотрела на него и засмеялась.

— Почему вы смеетесь? — спросил он.

— Потому что у вас смешной вид с этим ночником в руках,— сказала она.— Он не подходит к вашему Рыцарскому кресту.

— Судя по всему, у вас преувеличенное представление о тех, кто имеет награды,— сказал он.— Или, во всяком случае, о самих наградах.— Он тоже рассмеялся; похоже было, что он нисколько не обиделся.

Комната наверху была не очень большой, но и не выглядела как мансарда, хотя стены по обеим сторонам окна были скошены. Здесь не было ничего, кроме походной кровати, двух стульев и двух выкрашенных в серый цвет ящиков, один из которых стоял возле кровати. Кровать была как две капли воды похожа на ту, что стояла у Венцеля Хайнштока. На ящике лежало несколько книг. Динклаге чуть отодвинул ящик — обнажилась розетка, он поставил лампу на ящик, воткнул вилку в розетку: лампочка загорелась.

— Чудесно,— сказал он.— Спасибо.

Пока он возился с лампой, Кэте подошла к окну, тому самому, которое майор Динклаге, приняв свои таблетки, имел обыкновение открывать по утрам, чтобы проследить взглядом за полетом американских бомбардировщиков при этом он высчитывал, сколько нужно эскадрилий истребителей-перехватчиков, чтобы рассеять такие мощные боевые порядки, и думал: «Если бы у нас еще были истребители», за что позднее себя критиковал, ибо непроизвольно употреблял первое лицо множественного числа. Сейчас, уже ближе к вечеру, не было слышно самолетов и Кэте смотрела не в небо, а на сад за домом. Сад представлял собой четырехугольную площадку, где стояло несколько старых яблонь, за которыми, видимо из-за войны, никто уже не ухаживал. Тем не менее яблоки судя по всему, кто-то собрал.

Она услышала, как Динклаге сказал:

— Конечно, я мог бы обойтись свечами. Но это всегда так неудобно: проснешься ночью и надо ощупью искать спички. И потом нужны, по крайней мере, три свечи, чтобы было достаточно светло и можно было читать.

Кэте обернулась в полутьму комнаты, где зажженный ночник отбрасывал пятно лилового света. Ей показалось странным, что майор Динклаге не выбрал себе более подходящего жилья, чем эта почти пустая комната, к тому же без всякого подсобного хозяйства. Как правило офицеры квартировали у богатых крестьян. Комендант гарнизона которого сменил Динклаге, катался как сыр в масле на квартире у Мерфорта.

Динклаге не подошел к окну, а прислонился к стене у кровати и спросил Кэте:

— Я полагаю вы не из Винтерспельта, фрейлейн Ленк.

— Из Берлина,— ответила Кэте.— Я здесь всего лишь с июня, с тех пор как эвакуировали всех из Прюма. До июня я преподавала в гимназии в Прюме.

— А здесь в Винтерспельте, вы тоже преподаете?

— Нет,— сказала она.— здесь школа закрыта. Я с лета уклоняюсь от работы. И у меня нет разрешения находиться здесь.

— Вам чинят препятствия?

— Сначала мне приходилось прятаться. Теперь меня оставили в покое. Здесь даже нет полицейского поста. А у местного ортсгруппенлейтера сейчас другие заботы.

— Интересно,— сказал он.

Кэте показалось, что он всерьез задумался над малосущественной информацией, которую она ему сообщила. Потом он сказал:

— Приходите ко мне, если у вас все же возникнут неприятности!

— Спасибо, но в этом не будет необходимости.

В эту первую встречу с майором Динклаге Кэте была одета, как всегда: черный джемпер с треугольным вырезом, узкая темно-коричневая юбка, тонкие серые шерстяные чулки, еще довольно крепкие туфли. Ей больше нечего было надеть, если не считать того летнего платья, что она купила в Прюме.

Вернувшись к себе, Кэте ужаснулась, что ни с того ни с сего доверилась Динклаге, рассказала ему о своем бегстве. Господи, ну почему она в его присутствии начисто забыла — хотя Хайншток и не уставал ей это внушать,— что она живет в мире, где всякое проявление доверия чревато доносом?

3

В деревне встают рано. Но то, что и майор Динклаге на ногах уже в четыре часа утра, когда еще темно, по существу ночь,— этого Кэте не предполагала. Утром в понедельник, в такой ранний час, он стоял по ту сторону дороги возле дома, опершись на палку. А Кэте стояла у окна в гостиной Телена, где не горел свет, так что Динклаге не мог ее видеть, несмотря на поднятые жалюзи. Ей удалось хорошо разглядеть его: он казался еще более миниатюрным, еще более аккуратно скроенным, чем днем,— четкий силуэт, фигура, словно отлитая из металла, прусский офицер, как его изображают в книгах, в плотно пригнанном мундире, ладно сшитых бриджах и сверкающих сапогах — форме, которую Кэте ненавидела, ибо в ней любой человек выглядел надменным. На голове у Динклаге была пилотка. Он казался маленьким; разговаривая с ним, Кэте прикинула: он чуть выше ее, стало быть, его рост примерно метр семьдесят.

Она опустила жалюзи, вышла из дому и направилась к нему.

— Вы рано встаете, господин майор,— сказала она.

— Все ждал вас,— сказал он.— Много же вам понадобилось времени, чтобы прийти сюда.

Обе эти фразы он произнес четко, лишь слегка приглушенным голосом; они прозвучали так, словно он требовал объяснения от подчиненного, не выполнившего приказа.

Потом он вдруг разговорился.

— Я действительно рано встаю,— сказал он,— но только потому, что с трех часов не могу спать от боли. Вот уже два года я — счастливый обладатель артроза правого тазобедренного сустава, если вы знаете, что это такое.

Кэте ответила отрицательно, и он объяснил:

— Это заболевание, которое, собственно, даже не связано с войной. Возможно, война его только обострила. А началось все во время этой идиотской прогулки в Африку. Дивизионный врач хочет отправить меня из-за этого домой.

— Господи,— сказала Кэте,— надеюсь, вы не заставите его повторять это дважды!

Слова эти неожиданно сорвались у нее с языка; ей хотелось узнать, что он на это скажет.

— Заставлял уже шесть раз,— сказал Динклаге.

Хотя Кэте избегала смотреть на него, она чувствовала, что его взгляд в темноте устремлен на нее.

— Дивизионный лекарь прописывает мне отличные пилюли. Днем

я почти ничего не чувствую.— И тут же, почти без всякой паузы, он добавил: — Надеюсь, я вас не обидел, фрейлейн Ленк! На войне иногда приходится спешить.

Кэте нашла эти слова соответствующими действительности, а выраженный в них смысл — одной из немногих положительных сторон войны, однако она сказала:

— Ах, вот как, воин привык, чтобы все происходило стремительно.

— За всю войну я не сказал ни одной женщине ничего похожего,— ответил Динклаге,— если это именно то, что вы имеете в виду.

Кэте продолжала разглядывать дом Телена.

— В стеклах ваших очков отражается ночь,— сказал Динклаге.— Очки идут вам.

Она выслушала его молча. Очки она считала наиболее уязвимым в своей внешности, и не каждый мог себе позволить вот так просто заговорить с ней об этом.

Когда в этот момент появились русские, она почувствовала облегчение.

Около полудня вчерашний ординарец передал ей письмо майора, в котором он приглашал ее поужинать сегодня вечером. «К сожалению, всего лишь в канцелярии,— писал Динклаге,— и, к сожалению, всего лишь полевая кухня. Но доставьте мне удовольствие!» Почерк у него был аккуратный, правильный, не очень крупный, без нажима и волосяных линий. Под его подписью был постскриптум: «Ответа не требуется».

«Господи, Кэте!»

Посыльный уже второй раз приходил именно в тот момент, когда она возвращалась от Венцеля Хайнштока; вчера, например, он появился во второй половине дня, когда она только что сообщила Венцелю, что пришла новая часть и ночью расквартировалась в деревне, а сегодня... А что она, собственно, хотела рассказать ему сегодня?

За отсутствием свежих новостей она сказала:

— В деревне стало удивительно тихо. И почти не видно солдат.

Хайнштоk заговорил о своих наблюдениях; они касались главным образом мер по маскировке, которые осуществляла новая часть.

— Судя по всему, обстановка переменилась,— сказал он.— Этот новый командир, видимо, знает свое дело.

Кэте сразу отреагировала.

— Мне кажется, он порядочный человек,— сказала она.

И тут же взволнованно подумала, что́ отвечать, если Венцель прицепится к этой фразе и спросит, откуда она это знает или почему так думает, и уже приготовила формулу: «Просто он выглядит порядочным человеком», но потом оказалось, что у Хайнштока на такие дела нет никакого нюха или просто до него дошло не сразу, а лишь спустя какое-то время, может быть, как раз тогда, когда она читала письмо Динклаге?

— Ох, уж эти порядочные офицеры,— сказал он только.— Они верно служат хозяину.

Он жестом показал на свою шею, как бы напоминая о Рыцарском кресте Динклаге, о котором Кэте рассказала ему еще вчера.

— Он хромает,— сообщила она.— Ходит с палкой.

— Как Фридрих Великий,— сказал он.

Казалось, он не заметил, что она не поддержала его иронический тон. Кэте не стала рассказывать ему, как вчера вечером относила май-

ору Динклаге лампу, как сегодня под утро, до рассвета, разговаривала с ним.

Только через четыре дня, вечером 5 октября (в четверг, ровно за неделю до того дня, когда Шефольд перешел линию фронта), она посвятила Венцеля Хайнштока в суть дела, сказав ему:

— Дело в том, что у нас с ним...

До этого момента человек из каменоломни и представить себе не мог, что Кэте Ленк способна перейти в лагерь противника, как он сразу же охарактеризовал случившееся. В то утро и потом, когда Кэте ушла, у него не возникло на этот счет никаких подозрений. Он только удивился, что Кэте не расположена к ласкам, но это с ней иногда бывало. В таких случаях ее следовало оставлять в покое, что было ему не трудно. Он умел держать себя в руках.

Тирада о любви

О любви Йозефа Динклаге и Кэте Ленк будет в дальнейшем упоминаться лишь в той мере, в какой события чисто личного характера будут переплетаться с событиями военной истории. Вне связи с последними она нас не интересует. Любовь достаточно представлена в литературе, к ее изображению трудно добавить что-либо новое. Механизм ее всегда один и тот же — своего рода конвейер, на котором собирается «конечный продукт»; стадии же этого процесса «сборки» — первые взгляды, знакомство, объятия. Вариации возникают лишь вследствие различия характеров, политических, социальных, религиозных факторов, которые на них воздействуют; условия эксперимента всегда разные, кроме того, существуют, конечно, различные степени поэтизации человеческих отношений. Но в остальном совершенно безразлично (то есть все равно), обратимся ли мы к изображению отношений между Динклаге и Кэте или отношений Хайнштока к Кэте или Терезы Телен к Борису Горбатову. А раз так, иными словами: поскольку литература исчерпывающе отразила эту тему, нас сегодня уже не столь волнует вопрос, получит ли в конце концов Ганс свою Грету.

Таинственное в любви заключается не в том, как она функционирует, а в том, что она вообще существует и что те, кто охвачен этим чувством, считают его чем-то абсолютно новым и небывалым, даже если опыт подсказывает им, что они переживают лишь нечто такое, что уже переживали миллиарды людей с тех пор, как существует мир (или скажем так: населенная людьми земля). Вот это и есть чудо. Конечно, в каждом отдельном случае существует множество причин, позволяющих прокомментировать этот случай, но то, что майор Динклаге без памяти влюбился в Кэте, когда она с лампой в руке вошла в канцелярию,— этому нет ни малейшего объяснения. Он влюбился в нее, и все тут, а она, хоть и не без внутреннего сопротивления, влюбилась в него.

Последнее обстоятельство мешает рассматривать это событие лишь как следствие эротической притягательности Кэте, потому что в таком случае страсть Динклаге к Кэте осталась бы без ответа. Таким же по существу безответным было чувство к ней Лоренца Гидинга, Людвига Телена и даже Венцеля Хайнштока. Она прошла через это — притом в течение полугода,— испытывая чувство сострадания, но не страдания. Старик Телен, который знал, что его сын — поклонник Кэте, и знал о ее связи с Хайнштоком, в один из следующих дней, наблюдая за тем, как она собирается на свидание с Динклаге, не без одобрения заметил на своем эйфельском диалекте — впрочем, применительно к Динклаге формула его была не точна: «Ну и девушка, всех

мужиков к рукам прибрала!» Однако своим дочерям так вести себя он бы не позволил — связь Терезы с русским три молодые женщины со всей возможной хитростью скрывали от него,— в то время как он охотно давал отпущение грехов Кэте. Этот старый тиран даже любил, когда Кэте ему возражала. Ему нравилось, что она живет в его доме. Это к вопросу о том, сколь сильные симпатии вызывала Кэте. Конец тирады о любви.

Краткая биография

Кэте Ленк, род. в 1920 г. в Берлине, единственная дочь коммерсанта (генерального представителя одного станкостроительного завода) Эдуарда Ленка и его жены Клары, урожд. Раймарус, протестантка, в 1938 г. кончает гимназию им. Шиллера в Лихтерфельде; с 1939 по 1942 г. (то есть во время войны) учится в Берлинском университете (философия, языки), курс не заканчивает; с начала 1943 г. слушает лекции в Педагогическом институте в Ланквице и работает внештатной учительницей в средней школе в Фриденау. Уезжая весной 1944 года из Берлина, она получает от ведомства по делам школы справку, действительную на всей территории рейха и удостоверяющую, что она является кандидатом на должность учителя в учебных заведениях повышенного типа (штудиенреферендар). С середины мая до начала июля 1944 г. она преподает в гимназии имени Регино в Прюме (немецкий язык и географию). Когда из Прюма эвакуируют гражданское население, она отказывается отбывать трудовую повинность в Кёльне и с помощью одного из своих учеников, Людвига Телена из выпускного класса, скрывается в расположенной у границы рейха деревне Винтерспельт.

Хотя Кэте еще школьницей пользуется успехом и ей назначаются многочисленные свидания, во время которых важную роль играют велосипеды, парусные лодки на Хавеле, кино и изготовление шпаргалок (Кэте — отличница почти по всем предметам), она лишь в двадцать лет, то есть уже студенткой, вступает в связь с молодым художником, тоже студентом, Лоренцем Гидингом; связь эта продолжается до 1944 г.

Она очень близорука и из-за этого вынуждена постоянно носить очки со стеклами минус девять; она всегда заказывает тонкую прозрачную роговую оправу, надеясь, что таким образом очки будут менее заметны. Еще никто не сказал ей, что к ее почти всегда загорелому лицу больше подошли бы очки в толстой темно-коричневой оправе. Глаза у нее карие, временами зеленоватые. Она стройная, хотя и небольшого роста — всего метр шестьдесят пять, длинноногая, но не тощая, а крепкая, сильная, пропорционально сложенная. Походка у нее пружинистая, как у тренированной гимнастки; она скована (втягивает голову в плечи), лишь когда чувствует, что за ней наблюдают. В Берлине она играла в теннис и в гимназии имени Шиллера была первой по прыжкам в высоту (1,53 м без разбега). Голова у нее маленькая, черты лица тонкие и в то же время, несмотря на молодость, уже вполне сформировавшиеся, без юношеской расплывчатости, красивый нос; и все же голова эта, возможно, осталась бы лишь бронзовым овалом, сфероидом, орехом—или какие еще другие образы можно придумать, выражающие нечто завершенно округлое, выпуклое и полое,— если бы лицо не освещал глубокий интеллект (заметить который не могут помешать никакие очки), если бы не теплота и блеск ее глаз. Волосы у нее каштановые—скорее светлые, чем темные, гладкие, длинные, она стягивает их обычно в «конский хвост», который падает ей на спину. К ее огорчению, у нее нет ни помады, ни духов, она не знает, как

их раздобыть на шестом году войны. Гардероб ее состоит из двух платьев, небольшого количества белья и плаща; Элиза и Тереза одалживают ей шерстяные вещи или фартуки для домашней работы. У Телена она взяла на себя уборку дома, поскольку считает, что ничего не смыслит в сельском хозяйстве.

Путешествие на запад

1

Динклаге она рассказала эту историю гораздо подробнее. Хайншток узнал от нее только, что она вечером 8 марта не была дома в Ланквице, а отправилась на урок английского в город; в разговоре же с Динклаге она описала во всех деталях, как читала вслух своей учительнице начало 7-й главы «Bleak House» [1], не подозревая, что это последний урок, который она берет у старой фрейлейн на Доротеенштрассе.

— Я думала, что эти вечера по вторникам на Доротеенштрассе будут продолжаться еще долго-долго,— сказала она.— Сначала — беседа, потом — грамматика, потом — чтение.

Она вспоминала и рассказывала Динклаге, как фрейлейн Хезелер, услышав какую-нибудь особенно красивую фразу, прочитанную Кэте, отпивала глоток чая и лишь потом начинала поправлять ее произношение.

В том, что она вообще стала рассказывать об этом, повинен был Динклаге. Он — как в свое время Хайншток — спросил, почему она уехала из Берлина. Они как раз закончили ужин; это было в понедельник, 2 октября — канцелярия, походная кухня, но на столе стояло вино; ординарец, подававший еду, ушел, Кэте курила, майор тоже закурил сигарету — из числа тех, что выделял себе на день.

— Я потом нашла эту книгу в библиотеке гимназии в Прюме.

— Вы имеете в виду «Холодный дом»? — спросил Динклаге.

— Да,— сказала она. — Но я не дочитала ее до конца. Я только открыла начало седьмой главы и вспомнила, как в тот вечер восьмого марта решила, что когда приду домой, сразу же посмотрю в отцовском атласе, где находится Линкольншир.

У Динклаге хватило чуткости не перебивать ее и не начинать рассказа о том, как он бывал в этих местах. Это он сделал позднее. А пока молчал и ждал, когда она скажет главное.

В темноте улицы — серо-голубой мундир Лоренца Гидинга, как всегда во вторник вечером, в девять часов, когда она уходила из дому. (Об этом она ничего не говорила ни Динклаге, ни Хайнштоку. Это их не касалось.)

Она сказала Лоренцу:

— Я хотела бы как-нибудь увидеть тебя вечером на улице, чтобы на тебя падал свет фонаря.

— Это можно,— сказал он, вынул карманный фонарик, который всегда носил с собой, и посветил себе в лицо. Она увидела его синие глаза за стеклами очков в черной роговой оправе.

— Нет,— сказала она,— это не то. Я имела в виду уличный фонарь.— Но тут кто-то закричал из темноты: «Погасить свет!»

Лоренц проводил ее до Потсдамерплац — дальше он идти не мог, так как ему надо было вовремя успеть в казарму. Они останавливались и обнявшись целовались — особенно когда шли через Тиргартен.

---

[1] «Холодный дом» — роман Чарльза Диккенса.

Кэте нравилось в Лоренце все, кроме затхлого и в то же время какого-то металлического запаха его военной формы...

— Когда я шла по Заарландштрассе, завыли сирены,— рассказывала Кэте.— Налет я переждала в шахте метро под Заарландштрассе. Он продолжался далеко за полночь, целых три часа, потом наконец дали отбой. Здесь, в центре Берлина, почти ничего не было слышно. А вы, собственно, знаете Берлин? — спросила она Динклаге.

— Я был там раза два-три,— ответил он.— Но почти не знаю города.

Она утаила от него, как утаила от Хайнштока, что все время, пока сидела в метро под Заарландштрассе, она думала о своем друге Лоренце Гидинге, бывшем студенте Академии художеств, ныне ефрейторе ВВС, который благодаря давно закрывшемуся туберкулезу и связям сумел до февраля 1944 г. продержаться на безопасном месте в военной библиотеке. Но жить ему полагалось в казарме, а Кэте отказывалась уйти из родительского дома и снимать комнату. Они решали проблему по-иному: уезжали в гостиницу в Закров, когда Лоренц получал увольнительную на ночь. Родители Кэте не возражали против того, что она иногда не ночевала дома — в конце концов ей двадцать четыре года, она уже преподавала и скоро должна была получить звание штудиенреферендара; это было им приятнее, чем если бы Лоренц, который иногда заходил к ним в дом и которого они находили симпатичным, проводил ночь в комнате Кэте. «Если бы мы поженились, я, может быть, получил бы разрешение жить не в казарме, а на частной квартире»,— сказал как-то Лоренц. «Неужели ради этого»,— сказала Кэте, но даже не потрудилась добавить: «стоит жениться».

— После отбоя я пошла на станцию Анхальтербанхоф — городская железная дорога уже снова работала — и сразу же села в поезд, шедший в Мариенфельде. Товарная станция в Мариенфельде была вся в огне, но над кварталом справа от Мариенфельдер-аллее, где мы жили, не было отсвета пожара.

Она вспомнила, какое испытала облегчение, увидев, что небо над тем кварталом, где она жила, такое темное; по нему плыли розоватые и песочно-серые облака, поднимавшиеся из пламени на товарной станции. Сейчас Кэте отчетливо видела, как свернула тогда на Ханиельвег, как, все замедляя шаг, подошла к толпе, окружавшей то место, где был дом, в котором она жила со своими родителями.

— Спрашивать было не о чем,— сказала она Динклаге.— Если не осталось ничего, кроме груды обломков, то и вопросов не могло быть. Вы понимаете? Что же произошло? А вот что: не стало родителей, вот так вдруг, просто не стало — и все. Ни отца. Ни матери. Вот что произошло. Вот что произошло. Вы понимаете?

Динклаге ни на секунду не предавался иллюзии, что Кэте, судорожно выкрикивая «Вы понимаете?», действительно имела в виду его, искала у него сочувствия. Она разговаривала сама с собой, самое себя призывала понять, потому что до сих пор не поняла и никогда не поймет, что́ произошло, потому что ни один человек не способен понять, почему такое может произойти, ибо для этого нет объяснения, нет ничего, что могло бы придать случившемуся хоть какой-то смысл, даже такое старое и затасканное слово, как «судьба», не годится, идиотское слово, только на то и годное, чтобы приукрашивать последнее дерьмо, давно пора вычеркнуть его из всех словарей, потому что судьбы нет, есть только хаос и случайность, из которых ученые глупцы извлекали статистические данные, полагая, что таким образом

наводят порядок. Родители Кэте вошли в статистику несчастных случаев, статистику хаоса, подумал Динклаге,

в число жертв империалистической войны, считал Хайншток; однажды он сказал это Кэте, притом в такой момент и таким образом (деловито, сухо), что она с этим согласилась.

Динклаге не находил слов, чтобы выразить свою мысль о хаосе. Он не мог сказать этой девушке, в которую влюбился до потери сознания, ни слова утешения, потому должен был молчать. Время от времени он бросал взгляд на Кэте, опасаясь, что она начнет плакать, но Кэте не плакала.

Нужно раз и навсегда перестать, подумала Кэте, рассказывать о гибели моих родителей.

О том, какое действие разорвавшаяся фугасная бомба, возможно, даже средней величины, может оказать на маленькую виллу, сложенную из клинкерного кирпича, Хайншток, как специалист по каменоломням, а следовательно и специалист по взрывам, конечно, знал, но свои знания оставил при себе.

Ему, а не Динклаге, в разговоре с которым она теперь мучительно пыталась перейти на другую тему, Кэте рассказала и то, что с ней было потом:

— Одна соседка заговорила со мной, сказала, чтобы я пошла к ней, осталась у нее жить. Но я повернулась и пошла обратно к станции Мариенфельде. Остаток ночи я провела на скамье в зале ожидания на Анхальтербанхоф.

Самым невыносимым из того, что ей предстояло еще осознать, сказала она Хайнштоку, было то, что отец и мать не исчезли бесследно, а, по всей вероятности, представляли собой бесформенное, расплющенное кирпичом месиво из костей и мяса, которое из-за опасности возникновения эпидемии необходимо было следующим же утром раскопать и отскрести от обломков.

— Папа и мама являлись теперь очагом заражения, ты понимаешь!

Она сказала, что когда мысленно представила себе это, то испустила крик, которого, однако, не услышал никто из сидевших в зале ожидания на Анхальтербанхоф.

— Я действительно закричала, но они вовсе не делали вид, будто не слышат моего крика, они его в самом деле не слышали.

— Ты кричала, конечно, но не раскрывая рта,— сказал Хайншток.

Она покачала головой, отказываясь принимать такое объяснение.

На Ханиельвег Кэте Ленк больше не появилась ни разу. Ведомство по делам школы сразу же нашло для нее комнату. Она прервала работу только на один день. Поселившись в меблированной комнате в Штеглице, она сделала все, что требовалось: захоронила останки своих родителей на городском кладбище на Альбоинплац, получила новые продовольственные карточки и документы, подала заявление в ведомство по возмещению убытков, добилась, что была признана как единственная дочь своих родителей единственной наследницей, перевела счет отца в Коммерческом банке, на котором находилось чуть больше 25 тысяч рейхсмарок, на свое имя, уволилась из школы в Фриденау. 15 апреля 1944 года, через десять дней после пасхи, она покинула Берлин.

На следующий день после гибели родителей она, после долгих колебаний, решилась позвонить Лоренцу в военную библиотеку. Он спросил только, как все произошло, а вечером, когда они сидели в почти пустом кафе на Ноллендорфплац, он сказал, глядя мимо нее: «Тебе не повезло». И только тогда она заплакала и, как ей показалось, проплакала несколько часов. Она всегда будет благодарна Лоренцу за то, что он в тот вечер спокойно вынес ее «многочасовые рыдания» — как она выразилась — и не пытался ее утешать. Он просто сидел рядом, отослал официантку, которая пыталась заговорить с Кэте, и пил эрзац-кофе, давая ей возможность выплакаться. Когда она перестала плакать, он вытер ее очки, которые пришлось снять, и вернул ей.

Как-то, это было уже потом, во время прогулки по берегу Закровского озера она спросила его:

— Ты случайно не знаешь, где находится Линкольншир?

— Нет,— сказал он, подумав.— Точно не знаю. Я только учил, что в городе Линкольне — один из самых прекрасных английских кафедральных соборов. А что?

Кэте написала фрейлейн Хезелер, что больше не будет заниматься английским.

— В доме,— сказала она,— должен быть географический атлас, тогда это дом.

— Ах, вот ты о чем,— сказал Лоренц и, помолчав, добавил:— Когда война кончится, поедем в Линкольншир, Кэте! И в Лондон, и в Париж, и в Нью-Йорк.

Почти дословно то же самое сказал ей как-то майор Динклаге и удивился, почему встретил с ее стороны отпор.

— После войны мы с тобой будем бог знает где,— сказала Кэте майору. И, отклоняя его предложение — потому что она хотела защитить свои воспоминания о Лоренце,— еще холоднее добавила:— Я не буду дожидаться, пока какой-нибудь мужчина возьмет меня куда-нибудь с собой.

Она смотрела, как Лоренц рисует озеро — углем на большом листе белой бумаги. У него были черные, гладкие, густые волосы; смуглое лицо с крупным носом, напоминавшее лица на римских монетах. Синие глаза смотрели сквозь стекла очков в черной роговой оправе на озеро, на тростник.

Кэте с Лоренцем сидели на стволе срубленной сосны, и она сказала ему, что через несколько дней уедет из Берлина.

Три дня спустя он позвонил Кэте в школу и сообщил, что его переводят в авиаполевую дивизию, которая находится где-то на западе, севернее Парижа. Уезжал он уже на следующий день, так что им удалось встретиться только раз в комнате Кэте в Штеглице.

— По крайней мере, я хоть повидаю теперь моих стариков,— сказал Лоренц, и Кэте почувствовала, что он сразу же пожалел о сказанном, напомнив ей, что у него еще есть родители. Они условились, что Кэте попытается разыскать его, может быть в Кёльне, если ему дадут увольнительную. Они начали обсуждать, как ей, когда она будет в пути, получать письма от него, как узнать номер его полевой почты. Кэте казалось, что он, сам того не сознавая, испытывает облегчение от того, что не остается в Берлине. Он был возбужден и не мог скрыть, что радуется отправке во Францию.

Когда Кэте вернулась со своего последнего английского урока, на ней был коричневый шерстяной костюм, тонкие серые шерстяные чулки, довольно крепкие туфли, плащ. Ей дали карточку на приобре-

тение одежды, но она не купила ничего, кроме белья и черного свитера. На протяжении нескольких месяцев она была даже довольна: не надо ломать голову по поводу того, что надеть. В поездку она взяла маленький коричневый чемоданчик, который ей подарили друзья ее родителей. Он почти ничего не весил.

Только в Прюме, когда уже настало лето, она купила себе летнее платье. В один из магазинов на Ханштрассе привезли несколько платьев из полосатого льна, без рукавов, и ей удалось достать одно. Кэте радовалась, что у нее загорелые руки и ноги: ей достаточно полежать час на солнце, чтобы стать коричневой, как кусок дерева. («Дерево — это хорошо»,— сказал как-то Хайнштоk, когда она употребила это сравнение, говоря о цвете своей кожи, и обхватил ее руку.) Она села за кафедру и сняла очки, чтобы не видеть, какие взгляды были устремлены на нее сегодня. Однако и без очков она сумела установить, что только Людвиг Телен смотрит в окно.

Тереза, увидев, что Кэте собирается на ужин к майору в летнем платье, настояла, чтобы она надела сверху одну из ее, Терезы, шерстяных кофточек.

— Ну и франтиха ты,— сказала она.— Ведь уже холодно. Такое платье не для октября.

Но денщик Динклаге затопил в канцелярии печку, так что она могла снять вязаную кофточку. Руки у нее были тонкие, Кэте считала, что они слишком худые, а Лоренц, художник, говорил иногда, что форма ее рук выше локтя даже слегка вогнутая.

Дальнейшие детали, касающиеся ужина:

Он осведомился, как ее зовут, попросил разрешения называть ее по имени. Она, конечно, не возражала.

Он не просто не носил обручального кольца, но и действительно не был женат.

Один или два раза по комнате пролетел ангел. Почувствовав это, она умолкла и попросила Динклаге рассказать ей про Африку, Сицилию, Париж, Данию.

Он сказал, что в Сахару они прибыли тогда-то и тогда-то.

— Это меня не интересует,— сказала она.— Опишите Сахару!

Он посмотрел на нее и, к собственному удивлению, стал описывать Сахару.

Ей нравилось, что за столом ее обслуживают. Она вообще-то ожидала, что придется есть из котелка, но ординарец подал еду на тарелках.

— Давайте считать, что мы едим Irish stew! [1] — сказал Динклаге.

Поскольку она не знала, что такое Irish stew, то согласилась рассматривать не подлежащее определению блюдо как таковое. Вино они пили из стаканов. Раньше она считала, что офицеры едят не то же самое, что солдаты. Она не знала, что это просто причуда майора Динклаге. Только вино он позволил себе сегодня, в честь ее визита. Что-то в нем — она не могла бы сказать, что именно,— подтверждало, что оброненная сегодня утром фраза: «За всю войну я не сказал ничего подобного ни одной женщине» была чистой правдой. Он не

[1] Тушеная баранина с луком и картофелем *(англ.)*.

казался неопытным или скованным — просто у него, видимо, уже много лет не было женщины.

Почему-то — она не могла бы сказать почему — это было ей не очень приятно.

С другой стороны, она спрашивала себя, что было бы, если бы вместо нее лампу принесла Элиза или Тереза. Элиза и Тереза были, каждая по-своему, красивые девушки. Но ни одну из них майор не ждал бы на следующее утро, еще до рассвета, чтобы четким, лишь чуть приглушенным голосом сказать, словно ожидая объяснений от провинившегося подчиненного: «Вам понадобилось много времени, чтобы прийти сюда!»

2

Прежде чем подняться наверх — а было совершенно ясно, что они пойдут наверх,— своей фразой, сказанной сегодня утром в темноте, он дал понять, что она должна отклонить его приглашение, если считает невозможным лечь с ним в постель, но это вовсе не показалось ей невозможным; итак, прежде чем пойти наверх, ибо на войне — да, кстати, и не только на войне — иногда нужно очень спешить, они ощутили потребность в какой-то паузе между постелью и историей с фугасной бомбой, и эту паузу нужно было чем-то заполнить, но только не пустой беседой.

— Но как вы из Берлина попали именно сюда, в эту эйфельскую дыру?— спросил Динклаге.

— Этого не объяснишь,— сказала Кэте.— Я села в поезд на Ганновер. Почему я из Берлина отправилась на запад, не знаю. Мне вообще не приходило в голову, что я могу поехать на восток. Или на юг. Для меня речь могла идти только о западе, но причину этого моего решения я никогда не могла себе объяснить. Я даже не выбирала — в том смысле, в каком обычно употребляется это слово. Смешно, правда?

На этот вопрос Динклаге не ответил.

В миграции перелетных птиц, вообще во всяких инстинктивно совершаемых передвижениях ничего смешного нет.

Ганновер оказался довольно сильно разрушенным. Она прошлась по улицам, нашла, что город отслужил свой срок. Тяжелые фасады домов, пустых или еще населенных людьми, были словно из разбухшей кожи. Они не смотрели на Кэте. Ее снова поглотил вокзал, этот багровый монстр, над которым висело серое небо. Такие вокзалы могли только накликать войну.

— Поскольку мне не хотелось оставаться в Ганновере, я поехала в Хамельн. Мне понравилось это название. Когда поезд прибыл в Хамельн, было уже темно, я расспросила, как пройти в центр города, пошла по длинной улице, на которой стояли старые дома.

На фоне ночного неба выделялись черные силузты остроконечных крыш.

— Здесь было много гостиниц, и я нашла комнату.

В ресторанчике внизу — пожалуй, он был даже уютный — она съела овощные оладьи, прочитала газету; она боялась пойти в свою комнату; за соседним столиком сидели какие-то почтенные господа, наверное, местная знать.

— Комната была как кишка, длинная, узкая, на столике стоял таз для умывания и кувшин с водой; открыть шкаф я не решалась.

— Я заставила себя провести в этой комнате вторую ночь, потому что не хотела так быстро сдаваться, хотела проверить, может быть, Хамельн мне все же подойдет. Ведь это красивый город.

Она долго слушала звон колоколов на ратуше. В Везере отражались голые деревья.

— Потом я вернулась в Ганновер и через Бремен поехала в Восточную Фрисландию. Я вспомнила, что существует на свете море. Поезда были переполнены, еле тащились, от Бремена до Норддейха я ехала целую ночь.

Ранним утром она, дрожа от холода, стояла на пустой набережной Норддейха. Значит, море действительно есть и есть острова. Между набережной, где она мерзла, и островами море было серым, темнела береговая полоса, и небо над нею тоже казалось серым; между островами вода была темнее, с каким-то сланцевым оттенком.

— Когда начался прилив, с Юйста пришел пароход. Я была единственным пассажиром. На Юйсте я прожила неделю. Женщине, у которой я поселилась, было лет шестьдесят, она ткала ковры из овечьей шерсти. Ей очень хотелось, чтобы я осталась.

Однажды вечером хозяйка вошла в комнату к Кэте, села на край кровати, сказала:

«Оставайтесь, Кэте, дождитесь здесь конца войны!»

«Я изучила ваш атлас,— сказала Кэте.— Сюда мир приходит в последнюю очередь».

«Но здесь уже мир»,— сказала женщина.

— В атласе я увидела, что Линкольншир находится прямо напротив, на другой стороне Северного моря. Но в действительности он находился оттуда дальше, чем от любой другой точки на материке. Я ничего не понимаю в вашем ремесле, господин майор, но у меня было такое чувство, что известие о конце войны будет на Юйсте долгое время восприниматься всего лишь как слух.

— Оставьте вы «майора», Кэте! — сказал Динклаге.— Иначе я начну называть вас «фрейлейн штудиенреферендар». Кстати, вы не так уж неправы; я думаю, что англосаксы, когда они займут северо-западную Германию, даже и не поинтересуются Восточно-Фризскими островами. С военной точки зрения они совершенно не представляют интереса.

Динклаге уже вторично давал понять Кэте, что считает поражение Германии делом решенным. Впервые он сказал об этом сегодня утром. Глядя на русских пленных, чье появление прервало недвусмысленное признание, которое он сделал Кэте («Вам понадобилось много времени, чтобы прийти сюда», «Вам идут очки»), он сказал:

— Вот победители!

И, вполне возможно, именно эта фраза, которая тоже носила констатирующий характер, сыграла решающую роль в том, что Кэте приняла его приглашение на вечер.

Кстати, в разговоре с той женщиной, которая предлагала ей безопасное существование, она употребила слово «мир» невольно. Мир

ее не интересовал. Это слово ничего для нее не значило. Ее интересовало лишь окончание войны.

Она начала скитаться — отправилась на Эмс, потом на Нижний Рейн. Теперь у нее была с собой карта, и она отыскивала на ней такие места, где, по ее предположению, война раньше всего подойдет к концу. Она моталась по Буртангскому болоту и графству Бентхайм, по Сальморту и Баальскому каменному карьеру как человек, который, послюнив палец, поднимает его, чтобы определить, откуда дует ветер. Она не находила ветра, которого искала. Впрочем, она не слюнила пальца, полагаясь исключительно на свое чутье.

Когда она упомянула про Буртангское болото, произошло следующее: Динклаге прервал ее и спросил, была ли она в Меппене, обратила ли внимание на кирпичные заводы семьи Динклаге, присовокупив к этому еще не осознанное им самим, но сразу же осознанное Кэте предложение вступить в брак («Вы могли бы заехать к моим родителям, остаться у них»),— предложение, сделанное слишком рано (второе, прозвучавшее уже без околичностей, но слишком поздно, он сделал к вечеру того дня, когда Шефольд перешел линию фронта),— и наконец, подведенный Кэте к этой теме, закончил свою литанию по поводу концлагерей на Эмсе словом «аминь», которое на мгновение повисло, словно проклятие, в плохо освещенной комнате с табличкой «Командир» на двери — комнате, где в честь сегодняшнего вечера с письменного стола были убраны все бумаги и вместо них стояли бутылка вина и два стакана.

Как шло дальше путешествие Кэте на запад, вплоть до этой самой «эйфельской дыры», Динклаге так и не узнал — не узнал и в последующие дни, если не считать коротких, чисто фактических сведений; вся история с Лоренцем Гидингом, например, осталась ему неизвестной, потому что в этот момент он вдруг решил все поставить на карту и сказал:

— Давайте пойдем наверх, в мою комнату!

Удивило ли его то, что Кэте не возразила? Вряд ли. С самого начала между Йозефом Динклаге и Кэте Ленк возникло полное понимание. Объятия и поцелуи были, конечно, еще до того, как они пошли наверх. Конвейер. Стадии изготовления продукта.

Наверху он сказал, показывая на свою кровать:

— Вот одно из немногих преимуществ офицера: тебе всегда готовят постель.

Значит, разница между его постелью и постелью Венцеля лишь в том, что свою Венцель всегда стелит сам.

Она заметила, когда они вошли в комнату, что ночник был уже зажжен — лиловое пятно в темноте.

В постели Кэте сразу поняла, что ее опасения по поводу многолетнего воздержания, которому подвергал себя Динклаге — по какой-то причине, которую она сама не могла бы назвать, это было ей не совсем приятно,— совершенно не основательны. Трудно определить, на чем был основан эротический дар Динклаге, его способность естественно выражать свои чувства. Оставим этот вопрос открытым, упомянем лишь, что Динклаге умел в любви быть беспечным, нежным, напористым,— да и то упомянем лишь потому, что иначе не объяснить переплетения событий личного характера с событиями военной истории.

3

Итак, Кэте скиталась. Когда ей это надоело, она отправилась в Кёльн. Дату своего приезда, 15 мая, она запомнила навсегда. На главном почтамте ей вручили пачку писем от Лоренца. Было там и письмо от его отца, доктора медицины Фридриха Гидинга, из Мюнстера; Кэте не была с ним знакома, удивилась, что он знает адрес, который она дала Лоренцу, вскрыла его письмо первым, прочитала: «Глубокоуважаемая фрейлейн Ленк, наш сын Лоренц погиб в начале мая в Италии. Он много о Вас говорил, когда был здесь, и дал мне Ваш адрес — на всякий случай, как он сказал. Моя жена и я были бы очень рады, если бы Вы могли нас навестить».

Она ушла, держа в руках пачку писем. На улице было майское утро, теплое и голубое. В одиннадцать часов началась воздушная тревога, но ненадолго — час она просидела в подвале. Она пыталась представить себе мертвого Лоренца, но это ей не удавалось; единственное, что она поняла: его нет, нет больше. Еще и это, подумала она. И потом: теперь я свободна, как никогда прежде. Уже на пути к вокзалу она поняла, что ее первая реакция на известие о гибели Лоренца была эгоистической, ибо относилась не к Лоренцу, а к ней самой.

В поезде она прочла его письма. Дивизию, к которой его прикомандировали, сразу же, как только он приехал, перевели из Франции в Италию. Он описывал итальянские пейзажи. Места, которые он называл, цензура замазала черной краской. Он жаловался, что Кэте совсем не пишет. Со времени прощания в Берлине до его смерти он не получил от нее никаких известий, а сам написал ей штук двадцать писем.

Она читала и читала. Кончив читать, она заметила, что ландшафт изменился. Она закурила, осторожно положила письма в чемоданчик, закрыла его. Первый поезд за долгое время, который был не переполнен, а почти пуст. На главном вокзале в Кёльне она снова стала изучать свою карту — теперь почти без надежды. Ни на секунду у нее не возникло желания поехать в Мюнстер; наконец, она взяла билет в Прюм, Западный Эйфель. Ехать в Мюнстер означало бы ехать внутрь страны, ей же хотелось — ближе к границе! Как одержимая она искала крайние точки: остров, Буртангское болото, берега Нижнего Рейна, все время в надежде, что попадет в открытую зону, в загадочные места, где можно перейти из одного мира в другой,— на самую крайнюю, уже прозрачную кромку. Это ей не удавалось.

Глядя из окна вагона на меняющиеся пейзажи, Кэте думала: это пейзажи не для Лоренца, его, как художника, влекло другое. Кэте считала, что Лоренц мог бы стать большим художником.

Она еще и потому не решилась ехать в Мюнстер, что не хотела беседовать с д-ром Гидингом и его женой о будущем их сына как художника — это только усилило бы ее отчаяние. А может быть, и нет; может быть, это придало бы ее печали какой-то смысл. В ее воспоминаниях Лоренц остался бы не просто павшим солдатом, а несвершившимся художником. Но в Мюнстере ей была бы отведена в высшей степени мучительная роль женщины, пережившей возлюбленного. То, что она наделила Лоренца гениальностью, обязывало бы ее в течение нескольких дней играть роль его вдовы. Все, только не это, думала она. Она не могла представить себе, как будет беседовать с этими оставшимися в живых родителями Лоренца. Летом и осенью в Эйфеле она уже не так часто вспоминала его. Но когда вспоминала, то думала о нем не как о большом художнике, каким он мог бы стать, а как о мертвом солдате. Как о человеке, о котором никто уже никогда ничего не узнает. Тогда ей становилось грустно и тяжело, ее охва-

тывало ощущение беды, она должна была заставлять себя что-то делать. Из Прюма она написала д-ру Гидингу, посоветовала ему собрать рисунки и картины Лоренца для выставки после войны, сообщила адреса, где он, возможно, еще мог бы разыскать работы своего сына. Он поблагодарил ее, ухватился за эту идею. Несколько лучших листов Лоренца погибло вместе с ее комнатой на Ханиельвег. У нее не осталось ничего, что напоминало бы о нем,— даже фотографии. Лоренц терпеть не мог фотографий, у нее он тоже никогда не просил снимков.

О Лоренце Кэте разговаривала только с Хайнштоком. Что касается нынешней ситуации, здесь Хайншток доказал, что у него нет ни малейшего чутья; и в то же время именно он однажды сказал ей: «Ведь у тебя в Берлине наверняка был друг», тогда как Динклаге не пришло бы в голову строить такие предположения. Или если даже он их и строил, то полагал, что говорить об этом бестактно. Или считал все эти предположения незначительными, поскольку его любовь к Кэте и любовь Кэте к нему — это было нечто настолько неслыханное и неповторимое, что прошлое сгорало в ней дотла.

4

С середины мая до середины июля—прюмский период. Два месяца Кэте преподавала немецкий и географию в выпускных классах гимназии имени Регино. «Коллеге из Берлина я могу со спокойной совестью доверить наших выпускников»,— сказал директор. Но с конца июня занятий было мало, потому что ученики стояли у окон или на широкой площадке внизу; Кэте не мешала им, стояла вместе с ними, хотела видеть сама, как выглядит армия, спасающаяся бегством. Впрочем, она вовсе не бежала — колонны двигались медленно, педантично, в июне часто шли дожди, и армия под затяжным дождем уныло шла куда-то, в какие-то другие места.

Скука. Кэте убедила учеников вернуться в класс и, движимая берлинским патриотизмом, начала с ними читать «Шах фон Вутенов»[1], потом стала рассказывать о Бразилии, о колибри и кофе. Она чуть было не дала себя убедить, что передвижение армии на восток — лишь обычные маневры, но потом выяснилось, что население должно покинуть город. Еще прежде, чем директор объявил, что школа закрывается, ученики выпускных классов получили повестки с требованием явиться на призывные пункты. Несколько дней царила суматоха; Кэте наблюдала, как люди, стоя рядом с ворохом багажа, растерянно смотрели на свои дома, где уже были закрыты ставни и заперты двери. Скоро город превратится в нечто безымянное, в каменный объект ночных рекогносцировок, грабежей и артиллерийских обстрелов. Когда Кэте после окончания занятий оставалась одна в классной комнате, она чувствовала, как ее окружает одиночество: армия не просто шла куда-то, а освобождала территорию, оставляла за собой пустую, ничейную землю. В такие моменты у Кэте Ленк зарождалась надежда. Она получила распоряжение явиться в ведомство по делам школы в Кёльне для «последующего распределения на работу».

Прюм находился в лесной котловине. Кэте сразу же решила здесь остаться. Пробираться дальше на запад было уже невозможно. На просторной площади высилась церковь с двумя башнями — слишком большая для такого городка. Она была построена в стиле барокко, но покрыта серой штукатуркой. Через украшенный гербом старый

[1] Повесть немецкого писателя Теодора Фонтане (1819—1898).

портал школьники шли в массивные, такие же серые, соседние здания.

О гимназии имени Регино Кэте вспоминала не без удовольствия. Среди учителей этой школы было лишь два или три нациста, а в остальном — много католиков и несколько либералов. Как-то раз, когда она сидела одна в учительской, проверяя тетради, вошел преподаватель биологии, пожилой человек, сел рядом с ней и спросил:

— Вы ненавидите англичан?

— А надо?— спросила она не без издевки.

— Да нет, я просто так спросил,— сказал он.

— Почему вам пришла в голову такая мысль?

— Скорее всего из-за ваших родителей.

Венцель Хайнштоk был первым человеком, кто объяснил ей, что ненавидеть войну — этого еще мало.

Из симпатии к старому учителю естествознания она как-то отправилась вместе с классом на ботаническую экскурсию. С того дня началась ее дружба с Людвигом Теленом. Они шли в лощине, вдоль ручья, д-р Мор показывал ученикам, где растут волчник и прострел, фиалки и ландыши, Кэте немного отстала, а когда двинулась дальше, заметила, что Людвиг Телен ждет ее.

— Вам эти цветы тоже осточертели?— спросил он.

— Нет,— сказала она.— Объективно они прекрасны. Но в этом году нам, пожалуй, действительно не до них.

И они сразу заговорили о том, почему поздней весной 1944 года цветы не производят обычного впечатления. Кэте сделала так, что через несколько минут они снова оказались среди остальных. Через два дня Людвиг Телен положил ей на кафедру свою тетрадь для сочинений. Раскрыв ее, она нашла записку: «Сегодня в три часа на Роммерсхаймер-хельд». Она посмотрела в его сторону, придав глазам холодное выражение, но он, как всегда, когда его что-то сильно занимало, смотрел в окно. Через несколько минут она подумала, что, собственно, у нее нет причин не встретиться с ним.

Он родился и жил в деревне, в Винтерспельте; обладал математическими способностями и потому попал в гимназию. Лицо его всегда было невозмутимо сосредоточенно. Кэте ни разу не слышала, чтобы он повышал голос; он всегда разговаривал спокойно и уверенно. Иногда ей казалось, что он просто лишен темперамента.

Заметив ее пристрастие к пустынным горным склонам, он стал выбирать для их прогулок маршруты, которые вели по известнякам, где походка становилась твердой и пружинистой. Они говорили о книгах и математике, о войне и его предстоящей службе в армии. Людвиг Телен считал войну своим будущим; в этом смысле он вполне соответствовал своему возрасту — ему было 18 лет.

— Когда война кончится, вам будет столько лет, сколько было мне, когда она началась,— сказала Кэте.— Хорошо вам.

— В будущем году?— спросил он.— Вы действительно думаете, что она кончится в будущем году?

— Не позднее,— сказала Кэте.

Он так удивился, что даже не нашел слов для ответа. Правда, в тот день, когда происходил этот разговор, отступающая армия еще не дошла до Прюма. Все вокруг еще было спокойно, земля казалась неподвижной, только в воображении Кэте она напоминала бесконечные волны, бегущие на запад.

— Он аполитичен, этот мальчик, как и все здесь,— сказал Венцель Хайншток, когда Кэте однажды — много позднее — заговорила с ним о Людвиге Телене.— Они все получают католическое воспитание, инстинктивно терпеть не могут фашизм и рассматривают политику как стихийное бедствие.

— Я тоже,— быстро сказала Кэте,— я тоже рассматриваю политику как стихийное бедствие.

— Против которого ничего нельзя предпринять, не так ли?— спросил он. В этих словах должна была прозвучать строгая критика, но прозвучала лишь горечь.

— Войну надо было бы уметь вычислить,— сказал Людвиг Телен.— Точно вычислить. Я вот что не люблю в математике — она занимается только абстракциями. Прямоугольный треугольник! Простые числа! Почему она не занимается неправильными треугольниками? Наверняка же можно выводить аксиомы и из конкретных простых чисел!

Кэте неплохо разбиралась в математике и поняла, что он имеет в виду.

Они лежали на низкорослой сухой траве пустынного склона, возле куста можжевельника, в бескрайнем небе плыли облака,— Кэте видела их нечетко, потому что сняла очки. Во время своих прогулок они не встретили ни одного человека. Начиная с их третьей встречи Кэте стала надевать полосатое льняное платье без рукавов. Людвиг Телен не делал даже попытки прикоснуться к ней.

— Прюм — проклятая дыра,— сказал он.— Я бы никогда не решился прийти вечером к вам домой. А лежать с вами на лужайке у меня просто нет желания.

Кэте жила в меблированной комнате, на улице, где находились старые кожевенные заводы. Людвиг Телен жил у родственников.

— Но вы уже лежите со мной на лужайке,— сказала Кэте.

Он с обычной решительностью покачал головой. Ей достаточно было вспомнить записку, которую он вложил в тетрадь, чтобы понять, что он вовсе не робкий. Ей лужайка не была так уж неприятна.

— Пожалуй, я могла бы предложить вам,— сказала она,— провести вместе конец недели в Кёльне или Трире. Ехать нам надо было бы порознь, но там мы могли бы встретиться, снять комнаты в одном отеле.

— Вот это здорово! — воскликнул он негромко.— Отличная идея! Давайте сразу же и поедем!

Она поднялась, надела очки.

— В следующую субботу я не смогу,— сказала она.

Еще две субботы поездка оказывалась невозможной, причем отговорки Кэте выглядели вполне убедительно; потом он получил повестку, а она — распоряжение явиться в Кёльн.

Она сообщила ему, что ни в коем случае не поедет в Кёльн.

— Что же вы собираетесь делать?— спросил он.

— Не знаю,— ответила она.— Хочу исчезнуть, испариться.

У нее была смутная мысль поехать в Трир или в Аахен — города, расположенные у самой западной границы; говорили, что население оттуда уже выехало. Может быть, ей удалось бы остаться в пустом городе, если он достаточно большой и если повезет; лишь бы проникнуть в него, а уже дальше — следить, чтобы не натолкнуться на патрули. Кэте представляла себе улицы, на которых не слышно ничего, кроме ее собственных шагов. Она взломает какую-нибудь квартиру,

продуктовый магазин. В Прюме она видела, как торговцы запирали лавки, где еще хранились товары. Романтические мечты об одиночестве и разбойничьей жизни. Впервые она попыталась точно высчитать, когда кончится война.

— Я отвезу вас к моим сестрам в Винтерспельт,— сказал Людвиг Телен.

Она знала, что две его сестры и очень старый отец ведут хозяйство в деревне, где он родился. Во время одной из прогулок он как-то показал на запад и сказал:

— Винтерспельт находится в двадцати километрах отсюда. Я должен как-нибудь показать вам его.

— Ваши сестры будут вам ужасно благодарны,— сказала Кэте.— Кроме того, это вообще невозможно.

— Мои сестры будут вам рады,— сказал он убежденно.— И дело не только в том, что им нужны рабочие руки. Так почему же это невозможно?

— Например, потому, что я остаюсь без продовольственных карточек. Почитайте объявления! Кто не выполнит приказа об эвакуации, не получит продовольственных карточек.

Он только пожал плечами.

— У меня дома вы будете питаться лучше, чем здесь.

— Меня станут искать,— сказала она.— Для ваших родных будет опасно держать меня в доме.

Он подумал.

— Ортсгруппенлейтер в Винтерспельте—Иоганнес Нэкель, хозяин трактира,— сказал он.— Он теперь очень присмирел. Кроме того, я пойду к нему и припугну его как следует.

Было еще совсем темно, когда Кэте на следующее утро ушла через лес из Прюма. Чемоданчик у нее был все такой же легкий. На обочине дороги, недалеко от холма Роммерсхаймер-хельд, она ждала Людвига Телена. В его распоряжении оставался еще день: ему следовало прибыть в Кобленц лишь завтра. Кэте же, наоборот, должна была еще вчера вечером явиться на Ханплац — она входила в число тех двухсот, что уезжали на грузовиках в Кёльн. Она представила себе, как там пересчитывают людей, выкликают фамилии. Ей надо было решить, где надежнее всего провести оставшиеся несколько часов, она пришла к выводу, что в школе. Действительно, там никого не было, даже сторожа; может быть, он уехал с той самой группой, от которой она отбилась. Учительская была заперта, а классные комнаты оставались открытыми, она зашла в выпускной класс, положила на покрытый линолеумом пол свой плащ, легла и стала слушать гул, которым наполняла город отступающая армия. Около двух часов ночи она вышла из школы и, не встретив ни одного человека, нырнула в лес. Гул становился все слабее, черные стволы буков отделяли ее от города все более плотной стеной; наверху, на лесных прогалинах, где перед Кэте расстилалась лишь дорога, а над ней нависало ночное небо, уже не было слышно ничего.

5

Молодой Телен приехал на машине, за рулем которой сидел Венцель Хайншток. Для таких поездок обращались к Хайнштоку, у которого был старый «адлер». Кэте представили ему, имени его она не разобрала и села на заднее сиденье. Те полчаса, что они ехали до Винтерспельта, все трое почти не разговаривали.

Иногда, вспоминая потом эту поездку, Кэте говорила:

— Только не думай, что я не заметила, как ты меня разглядывал в зеркало!

Он не отрицал, что по дороге в Винтерспельт то и дело поглядывал в зеркало, притом вовсе не из-за дороги. Голова и плечи Кэте даже закрывали от него дорогу сзади; собственно, он должен был сказать ей: «Отодвиньтесь немного в сторону!»

На ее вопрос: «О чем ты тогда думал?» он обычно не отвечал. Однажды он сказал:

— Я подумал, что пословица не точна.

— Какая пословица?

— «Чего не чаешь, то получаешь». Чаще всего как раз не получаешь.

Она помолчала, потом начала снова его поддразнивать:

— Но ты просто высадил Людвига Телена и меня возле дома, даже не вышел из машины, а сразу уехал.

— Я же знал, почему ты приехала в Винтерспельт. Молодой Телен попросил меня отвезти в безопасное место его учительницу. Так что я знал, что мне еще придется с тобой встретиться.

— Великий капканщик,— насмешливо сказала Кэте.— Сидит себе спокойно и выжидает.

В доме Телена ее ждал почти такой же прием, как позднее того ординарца, что пришел просить ночник для Динклаге. Людвиг Телен был страшно смущен и сказал ей в утешение:

— Они поначалу всегда так. Но вы увидите, все будет в порядке.

Он оказался прав; когда среди дня он уехал, потому что на другое утро должен был явиться в Кобленц, Тереза и Элиза, умиравшие от любопытства, немедленно начали сплетничать; позднее, когда им стало ясно, что в истории с Горбатовым они могут положиться на Кэте, они стали неразлучной троицей. Весьма благоприятным оказалось и то, что письма от Людвига — он писал сначала из гарнизона в Саксонии, потом с Восточного фронта и поступал очень умно, посылая письма Кэте раз в две недели, а семье каждую неделю,— Кэте могла давать читать сестрам и отцу; так что была хоть какая-то польза от того, что они так и остались с ним на «вы».

Но то первое утро было ужасным. Сидя на лежанке в гостиной, она смотрела на исцарапанный стол, на стулья, с которых облезла коричневая краска. На дверцах встроенного в стену шкафа висели пожелтевшие открытки, фотографии, прикрепленные кнопками. Дешевая, потрескавшаяся посуда в буфете. Рядом белый фарфоровый Христос на коричневой деревянной подставке. Жужжанье мух. Как и почему она попала сюда? Спросить Людвига Телена, не может ли тот человек, который привез ее сюда, сразу же увезти ее отсюда, ей помешала, во-первых, абсолютная невозможность найти какое-то другое место, а во-вторых, упрямство. «Дело дрянь,— подумала она, взгляд ее скользнул мимо большой кучи навоза во дворе к покрытому серой штукатуркой безликому дому, командному пункту батальона, перед которым тогда оживленно суетились военные — известная своей расхлябанностью 18-я моторизованная.— Дело дрянь, но я останусь здесь, мне некуда больше податься».

При прощании Людвиг Телен стремился остаться с ней наедине. Она отказала ему в поцелуе, на который он, очевидно, надеялся, но, вспомнив так называемую судьбу Лоренца Гидинга, впервые заговорила с ним совершенно откровенно.

— Увиливайте где только можете, Людвиг!— сказала она.—Симулируйте, а не поможет — попытайтесь попасть в плен, если вас отправят на фронт. Надо выжить, вы понимаете («Вы понимаете!»), выжить!

Она обрадовалась, увидев, что в глазах его не появилось возмущения — только удивление.

— Я найду вас здесь, когда вернусь?— спросил он.

— Нет,— сказала она,— наверняка нет.

Через несколько дней Тереза зашла ранним утром к Кэте в комнату и сказала:

— Тебе надо на какое-то время исчезнуть из деревни!

Хозяин трактира и ортсгруппенлейтер Иоганнес Нэкель, сообщила она, вчера вечером намекнул ее отцу, что в ближайшие дни Винтерспельт будут прочесывать: ищут людей, которые незаконно проживают в деревне.

— Куда же мне деваться?— спросила Кэте.

— К господину Хайнштоку,— сказала Тереза. Увидев, что это имя ничего не говорит Кэте, она сказала:— Это тот человек, который привез тебя сюда.

Она сообщила Кэте все, что знала о Хайнштоке, описала дорогу к каменоломне.

— У вас будут из-за меня неприятности?— спросила Кэте.

— Ты думаешь, что кто-нибудь на нас донесет? Такого здесь не бывает. Тому, кто бы это сделал, не поздоровилось бы. Да еще теперь, когда война скоро кончится!

Кэте вспомнила прием, который был оказан ей. Она живо представила себе, каково придется комиссии по розыску, когда та ступит во двор Телена. А семья Теленов была еще самой приветливой в этой эйфельской деревне.

Так Кэте пришла к Хайнштоку. Одного только ей не довелось узнать: что Хайнштоk, зайдя как-то в деревню, отозвал в сторону Терезу Телен и — когда она пообещала, что не скажет никому ни слова,— шепнул: «Если у этой учительницы, которая живет у вас, будут неприятности, присылайте ее ко мне!»

Словом, Кэте была неправа, утверждая, что он сидел себе спокойно и выжидал.

Наброски к сочинению о политическом сознании

Отец Кэте считался (либеральным?) противником Гитлера. Если бы он был сторонником диктатора и членом его партии, удалось ли бы ему воспитать Кэте так, чтобы она стала юной национал-социалисткой?

Она же уютно чувствовала себя именно в родительском доме, не хотела его покидать.

Круг ее литературных интересов. Интеллектуализм как форма проявления личности.

Своим первым другом она выбирает художника и противника войны.

В ночь с 8 на 9 марта и позднее ей и в голову не приходит возненавидеть английских летчиков, сбросивших бомбу на ее дом. Д-ру Мору она говорит, что ненавидит войну, но, надо полагать, она имеет в виду тех, кто эту войну развязал. У ее отца и у Лоренпа Гидинга нет ни малейших сомнений по поводу того, кто это сделал. Характерно для Кэте, что она принимает такого рода высказывания без малейшего протеста.

С родителями ей повезло.

Совет молодому Телену (представлявшему собой любопытную смесь приверженности католической вере и любви к математике) дезертировать из вермахта был, собственно, ее первым активным шагом на пути политического сопротивления.

Потом она становится ученицей Хайнштока. Она выражает согласие со следующими составными частями его учения: история есть история борьбы классов. Причины возникновения самоотчуждения. Рабочая сила как товар; она продается и покупается; прибавочная стоимость. Буржуазная демократия как фикция политического равенства. Накопление капитала. Кризисы. Возникновение и зарождение фашизма и империалистических войн. Социализм.

А это не так уж мало.

Она не могла заставить себя поверить в возможность возникновения бесклассового общества. Она обнаружила, что не испытывает ни малейшего желания размышлять об утопии. Диалектика вызывала у нее сомнения; этот закон тройного скачка казался ей каким-то механическим, законы движения она представляла себе по-иному. То, что идеи — это не субстанция, а лишь отражение соответствующих производственных отношений, может быть, и было правильно применительно ко многим идеям, но не ко всем. Если всё есть труд, говорила она Хайнштоку, значит, вообще не может быть противоречия между базисом и надстройкой.

Но если не считать всего этого, то летом 1944 года Кэте Ленк благодаря урокам Венцеля Хайнштока обладала ясным политическим сознанием.

Беседы Хайнштока оказывали влияние на Кэте из-за той яростной убежденности, с какой он говорил о «фашистской банде», с какой излагал свою точку зрения на политику как преступление; из-за рассказов о концлагере.

Хотя она и влюбилась в майора Динклаге, она, конечно, не вступила бы с ним в любовную связь, если бы этот офицер оказался сторонником фашистской банды или просто бравым воякой, и больше ничем.

Неприятие цели, которой он служит, лежит в основе жизни Динклаге на войне. Это делает его приемлемым для Кэте.

«Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот: их общественное бытие определяет их сознание».

Размышляя о том, как складывалось мировоззрение Кэте Ленк, можно, пожалуй, сказать, что не общественное, а личное бытие определило ее сознание.

Ни модель общества, в котором она живет, ни условия производства, которым она подчинена, недоступны ее пониманию.

Хотя все ее переживания и действия связаны с войной, она отклоняет теорию, согласно которой причины возникновения войны носят экономический характер. Если война — «авантюра немецко-фашистской банды» (Хайншток), то она — стихийное бедствие, катастрофа человеческой природы.

Родителей она не выбирала. Но вот уж Лоренца Гидинга она выбрала сама. Путешествие на запад, потом Хайнштоk, потом Динклаге. Здесь действительно не увидишь ничего, кроме переплетения человеческих отношений. Но внутри этого переплетения она всегда осуществляет одинаковый в политическом смысле выбор.

Инстинктивно. На основе личного бытия.

Роль инстинкта в формировании политического сознания.

Решимость, проистекающая из личных симпатий и антипатий.

Партизанка без партии.

Условия производства, доступные пониманию

В начале августа опасность миновала. Кэте вернулась к Теленам, снова взялась за домашнюю работу. Каждое утро она протирала пол в комнатах и гостиной мокрой тряпкой. Тереза и Элиза говорили, что делать этого не нужно, но ее нельзя было переубедить. Ей удалось добиться если не блеска, то, во всяком случае, устойчивой чистоты. Борьба с пылью. Приготовление обеда. Мытье посуды три раза в день. Раз в неделю стирка белья и глаженье. Хотя все эти виды работ, за исключением двух последних, были ей отвратительны, она выполняла их с ожесточенной тщательностью, внушая себе, что все это является так называемым «уделом женщин» и надо хоть раз проверить на себе, как действует механизм подобного «предназначения». В родительском доме ей было достаточно делать вид, что она играет в эту игру. Вот, значит, что предстоит всем женщинам, чего от них ждут, даже от тех, у кого есть профессия или богатство, ибо даже если им не нужно выполнять все работы по дому самим, то все равно предполагается, что именно это и составляет содержание их жизни — следить за живым и мертвым инвентарем в доме, чистить его и содержать в порядке. Вокруг этой специфической формы эксплуатации, этой не прекращающейся с раннего утра до поздней ночи, не оплачиваемой, отупляющей возни, полностью избавить от которой не может даже техника, вращается жизнь всех женщин. Всех, но не ее. Она будет единственным и абсолютным исключением. Она испытывала столь же мало желания задумываться над своей будущей жизнью, как и размышлять об утопиях, но она была полна решимости никогда больше не скрести пол, не чистить картофель, не гладить простыни. Пройдет совсем немного времени, и винтерспельтский период будет позади. Она использовала его, чтобы набраться опыта.

— Если ты не хочешь следить за порядком в своем доме, то это должен будет делать кто-то другой,— сказал марксист Хайнштоk, который в вопросах, касающихся женщины и хозяйства, был, пожалуй, реакционером.

— Разумеется,— отвечала Кэте, которую ничуть не тронуло это морализирование по поводу железных законов разделения труда.— Твоя хибара всегда прибрана по высшему классу. На твоем полу можно есть. Постель ты застилаешь безупречно. И готовишь ты вполне прилично. Для меня это, пожалуй, самые веские доводы, чтобы выйти за тебя замуж.

Хайнштоk был не такой человек, чтобы, зацепившись за эти слова, спросить, нет ли у Кэте и других, может быть, не столь веских, но вполне достаточных оснований для подобного решения.

Сестры Телен научили ее печь хлеб.

Она, со своей стороны, ввела вместо ежесубботнего купанья — ежедневное. Для этой цели в кухне, где обычно стирали белье, натапливали буковыми дровами печь, на нее ставили огромный котел с водой, потом, когда вода нагревалась, ее ведрами переливали в большой деревянный ушат. Все это требовало огромных усилий, но зато какое было удовольствие, когда пар становился таким густым, что тела трех девушек, теряя четкость контуров, мягко просвечивали сквозь него. В этом тумане слабо светилось почти коричневое, как у таитянки, тело Кэте (результат солнечных ванн у входа в пещеру на Аперте), матовое, словно припудренное кирпичной пылью — Терезы, неопределенно светлое, почти белое — Элизы. Казалось, пар приглушал даже их голоса, их смех. Они терли друг другу спины. Кэте находила, что Элиза, которая была на два года моложе ее и Терезы, самая красивая из них. У нее были стройные длинные ноги, гордая посадка головы. Кэте говорила, что ей надо закалывать волосы на макушке, чтобы видна была красивая линия шеи, но Элиза не желала следовать ее совету.

Иногда в послеобеденные часы Кэте, подменяя сестер, пасла коров; это была легкая работа, собственно, даже не работа; можно было лежать на лугу и читать. Обычно ей никто не мешал; самолеты, даже низко летящие, еще никогда не стреляли в стадо коров. Оторвавшись на мгновение от книги, она слышала доносившуюся с севера канонаду; лощина, в которой она лежала, почти полностью поглощала этот далекий гул.

Пока Кэте пасет коров

«На фронте группы армий «Б» американские вооруженные силы намеревались — в качестве необходимой предпосылки для наступления через Рёр к Рейну — расширить участок своего прорыва через «Западный вал», осуществленного ими уже ранее под Фоссенаком (юго-восточнее Аахена), чтобы затем овладеть двумя большими плотинами на реках Рёр и Урфт. В ходе длившихся много недель боев эти попытки были сорваны контратаками противника. На первое место выдвигалась подготовка к наступлению, и это особенно сказывалось на тяжелых оборонительных боях, которые шли на этом участке с середины сентября по ноябрь... Однако эти бои уже привели к тяжелым потерям с обеих сторон». (Генерал Хассо фон Мантейфель. Битва в Арденнах 1944—1945. В кн.: Якобсен/Ровер. Решающие битвы второй мировой войны. Франкфурт-на-Мэйне, 1960.)

Переплетение

Как уже упоминалось, лишь через четыре дня после того ужина на «командном пункте батальона» — он состоялся в понедельник, 2 октября — Кэте набралась мужества сказать Хайнштоку о своих отношениях с майором. Что касается последнего, то с ним она медлить не стала. Уже во вторник она сказала Динклаге:

— У меня здесь есть друг.

Она описала ему Хайнштока и рассказала, как возникла ее связь с человеком из каменоломни.

Они условились встретиться поздней ночью, когда Динклаге вернется после обычного ночного инспектирования линии обороны, и Кэте, услышав шум удаляющегося вездехода, еще подождала какое-то время и только потом вошла в дом напротив. Она чувствовала, с каким нетерпением Динклаге ждал ее, но начала говорить о Хайнштоке: она хотела, чтобы все уже было сказано, прежде чем она снова войдет в его комнату, разделит с ним ложе («ложе врага», как сказал бы Хайншток).

Хотя у него было совсем другое на уме, Динклаге сразу понял, что должен выслушать ее. Поначалу он проявил интерес к марксизму

Хайнштока, упомянул о собственных штудиях в области политической экономии, заявил, что хотел бы познакомиться с Хайнштоком, что его давно привлекает возможность побеседовать с образованным коммунистом. Услышав слово «побеседовать», Кэте скорчила гримасу и, чтобы скрыть ее, стала протирать очки; если бы кто-нибудь спросил Кэте, почему она скорчила гримасу, то она, вероятно, ответила бы то же, что сказала потом Хайнштоку по поводу высказывания Динклаге о «военной структуре», разумном поведении и том немногом, что он еще может сделать на этой войне. «Чушь все это»,—сказала бы она.

Хайншток и майор так и не встретились. По соображениям политической подпольной работы Хайншток был недоволен тем, что Кэте вообще назвала Динклаге его имя, но он перестанет упрекать ее, заметив, как Кэте закрыла лицо руками. Произойдет это ранним утром 7 октября, когда Кэте сообщит Хайнштоку о плане майора и попросит его содействия.

Наконец, после достаточно долгих рассуждений о политэкономии, Динклаге сказал:

— Это, должно быть, ужасно — потерять тебя!

— А кто сказал, что так должно быть? — сердито заметила Кэте.— Как у тебя могла возникнуть такая мысль?

В момент этого кризиса в их отношениях — который наступил так быстро, уже в начале третьей встречи — Динклаге выбрал единственно правильную линию поведения: он промолчал. Он даже не посмотрел на Кэте, а стал складывать бумаги на своем письменном столе.

— Разве какие-то отношения должны оборваться только потому, что возникли другие? — сказала Кэте.— Это просто глупо.

Он поднял глаза, оторвавшись от своих бумаг.

— Да, пожалуй, ты права,— сказал он.— Поступай как знаешь!

Хотел ли он тем самым доказать свою терпимость? Вряд ли. Он не сомневался в том, чем все кончится. Поэтому он и мог позволить себе быть великодушным.

Пещера на Аперте

1

Возвращаясь к тому моменту, когда Кэте сказала Хайнштоку: «Расскажи, как ты стал коммунистом!», следует внести одно уточнение: на ней при этом ничего не было. Она как раз принимала одну из своих полуденных солнечных ванн, лежа на поросшем мхом и травой клочке земли перед пещерой на Аперте. Как известно, Кэте достаточно полежать на солнце всего час, чтобы кожа ее приобрела смуглый оттенок — цвет, напоминающий прозрачную скорлупу каштана, если вообще существует нечто подобное.

Что касается Хайнштока, то он, проработавший всю жизнь на свежем воздухе и потому никогда не принимавший солнечных ванн, стоял одетый у входа в пещеру и, покуривая трубку, смотрел вниз на Кэте — возможно, она казалась ему индианкой, хотя и была в очках. Прежде чем раздеться в первый раз — солнце светило так прекрасно,— Кэте спросила, не возражает ли он. Он ответил, что не возражает, но в душе удивился подобной вольности. Теперь же он наслаждался тем, что живет с девушкой, у которой такие свободные и естественные взгляды.

Хайншток, геолог и специалист по тайникам, нашел пещеру на Аперте не случайно, а благодаря ссылке в книге Хаппеля и Ройлинга. Совершив несколько пеших походов — своим «адлером» он при этом не пользовался,— он натаскал в тайник продуктов и одеял. Он не доверял наступившему затишью, предполагал, что может возникнуть

ситуация, когда его не спасет и покровительство Аримонда: хорошо организованная фашистская система, погибая, попытается уничтожить и своих последних, еще оставшихся в живых противников.

Когда Кэте 18 июля появилась у него в домике, он сначала уступил ей свою постель — сам ночевал в спальном мешке на полу, но, несмотря на свое великодушное предложение Терезе Телен («Если у этой учительницы, которая живет у вас, будут неприятности, присылайте ее ко мне!»), он все же был в некоторой растерянности, не зная, как поступать дальше. У него было несколько очень надежных знакомых в тылу, которые, безусловно, откликнулись бы на его просьбу и спрятали бы Кэте у себя; подумал он и об Аримонде, о его вилле в Кобленце; но когда он заговорил об этом с Кэте, то натолкнулся на неожиданное и упорное сопротивление. Она наотрез отказалась перебраться в тыл.

— Я больше не вернусь туда,— сказала она.— Почему мне нельзя остаться здесь? Разве я вам мешаю?

Он мысленно спросил себя, следует ли считать это проявлением симпатии к нему. Во всяком случае, это явно доказывало, что жить с ним под одной крышей ей не так уж неприятно. Он ничего не ответил, только коснулся ее руки, и она при этом руки не убрала.

В тот же день, когда происходил этот разговор, то есть 20 июля, они, слушая передачу из Кале, узнали о покушении[1]. И поскольку Хайнштоk рассказывал Кэте о своем политическом прошлом, она поняла, почему он встал и сказал:

— Нам надо немедленно уходить!

Пока они шли в темноте к пещере на Аперте — Хайнштоk нагрузил и себя и ее продуктами, захватил спальный мешок, всякие другие вещи,— он сказал Кэте, что теперь по всему рейху начнутся крупные облавы, преследования. Каждый, кто известен как противник диктатуры, может подвергнуться аресту, даже если он сидел и освобожден. (Хайнштоk правильно оценил положение: после 20 июля начались массовые аресты, но приказа об аресте его самого не было. Главная полоса обороны, как оказалось, была неподведомственна гестапо.)

То, что в пещере на Аперте они спали вместе, было вполне естественно, объяснялось их зависимостью друг от друга, тем, что ночью на них обоих давили базальтовые стены, темнотой, защитой, которую Кэте нашла у Хайнштоka, тем, что он так хорошо разбирался во всех вопросах, касающихся человеческого тела.

Понятно поэтому, что пещеру на Аперте Хайнштоk воспринимает как любовное гнездышко. Он говорит себе, что это была романтическая идиллия, они были словно заперты там, отгорожены от мира, в котором убивали, вешали, пытали, но он не испытывал угрызений совести потому что уже больше десяти лет жил в мире, где убивают, вешают, пытают, и еще потому, что эта девушка пришла к нему неожиданно.

Теперь она говорит ему:

— Расскажи, как ты стал коммунистом!

Кэте, по всей вероятности, мгновенно усвоила учение Хайнштоka о принципиальной свободе природы. Ее природа тоже такова, что она никогда не согласилась бы стать чьей-либо собственностью.

Как-то позже, когда они уже вернулись к себе — она в дом Телена, он в свою хижину,— она сказала ему:

— А ведь я тебя и не люблю вовсе. Ты просто мне приятен.

Это было честно и потому ценно, но Хайнштоk предпочел бы еще раз в жизни быть любимым. На его долю выпадало лишь скоротечное счастье, которое никогда не длилось долго.

[1] Речь идет о покушении на Гитлера 20 июля 1944 г.

Он часто ходил по ночам в Винтерспельт, чтобы разузнать у Арнольда Вайнанди, не разыскивают ли его или Кэте, но, даже убедившись, что опасности больше нет, затягивал их пребывание в пещере. Только в начале августа он покинул свое укрытие. Пошли дожди, стало холодно и сыро; Кэте, дрожа от озноба, сидела в спальном мешке.

2

Хайнштоку пещера служила, в частности, и для хранения картины Шефольда; Кэте обнаружила пакет, спросила, что в нем, и, когда Хайншток ответил, умоляла показать ей до тех пор, пока он не сдался и не разрешил вскрыть пакет, хотя Шефольд даже запечатал его сургучом и черной тушью написал: «Собственность Художественного института Штеделя, Франкфурт-на-Майне». Кэте извлекла картину из-под толстого слоя гофрированного картона и папиросной бумаги. стекло было в целости и сохранности, она понесла картину к выходу, чтобы получше рассмотреть; картина была в коричневой деревянной раме, маленькая, не более двух или трех дециметров с каждой стороны, в левом углу — подпись, сделанная столь же изящным, сколь и решительным почерком: «Клее, 1930, Полифонически очерченная белизна».

Она вспомнила, что уже слышала имя этого художника, конечно же, из уст Лоренца, но никогда не видела ни одной его картины.

Кэте сразу поняла, что это совершенно другой вид искусства, чем тот, который был знаком ей по рисункам Лоренца. У этого художника Клее возникали совершенно новые, невиданные предметы.

— Чудесная картина,— сказала она Хайнштоку, который через ее плечо смотрел на картину.

Он тоже видел ее впервые, пожал плечами, ничего не сказал.

Она тщательно упаковала ее снова — правда, печати теперь были сломаны,— но потом, пока жила в пещере, еще дважды вынимала ее и смотрела.

Она заставила Хайнштока рассказать историю Шефольда, ей хотелось с ним познакомиться, но Хайншток — по известным причинам — отказал ей в этом.

3

«Простое движение кажется нам банальным. Временно́й элемент необходимо исключить. Вчера и завтра совмещены. Полифония в музыке частично отвечает этой потребности. Квинтет в «Дон Жуане» нам ближе, чем эпическая тема движения в «Тристане». Моцарт и Бах современнее, чем музыка девятнадцатого века. Если бы в музыке временное могло быть преодолено проникающим в сознание движением вспять, то еще возможен был бы новый расцвет. Полифоническая живопись тем превосходит музыку, что время здесь выражается через пространство. И слияние времен проявляется еще богаче». (Из записок Пауля Клее о полифонии, 1917 г.)

4

— Если ты так хорошо знаешь здешние места, что даже показал ему дорогу,— заметила Кэте, когда Хайншток рассказал ей о жизни Шефольда между фронтами,— то почему мы тогда не отправились к американцам, вместо того чтобы прятаться в пещере?

На этот вопрос Хайншток ответить не мог. Иногда он подумывал о том, что в случае реальной угрозы мог бы бежать к американцам, но всякий раз отвергал такое решение, поскольку оно означало бы расставанье с каменоломней. Ибо тогда — в то самое время, которое он считал решающим для себя и для каменоломни, то есть в первые месяцы после окончания войны,— он очутился бы в лагере для интернирo-

ванных в Бельгии, может быть, даже во Франции, во всяком случае где-то далеко. А для него главное заключалось в том, чтобы быть на месте, когда кончится война.

— Здесь мы в такой же безопасности,— сказал он.

Они сидели в пещере, и вход в нее казался в вечерних сумерках словно затянутым серой тканью.

Только позднее он вернулся к этой мысли, подумал о том, что американцы сразу же разлучили бы его с Кэте, отправили бы Кэте в женский лагерь, а его — в мужской. Тогда они бы даже по-настоящему не узнали друг друга; наверное, у него осталось бы лишь смутное воспоминание о Кэте. Кэте же в тот вечер решила, что она уж как-нибудь выведает у Хайнштока тайный путь, по которому ходил Шефольд.

Короткие заметки о связях Кэте

Не сговариваясь, Динклаге и Кэте уже через сорок восемь часов перестали делать тайну из своих отношений. Динклаге незачем было играть в прятки: как-никак он был майором, командиром батальона, комендантом гарнизона, кавалером Рыцарского креста; а Кэте вообще все было безразлично; ведь она скоро так или иначе уйдет из Винтерспельта. Уже начиная со среды они открыто разговаривали на улице, вместе совершали прогулки, встречались часто — насколько позволяла Динклаге служба, а Кэте работа по хозяйству. Эти встречи у всех на виду побудили Кэте уже (или наконец) в четверг вечером избавиться от нечистой совести перед Хайнштоком: нельзя было допустить, чтобы ее опередил кто-нибудь из деревни.

Динклаге запасся еще одной, совершенно особой причиной, объяснявшей, почему он не делал тайны из их отношений. Он сказал себе, что их связь превратится в чисто постельную, если Кэте всегда будет приходить к нему только поздно ночью. Этого он не хотел. (А она приходила к нему каждую ночь, во всяком случае вплоть до пятницы.)

В разговоре с Хайнштоком она поняла силу своего чувства к Динклаге. Свобода, которой она хотела располагать («Разве какие-то отношения должны оборваться только потому, что возникли другие?»), оказалась нереальной, хотя Динклаге и выдал ей индульгенцию («Поступай как знаешь!»). Существовали отношения, которые делали другие отношения невозможными.

Кроме того, Хайншток, конечно же, на это не пошел бы.

— Господи, Кэте!

В его восклицании она почувствовала не только страдание и отчаяние, но и быстрое примирение с чем-то неизбежным. Угасание света.

Он был не такой человек, чтобы делить ее с кем-то.

Он был надежный человек; его седеющие волосы отливали сталью. Она понимала, что было бы правильнее удовольствоваться им одним — на то короткое время, что она еще здесь. Не стоило начинать все это с Динклаге. Надо было держать себя в руках.

Она скрывала свое нетерпение — скорее уйти, вернуться в Винтерспельт, в дом, где ее ждал Динклаге.

Сначала они говорили о птице, которой Кэте боялась. Хайншток рассказывал ей, как живут сычи. Они летают в сумерках и в темноте по старым лесам, убивают мышей-полевок, сгоняют маленьких птиц с ветвей, где те спят, проглатывают свою добычу вместе с шерстью или перьями, потом выплевывают клубки перьев и пуха.

— В зимние ночи можно услышать их любовные песни,— говорил Хайншток.— Здесь в лесах много сычей.

— Я их уже не раз слышала,— ответила она.— В Берлине тоже масса сычей.

Она вспомнила, как прошлой зимой кричали по ночам сычи в садах Ланквица, низкое «ху-ху-ху», за которым следовало более высокое по тону, раскатистое, тремолирующее «у-у-у». Она и не подозревала, что это их любовные песни.

— Зимой,— добавила она,— меня здесь и в помине не будет.

Он промолчал.

Уже позднее — когда они заговорили о мерах, принятых майором Динклаге,— он сказал:

— Сегодня у меня впервые появилось сомнение в том, что все было бы уже позади, если бы я жил в Блайальфе.

Весь день он слушал с высоты над каменоломней тишину, всматривался в неподвижность — следствие мер, осуществленных майором Динклаге.

Чувство как к Хайнштоку, так и к Динклаге Кэте с самого начала оценивала не без скептицизма. Она никогда не была влюблена «без памяти». По отношению к Динклаге она была даже более критична, чем по отношению к Хайнштоку. Хайнштоку она могла сказать: «Я тебя и не люблю вовсе, ты мне просто приятен», в отношении же Динклаге слово «приятен» было неуместно, его она просто любила. Она умела наблюдать за собой и в результате снова и снова обнаруживала, что ее неизменно влечет к нему.

И тогда она была неприятна сама себе. Вообще она отличалась способностью к самокритике. Она всегда старалась помнить, что сама не лучше тех, кого критикует.

Но возникали моменты, когда Динклаге был ей очень приятен.

В один из дней следующей недели, когда план его уже начал обретать конкретные очертания, Динклаге рассказал ей, как воспрепятствовал эвакуации Винтерспельта. Он не сказал почему. Почему, собственно, он не сказал? Она бы обрадовалась.

— Тогда же я предложил полковнику Гофману,— сказал он потом,— взорвать виадук у Хеммереса. Мой план уже вполне созрел, и я знал, что этот виадук очень облегчит его осуществление, и все же я предложил его взорвать. Можешь ты мне это объяснить?

Конечно, он вовсе не ждал, что она ему это объяснит, и Кэте промолчала, понимая, что операция может в последний момент оказаться под угрозой, если она скажет: «Это доказывает, что твой план для тебя — абстракция, навязчивая идея, нечто такое, чего ты на самом деле вовсе не хочешь».

Но он был ей очень мил, когда задавал себе такие вопросы.

Или когда произносил такие монологи:

— Я никогда не посылал карательных отрядов, никогда не участвовал в акциях против населения. Вот главная причина, почему я всегда отказывался воевать в России.

И он с удовлетворением похлопывал себя по правому бедру.

— Но, господи,— сказал он как-то,— до чего же бессмысленные вещи приходилось мне иногда делать. Я выполнял приказы — начать наступление или удерживать позицию,— которые с военной точки зрения были совершенно идиотскими, которые все, вплоть до командования дивизии, считали абсолютно нелепыми. Я видел сотни, нет, тысячи мертвых и раненых, которые погибли или оказались ранеными

только потому, что какое-то дерьмо за каким-то письменным столом в штабе армии считало себя полководцем. Но я всегда подчинялся. Я никогда еще не позволил себе не выполнить приказа,— повторил он.

Если удастся осуществить его план, подумала Кэте, это искупит его вину в том, что он выполнял все приказы.

Динклаге, этому человеку, пекущемуся об этике и раздираемому противоречиями, незачем было беспокоиться, что его отношения с Кэте ограничатся постелью. Ибо именно эта сторона их отношений, к его глубочайшему разочарованию, оборвалась уже в ночь с пятницы на субботу, то есть с 6-го на 7 октября.

Во всяком случае, этой ночью Кэте спала с ним в последний раз и уже не была поглощена им в той мере, как прежде. Замысел, который он раскрыл ей в канцелярии, в комнате с табличкой «Командир» на двери, еще до того, как они поднялись в его спальню в мансарде, отвлек ее от всего остального.

Надо только представить себе эту сцену! Она нашла его склонившимся над картами, при тусклом свете висящей под потолком лампы, и он очень естественно, без всяких вступлений — как шесть дней назад, когда она вошла с лампой в руках в канцелярию и он сказал: «Это спасет мне вечера»,— заговорил о своем плане. Несколько раз, когда боль в бедре становилась невыносимой, он выпрямлялся, а потом снова, помогая себе фонариком, буквально впивался в карту. Кэте, стоявшая рядом, не следила за лучом фонарика, она только делала вид, что ее интересует расположение хутора Хеммерес и кончающегося возле него виадука, над которым кружил кончик карандаша Динклаге; она прислушивалась к звуку его голоса, к интонации, с какой произносят математические формулы; ждала, когда в его речи появятся возбуждение, взволнованность, пусть даже элемент авантюризма, ибо именно этого следовало ожидать от офицера, которому всего лишь 34 года и который задумывает неожиданную и смелую военную операцию. Но это возбуждение, взволнованность, авантюризм так и не появились.

Зато сама она пришла в крайнее волнение. Если план удастся осуществить, это будет потрясающе. Ей хотелось схватить Динклаге за плечи и потрясти, чтобы заставить его сделать какой-то жест.

Легкость, с какой она сообщила ему, что знает кое-кого, кто мог бы связаться с американцами, почти небрежная интонация, с какой она произнесла: «О, если все дело в этом!», тем самым избавляя Динклаге от главной трудности, были абсолютно наигранными.

В действительности она понимала, во что ее втягивают, и испугалась. Динклаге не противился тому, что она превращала его абстрактные размышления в конкретные действия, но, едва включившись в этот процесс, едва назвав ему (впервые) фамилию Хайншток, едва заговорив о своем знакомстве с Хайнштоком (о подлинном характере этого знакомства она сообщила ему лишь на следующую ночь), Кэте уже обнаружила в себе следы раздумий о ценности абстракций; пока, впрочем, это были лишь смутные, ускользающие мысли, нерасшифрованная морзянка сомнения.

Да, ну и ввязалась же она в историю! И спросив себя мысленно, что же это за история, не нашла ответа; зато в памяти вдруг всплыло выражение, которое она часто слышала в Берлине: «Вот это номер!»

Просто подумала: «Вот это номер, а?»

Она и сама не могла бы ответить на вопрос, когда у нее созрело решение, что больше она не будет спать с Динклаге,— этой ли ночью, когда она уже не могла заставить себя думать только о ласках, а взволнованно размышляла о том, что́ надо предпринять сразу после рас-

света, или во время разговора с Динклаге на следующий день, когда она была разочарована, неприятно поражена, полна дурных предчувствий из-за того, что Динклаге настаивал на своем требовании: Шефольд должен прийти через линию фронта,— считая это условие делом чести.

Вполне возможно, что, когда началась операция — а началась она, когда Динклаге раскрыл ей свой план,— Кэте, сама того не сознавая, стала вести себя, как боксер, который перед боем предается воздержанию. Хотя почему, собственно, «сама того не сознавая»? Она скорее всего совершенно четко сознавала, что подобный план повелевает им обоим не расслабляться.

Впрочем, правильнее предположить, что трещина в их отношениях возникла именно во время того разговора 7 октября. Изложенный Динклаге кодекс чести, его рассуждения о «структуре» привели к тому, что в чувствах Кэте произошло своеобразное перемещение центра тяжести: от любви к антипатии. И антипатия перевесила.

Его план взволновал ее, но ей хотелось вытряхнуть из него холодную абстрактность, и она нашла для этого удобную форму, избавив оперативные схемы Динклаге от той необязательности, которая свойственна всякой схеме, пока она остается игрою ума. Но на следующий день, сидя напротив Динклаге у его письменного стола и слушая его условие, она обхватила запястье руки пальцами и застыла в этой позе, столь типичной для нее, когда она с чем-то была абсолютно не согласна, когда ей что-то очень и очень не нравилось.

Все остальные формы общения они сохранили. Они прогуливались вместе, сидели по вечерам в канцелярии, обнимались и целовались. Кэте проводила с Динклаге почти все свободное время, совсем забросила Хайнштока, забегала только на минутку в каменоломню, собственно, лишь для того, чтобы узнать новости, услышать, как разворачиваются события у Шефольда и американцев. Она пользовалась почтовым ящиком.

Наибольшее впечатление на нее производило, конечно, то, что Динклаге продолжал относиться к ней так, будто ничего не произошло. Прогулки, долгие беседы по вечерам, объятья, поцелуи. Какой мужчина это выдержит? Ей и самой было очень нелегко держать себя в руках.

Во всяком случае утром 12 октября, когда Кэте приехала на велосипеде, чтобы сообщить, что Шефольд перешел линию фронта и находится в Винтерспельте, у Хайнштока не было ни малейших оснований предполагать, что она приехала прямо из постели Динклаге.

С другой стороны, Хайншток не был настолько твердолобым, чтобы с четверга, 5 октября (то есть дня, когда Кэте сообщила ему, что полюбила офицера фашистской армии), до следующего четверга, 12 октября, то есть вплоть до того решающего дня, сохранять уверенность в том, что Кэте перешла в лагерь врага.

«За» и «против»

По-видимому, уже в субботу, 7 октября, когда ранним утром Кэте неожиданно появилась у него с невероятным сообщением о планах майора, его собственный тезис о «враге» перестал казаться ему абсолютно убедительным.

Его сомнения совпали с сомнениями Динклаге, в чем-то даже их дополняли.

— Как этот господин намеревается собрать всю свою ораву в одной точке?— спросил он.— Батальон — это четыре роты, около тысячи двухсот человек, и они занимают участок фронта, протянувшийся от линии южнее Винтерспельта и до мест, находящихся севернее Вальмерата и Эльхерата. Те, кто свободен от дежурства, дрыхнут по квартирам, остальные — в карауле. Под каким предлогом он отзовет караульных из окопов, оставит линию обороны без охраны? В таком большом подразделении среди младших офицеров есть определенный процент фашистов, и им покажется в высшей мере странным, что батальон в главной полосе обороны строится на вечернюю поверку без оружия. Конечно, я вовсе не склонен недооценивать дух слепого повиновения, но, как ни странно, стоит им учуять что-то неладное, что-то направленное против порядка, против фюрера и рейха, в них сразу появляется настороженность. Тут у них какое-то шестое чувство просыпается, и они отказываются повиноваться, чего в обычных случаях не делают. Достаточно, чтобы одному хаупт-фельдфебелю это показалось подозрительным, и тот сразу позвонит в полк, как только начальник на минутку отвернется. И уж хотя бы своего фельдфебеля он должен ввести в курс дела часа за два до ночной тревоги, иначе тот забастует, а тут всесилие командира батальона кончается; фельдфебель, даже если ничего плохого не заподозрит, потихоньку намекнет командирам рот, стараясь, чтобы учение лучше прошло; а если заподозрит, то, как я уже сказал, позвонит в полк, это я знаю.

На какое-то мгновенье Хайншток погрузился в воспоминания о том, с каким чудовищным скрипом и скрежетом вращался заржавевший механизм ушедшей в небытие императорско-королевской армии[1]. Впрочем, аппарат так называемой современной армии издает такие же отвратительные звуки. Армии никогда не меняются, подумал Хайншток.

— Как-нибудь это уладим,— сказал майор, когда Кэте рассказала ему, чего опасается Хайншток.— Во-первых, Каммерер никогда не будет устраивать таких номеров. Во-вторых, господин Хайншток упускает из виду, что я кавалер Рыцарского креста, или он просто не знает, что это значит. Любой из командиров рот безоговорочно подчинится мне, если я распоряжусь арестовать Каммерера или кого угодно за невыполнение приказа.

— Хайншток считает,— возразила Кэте,— что Каммерер или еще кто-нибудь вполне могут тайно связаться с твоим начальством.

— В этом случае полковник Гофман или начальник разведки прежде всего позвонят мне,— сказал Динклаге.— Я на это отвечу, что тот, кто их проинформировал, чего-то недопонял. Таким образом, я узнаю, кто мне путает все карты... Я согласен с господином Хайнштоком,— добавил он,— насчет сбора батальона в одном пункте. Это действительно технически трудно осуществить. И самая большая трудность будет заключаться в том, чтобы привести в этот пункт американцев и чтобы они, приближаясь к этому пункту, вели себя правильно. Все зависит от того, насколько точно они будут следовать моим инструкциям и сумеют ли правильно прочесть схему местности, которую я им передам.

Кэте обратила внимание, что он не сказал: «которую я им передам через тебя», или: «через Хайнштока», или: «через Шефольда». (Впрочем, он наверняка сказал бы: «через господина Хайнштока»

[1] Имеется в виду армия Австро-Венгрии.

или: «через господина д-ра Шефольда».) Может быть, он не хотел признаваться себе в том, что его план осуществляют другие люди?

Он перестал также обсуждать с Кэте военные детали операции. У нее создалось впечатление, что ему было неприятно, когда она затрагивала подобные темы; во всяком случае, он быстро оборвал разговор, когда она решила предупредить его, чтобы он даже не намекал Каммереру на свой план, ибо тот сразу же перестанет повиноваться. Совершенно ясно, что Динклаге не привык получать тактические рекомендации от женщин. При этом у него каждый раз появлялась эта покровительственная интонация, это «ну-ну».

Дважды за время их отношений Кэте недвусмысленно дала ему понять, что не потерпит этой интонации.

Проанализировав ситуацию с военной точки зрения, Хайншток изложил свои сомнения: ведь у Динклаге практически нет поддержки среди солдат и офицеров, нет опоры в массах и т. д.

— Все можно было бы сделать,— сказал он,— если бы этот человек (в виде исключения он на сей раз не сказал: «этот господин») мог опираться на сеть доверенных лиц или, по крайней мере, на действующую партийную ячейку в каждой роте. А так...

Он сделал рукой движение, выражающее безнадежность. Кроме того, признался он себе, он сам совершил логическую ошибку. Ведь Динклаге мог бы опираться на доверенных людей, если бы он обладал четким политическим сознанием; если бы он был не просто господином, не просто человеком, а товарищем, коммунистом. Смешно даже предположить такое! А так — это всего-навсего бессмысленная акция одиночки.

— Здесь нет главного, основ,— сказал Венцель Хайншток Кэте Ленк.— А ты требуешь от меня, чтобы я поддержал это безумие.

В голове Кэте все больше зрела высокомерная мысль, что этот план — исключительно ее дело.

Она вытащила Динклаге из сферы упражнений в оперативном искусстве, но когда ей удалось превратить его теорию в практику, он выдвинул это невероятное требование, чтобы Шефольд пришел через линию фронта.

Хайншток же, который, по существу, сначала отказывался от участия в этом деле, а потом, не переставая колебаться и не желая слишком рисковать, все же согласился в нем участвовать, упорно оставался где-то на заднем плане. А почему? Только потому, что нарушались правила борьбы против фашистских диктатур, разработанные его партией. Для Хайнштока Динклаге был всего лишь одиночкой, любителем, не придерживавшимся правил революционной борьбы. Кэте с неприязнью вспомнила о том, как в манерах, во всем поведении Хайнштока вдруг появилась этакая удовлетворенность специалиста-конспиратора, когда он решил ограничиться ролью почтового ящика.

«При этом он и как специалист абсолютно неправ,— подумала Кэте.— Было бы гораздо проще, целесообразнее и безопаснее, если бы к американцам отправилась я».

Обдумав все, она пришла к выводу, что Динклаге и Хайншток только тормозят осуществление операции.

Американец Кимброу и Шефольд, прогуливавшийся между фронтами, действовали решительно, без оглядки, не шли на попятный даже тогда, когда Динклаге вдруг потребовал контактов через

курьера, притом потребовал тогда, когда еще никто не знал, что, собственно, надо обсуждать. С ведома Кимброу Шефольд перешел линию фронта, хотя еще ничего не было подготовлено и уже было ясно, что американская армия не проявляет ни малейшего желания взять в плен Динклаге и его батальон.

С немецкой стороны только она одна последовательно, решительно, непреклонно стремилась к осуществлению этого плана.

Но думая о Шефольде, она мысленно уточняла: слишком последовательно, слишком решительно, слишком непреклонно.

Ей, правда, удавалось сдержаться, хотя порой и очень хотелось обрушиться с упреками на Динклаге или Хайнштока. Всякий раз, собираясь высказать им все, она вовремя вспоминала о своем непреодолимом желании использовать ночь операции, чтобы бежать по той дороге, которой пользовался Шефольд и которую она еще выведает у Хайнштока. Это ее право — осуществить свой план, когда операция будет в самом разгаре и ей придется лишь ждать, удастся она или провалится; и все же Кэте не могла избавиться от чувства, что, выходя из игры именно в этот момент и следуя своей страсти к перемене мест, она руководствуется соображениями личными и эгоистическими. Она казалась самой себе коварной; ее намерение в день х (или в ночь х) выйти из игры ничем не отличалось от осторожности Хайнштока или от кодекса чести Динклаге.

В день, последовавший за тем роковым разговором 7 октября, Кэте сказала Динклаге:

— Я поняла наконец, где ошибка в твоих вчерашних рассуждениях. Ты сказал: «Я рискую всем. И потому я должен потребовать, чтобы и американцы пошли на какой-то риск». Ведь ты это сказал, не так ли?

Динклаге ответил утвердительно.

— А именно это как раз и неправильно,— сказала Кэте.— Ты ничего не должен ждать от американцев, ничего не должен от них требовать.

Она сразу же поняла, что в своем азарте действовала неумело. Она сформулировала свою мысль слишком прямолинейно. Ее слова, наверное, показались ему невыносимо назидательными. Даже ей самой они показались такими. Вечно будет в ней сидеть эта проклятая учительница.

Испытывая страх за Шефольда, она все же надеялась, что Динклаге уступит. Вся закулисная сторона его плана изменилась бы, если бы он уступил и отказался от своего требования, чтобы Шефольд пришел через линию фронта.

Но его не удалось переубедить. Или, может быть, решение затребовать к себе Шефольда, когда время для этого еще не настало, должно было доказать ей, что он уже ничего не ждет от американцев?

Гипотеза относительно мотивов поведения майора Динклаге в период, предшествовавший принятию решения (мотивов, которые, возможно, не были ясны ему самому):

Когда полковник Гофман запросил его о целесообразности эвакуации гражданского населения из Винтерспельта, Динклаге, как известно, думал лишь о том, что это разлучит его с Кэте Ленк. Отсюда можно сделать вывод, что и все его поведение при осуществлении плана определялось лишь мыслью о том, что он может потерять Кэ-

те, притом потерять как в случае благополучного, так и неблагополучного исхода. В первом случае он оказался бы в плену у американцев, во втором — предстал бы перед военным трибуналом и был бы расстрелян.

Но если эвакуацию Винтерспельта — к радости винтерспельтских крестьян — он предотвратил, то от своей операции не собирался отказываться.

Он сам создавал препятствия для ее осуществления, вставлял палки в колеса, как мысленно выражалась Кэте. Может быть, он затеял историю с Шефольдом (то, что Хайншток презрительно назвал «кодексом чести») лишь с одной целью — заставить Кэте примириться с тем, что план так и останется планом. Он надеялся, что в этом случае сумеет ее сохранить. Но все это он представлял себе не так уж ясно, да в общем тут и на самом деле нет никакой ясности.

Позднее же, когда план уже начал осуществляться, он не мог, не хотел, не имел права не верить в успех. Он рассчитывал, что при благоприятном исходе он, пробыв год-два в плену, вернется к Кэте, которая будет его ждать.

Принимая во внимание особенности характера Кэте, вряд ли можно было рассчитывать на это с большой уверенностью.

Слово чести по-американски, или Интернационал офицеров

Кэте молчала, когда Динклаге решил объяснить ей, почему он намеревался взорвать железнодорожный виадук под Хеммересом. Она не хотела в последний момент ставить под угрозу операцию, демонстрируя свою принципиальность. Но она без малейших колебаний высказала ему все, когда поняла, что́ именно кажется ей сомнительным в его точке зрения, согласно которой американцы тоже обязаны чем-то рисковать. У американцев не было никаких обязательств — если он этого не понимал, значит, весь его план основан на совершенно неверных предпосылках.

Позднее она не избавила его и от необходимости выслушать последний аргумент, с помощью которого командир полка, где служил Кимброу, пытался объяснить, почему высшие американские штабы почти наверняка не пойдут на предложение Динклаге.

Шефольд о Кимброу, во время своего последнего визита к Хайнштоку (во вторник, 10 октября в 14 часов):

— Никогда еще я не видел его в таком плохом настроении, как сегодня утром в Маспельте. Сначала он напустился на меня: чего, мол, я опять хочу, ничего еще неизвестно. Потом он извинился, начал объяснять мне всякие сугубо военные вещи, чтобы я понял, почему ничего еще не решено. Вы будете недовольны мной, господин Хайншток, но то, что касается военной специфики, я не запомнил. Я обратил внимание только на одно, а именно, что его полковник сказал напоследок: «Кроме того, мы вообще не желаем иметь дело с предателем». Если бы Кимброу не был так раздражен,— добавил Шефольд,— он наверняка промолчал бы об этом.

Не позже чем через час Хайншток передал это высказывание полковника Р. Кэте.

Если Хайншток радуется чему-то — так было, например, в отеле «Кайзерхоф», когда он благодарил Маттиаса Аримонда,— голубизна его глаз становится еще светлее, чем обычно. Но едва Кэте, вернув-

шись к нему после обеда, сообщила, что передала Динклаге слова полковника Р. о «предателе», глаза его из светло-голубых стали совсем темными, зрачки от испуга расширились.

Он с ужасом посмотрел на Кэте.

— Черт побери, Кэте,— произнес он,— это незачем было говорить.

— Я обязательно должна была ему это сказать,— возразила она, ни капли не смутившись прозвучавшей в голосе Хайнштока неприязнью.— Я показалась бы сама себе обманщицей, если бы не сказала ему об этом. В конце концов он имеет право знать *все*.

Проклятье, проклятье, проклятье, думал Хайншток. Какое право имеет женщина подвергать мужчину таким испытаниям? Впервые он испытал сочувствие к человеку, который отбил у него Кэте.

— Как он отреагировал? — спросил Хайншток.

— Не знаю,— ответила Кэте.— Он ничего не сказал.— И добавила: — Он великолепно владеет собой.

— Но этим ты поставила под угрозу всю операцию,— сказал Хайншток.

— Ты же был бы этому только рад,— насмешливо возразила Кэте.— Ты же никогда в нее не верил и еще сегодня считаешь все это бессмысленной затеей.

— Он просит тебя,— добавила она,— передать Шефольду, что ждет его послезавтра в двенадцать часов в штабе батальона. Вот,— она передала ему листок бумаги.— Он нарисовал путь, по которому должен идти Шефольд. Конечно, через линию фронта. Без этого он ничего делать не будет.

Она смотрела, как Хайншток сразу же углубился в изучение эскиза Динклаге.

— Я перенесу это для Шефольда на карту,— сказал он.

Очевидно, ему даже в голову не пришло скомкать листок бумаги и швырнуть в огонь, горевший в маленькой железной печке в его хижине.

Теперь что касается Динклаге: и на следующий день майор Йозеф Динклаге, командир батальона, кавалер Рыцарского креста и предатель, не отказался от своего плана.

Хайншток смотрел вслед Кэте, которая отправилась на велосипеде обратно в Винтерспельт, чтобы не упустить момент, когда Шефольд выйдет из дома с дурацким названием «Командный пункт батальона». Волосы ее развевались, и колеса велосипеда, поблескивая, оставляли за собой белое облачко пыли, так как погода в первые дни октября была все время сухая и прекрасная.

Ближе к вечеру Хайншток собирался пойти в Винтерспельт, чтобы узнать у Кэте, когда ушел Шефольд и чем кончилась его встреча с Динклаге. А пока он вернулся в свою хижину и приготовил себе немного еды.

События в батальонной канцелярии

Приближаясь к Винтерспельту в сопровождении Райделя, Шефольд несколько раз искал глазами гребень холма, который севернее обрывался к каменоломне Хайнштока, но ему не удалось его обнаружить, хотя с дороги у амбара, где раньше располагалась полевая кухня, он легко мог бы его увидеть. Отсюда, с юга, гора, где находи-

лась каменоломня, казалась всего лишь малоприметным пустынным склоном, по-осеннему рыжеватой, неяркой шкурой, натянутой между кусками леса над лугами, над жнивьем. Сейчас, в присутствии Райделя, Шефольд почувствовал бы себя спокойнее, если бы ему удалось обнаружить ту точку, откуда за ним, по всей вероятности, наблюдали, где заботились о его безопасности.

Но и Хайнштоk, к сожалению, не подумал о том, чтобы проследить в бинокль за коротким отрезком пути у входа в Винтерспельт; убедившись в том, что́ он знал и раньше, а именно: что между тем местом, где находится он сам, и местом, где Шефольд должен был перейти линию фронта, высится багровая стена Эльхератского леса,— он сдался, перестал наблюдать. Мысли его были сосредоточены именно на этой точке, единственной, по его мнению, где Шефольду угрожала опасность.

О прибытии Шефольда в Винтерспельт его известит Кэте.

Ну, это уже слишком: тип, которого он захватил, останавливается и, сунув руки в карманы, преспокойно разглядывает местность — шпионит. Райдель торопился. Новобранцы, наверное, уже вернулись, а с ними унтер-офицеры и командиры взводов; во всяком случае, с каждой минутой, что этот лопух тут не мычит не телится, возрастает опасность встретить кого-нибудь, кто, обалдев от удивления, потребует у него ответа: «Где вас носит, Райдель? Я полагаю, ваше место на посту!» — при этом голос у него будет масленый, как у всех этих паршивых чинов, которым в первый раз дали погоны с кантителью — они и начинают крутиться перед зеркалом, восхищаясь собой.

О том, чтобы пнуть под зад этого типа, который ведет себя более чем подозрительно, теперь и думать нечего. Пока толком ничего не определилось, надо быть вежливым. Конечно, без этих гостиничных ужимок — хватит того, что он сказал ему: «Все в порядке», когда возвращал письмо, да еще с такой готовностью, словно портье, проверивший удостоверение постояльца,— кстати, письмо, которое предъявил этот тип, ничего не доказывает, подумал Райдель; достаточно, если он не будет говорить этому субъекту «ты», не будет обзывать его «задницей». Своим высоким, резким голосом он прикрикнул на Шефольда:

— А ну побыстрей! А то опоздаем.

Неслышно вздохнув, вынув руки из карманов, поправив правой рукой плащ, висевший на плече,— зря он его взял при такой погоде, хотя, с другой стороны, без плаща он выглядел бы как-то небрежно, нельзя же просто так, в одном пиджаке, появиться перед майором Динклаге,— Шефольд стал размышлять о том, что вот он, наконец, входит в деревню Винтерспельт. Он не бывал здесь. Он знал Айгельшайд, Хабшайд и еще несколько деревень, расположенных за главной полосой обороны. Деревня Винтерспельт вытянулась вдоль дороги, только внизу, в лощине, куда некруто спускалась дорога, она разрасталась вширь. На первый взгляд Винтерспельт показался ему больше, богаче, чем те захолустные деревеньки, по которым он бродил к неудовольствию Хайнштока. Богаче, но не красивее. Не желая быть несправедливым по отношению к Винтерспельту, он стал рассматривать колокольню, расположенную на окраине деревни; башня была сама по себе безликая, построенная в XIX веке, но под ней находилась, как Шефольд знал, позднеготическая церковь. Может быть, случится так, что ему удастся осмотреть ее после разговора с майором; но подумав об этом, Шефольд тут же покачал го-

ловой: после разговора нельзя будет терять время. Наверняка во время беседы он узнает нечто такое, о чем надо будет незамедлительно уведомить Кимброу.

Как узнает обо всем Хайнштоk? Это уже не его, Шефольда, дело. Известить его сумеет эта неизвестная дама, которая пользуется доверием и Хайнштока, и майора.

До чего же здесь пустынно, безжизненно. Где, черт побери, крестьяне, солдаты, обитатели этой большой деревни? Время от времени появлялись люди в мундирах — то у ворот какой-нибудь усадьбы, то в тени двора; из лавки, единственной, которую он увидел, вышла женщина и скрылась на боковой улочке.

Для Райделя, который умел разбираться в военной обстановке, Винтерспельт не был ни пустынным, ни безжизненным. Он знал и видел, что они проходят мимо санитарной части, вещевого склада, склада оружия и боеприпасов, полевой кухни, домов, где расквартированы отделения. От его натренированного и зоркого глаза не укрылось ничего — ни легкобольные, игравшие в карты в саду возле медпункта, ни оба кладовщика, считавшие одеяла, ни солдаты, чистившие картофель во дворе у сарая, где скрыта полевая кухня. Он знал, что и они заметили его, хотя их глаза не были такими натренированными и зоркими; уйти в двенадцать часов дня с линии фронта и привести с собой штатского, да еще такого приметного — это событие. Шушеры из откомандированных в роту снабжения ему опасаться нечего — они даже не окликнули его, чтобы спросить, а только молча глазеют, на это ему наплевать с высокой горы, и все же он мысленно заготавливал ответ — вдруг кто-нибудь из ночной смены, кто не спит, начнет задавать дурацкие вопросы. Есть ведь такие — простоят полночи на посту и все равно спать не могут, бродят днем по деревне, как привидения. И когда они спят? Впрочем, скорее всего они не рискнут приставать к нему с расспросами. «Ты распространяешь ужас вокруг себя». Они были привидения, дрожащие от страха.

Какая сонливость, летаргия по сравнению с суетой в Маспельте, где все время то выстраивались, то расходились группы солдат, колоннами по одному отправлялись на позиции или возвращались с позиций, чистили оружие на воздухе, возле своих квартир, днем уезжали на джипах в Сен-Вит, когда были свободны от дежурства; там кипела жизнь — совсем другая, на американский лад: долговязые парни двигались не спеша, беспечно, не заботясь о выправке, скорее стараясь казаться равнодушными; форма у них была из какой-то мягкой ткани — не штатская, о нет,— и battle-jacket[1], и легкие ботинки на толстой резиновой подошве не были штатскими, а составляли военное обмундирование, которое не должно было больше напоминать о закованном в броню солдате, чеканящем шаг по чужим странам, а должно было лишь вызывать смутную тревогу у окружающих и придавать динамизм тем, кто в него облачен.

Поразительно, что они не считают нужным маскироваться! Если они задирают голову, то лишь затем, чтобы посмотреть вслед собственным самолетам, летящим в небе, высоко, далеко, со стальной неудержимостью. Эти новички из Монтаны вообще не могут представить себе войны, ведущейся с воздуха. Что, пожалуй, легкомысленно, подумал Шефольд, вспомнив, как пессимистически оценивал положение майор Уилер.

---

[1] Походная куртка *(англ.)*.

Хайнштоk сказал ему, что майор Динклаге — мастер маскировки. Вид Винтерспельта подтверждал это. Но здесь было еще что-то, выходившее далеко за пределы маскировки, игры в прятки, маскарада, бытия в катакомбах. Нечто, напоминающее сон и сновидения. Нечто, быть может, похожее на смерть. Здесь в Винтерспельте, на деревенской улице, майору Динклаге удалось создать не столько впечатление безлюдия, сколько впечатление вымирания.

Мимо двух котят, игравших на крыльце дома, он пройти не мог. Шерсть их поблескивала на октябрьском солнце, у одного переливчатая, в черно-серую полоску, у другого, той же окраски, по спине проходила еще светло-рыжая полоса. Трехцветная — скорее всего самка, подумал Шефольд, неплохо разбиравшийся в кошках. Котята гонялись друг за другом по ступенькам, обнимались, нападали друг на друга нежно, бесшумно. Им было месяца по два. Шефольду удалось взять на руки молодого кота с глазами такими же голубыми, как у него самого. Он ожидал окрика Райделя, чего-то неприятного, произнесенного неприятным тоном, свойственным этому человеку, но когда он обернулся, все еще держа кота на руках, то увидел, что Райдель — наверное, он тоже обожал кошек — глядит на животное, словно застыв в трансе.

Неужели при виде этого существа у него пробудилось чувство человечности? Усомнившись в этом, Шефольд спустил с рук котенка, которому обязан был тем, что на сей раз не раздалось обычного окрика.

Продолжая путь, он представил себе, как зимой две большие кошки, точнее, кот и кошка, брат и сестра, запаршивевшие, голодные, хищные, будут бродить по развалинам Винтерспельта.

Борек в Дании. Когда Райдель прибыл в Мариагер, Борек уже был в бараках, он был из числа тех новобранцев, из которых состояла едва ли не вся четыреста шестнадцатая и на которых приходилось точно рассчитанное число старых обер-ефрейторов, являющихся костяком армии. Он вовсе не был красивым парнем. Слишком длинный, тощий как жердь. Очковая змея. Он неподвижно стоял у окна, скрестив руки, и смотрел на дождь, пока Райдель раскладывал вещи в шкафчике. Он был такой худой, что Райделю показалось, будто дождь проходит сквозь него.

— Идиотизм,— сказал он вдруг Райделю,— что нам сегодня надо выходить на учения при такой погоде.

Конечно, Райдель не удостоил его ответа. Во-первых, он никогда не говорил ничего лишнего, во-вторых, его разозлило, что этот щенок говорит тоном образованного, в-третьих, он просто онемел от изумления, что кто-то предполагал, будто в дождь война происходит в помещении, притом предполагал всерьез; он сразу почувствовал, что Борек и не думает шутить.

Но потом с ним приключилось вот что. Увидев, как Борек надевает сапоги, он заставил его снова снять их. Борек: «Но зачем?» Райдель: «Я сказал, значит, снимай!» — и показал ему, как намотать портянки, чтобы не стереть ноги, чтобы не образовались волдыри. Да, он встал перед Бореком на колени, поставил его ногу на кусок материи, объяснил ему, что под ступней все должно быть идеально разглажено, и так загнул четыре угла вокруг пятки, щиколотки и пальцев, что портянка легла плотно, без складок. Такого слюнтяйства по отношению к новобранцам он себе еще не позволял. При этом на них смотрело несколько человек. Он заставил Борека повторить эту операцию, и тот делал все так бестолково, что дальше не-

куда, у него были не руки, а крюки; Райдель встал и, желая вызвать у всех, кто наблюдал за ними, уважение к себе и показать им, какого сорта обер-ефрейтор и группенфюрер появился у них в бараке, сказал самым неприятным своим тоном:

— Кроме того, чтоб ты вечером вымыл ноги, да как следует!

Он проследил за этим. Ноги Борека вовсе не были особенно грязными, во всяком случае, не грязнее, чем у большинства, но для Райделя это была возможность — под предлогом, что он следит за гигиеной,— пойти в умывальную и посмотреть, как Борек, в одних кальсонах, поднимает в раковину свои бесконечно длинные ноги. Он подошел и, не проронив ни слова, встал рядом с ним, суровый, замкнутый, строго официальный. И вдруг этот неженка, эта каланча позволяет себе величайшую наглость.

— Убирайся! — сказал ему Борек.— Когда я моюсь, мне надзиратели ни к чему.

Райдель так опешил, что повернулся и вышел из умывальной. У него было такое чувство, словно его застали на месте преступления. Потом, обдумывая последствия своего поведения — те самые, которые сегодня, час назад, помешали ему выстрелить в Шефольда, так что этот подозрительный тип теперь стоял перед ним, живой и невредимый, на улице Винтерспельта, держа на руках и поглаживая маленького котенка, от которого нельзя было оторвать глаз,— он, спрятавшись за развернутой газетой у стола в бараке Мариагера, пришел к выводу, что, пожалуй, окажется в проигрыше, если дело с Бореком дойдет до скандала, до рапорта командиру взвода. В служебные обязанности обер-ефрейтора не входило наблюдение за тем, как ведут себя во время мытья солдаты его группы. Во всяком случае, в военном уставе сухопутных войск об этом ничего не говорилось.

Непостижимо только, как этот желторотый птенец, не разбирающийся в военных делах и не имеющий ни малейшего представления об уставе, сразу смекнул, точно понял, как защищаться. Такой тип мог себе позволить разводить критику: и по поводу полномочий своих начальников, и по поводу учений в дождь. И самое потрясающее было вот что: ему все сходило с рук — и в умывальной его оставляли одного, и слово «идиотизм» он произносил так, что действительно возникало сомнение, имеет ли смысл назначать поход при такой дерьмовой погоде, какая была в тот день, когда Райдель прибыл в 416-ю, расквартированную в Дании.

Окраинная часть Маспельта — во всяком случае, с военной точки зрения — тоже была совсем не похожа на окраинную часть Винтерспельта. Когда Шефольд ездил в Сен-Вит или — что тоже случалось — посещал в Мальмеди, Ставелоте или в долине Арденн членов клана Ван Реетов или другие семьи, которые у него ассоциировались с коллекциями картин, он иногда буквально рот открывал от изумления при виде полчища танков, вдруг заполонившего целую равнину. Построенные рядами и, по сути дела, заброшенные, охраняемые лишь несколькими часовыми, пустые, словно никому не нужные, стояли в дреме военные машины. Или он видел: площадки, уставленные громоздкими орудиями, целые гектары, покрытые прямоугольными ящиками — боеприпасы? продовольствие? — замаскированные сетками, пейзажи, состоящие из крошечных серо-зеленых куполов; видел аэродромы, на которых стальными стаями выстроились тупоносые, приземистые аэропланы (истребители?). Ну и богаты же эти американцы! Всякий раз, когда Шефольд убеждался в богатстве американцев, он вспоминал политический анекдот, услышанный в

одном из трактиров в Эйфеле. Он кончался вопросом: «Да, но знает ли об этом фюрер?» Кстати, в отношении политических анекдотов люди тут не стеснялись, надо было только соблюдать определенные правила. Убийственный по сути своей вопрос: «Да, но знает ли об этом фюрер?» задавать было можно, но ему надлежало так и повиснуть в воздухе, остаться без ответа, ибо если кто-нибудь, сам рассказывающий или один из слушателей, вздумал бы продолжить: «Боюсь, что придется ему сказать» или добавил бы: «Да он и не желает этого знать», то он тем самым нарушил бы правила и наверняка мог поплатиться за это жизнью.

Районы, где циркулировали политические анекдоты, оставляли желать лучшего в смысле военного оснащения — к этому не слишком глубокомысленному заключению Шефольд пришел, глядя на те места, по которым бродил. Вокруг Айгельшайда, Хабшайда, вплоть до самого Прюма, куда он однажды решил добраться, приняв сумасшедшее решение позвонить своим родителям во Франкфурт, он ни разу не видел ничего, кроме мелких подразделений тыловых служб, тепленькое местечко, куда многие рвутся, как объяснил ему Хайншток; грузовики, снабжавшие главную полосу обороны продовольствием, приезжали издалека, они могли пользоваться шоссейными дорогами только ночью.

— Соберите же, наконец, все свои ресурсы,— сказал он как-то майору Уилеру,— и покончите с войной!

— А, вы о том, что здесь у нас видите! — Уилер посмотрел на него, сочувственно улыбаясь такой неосведомленности.— Да это же ровным счетом ничего не значит,— сказал он и щелкнул пальцами.— То, что здесь стоит, это главным образом пришедший в негодность, списанный материал, здесь его просто оставляют. Мне очень жаль, что я не могу показать вам полностью оснащенную американскую армию. Или хотя бы дивизию.

Он вдруг помрачнел, откинулся на спинку кресла.

— К сожалению, не могу,— сказал он.— Вот в чем дело. Более уязвимого пункта вы и отыскать не могли, господин доктор! — Он говорил «господин доктор», потому что разговаривал с Шефольдом по-немецки, не называл его, как Кимброу, просто «Док».— Я имею в виду, что если вы рассчитывали найти здесь у нас какую-то опору... Если немцы перейдут в наступление, то у меня даже не будет времени написать вам прощальное письмецо.

Шефольд посмотрел на него недоверчиво.

— В наступление? Немцы? — воскликнул он.— Да по ту сторону ничего нет, уверяю вас: ничего. По ту сторону фронта пустая земля. Я еще ни разу не видел там танка или хотя бы двух-трех орудий. И видели ли вы хоть раз немецкий самолет? Я — нет.

— Случайно я знаю самые последние цифры производства самолетов у немцев,— сказал Уилер.— Нам сообщили русские. Три тысячи в месяц. Это весьма внушительно. И потом у немцев есть эти «тигры», которые почище всех наших танков. Ах, доктор Шефольд,— добавил он,— в военном деле вы дилетант.

Он встал и провел рукой по карте, висевшей за его креслом,— разговор происходил в кабинете Уилера в штабе полка,— обозначив треугольник между Мозелем и Рейном, западнее Кобленца.

— Если немцы,— сказал он,— соберут на этом участке, ну скажем, двадцать дивизий — а это они еще могут, им нужно только определенное время на подготовку, недели четыре, и мы им их дадим, уже дали, мы так щедры,— то они прорвут наш фронт. И притом именно здесь, где мы с вами сейчас находимся. С абсолютной точностью

именно здесь... Я не просто предчувствую,— добавил он.— Я это почти наверняка знаю.

Уилер ошибался — по крайней мере тогда. Довольно скоро он получил более точную информацию, как мы узнаем из его разговора с Кимброу. Против трех американских дивизий, занимавших участок фронта между Моншау и Эхтернахом, генерал-фельдмаршал фон Рундштедт — в период с 12 октября по 16 декабря 1944 года — сосредоточил на исходных позициях не двадцать, а сорок одну дивизию.

— Если бы вы заметили танковые подразделения, даже мелкие — их называют передовыми отрядами,— или увидели, что оборудуются артиллерийские позиции, сообщили бы вы нам это?

Ударение, с каким Уилер произнес слово «это», объяснялось тем, что Шефольд отказался произвести разведку немецких позиций. Позднее ему с насмешкой напомнил об этом Кимброу, но уже тогда, во время первого разговора с Уилером, Шефольд сказал:

— Стоит мне представить себе, что вы накроете это место артиллерийским огнем или направите туда ваши самолеты...

Теперь же он ответил не сразу, долго думал и лишь потом сказал:

— Конечно. Я тут же пришел бы к вам. Но,— добавил он,— в этом никогда не будет надобности. Вы переоцениваете Германию, майор. Ей конец.

Майор Роберт («Боб») Уилер, начальник разведки 424-го полка, подписал, полусмеясь, полувозмущаясь, пропуск Шефольду и, когда тот вышел из его кабинета, посмотрел ему вслед примерно с теми же чувствами, с какими смотрел ему вслед Хайншток, когда он отправлялся по дороге к Айгельшайду, могучий, неторопливый, словно наслаждавшийся тем, что погода — прекрасная, дорога — пустынная, а война окончена.

Уилер и Хайншток были бы вполне удовлетворены, если бы узнали, о чем думал Шефольд на пустынной улице Винтерспельта: столь реальной, осязаемой война еще не была никогда. И: Германии еще не конец. Такие и подобные мысли проносились в его голове, и ему так и не удалось успокоиться, даже когда он вспомнил, что самое страшное уже позади и что через несколько часов он вернется в Маспельт, хотя, так сказать, и не с немецким батальоном в кармане, как он надеялся.

Воспроизведенным выше диалогом закончился разговор, происходивший 20 сентября, всего через три дня после того, как штаб 424-го полка разместился в Сен-Вите. Бельгийская контрразведка известила Уилера о том, что в Хеммересе находится некий Шефольд, но майор, возможно, и не проявил бы так быстро интереса к этому фрукту, если бы Шефольд, вскоре после того как американцы заняли Маспельт, не появился у Кимброу и не попросил разрешения переходить через линию фронта, когда ему заблагорассудится.

— Что он за тип?— спросил Уилер по телефону.

— Провалиться мне на этом месте,— сказал Кимброу,— если он шпион.

— Ты, должно быть, действительно хороший адвокат, Джон,— сказал Уилер,— разбираешься в людях. У бельгийцев он на отличном счету. Дай ему одного из твоих людей и пришли его ко мне.

Ибо в любом случае необходимо было подвергнуть Шефольда проверке; screening[1] прошла во всех отношениях удовлетворительно,

[1] Проверка политической благонадежности *(англ.)*.

но пропуск через американскую линию обороны Шефольд получил главным образом потому, что отказался заниматься военным шпионажем и не настаивал на своем отказе, если дело примет серьезный оборот. Американцев вполне бы устроило, если бы он время от времени сообщал о настроениях среди немецкого населения. Это он обещал.

— Для вас было бы лучше,— сказал ему Уилер,— если бы вы пока убрались в Брюссель или куда-нибудь еще, где безопаснее.

— Ах, видите ли,— ответил Шефольд,— в Брюсселе я знаю каждую картину. Мне там уже скучно.

Уилер позвонил Кимброу и сообщил о результатах своего разговора.

— Я распоряжусь, чтобы мои люди пропускали его,— сказал Кимброу.— И я совершенно четко объясню им, что он не из тех немцев, которые занимаются для нас шпионажем.

— Договорились,— сказал Уилер. Он тоже хотел, чтобы с Шефольдом обращались как можно лучше.

В противоположность майору Динклаге капитан Кимброу не испытывал ни малейших сомнений по поводу того, может ли он называть «своими» людей, которыми командовал (3-ю роту 3-го батальона).

Из-за своего роста — 1 м. 85 см.— Борек был в роте правофланговым. Фельдфебель уже начал цепляться к нему:

— Вы что, не умеете стоять прямо, рядовой Борек?

— Нет.

Рота затаила дыхание.

— Повторите!

— Нет.

— Как надо сказать?

— Нет, господин хаупт-фельдфебель.

— Повторите еще раз, громче!

— Нет, господин хаупт-фельдфебель.

— А громче вы не можете?

— Нет, господин хаупт-фельдфебель.

— И стоять прямо вы тоже не можете?

— Нет, господин хаупт-фельдфебель.

— Почему не можете?

— Из-за душевной предрасположенности, господин хаупт-фельдфебель.

Несколько человек засмеялось. Райдель, не отличавшийся высоким ростом, стоял на левом фланге и не смеялся; он восхищался Бореком, Борек отколол номер, против которого ротный фельдфебель был бессилен; он мог написать рапорт на этого новобранца, но потом началось бы долгое расследование насчет душевной предрасположенности; офицеры и лекари в чинах, у которых хлопот полон рот — венерических подштопывают,— с интересом слушали бы его; ясно, куда Борек метит: хочет, чтобы его перевели на тепленькое местечко.

— Молчать! — заорал хаупт-фельдфебель. Он снова повернулся к Бореку: — Трижды вокруг строя бегом, марш!

И пока продолжалась утренняя поверка, Борек трижды обежал вокруг строя. Каждый раз, когда он пробегал мимо Райделя, тот замечал, как лицо юноши становилось все бледнее. Стекла его очков запотели. Хотят доконать, подумал Райдель; если им удастся довести его до того, что он откажется выполнять приказ, тогда ему крышка. Он обратил внимание на то, что хитрый хаупт-фельдфебель воздержался от каких-либо торжествующих замечаний, когда Борек после третьего круга встал в строй. Теперь этот молокосос попал в черный список, такие вещи Райдель знал точно.

И Райдель решил позаботиться о том, чтобы убрать парня, так сказать, с линии огня, иными словами, чтобы Борек при построении стоял не первым, а третьим и не так бросался в глаза.

Для этого Райдель обратился к фельдфебелю Вагнеру, который с ним согласился, но при этом поглядел на него с удивлением.

— Что это с вами, Райдель? — спросил он.— Вы обычно и пальцем не пошевельнете ради такой мелюзги.

— Просто не хочу, чтобы мое отделение вечно было на плохом счету,— сказал Райдель.

Шефольд вспомнил, что в прошлую субботу после полудня Маспельт выглядел таким же заспанным, как этот Винтерспельт сегодня и, наверное, каждый день. В условиях почти мирной жизни, которую вел третий полк 106-й американской пехотной дивизии, по субботам после полудня никого не назначали в наряд, кроме, разумеется, часовых на высотах Ура. Большинство людей Кимброу околачивались в это время в трактирах Сен-Вита. В канцелярии 3-й роты 3-го батальона находился лишь один ефрейтор. Всякий раз, даже теперь, Шефольд кипел от возмущения, вспоминая ленивое, скучающее лицо этого человека, который продолжал потягиваться на своем стуле даже после того, как Шефольд сказал ему, что должен сделать капитану Кимброу сообщение чрезвычайной военной важности.

— Это действительно важно? — спросил ефрейтор, который до армии служил в налоговом управлении Бьютта, штат Монтана. Он привык, что люди, которых ему приходилось выслушивать, всегда считали чрезвычайно важным все, что они говорили.

— Хотите, заключим пари,— сказал Шефольд,— что капитан сразу поедет в Сен-Вит, в полк, поговорив со мной?

Даже теперь, проходя по улице Винтерспельта, Шефольд считал, что слово «пари» явилось, так сказать, магическим сигналом, заставившим того ефрейтора оторвать от стула свой толстый зад — а зад счетовода 3-й роты, pfc[1] Фостера, действительно был тяжелый — и двинуться в путь. Он не догадывался, что сразу же убедил Фостера, тонко разбиравшегося в интонациях, и что тот медлил лишь потому, что никак не мог решиться побеспокоить шефа. Дело в том, что по субботам после полудня Кимброу занимался своей личной корреспонденцией и распорядился, чтобы его не беспокоили — разве что начнется война. Шефольд, этот профан в военных делах, и не подозревал, какие мысли теснились в голове у испытанного служаки.

Ефрейтор запер канцелярию и оставил Шефольда ждать у дома. Шефольд около часа дня попрощался с Хайнштоком, наскоро перекусил в Хеммересе и перешел по деревянному мостику на другой берег Ура. Дощатый мостик скрипел, и вода в реке была такой же темной и прозрачной, как всегда. С часовым на высотке он обменялся несколькими словами. Ему теперь никогда не приходилось предъявлять пропуск — все его знали. Полный нетерпения, он пересек холм с его пастбищем, за которым находился Маспельт. Сейчас было три часа пополудни. Он увидел Кимброу, который шел не то чтобы медленно, а словно как-то бесцельно, неохотно; следом за ним шагал ефрейтор; Кимброу, худой, черноволосый, в battle-jacket, длинных брюках и легких ботинках, пилотку он держал в руке, черные волосы падали ему на лицо, и только две silver bars[2] на плечах рабочей куртки выдавали, что он офицер; он посмотрел на Шефольда своими фиалковыми глазами и сказал:

---

[1] Private first class — ефрейтор *(англ.)*.

[2] Серебряные полосы *(англ.)*.

— Хелло, док!

Ефрейтор Фостер почувствовал облегчение, уловив, что не напрасно потревожил шефа. Кимброу вообще не разозлился — он был даже рад отложить только что начатое письмо. Поняв всю бессмысленность своих попыток описать в письмах впечатления от Европы, всю невозможность достоверно отразить события здешней жизни, он стал рассматривать свои эпистолярные занятия по субботам, которым раньше так радовался и которые надеялся превратить в нечто тайное и личное,— просто как обязанность. Иногда он всерьез думал, не перестать ли ему вообще подавать голос. Его адресаты это переживут. Он тоже переживет, если не узнает, что происходит в данный момент в Саванне, штат Джорджия.

Кимброу разместился со своими письменными принадлежностями в гостиной крестьянского дома, где был на постое. Она напоминала комнату в доме Телена в Винтерспельте, только меньшего размера. В Маспельте все было меньше и потому темнее, чем в Винтерспельте. Кимброу не мешало то, что иногда в комнату заходили хозяин или его жена, разговаривали друг с другом, он не понимал их языка, не знал, что их немецкий могут понять лишь очень немногие немцы. Зато ему мешали мухи. Письмо к Дороти, написанное недавно — тоже одно из этих обязательных писем! — он оборвал на фразе: «Я хотел бы написать тебе еще, но пока я пишу, мне на правую руку все время садится муха».

На Фостера вполне можно было положиться — Кимброу со всей тщательностью подбирал счетовода канцелярии,— так что выяснять, какое впечатление произвел на него Шефольд, было незачем.

— Он был взволнован?

По некоторым разговорам с Шефольдом Кимброу знал, как легко приходит в волнение этот грузный немец, например, когда дело касается картин.

— Я думаю,— сказал Фостер,— что он пришел неспроста.

Кимброу и Фостер взглянули друг на друга. Потом Кимброу взял пилотку, лежавшую возле него на скамье, но не надел ее.

Как известно, последующий разговор — он происходил в кабинете рядом с канцелярией, ибо у капитана Кимброу, как и у майора Динклаге, была отдельная комната,— жестоко разочаровал Шефольда. Всего три часа назад, то есть около двенадцати, он, беседуя с Хайнштоком, утверждал, что Кимброу остолбенеет от изумления, едва узнает о намерении Динклаге, и когда Хайншток, настроенный весьма скептически, спросил, уверен ли он, что американцы вообще пойдут на это предложение, воскликнул, безмерно удивленный:

— А почему же им на это не пойти?

Но Кимброу повел себя странно, как вынужден был Шефольд признаться Хайнштоку в воскресенье утром. Удивился ли он — а тем более остолбенел ли от изумления,— определить было невозможно ни по его лицу, ни по тому, что он сказал.

Быть может, виновата в этом была комната. В нее проникало мало света, потому что в нескольких метрах от окна начинался склон холма, под которым лежал Маспельт. В полутьме, царившей здесь, лицо Кимброу, к тому же закрытое черными волосами, казалось еще бледнее, чем на улице.

— По ту сторону стоит немецкий пехотный батальон,— сказал Шефольд.— Это вы знаете. Командир батальона хотел бы сдаться со своей частью в плен американцам.

Он заранее решил говорить как можно спокойнее и по-деловому,

на безупречном английском языке, без американизмов и не пытаться использовать военную лексику, в которой ничего не понимал.

— Откуда вам это известно?

— От моего друга Хайнштока. Я уже рассказывал вам и майору Уилеру о Хайнштоке. Без него я не мог бы свободно передвигаться на той стороне.

— Откуда это известно ему?

— Этого я не знаю. Известно — и все.

Быстрое чередование вопросов и ответов. Никакой паузы, свидетельствующей об удивлении.

— Для нашей разведки было бы небесполезно узнать, откуда у этого Хайнштока такие сведения.

— Если бы вы знали Хайнштока, вы бы не сомневались, что его словам можно верить.

Только на следующий день Шефольд смог сообщить Кимброу об источнике этих сведений благодаря оговорке, которую допустил Хайншток.

— Вы знаете этого офицера?

— Нет. Я никогда его не видел. Он майор. Фамилия его Динклаге.

Кимброу пододвинул Шефольду блокнот.

— Напишите мне, пожалуйста, его фамилию! — И пробежав глазами написанное, он произнес: — Динкледж.

— Нет,— сказал Шефольд,— Динк-лаге. По-немецки это произносится Динклаге.

— Динклаге,— произнес Кимброу тоном послушного ученика.

— Опытный офицер, фронтовик. Он сражался в Африке и в Италии, получил высший немецкий орден.

— Рыцарский крест?

— Да. (Значит, это они знают!)

Впервые в разговоре возникла пауза — Кимброу долго смотрел в окно, потом задал вопрос, все же выдававший некоторое удивление, хотя в языковом отношении сформулированный чрезвычайно сухо и скупо:

— What makes him tick?[1]

Иными словами, он осведомился о часовом механизме, заложенном в майоре Динклаге, словно механизм этот привели в действие и теперь срок действия истекал; в ответ на это Шефольд пожал плечами, ибо у него просто не было желания объяснять молодому американскому капитану, почему немецкий офицер без пяти двенадцать пришел к мысли, что пора сделать выводы. Проходя мимо громоздких неуклюжих домов Винтерспельта, Шефольд понял, что допустил ошибку. Непременно, просто непременно, и притом очень терпеливо, надо было объяснить Кимброу, что за механизм заложен в Динклаге, что за часы в нем поставлены на определенное время, которое теперь истекало, хотя и с гигантским опозданием. Так что наверстать упущенное уже было невозможно. Вместо этого он спрятался в раковину своей эмигрантской ранимости, своих чувств и убеждений, заставивших его уже в 1937 году завернуть в бумагу картину Клее и сесть в скорый поезд Франкфурт — Брюссель, в котором, имея соответствующий паспорт, тогда еще можно было беспрепятственно покинуть Германию. Годы эмиграции. Все эти Динклаге не постеснялись бы намекнуть, что он провел их не в крайней бедности. Человек, вернувшийся к ним, был вполне упитанным.

Но к чести Шефольда надо сказать, что вопрос, который задал ему Кимброу, он не оставил вовсе без ответа. Пожав плечами, он все же попытался объяснить поведение Динклаге и сказал:

[1] Что им движет? (Буквально: что заставляет его тикать?) *(англ.)*.

— Вероятно, он считает войну проигранной.

Кимброу подумал, что сам майор Динклаге, окажись он сейчас здесь, объяснил бы свои действия не иначе, чем этот искусствовед, понятия не имевший о том, что такое военное мышление. Подготовка офицеров по таким предметам, как теория, логистика, военная история, была, по-видимому, во всем мире одинакова, и если немецкие офицеры следовали тому, чему обучились у Клаузевица,— Кимброу слушал в Форт-Беннинге лекции одного преподавателя Вест-Пойнта об этом прусском военном теоретике,— то большинство из них, кроме самых больших идиотов, должно знать, что война для Германии проиграна.

— Это недостаточное объяснение,— сказал он.— Я полагаю, почти все немецкие офицеры считают войну проигранной. Но никто из-за этого не приходит к мысли сдаться противнику.

— К сожалению,— сказал Шефольд.

Этот тяжеловес бредил картинами и любил вкусно поесть. Кимброу считал описания картин, которые давал Шефольд, плодом его воображения. Только в последнее время, установив, что сам он не в состоянии описать картины собственной жизни, передать их в письмах, он стал испытывать некоторые сомнения на этот счет. Нужно бредить наяву, как Шефольд, чтобы сделать картины зримыми?

К тому же Шефольд не шпион, а всего лишь бежавший от этого монстра немец, который самым сумасшедшим образом обгонял события, слишком рано вернувшись на родину.

— Вы принимаете желаемое за действительное, док,— сказал он.— Что было бы, если бы каждый строевой офицер, который считает войну проигранной, вздумал самовольно капитулировать?

Было это его точкой зрения или просто автоматическим рефлексом, выработавшимся, когда его обучали дисциплине? Сейчас он и сам не мог бы сказать. Во всяком случае, будучи еще молодым адвокатом, он научился скрывать свои мысли, соглашаясь с клиентами. Клиентам незачем знать, что́ их адвокат думает о делах, которые они ему излагают. Только шарлатаны демонстрируют своим клиентам искреннее участие; хорошие же юристы, даже если они сочувствуют клиентам, ведут себя по-деловому, сдержанно, не пробуждая надежд.

— Итак,— спросил Кимброу,— почему именно он?

— Я не знаю,— ответил Шефольд раздраженно. И нехотя добавил: — Может быть, он наконец понял, что Гитлер — преступник и что нельзя сражаться ради преступника.

— После того, как он годами сражался за него? Это, по-моему, исключается,— сказал Кимброу. Он вдруг стал разговорчивым.— Видите ли,— сказал он,— есть очень простой психологический закон, который мешает немцам выйти сейчас из игры: они упустили момент, когда еще могли это сделать. Бьюсь об заклад, что не только этот майор Динклаге,— Кимброу постарался правильно выговорить фамилию,— но и почти любой немецкий генерал держит в кармане собственный архиличный план сдачи в плен. Но он не вынимает его из кармана, инстинктивно чувствуя, что уже поздно. И дело тут вовсе не в том, что они боятся потерять свою честь, а в... в... в стиле, да, в хорошем вкусе. Если бы после того, как мы высадились в Европе, а русские отвоевали Украину, немецкие генералы покончили с войной, это был бы хороший стиль, а теперь время упущено, слишком поздно. Это не принесет им престижа. Это уже дурной стиль.

— Разве спасти жизнь сотен тысяч людей — дурной стиль? — спросил Шефольд.

— Вы не можете заставить себя мыслить по-военному,— возразил Кимброу, слегка поклонившись.— Не смотрите на меня с таким отвращением, док,— продолжал он,— я не военный. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что здесь дело не в политике, а в психологии. И я хочу только разобраться в мотивах, которые движут этим майором. Почему именно он извлекает свой план из кармана? Кто он — человек, лишенный вкуса, или глупец, который надеется спастись в последний момент? Поэтому я и спросил, знаете ли вы его.

Шефольд ответил не сразу. Если подумать, то у него была только одна причина хоть в какой-то мере доверять майору Динклаге: то, что в это дело включился Венцель Хайншток. Как-то Хайншток положительно высказался о военных способностях Динклаге и даже сообщил о нем некоторые скупые сведения, например, пожав плечами, бросил вскользь, что Динклаге, как и он, «связан с нерудной горнодобывающей промышленностью» (это высказывание имело прямое отношение к его раздумьям о том, как случай управляет склонностями Кэте Ленк), или иронически процитировал высказанное Динклаге пожелание познакомиться с «образованным» марксистом.

— Нет, я с ним не знаком,— сказал наконец Шефольд.— Судя по тому, что я о нем знаю, он образованный немецкий бюргер, если, конечно, вы представляете себе, что это такое, капитан.— И добавил: — Если хотите, то же можно сказать и обо мне.

Ему показалось, что американский капитан сделал вид, будто не слышит его последнего замечания.

— Тогда должны быть особые причины, объясняющие, почему он вздумал осуществлять свой план именно теперь,— сказал Кимброу.— Личные я имею в виду. Может быть, кто-то из его близких убит Гитлером.

— Это была бы политическая причина.

— Политически-личная.

Гадать о возможных политически-личных причинах этого рода было бессмысленно. Но Джон Кимброу, который, несмотря на свою молодость, был уже уважаемым адвокатом по уголовным делам, отреагировал так, как реагировал обычно: он стал искать мотивы, которые можно было бы использовать при защите обвиняемого. В этот момент он, правда, еще сам ясно не сознавал, что уже взялся вести дело — дело Динклаге.

Они начали спорить.

— Вы, кажется, не в восторге,— сказал Шефольд.

— Я не могу себе представить, чтобы армия пошла на это.

Значит, Хайншток был прав.

Сухо, методично Кимброу начал перечислять тактические причины, препятствующие тому, чтобы армия пошла на предложение Динклаге. Шефольд их не запомнил. Это было для него как урок математики в гимназии, когда он с самого начала, лишь только пошла алгебра, ничего не понимал, не хотел понимать.

Он перебил Кимброу и сказал:

— Это такое дело, от которого вы не можете отказаться.

Кимброу разозлился, что Шефольд апеллирует именно к нему. Если бы он сказал «they»[1] вместо «you»[2], все было бы в порядке. Ведь он из упрямства уже решил было согласиться.

— Чепуха,— сказал он.— Мне незачем браться за безнадежные случаи.

---

[1] Они *(англ.)*.

[2] Вы *(англ.)*.

— Странно,— сказал Шефольд.— Вы говорите о майоре Динклаге так, будто он преступник.

— А он и есть преступник. В любой армии мира то, что он намерен сделать, квалифицируется как преступление.

— И вы бы не стали его защищать?

— Возможно, я и стал бы его защищать. Но вы требуете, чтобы я участвовал в его преступлении.

Да, Хайншток всегда прав. Жаль, подумал Шефольд, что этот молодой американец, который — правда, не из пацифизма, а по причинам, связанным с историей Америки,— настроен против войны, не может, видимо, мыслить иначе, чем интернационал офицеров.

— Я же в нем участвую,— сказал Шефольд.

— Вы человек штатский,— возразил Кимброу,— и немецкий патриот. Вам все позволено.

Утверждение, что он немецкий патриот, потрясло Шефольда до глубины души. Он был убежден, что последние семь лет систематически отучал себя любить Германию.

— Ну ладно,— сказал Кимброу и встал,— я поеду в Сен-Вит и доложу об этом деле. И удивятся же там.

Только теперь, говоря о третьих лицах, он признал, что дело Динклаге может вызвать удивление. Сам он — если не считать этого задумчиво-сухого «what makes him tick?» — не выказал ни малейших признаков удивления.

— Собственно, мне следовало бы сначала обратиться к командиру батальона,— сказал он.— Но я пойду к Бобу Уилеру, потом вместе с ним к полковнику. Конечно, получу нагоняй, но не всегда же соблюдать установленный порядок.— И спросил:— Почему вы не пошли с этим сразу к майору Уилеру, док? В конце концов он ведает такими делами, вы ведь это знаете.

— Не всегда же соблюдать установленный порядок,— сказал Шефольд.

Кимброу рассмеялся.

— Нет,— сказал он,— просто вы справедливо опасались, что Боб сразу откажет. Если же дело попадет к строевому офицеру, оно пойдет дальше по инстанциям. Я не только доложу о нем,— добавил он,— я буду его защищать. Я буду настаивать — чего вы не смогли бы сделать — на том, чтобы Боб сообщил об этом деле полковнику Р. Не потому, что я в это верю, а просто потому, что мне интересно, как отреагируют на него наши предводители (он сказал: «brass-hats»[1]).

Во всяком случае, игра эта достаточно интересная, чтобы сыграть ее до конца, подумал Кимброу. Понял ли он, почувствовал ли уже тогда, в тот момент, что от этого дела («это такое дело, от которого вы не можете отказаться») ему в конце концов никуда не деться — мы не знаем.

— Не можете ли вы взять меня с собой в Сен-Вит? — спросил Шефольд.— Мне надо нанести один визит.

— Охотно,— сказал Кимброу,— только обратно я вряд ли смогу вас подвезти. Насколько я знаю нашу армию, ей понадобится полночи, а может, и целая ночь, чтобы расхлебать кашу, которую вы предлагаете заварить.

Нельзя недооценивать армию. Если уж она возьмется за дело, то основательно. Полковник Р. обратится в дивизию, и даже командир дивизии не примет решения, не созвонившись с начальником штаба армии.

[1] Высокие чины *(англ.)*.

— Неважно,— сказал Шефольд,— я найду водителя, который захватит меня на обратном пути.

Решился ли полковник Р. еще в ночь с субботы на воскресенье поднять с постели командира дивизии, а тот — начальника штаба армии, так и останется в потемках истории. Майор Уилер только насмешливо посмотрел на своего друга Кимброу, поняв, что молодой капитан совершенно серьезно считает, что в связи с делом Динклаге объявят VI степень боевой готовности (и темпы тоже будут соответствующие).

Но даже Уилер не мог предусмотреть, *сколько* времени понадобится штабам на то, чтобы принять решение.

Если бы я, подумал Шефольд, в прошлую субботу примирился с тем, что Кимброу не выказал ни малейшего восторга, услышав мое сообщение, то сейчас мне не пришлось бы идти рядом с этим типичным нацистским солдатом через вражескую деревню. Надо было только внимательнее слушать и тогда же отказаться от этого дела. Хайнштоk нисколько бы не огорчился.

Он лежал и читал! Правда, проверяя посты, он нашел Борека там, где его поставил, на опушке леса. Но Борек не стоял, он лежал на траве и читал книгу. И даже не вскочил, когда перед ним оказался начальник караула, не схватил свою винтовку, не попытался сделать вид, что хочет встать навытяжку, а остался лежать, только вопрошающе поднял глаза, оторвавшись от своей книжонки.

Проступок во время несения караульной службы был настолько серьезен, что орать на него не имело никакого смысла.

— А ну,— сказал Райдель скорее тихим голосом и с той знаменитой язвительностью, от которой у всех остальных задницу словно льдом сковывало,— поднимай свой мешок костей!

Борек встал. Он распрямил свои конечности и сразу оказался выше Райделя на целую голову.

— Убери свою книжонку!

Книга была маленькая, тоненькая, умещалась в кармане френча.

— Возьми карабин!

Теперь, когда Борек снова стал похож на часового, Райдель сказал:

— Это тебе будет стоить двух недель карцера.

На этом дело было исчерпано, всякая дальнейшая болтовня — излишня, и вдруг он услышал, как Борек заявляет:

— Что за бред! Я хоть и читал, но продолжал следить. Никого не было. Ближайшие крестьяне живут в пяти километрах отсюда. На эту пустошь вообще никто никогда не приходит. Разве что появится иногда воз с дровами. А уж это я бы увидел и услышал, можешь не сомневаться!

Рота проводила снайперские стрельбы на пустоши под Раннерсом, и Борек, как очень близорукий, не видящий без очков и потому не пригодный для стрельбы, был назначен на караульную службу — охранять местность. Собственно, даже не столько местность, сколько штатских датчан, которые могли получить пулю в лоб, если бы зашли на полигон. Вместо того чтобы стоять на посту, Борек лег себе на травку и стал читать. Тут и толковать было не о чем, все ясно. Но Борек посмел ему возражать, притом так, что было видно: этот не наложит в штаны от страха, стоит мне пустить в ход свой язвительный тон, подумал Райдель.

— Заткнись! — сказал он.— Со мной этот трюк не пройдет.

— О чем ты? — спросил Борек.

— Кончай прикидываться дурачком! — он передразнил Борека: — «Из-за душевной предрасположенности».

Он почувствовал, как Борек внимательно посмотрел на него.

— Это ты называешь «трюком»?

— Ясное дело,— сказал Райдель.— Хочешь попасть на тепленькое местечко, больше ничего. Ради этого готов даже на две недели в карцер. Чтобы тебя потом на комиссию и отправили куда-нибудь, где ты не будешь мешать службе. Там уж ты сможешь спокойненько почитывать свои книжонки.

— Другие тоже так обо мне думают?

— А то нет! Все убеждены, что у тебя только это на уме.

Теперь наступило томительное молчание. Они стояли друг против друга, Райдель чувствовал, что Борек смотрит на него, но сам не решался посмотреть на Борека. Летний день на датской пустоши обжигал кожу.

— Две недели карцера я получу,— сказал Борек,— только если ты обо мне доложишь?

— Доложить я обязан,— сказал Райдель, тон его вдруг стал угрюмым.— Шнапс шнапсом, а служба службой.

— Господи,— сказал Борек,— ну и поговорки у вас!

Каждый раз, вспоминая, что с того дня рядовой Борек стал изо всех сил стараться, Райдель удивлялся. Не столько из-за «душевной предрасположенности», сколько из-за физической слабости Борек, конечно, так и не стал образцовым солдатом — марши с полной выкладкой, занятия на местности или рытье окопов могли довести его до состояния полного изнеможения,— но если не считать этого, он являл собой радостную для начальства картину служебного рвения (не подлизываясь при этом), весьма успешного старания не отставать, дисциплины, в сочетании с высшей добродетелью солдата — способностью не привлекать к себе внимания.

Даже хаупт-фельдфебель заметил это.

— Нет,— сказал он как-то фельдфебелю Вагнеру,— это просто невероятно.

Вагнер рассказал это Райделю и добавил:

— Я думаю, он вычеркнул Борека из своего черного списка.

Во избежание путаницы необходимо со всей ясностью указать, что речь здесь идет о хаупт-фельдфебеле 3-й роты, а не о батальонном фельдфебеле, штабс-фельдфебеле Каммерере.

Все звали ее Мирей — «Мирей, еще две кружки светлого!»

Имя это к ней не подходило, потому что она была не девушкой, на которую можно глядеть с восторгом, словно на маленькое чудо, а опытной женщиной с жестким характером; и если эта ее опытность, жесткость не выступали на передний план, то лишь потому, что у нее было асимметричное, худое лицо, она вообще была такой истощенной — то ли от работы, то ли от болезни, то ли просто с самого детства,— что только влюбленный мог бы счесть ее стройной или, если он звался Шефольд, внушить себе, что она словно сплетена из прозрачных теней и напоминает то темное место на гравюре, где как бы сконцентрирован, сосредоточен дух художника, хотя на самом деле облик ее скорее всего определялся просто тем, что она носила черное платье (может быть, она была вдовой? Но нет, он ни разу не видел на ее пальцах колец), что ее желтоватая кожа казалась смуглой из-за темных волос (Мемлинг!), а в этом трактире был всегда тусклый свет.

Ради нее Шефольд с половины шестого — то есть с того момента, когда капитан Кимброу высадил его в Сен-Вите,— пил горькое пиво

и читал газету за столиком с крышкой из коричневого пластика в этой пивной, настолько низкоразрядной, что для американских солдат она была off-limits[1], около семи часов съел ужин, состоявший из стекловидного картофеля, плававшей в воде фасоли и ватной колбасы,— его передергивало, когда он об этом думал,— растянул свое пребывание здесь до девяти часов и наконец, в последний раз подозвав к себе официантку, расплатился и ушел. Против ожидания он не нашел никого, кто доставил бы его обратно в Маспельт, так что весь путь до Хеммереса ему пришлось проделать пешком. Но ночь была прекрасная. Прекрасная и к тому же поучительная, потому что отсюда, с высоты, где так легко дышалось, с этой дороги, ведущей из Сен-Вита в Люксембург, он видел и слышал войну — войну, которая там, в глубине, где находился Хеммерес, была скрыта от него. Он смотрел, как взмывали вверх и гасли сигнальные ракеты, на несколько мгновений заливая светло-серым светом поросшие лесом горы, а севернее на небе желтоватыми сполохами обозначалась битва в Хюртгенвальде — даже сюда доносился ее грохот. Великолепное зрелище, великолепное для одинокого путника, который может не опасаться, что осколки гранаты попадут ему в голову или в живот или обломают ели возле его окопа, оставив изуродованные пни, накрыв разлапистыми ветвями того, кто, скорчившись в этом своем окопе, безмолвно заклинает неведомое существо: «Господи, только не прямое попадание, умоляю, умоляю, только не прямое попадание!»

В прошлую субботу Шефольд мгновенно сориентировался и попросил Кимброу захватить его в Сен-Вит. Ведь в ближайшие дни ему предстояло бывать только у Хайнштока и у Кимброу, а потом отправиться к Динклаге. Он знал, что у него не будет времени ни на что другое — в субботу была последняя возможность еще раз увидеть эту женщину. Лишь сегодня вечером он сможет, наконец, доставить себе удовольствие и снова повидать ее.

Странно, но в ее присутствии у него всегда появлялось ощущение, что те приемы, с помощью которых он скрывал от женщин свои чувства, на нее не действуют. Хотя он тщательно старался не смотреть на нее, никогда не следил за ней взглядом, тем не менее он считал, что она может совершенно неожиданно, именно тогда, когда он к этому будет меньше всего подготовлен (например, молча приняв у него заказ),— может вдруг сказать: «Чего вы, собственно, от меня хотите?»

Этого момента он боялся. Он ждал его, мысленно прикидывал ответы; готовился сказать ей: «Познакомиться с вами».

Это смягчило бы ее вульгарно-раздраженную реакцию, не позволило бы выгнать его из трактира. Ни один человек не может возражать, если другой хочет с ним познакомиться.

Как она себя поведет?

Он надеялся, что она в ярости выкрикнет: «Нечего со мной знакомиться!» — и только потом повернется и уйдет. В этом случае он уже наполовину выиграл. Кто же может упустить такой шанс, отказаться, когда предлагают познакомиться? Уж во всяком случае, не эта Мирель, от которой бедные родители ждали маленького чуда, а из нее вышла всего лишь официантка в захудалом трактире, изможденная и похожая на тень.

Но о том, чем все обернется, если дело дойдет до того, что она позволит ему, Шефольду, познакомиться с ней,— он думать не хотел. Узнать ее можно, лишь оказавшись однажды ночью с ней наедине.

Но об этом, конечно, не могло быть и речи.

И вот только что, по дороге в Винтерспельт, он, к своему безмерному удивлению, вдруг подумал, что это не так уж и невозможно.

[1] Запрещена *(англ.)*.

«Когда у вас свободный день? Я хотел бы познакомиться с вами».

Он мысленно повторил этот диалог. Вполне возможно — и даже очень просто,— что он сам начнет разговор.

Менее просто было представить себе, как бы он решился остаться с ней наедине, а ведь всякое взаимное узнавание в конце концов выливается в то, что он и она встречаются в какой-то комнате, где ночь и темнота, хроматическая гамма из серых цветов, хотя и здесь бывают свои протуберанцы и свои затмения; да и что, собственно, мешает ему в сорок четыре года приобрести новый жизненный опыт?

Мысль, которая прежде показалась бы ему чудовищной, возникла вдруг сама собой, пока он шагал рядом с Райделем (имени которого не знал) по последнему отрезку пути перед входом в Винтерспельт.

«Когда у вас свободный день?»

Даже если в конце концов он получит отказ, все равно достаточно задать этот краткий вопрос, чтобы шагнуть в страну, остававшуюся белым пятном на карте его жизни. Этими пятью словами он нарушил бы принцип молчания, продолжавшегося всю его жизнь.

Он решил, что вознаградит себя за этот переход через линию фронта, приобретя новый жизненный опыт.

— Нет,— сказал Кимброу, когда Шефольд зашел к нему в субботу после полудня,— из полка до сих пор ничего нет. Штабы опять не торопятся.

Шефольд сообщил, какое требование выдвигает Динклаге. В разговоре с Хайнштоком он решительно отказался его выполнить («я с удовольствием сделаю все, но я не хочу попасть в руки нацистских солдат»), и Хайншток, хотя и с пониманием отнесшийся к этому условию, не стал его уговаривать. В конце их беседы сегодня утром он ушел от этой темы, заявив, что американцы не станут участвовать в игре, а, следовательно, Шефольду не понадобится переходить через линию фронта или идти к Динклаге по какой-либо другой, менее рискованной дороге.

Реакция Кимброу поразила Шефольда. Он думал, что Кимброу тут же отклонит наглое требование Динклаге, возмутится, вспылит или ответит на поставленное Динклаге условие коротким холодным смешком.

А он лишь сказал без долгих раздумий:

— Это доказывает, насколько серьезными намерения kraut[1].

Слова Кимброу прозвучали так, словно он испытывал облегчение. И, казалось, он заметил растерянность, протест на лице Шефольда, потому что сразу же попытался предупредить все возможные возражения.

— Мне достаточно поставить себя на его место,— сказал он,— представить себе, что вот я решил бы сделать нечто подобное, ну, скажем, сдать свою роту немцам, тогда мне тоже было бы недостаточно, чтобы какие-то американцы пришли ко мне тайно, утверждая, что они от немцев, что я могу на них положиться, потому что они настоящие честные американские партизаны и что они против Рузвельта... Извините, док,— сказал он,— я не хочу обижать вас. Я знаю, что вы немецкий патриот.

— Да перестаньте вы, наконец, называть меня немецким патриотом! — сказал Шефольд.— И, кроме того, я за Рузвельта.

— А я нет,— сказал Кимброу.— Не следовало нам участвовать в этой войне. Но об этом сейчас не стоит. И это не побудило бы меня сдать свою роту немцам. Но если бы я захотел это сделать, я потребо-

[1] Немца (*англ.*, жаргон).

вал бы, чтобы немцы представили мне доказательство того, что я действительно разговариваю с ними, чтобы они дали мне знак, подтверждающий, что они действуют от имени немецкой армии. Как раз этого и требует от нас майор Динклаге.

— От меня, вы хотите сказать,— перебил его Шефольд.

— Да, конечно, от вас,— сказал Кимброу.— Само собой разумеется, только вы можете решить, принимать это условие или нет.

Он не пытался преуменьшить трудности, ожидающие Шефольда.

— Мне как командиру роты,— сказал он,— было бы легко устроить дело так, чтобы все прошло гладко. Командиру батальона это труднее. Он не знает людей, которые дежурят на передовой, не знает, на кого можно положиться. Да,— добавил он,— даже командир батальона почти не бывает на передовой.

В его рассуждениях звучала озабоченность, он как бы проверял доводы, подтверждавшие, что Шефольду не стоит идти через линию фронта; потом он сказал:

— Но если этот немецкий майор вообще выдвигает такое требование, очевидно, он все же гарантирует вашу безопасность.

Впоследствии Шефольд не без чувства гордости вспоминал, что не показал своего страха, если не считать той фразы, когда он напомнил Кимброу, что знак должен быть передан через него, Шефольда.

Он переменил тему.

— Теперь я знаю,— сказал он,— от кого Хайнштоку стало известно о планах майора Динклаге.— И он повторил «оговорку» Хайнштока: — От женщины.

— Значит, от приятельницы майора, которая хорошо знакома и с Хайнштоком.

— Очевидно,— сказал Шефольд.

— Значит, его решение было искусственно ускорено,— сказал Кимброу.

— Что вы имеете в виду?

— Все очень просто,— сказал Кимброу.— Он сделал ошибку, рассказав этой женщине о своем плане. Он не рассчитывал на то, что она знает, как его осуществить. Вот и попал в ловушку. Ему надо было держать свой план в кармане, как это делают другие немецкие офицеры, а он его оттуда извлек, показал ей. Этой женщине. Теперь он уже не может идти на попятный.

— Не слишком ли вы психологизируете?

«На этот вопрос я не отвечу,— подумал Кимброу,— потому что иначе он меня снова упрекнет, что я сравниваю этого jerry[1], этого офицера, с преступником. Но я в самом деле не знаю ни одного преступника, который заранее не обсудил бы с кем-нибудь свое преступление — ограбление банка, убийство. Кроме, конечно, тех бедняг, которые совершают убийство в состоянии аффекта. Молчаливый убийца — изобретение авторов детективных романов. Уверен, что даже у Джека Потрошителя были сообщники. Человек сказал — и пути назад уже нет. Человек сказал, чтобы отрезать себе путь назад».

Вслух же он заметил:

— Почти напрашивается мысль, не хочет ли он внести в договор пункт, который сделает невозможным его подписание. Может, он создает искусственные трудности, чтобы вы, Хайнштоk и эта женщина потеряли интерес к делу? Так, чтобы не он, а его партнеры пошли на попятный? Во всяком случае, со стороны это выглядит именно так. А если так, то я, по-видимому, ошибся. В таком случае его условие означает, что он как раз не принимает все это всерьез.

[1] Немца *(англ., жаргон).*

Однако серьезность намерений майора Динклаге не должна была больше вызывать никаких сомнений. Таинственная незнакомка информировала его о том, что американская армия все еще колеблется, откладывает решение на неопределенное время, но один из ротных командиров готов принять его план. Шефольд пошел к Хайнштоку еще позавчера сразу после обеда, настоял на том, чтобы Динклаге известили об этом обстоятельстве, прождал в его домике до вечера, пока не вернулся Хайншток и не сообщил как-то нехотя, что майор ждет его послезавтра, в четверг, в двенадцать часов дня.

— Зачем? — проворчал он.— Чего он от вас хочет, если еще ничего не подготовлено? — Он похлопал себя по животу и добавил: — Поделом бы ему было, если бы его план отклонили, тогда вы бы ему вообще не понадобились.

Шефольд ответил ему словами Кимброу, только опустив фамильярное «kraut»:

— Это доказывает, насколько серьезны его намерения.

— Ах, да что вы,— возразил Хайншток,— он просто дурак. Наверное, он воображает, будто может оказать давление на американцев.— Потом, немного успокоившись, добавил: — Словом, я умываю руки.

И вытащил маршрут, начерченный рукой Динклаге.

Причиной его чрезвычайно плохого настроения, его ворчливости, как назвал это про себя Шефольд, было не столько непонятное требование Динклаге, сколько небрежно оброненная Кэте фраза о том, что она не только сообщила майору о колебаниях американцев, но и передала ему, что полковник Р. назвал его предателем.

Правильно ли поступил Хайншток, умолчав об этом в разговоре с Шефольдом? Следует предположить, что Шефольд, будь ему известно, что Динклаге обладает такой информацией, не шагал бы сегодня по дороге в Винтерспельт. Разговаривать с человеком, которого так тяжко оскорбили и который это знал, показалось бы ему мучительным, невозможным. Даже просьба Кимброу не могла бы подвигнуть его на это. (Собственно, Кимброу никогда не просил его об услуге, а предоставлял ему решать, хочет он ее оказать или нет; во время своего визита в Хеммерес он не отговаривал Шефольда от этого во всех отношениях преждевременного похода к Динклаге, но можно предположить, что категорически запретил бы ему идти, если бы Шефольд мог сообщить ему, что слова командира его батальона переданы немецкому майору. Легко представить себе смущение обоих мужчин, упреки, которые они обрушили бы на себя за то, что в приступе непростительной болтливости вообще передали по цепочке — Кимброу Шефольду, Шефольд Хайнштоку — слова полковника Р., этого типичного службиста.)

Что касается Хайнштока, то передать это злое словцо Кэте его заставила не болтливость. (Шефольд прибавил его в качестве возмущенной сноски к своему рассказу о волоките в американских инстанциях.) Почему Хайншток, вернувшись из Винтерспельта, не сказал Шефольду, что майор знает о высказывании полковника Р. и что это оскорбление не заставило его отказаться от своих намерений и он по-прежнему требует, чтобы Шефольд явился к нему сегодня? Об этом странном противоречии между готовностью говорить (по отношению к Кэте) и молчаливостью (по отношению к Шефольду) можно только гадать.

Борек сунул Райделю записку.

«Под мужеством,— прочитал Райдель,— я разумею то желание,

в силу которого кто-либо стремится сохранять свое существование по одному только предписанию разума. Под великодушием же я разумею то желание, в силу которого кто-либо стремится помогать другим людям и привязывать их к себе дружбой по одному только предписанию разума»[1].

Это было еще в Дании, когда Борек убедился, что Райдель не донес на него, избавил его от двух недель строжайшего ареста.

— Чепуха,— сказал Райдель.— Насчет великодушия — все это одна болтовня. Нет никакого великодушия и никогда не было.

— Но ты же проявил великодушие,— сказал Борек.

Лопнуть можно от злости! Если бы этот чокнутый знал, почему такое неслыханное нарушение дисциплины сошло ему с рук!

— Как раз эту фразу я читал, когда ты пришел,— сказал Борек.

— Это философия? — спросил Райдель.

— Да. В том числе.

— И ради этого вас посылают в университеты?

— Не совсем. Это, например, даже запрещено в университете.

— Запрещено? Почему?

— Потому что это написал один еврей.

— И ты читаешь книжку, написанную евреем?

— Да. Тебя это смущает?

— Покажи-ка ее мне!

Борек, заметно удивленный, порылся в кармане своего френча — значит, он всегда носил эту книжку с собой,— вытащил ее и протянул ему

(маленький томик, выпущенный издательством «Реклам», найденный им уже во время войны в антикварном магазине в Бреслау),

хотя и с удивлением, но не подозревая ничего дурного,— чокнутый есть чокнутый, видно, надеялся, что он, Райдель, действительно заинтересуется книжкой, но он, даже не взглянув на эту философскую брехню и ни секунды не помедлив, двумя-тремя движениями руки разорвал книжонку в клочья и бросил в чан с отбросами, стоявший поблизости.

— Свинья! — услышал он голос Борека.

Взглянув на него, он увидел слезы за стеклами очков.

Тогда он назвал его свиньей, а вчера подлым трусом.

— На евреев мне плевать,— сказал Райдель.— Не хочу просто, чтобы кто-нибудь пронюхал, что ты читаешь еврейские книжонки.— Он перечислил фамилии людей из их роты и добавил: — Они все в партии.

Он смотрел, как Борек снял очки, как с трудом подавил слезы.

— Приятель,— сказал Райдель,— за это тебя упекут в концлагерь.

Но Борек больше не издал ни звука и только глазел на стену барака в Мариагере тупо, как может пялиться на стену такой придурок, как он.

— Американцы все затормозили!

Шефольд выпалил это, появившись у Хайнштока позавчера, огорченный, сбитый с толку теми трудностями, о которых ему рассказал Кимброу.

— Капитан Кимброу делает все, что в его силах,— добавил Шефольд,— но пока он не продвинулся ни на шаг.

---

[1] Слова из книги Б. Спинозы «Этика».

Хайнштоk решил не напоминать Шефольду, что он предсказывал все это.

— Вам удалось узнать, почему они тормозят это дело?— спросил он.

— Якобы по военным соображениям,— сказал Шефольд.— Такие вещи я никогда не запоминаю.

Привычку держать в руке бамбуковую тросточку полковник Р. заимствовал у английских офицеров. Он, собственно, мог и не объяснять Кимброу причины молчания высших инстанций, это даже противоречило всем военным законам и обычаям, но майор Уилер попросил его так сделать, а полковник Р. редко упускал возможность преподать неопытным молодым офицерам урок оперативного мышления.

— Предположим,— сказал он,— что с точки зрения разведывательной службы все в порядке — хотя это отнюдь не так! — и можно с полной уверенностью считать, что нас не ждет ловушка. Чтобы взять в плен немецкий батальон, занимающий этот район,— палочка совершила круговое движение по карте, висевшей за креслом полковника, от долины Ирена через Винтерспельт вдоль Ура и снова к долине Ирена,— мне пришлось бы двинуть почти весь мой полк. Другими словами: ради тактической импровизации мы должны были бы оставить на целую ночь тщательно продуманное, рассчитанное на долгий срок стратегическое положение. Пока полк не вернулся бы на свои исходные позиции, весь южный фланг дивизии по меньшей мере в течение двенадцати часов был бы оголен. К этому надо добавить, что мы не знаем, как немцы будут реагировать на этот неслыханный инцидент. Можно предположить, что они не только сразу же закроют брешь, но, будучи крайне раздражены, начнут на нашем участке наступление, чтобы скрыть провал и помешать другим последовать дурному примеру. А что это означает, можно не объяснять. Молитесь богу, капитан, чтобы немцам не пришло в голову начать здесь у нас наступление!

Высказывать возражения, сомнения было немыслимо. Полковник сказал свое слово.

Полковник Р. хотел обезопасить себя. За долгие годы военной службы он пришел к выводу, что при сложном переплетении служебных инстанций никогда нельзя быть застрахованным от неожиданностей.

— И тем не менее,— сказал он,— я сообщу об этом в дивизию. Оттуда передадут в армию. Так что не рассчитывайте, капитан, что все будет решено в два счета!

— Так точно, сэр,— сказал Кимброу и подумал, до чего же он действительно молод и неопытен, если мог предположить, что план немецкого командира батальона будет принят в течение одной ночи. Вместо этого — со второй половины субботы, когда к нему пришел Шефольд, до второй половины понедельника, когда полковник Р. разразился нотацией,— прошло целых двое суток, прежде чем этим делом занялись хотя бы на уровне полка.

Уже после нотации он спросил Боба Уилера:

— Ты не считаешь, что было бы достаточно одной моей роты, чтобы захватить в плен тысячу двести безоружных людей?

— Я считаю, что ты насмотрелся фильмов о Диком Западе,— ответил Боб.

— Должен тебя разочаровать,— сказал Кимброу.— Мой отец всегда очень огорчался, что я не ходил в Фарго в кино, когда там показывали вестерны.

Как уже упоминалось, Уилер после этого пытался отвлечь Ким-

броу от главного, заявив, во-первых, что не надо воображать, будто они, американцы, находятся здесь для того, чтобы избавить немцев или кого-нибудь еще от этого монстра, и во-вторых, изложив ему свой тезис о создании защитного вала, до такой степени разозливший Кимброу, что он, рассказывая об этом Шефольду, сказал:

— Теперь у меня есть еще одна причина предполагать, что нам не надо было приходить сюда.

Кимброу вернул на землю Уилера, парившего где-то в высотах своих исторических теорий.

— Ты тоже считаешь этого немецкого майора предателем?— спросил он вдруг.

— Нет, конечно нет,— поспешно ответил Уилер.— Ты не должен обижаться на наших людей за то, что они не разбираются в проблемах этих немцев. Большинство из них — стопроцентные американцы, они никогда не выезжали из Штатов, не имеют ни малейшего представления о Европе.

— Полковник лишь сказал то, что думают в армии.

— Неважно,— возразил Уилер.— Представь себе, что дело было бы сделано и Динклаге попал бы в наши руки. Можешь быть уверен, что я защитил бы его от любых оскорблений. В первые дни он был бы мой пленный, я бы его допрашивал, потом отправил бы в специальный лагерь в Англии. Слово «предатель» никогда не дошло бы до его ушей.

«Я стопроцентный американец,— думал Кимброу,— я никогда не выезжал из Штатов, не имею ни малейшего представления о Европе, не разбираюсь в проблемах этих немцев. Почему я, собственно, здесь?»

Когда Уилер и Кимброу уже стояли у дверей, отдавая честь, полковник Р. величественно изрек тоном, не допускающим возражения:

— Кроме того, мы вообще не желаем иметь дело с предателем.

Если в связи с его лекцией об оперативных проблемах еще можно было решиться задать вопрос, высказать, хотя бы намеком, какое-то сомнение — разумеется, в положенной по уставу форме,— то о том, чтобы прокомментировать его последнее замечание, и думать было нечего.

— Соображения военного характера я не запомнил,— сказал Шефольд.— Запомнил только слова полковника: «Кроме того, мы вообще не желаем иметь дело с предателем».

«Бог свидетель, у меня есть моральное право позволить этому Динклаге совершить безумный поступок,— подумал Хайншток,— но когда говорят такое — это уже чересчур».

— Тогда нам, пожалуй, лучше всего дать отбой,— сказал он.

— Да нет же,— возразил Шефольд,— Кимброу все еще считает, что более высокие инстанции решат по-иному. Его полковник, говорит он,— block-head[1], но в штабах дивизии и армии сидят интеллигентные люди. Поэтому я и пришел. Нам надо выиграть время.— И, не обращая внимания на плохое настроение Хайнштока, он все же сказал: — Эта дама должна внушить майору, чтобы он не терял терпения. Вы полагаете, ей это удастся?

— Боже милостивый, святые угодники! — сказал Хайншток.— Ну, хорошо, я пойду сейчас в Винтерспельт. Подождите до моего возвращения! Сварите себе кофе! Вы знаете, где стоит банка.

[1] Болван *(англ.)*.

Ожидая возвращения Хайнштока, Шефольд сварил себе кофе, полистал книги по геологии и, несмотря на действие своего знаменитого кофе, даже немного поспал. Когда он проснулся, то увидел, что сыч сидит возле него на шкафу, где лежат камни; серая маска наблюдала за ним и не шелохнулась, даже когда он открыл глаза; так они, не двигаясь, смотрели друг на друга.

В пять часов Хайншток, наконец, вернулся и заявил, что он умывает руки, потому что Динклаге полностью игнорирует нерешительность американской армии и упрямо настаивает на том, чтобы Шефольд явился послезавтра, в двенадцать часов дня, в штаб батальона в Винтерспельте. (Он скрыл от Шефольда, что Динклаге теперь знает, каким словом охарактеризовал его американский полковник.)

Он объяснил ему схему пути, которую Динклаге начертил для Шефольда и передал через Кэте, перенес чертеж на соответствующий кусок топографической карты, который он вырезал и вручил Шефольду.

— Наверху, на высоте, для вас будет опасный момент,— сказал Хайншток.— Бессмысленно утаивать это от вас. Когда окажетесь там, прежде всего осмотритесь! Не бегите сразу вперед!

— В кофейнике еще есть кофе,— сказал Шефольд и ушел.

Шефольд как раз успел добраться через лес до Хеммереса при последних лучах света. В серых сумерках он спотыкался о корни, но ему незачем было следить за тем, чтобы не нарушать тишину и двигаться осторожно — он не боялся наткнуться на немецкий дозор. По требованию Хайнштока майор уже несколько дней не высылал патрули в долину Ирена. С субботы Шефольд мог вести себя в этом лесу, словно он член Эйфельского общества, ботаник, открыватель еще неизвестного биотопа. (Интерес Шефольда к растениям и кошкам носил чисто эстетический характер.)

Хутор белел в полутьме. Шефольду вдруг стало совершенно ясно, что ему придется покинуть Хеммерес. Американцы не удержатся восточнее Ура. Даже если бы они решились в одну из ближайших ночей пробиться в Винтерспельт, то все равно поспешили бы сразу же вернуться на исходные позиции — Кимброу назвал это рейдом, внезапным нападением с целью захвата 1200 пленных, и можно было представить себе, что за этим последует: Винтерспельт, Вальмерат, Эльхерат заняли бы новые немецкие части и на сей раз, возможно,— нет, вероятно, нет, не просто вероятно, а наверняка — выставили бы сторожевое охранение в Хеммересе, чтобы закрыть брешь в линии фронта, зиявшую как раз там, где находился хутор и лесная долина. Впрочем, незачем забегать так далеко вперед. Даже если ничего не произойдет, если американцы окончательно примут отрицательное решение и из этого странного, назначенного майором Динклаге на послезавтра разговора ничего не выйдет, тогда сам майор может занять Хеммерес, закрыть отверстие, через которое просачивались подрывные элементы. Заняв Хеммерес, он тем самым постарался бы похоронить воспоминание о своем неудавшемся предательстве.

Со вторника до четверга оставалось, таким образом, две ночи, которые он, Шефольд, мог провести в Хеммересе. Во второй половине дня в четверг, возвратившись из Винтерспельта после визита к Динклаге, он увидит хутор в последний раз.

Шагая по улице Винтерспельта, он снова задался вопросом — уже в который раз после вторника: что этот Динклаге хочет ему сообщить?

О чем бы ни шла речь, неразумно оставаться на ночь в Хеммересе.

«Надо надеяться,— подумал Шефольд,— что на обратный путь он даст мне другого провожатого.

И если выяснится, что я должен явиться к нему еще раз, я откажусь идти через линию фронта». Вэглянув на Райделя, он решительно и ожесточенно сказал себе: «Хватит одного раза».

Но вообще-то говоря, он и представить себе не мог, что еще раз пойдет к майору Динклаге — будь то через линию фронта или любой другой, менее неуютной дорогой.

Дополнительные сведения о Хайнштоке — о том, как он во вторник после полудня заставил Кэте Ленк сообщить Динклаге о состоянии дел. Известно, что он пришел в ужас, причем глаза его от испуга стали совсем темными, когда Кэте, вернувшись (а он ждал ее в доме Телена, гостиная в этот будний день была пуста), рассказала ему, что не утаила от Динклаге слова полковника Р., назвавшего майора предателем. Впервые Хайнштоκ испытал чувство неприязни к Кэте; его внезапное сочувствие к майору Динклаге — этот порыв мужской солидарности — совершенно явно содержало в себе элемент протеста против Кэте.

Но был ли он при этом абсолютно честен с самим собой? Не должен ли он был в то же мгновенье задать себе вопрос, который он позднее задавал себе сто раз: не он ли виноват в случившемся, ибо, конечно же, он поступил бы лучше, если бы в те послеполуденные часы умолчал о роковом высказывании американского полковника? Почему же он не промолчал? Может быть, он думал, что Кэте утаит от Динклаге это типичное для военного выражение, ужасное для слуха офицера, оскорбляющее его честь? Нет, он не промолчал, потому что втайне, еще не отдавая себе отчета в побудительных мотивах, надеялся как раз на обратное: что Кэте — как позднее сформулировала она сама — сочла бы себя обманщицей, если бы скрыла от Динклаге то, что он был вправе узнать. Причем Хайнштоκ, по-прежнему не признаваясь в этом самому себе, заранее сделал выводы: он рассчитывал, что Динклаге, выслушав Кэте, пожмет плечами и откажется от своего намерения.

Кэте верно угадала мысли Хайнштока, ибо в ответ на упрек, что она тем самым поставила под угрозу всю операцию, сказала:

— Но тебя-то это как раз бы устроило.

— Ты же никогда в нее не верил и продолжаешь считать ее бессмысленной,— сказала она.

— Разумеется,— ответил Хайнштоκ.— Теперь тем более. Теперь это вообще всего лишь эпизод, разыгрывающийся между двумя рехнувшимися офицерами. Все это антиисторично. Как марксист я не верю в подобные индивидуальные акции.

Она подавила желание ответить ему, хотя слова вертелись у нее на языке: что индивидуальная акция ей милее отсутствия акций. Аргумент этот, правда, был слишком ходячий и не мог не вызывать сомнений у нее самой. И кроме того: если человек решил, как решила она, использовать ночь, когда пьеса майора Динклаге будет разыгрываться на сцене, чтобы исчезнуть за кулисами, то он не имел права рекомендовать какие-либо акции, индивидуальные или любые другие.

Сорок часов провел Шефольд в одиночестве на хуторе Хеммерес— от вечерних сумерек во вторник до десяти часов утра сегодняшнего дня, четверга, когда он покинул хутор; лишь в среду утром к нему

явился Кимброу, как раз когда Шефольд собрался пойти в Маспельт, чтобы сообщить американцу, что Динклаге потребовал встречи на следующий день, и спросить, что он об этом думает. После разговора с Кимброу Шефольд уже не пошел к Хайнштоку, а остался в Хеммересе, читал, готовил еду, думал, мечтал. Пожалуй, среда, 11 октября, была самым прекрасным из этих великолепных октябрьских дней 1944 года — бывают такие осенние дни, когда для людей, которым нечего делать, кроме как ждать, весь мир одевается в золотые и голубые тона.

Конечно, Шефольду хотелось рассказать Хайнштоку о визите Кимброу: «Кстати, сегодня утром, когда я собрался в Маспельт, он пришел сюда ко мне, в Хеммерес. Я глазам своим не поверил. Кончив завтракать, я курил свою утреннюю сигарету, смотрел в окно и вдруг увидел, как из зарослей кустарника на той стороне появляется он в сопровождении двух солдат. Все трое в касках. Они не остановились, а быстро пересекли луг и пошли по мостику. Когда я вышел из дому, Кимброу уже стоял у крыльца, оба солдата — чуть позади него, с автоматами наготове, а он небрежно, как всегда, ухмыльнулся, протянул мне руку и сказал: «Doctor Schefold I suppose?»[1] Я был настолько ошарашен, что даже не засмеялся. Вы только подумайте, господин Хайнштоk: ведь до сих пор американцы никогда еще не переходили этого мостика и не появлялись на этом немецком хуторе. Рыболовы, которые раньше спускались к Уру, всегда оставались в прибрежных зарослях на той стороне. Это был прямо-таки исторический момент. Хозяин хутора и его жена, словно окаменев, стояли у входа в амбар; Кимброу попросил меня перевести им, что они могут заниматься своим делом, но и после того, как я передал им это, они не решались двинуться с места. Конечно, моей первой мыслью было, что он явился меня арестовать, так как они с Уилером пришли к выводу, что мне незачем здесь больше оставаться, но он сказал только, что хотел проверить, каково это — ходить по немецкой земле. Он прошелся по двору туда и обратно, потом вернулся к дому и сказал: «Ощущение действительно совсем другое, чем когда ходишь по Бельгии. Или по Джорджии. Вы не находите, док,— спросил он,— что границы — удивительная штука? Я люблю границы». Он внимательно все осмотрел — хутор, луг, яблони, реку, лес на склонах, каньюка, парившего в небе,— потом сказал, что лучшего места я отыскать не мог. «Кругом война,— сказал он,— а здесь нет. Это как дыра в крыше, никто не хочет приложить усилие, чтобы заделать ее». Только виадук, повисший севернее над долиной, не понравился ему. Я посоветовал Кимброу отойти в укрытие, потому что он стоял как раз на том месте, которое лучше всего просматривалось, но он лишь покачал головой, наблюдая за маленькими фигурками часовых, то и дело появлявшихся из туннеля, слева в оливковом, справа в серо-зеленом; это напоминало игру — они показывались и снова исчезали, словно чья-то рука затягивала их в черноту туннеля; вероятно, он до сих пор не подозревал об этом и, лишь когда я указал ему, обнаружил, что там наверху, на виадуке железной дороги, ведущей из Сен-Вита в Бургройланд, его люди и люди Динклаге пришли к молчаливому согласию, к обоюдной договоренности вести себя так, словно война кончилась столетия назад, а они — всего лишь напоминание о ней, как рыцари на башне замка в Лимале. Когда мы вернулись во двор, он сказал: «Для успеха операции очень важно, чтобы майор Динклаге убрал этих часовых наверху». Тут я, конечно, подумал, что он пришел сообщить мне, что его начальство все же решило принять предложение Динклаге о сдаче в плен. Вместо

[1] Я полагаю, вы доктор Шефольд? *(англ.)*

этого он сказал: «Уилер позвонил мне сегодня ночью и уведомил, что руководство армии отклонило предложение».

Мы сели на скамью во дворе перед домом. Наверное, он заметил, как я разочарован, потому что не успел я рот раскрыть, как он сказал: «Еще ничего не решено. Вполне возможно, что начальник штаба Ходжеса отменит решение армии».

Генерал Ходжес — командующий корпусом. Я спросил Кимброу: «Сколько времени может пройти, пока мы это узнаем?»

Он пожал плечами. «Не знаю. Уилер тоже не знает. Возможно, дело дойдет до Брэдли, может случиться, и до Эйзенхауэра. Уилер сказал: то, что затевает этот немецкий майор,— не военная операция, а высокая политика... Потому-то у меня еще и осталась какая-то надежда»,— добавил он.

«Не знаю, разделяет ли майор Динклаге ваши надежды,— сказал я,— и вообще не знаю, что он намерен делать. Он потребовал, чтобы завтра в двенадцать часов дня я явился к нему».

Можете представить себе, господин Хайншток, что, услышав это, он просто онемел. Он сказал только «О!», потом встал, принялся расхаживать взад и вперед и, сев снова возле меня, сказал: «Может быть, это и хорошо, если вы пойдете. Вы должны теперь лично уговорить его дать нам срок».

Мы условились, что он сразу же известит меня, если еще перед моим походом к майору Динклаге получит окончательный ответ от своего начальства».

Такого ответа капитан Кимброу своевременно не получил.

«Вы знаете, что он добавил напоследок? — сказал бы Шефольд Хайнштоку, если бы еще раз зашел к нему в среду.— Он добавил, что ему очень хотелось бы осуществить этот raid [1] одному, силами своей роты, если армия действительно откажется.

Кстати, вы должны еще знать, господин Хайншток, что мы вели этот разговор хотя и не совсем шепотом, но невольно очень тихо, вполголоса, из-за двух часовых, стоявших с автоматами наперевес все время рядом, лицом к лесу, по которому я всегда к вам хожу».

Шефольд представлял себе, как отреагировал бы Хайншток, если бы он пришел к нему и рассказал эту историю.

«Но вы, вы могли бы на этом основании отказаться»,— воскликнул бы Хайншток раздраженно.

И тогда пришлось бы ему возразить:

«Нет, именно этого я и не мог сделать. Как же вы не понимаете!» Так что бессмысленно снова, в последний раз, затевать спор с Хайнштоком. Начинать новые диспуты было слишком поздно.

Возможно, Хайншток действительно не понял, почему Шефольд в конце концов не вышел из игры. Правда, он очень быстро, не позднее вторника, сообразил, что это Кимброу не хотел отступать, предавался иллюзиям и, желал он того или нет, не давал отступить и Шефольду; это Хайнштоку стало ясно, когда Шефольд явился к нему с поручением передать майору, чтобы тот проявил терпение. Такое поручение не могло исходить от американской армии, оно могло быть только плодом глупых фантазий Кимброу — вывод, который объясняет, почему Хайншток сказал Кэте, что все это «теперь лишь эпизод, разыгрывающийся между двумя рехнувшимися офицерами».

---

[1] Рейд *(англ.)*.

Однако и сам он, Венцель Хайншток, знаток фашизма, опытный стратег сопротивления, не мог не признаться себе, что и он не сделал ничего, чтобы эта затея своевременно лопнула.

В среду он весь день ждал известий от Шефольда — вот-вот тот появится и сообщит, что Кимброу отменил его поход в Винтерспельт. Когда Шефольд не появился, он понял, что ничего уже сделать нельзя. И всю ночь не спал, наблюдая за тем, как передвигается в темноте хижины сыч, в природе которого — не спать по ночам.

Канцелярия батальона. Потрясающе, как все здорово получилось! А ведь казалось почти невероятным, что все пройдет так гладко. Ни разу на пути от окопа до командного пункта никто не остановил его, не потребовал объяснений и так далее.

Теперь будет несколько неприятных минут. Но с этими жлобами в канцелярии он уж как-нибудь управится.

Наконец-то он у цели! Времени разглядывать дом (полугородского типа, безликий, покрытый серой штукатуркой) у Шефольда уже не было; он поднялся по ступенькам ко входу, открыл дверь; Райдель, не отступая ни на шаг, молча, одним движением головы — отвратительный до предела! — велел ему пройти вперед. Остановившись в прихожей, он услышал лишь стук пишущей машинки.

«Логово льва,— подумал он.— Я в безопасности».

Вот, значит, как выглядит этот Шефольд!

Но удовлетворить свое любопытство, рассмотреть Шефольда — высокий, грузный, краснолицый, седые английские усики, почему Хайншток никогда не говорил ей, что он носит усы? — собрать первые впечатления ей помешало то, что солдат, который его эскортировал, вдруг как-то невероятно злобно дернул головой, резко крутанул ею слева направо и вверх, как бы приказывая пленному (а он явно обращался с ним как с пленным) пройти вперед. Так, именно так вели они себя, наверное, в Ораниенбурге, судя по скупым рассказам Хайнштока: молча, резко, не допуская возражений, презрительно. Этот маленький жилистый обер-ефрейтор — она разглядела два серебряных уголка на его рукавах, но не могла увидеть его лица, полуприкрытого тенью от каски,— наверняка отвратительный тип.

Но этот искусствовед, над которым явно нависла угроза, не обращал, казалось, никакого внимания на то, что с ним объяснялись языком знаков, языком презрения и террора. Спокойно, с независимым видом, а может быть, просто ничего не подозревая, он поднимался, беззащитный, по ступенькам.

Она стояла у окна большой комнаты Телена, того самого окна, откуда однажды, ранним утром, почти еще ночью, смотрела на майора Динклаге, ожидавшего ее. Теперь был дневной свет, полдневный свет неяркого солнечного осеннего дня. Кэте показалось, что со 2 до 12 октября прошла вечность.

Всего лишь секунду, возможно, полсекунды длилась эта пантомима, ничтожная по своей продолжительности, своим масштабам, но, должно быть, тяжкая, невыносимая для Шефольда. «Одного поворота головы этого солдата оказалось достаточно,— подумала Кэте,— чтобы я мгновенно поняла то, что подозревала с самого начала: все было неправильно, я не должна была подчиняться требованию Динклаге, чтобы Шефольд пришел к нему через линию фронта». Она решила сразу же, как только переговоры окончатся и Шефольд уйдет — надо надеяться, не в сопровождении того же солдата! — зайти к Динклаге и объяснить ему значение этого кивка головы, этого быстрого движе-

ния вбок, слева направо вверх. Надо очень точно описать его. Если ей это не удастся, Динклаге только пожмет плечами, скажет: «Ну, лишь бы у него других неприятностей не было, а уж плохое поведение солдата он как-нибудь переживет!»

Подумать только, что Шефольд ни за что ни про что должен терпеть дурное обращение со стороны этого солдата! Ведь то, что его вызвали сегодня сюда, не имело никакого значения для операции, было всего лишь странной идеей того, кто ее затеял («Нет, только запланировал, а затеяла ее я»,— подумала Кэте),— толку от этого визита не могло быть никакого. У майора нет ни малейшего шанса изменить положение. Ему не повезло.

Его партнеры не спешили; возможно, они уже перестали играть в эту игру, потеряли к ней интерес; один из них даже оскорбил майора Динклаге. И если он все же потребовал прихода Шефольда, то, видимо, лишь потому, что хотел назначить американцам срок, поставить ультиматум. Реакция, свидетельствующая о желании сделать по-своему. Кэте поправила очки и взглянула на дверь, которая закрылась за обер-ефрейтором. «Вообще-то говоря, странно,— подумала она,— как-то это не похоже на Динклаге. Ему никогда не приходило в голову ставить ультиматум мне».

Если он передаст американцам через Шефольда свой ультиматум относительно срока, размышляла она, то, наверное, речь пойдет о сегодняшней ночи, ибо зачем ему ждать завтрашнего или послезавтрашнего дня? (Вот почему Хайнштоk был прав, когда примерно четверть часа спустя сказал Кэте: «Ты, видимо, все еще надеешься, что произойдет чудо и придут американцы — сегодня ночью».) Нет, такой надежды у Кэте уже не было, только иногда она тешила воображение, вспоминая ночную встречу и свою первоначальную надежду, но как только Райдель закрыл за собой дверь канцелярии и Кэте поправила очки, эта надежда исчезла.

Позднее, когда она узнает от Динклаге, что из его переговоров с Шефольдом ничего не вышло, ей останется одно: попросить, чтобы он приказал занять долину Ирена и хутор Хеммерес лишь завтра утром. Он выполнит это ее желание и наверняка даже не спросит о причинах.

Так что она пойдет к нему все же с другой целью — не только для того, чтобы объяснить этот кивок головой, в котором чувствовалась угроза.

Она вышла, взяла велосипед Терезы, прислоненный к стене конюшни. По дороге к Хайнштоку ей пришло на ум, как охарактеризовать Шефольда, и этой своей характеристикой она только разозлила Хайнштока. «Настоящий аристократ. Свергнутый властелин». И потом: «Какой-то особенно беззащитный».

Райдель резко постучал в дверь, за которой слышался стрекот пишущей машинки, и сразу же открыл ее.

Никто не сказал: «Войдите», и ждать, пока это скажут, было незачем.

Райдель знаком велел Шефольду подойти и стать у стены справа от двери, отметил, что в канцелярии полно народу: батальонный фельдфебель, унтер-офицер-писарь, приданный ему ефрейтор, унтер-офицер-счетовод — все они повернули голову к нему и к Шефольду; ефрейтор, когда они вошли, сразу перестал стучать на машинке; да, они тут в полном сборе, чернильные души, Райдель вытянулся по стойке «смирно» и, устремив взгляд на фельдфебеля, отрапортовал.

Тем временем Шефольд принялся рассматривать портрет Гитлера, висевший на стене за спиной Каммерера; Гитлер был изображен в

виде рыцаря на лошади, прямо перед собой он держал меч, руки его лежали на рукоятке меча так, словно он приготовился к молитве, и из рыцарских доспехов XII века выглядывало озабоченно-серьезное лицо почтового служащего — сравнение это Шефольд сразу отбросил, потому что любил почтовых служащих; нет, это было лицо палача, старающегося походить на почтового служащего; какой-то болван художник решил придать именно этой голове формы и краски, характерные для изображения рыцарских обрядов и доблестей; это была самая скверная шутка, которую когда-либо видел Шефольд; может быть, Динклаге из всех портретов Гитлера выбрал для своей канцелярии именно этот — а повесить данного субъекта он должен был, не мог не повесить! — только потому, что это была скверная шутка?—

и лишь потом он обратил внимание на четырех людей в мундирах, сидевших друг против друга за двумя составленными вместе столами; сначала все они повернули лицо к нему и лишь спустя секунду — к солдату, который как раз отдавал рапорт, так что теперь он наконец узнал его фамилию.

— Обер-ефрейтор Райдель, вторая рота, привел штатского,— рапортовал Райдель.— Этот человек появился из-за окопов и утверждает, что на двенадцать часов у него назначена встреча с господином майором.

Какое-то время Каммерер молчал — откинулся на спинку стула и неторопливо рассматривал Райделя.

Затем он, наконец, соблаговолил открыть рот.

— Вы хотите сказать, Райдель,— спросил он,— что самовольно отлучились с поста?

— Мне ничего не оставалось,— выпалил Райдель.— Прошу господина штабс-фельдфебеля принять во внимание, что сегодня невозможно было связаться ни с кем из старших по званию. Кроме того, —он рискнул, продолжая стоять «смирно»,сделать головой кивок в сторону Шефольда,— этот человек предъявил документы, не вызывающие сомнения.

Аргумент относительно невозможности связаться со старшим по званию пришел ему в голову как раз вовремя, на улице. Этому доводу просто цены не было. В глазах Каммерера он увидел недовольство.

Тем временем Шефольд позволил себе неслыханную вольность. Вместо того чтобы стоять в позе человека, доставленного сюда принудительно, то есть на определенном расстоянии от стены, возле которой его поставили, он прислонился к ней, небрежно выставив правую ногу. Точно скульптура: одна нога опорная, другая — несущая меньшую нагрузку. Левой рукой он вытащил из кармана пиджака пачку сигарет и зажигалку, спокойно подержал оба предмета, не глядя на них, потом вытянул правой рукой сигарету из пачки, сунул ее в рот, молниеносно поменял в руке положение зажигалки и пачки, какой-то миг сосредоточенно смотрел на пламя маленькой серебристо-черной зажигалки и только потом вновь оглядел канцелярию, в которую, он это чувствовал, его привел злой рок. Это не значит, что Шефольд не слушал внимательно диалога между Каммерером и Райделем, и тем не менее он вздрогнул от неожиданности, когда Каммерер обратился к нему. Поскольку Каммерер не добился толку от Райделя, а Шефольд разозлил его своей сигаретой, но он не знал, можно запретить этому человеку курить или нет, то он резко спросил:

— А вы? Как вы, собственно, оказались у наших окопов?

— Меня зовут Шефольд,— сказал Шефольд, отделяясь от стены и слегка кланяясь.— Доктор Шефольд. Я живу в Хеммересе. Могу я просить вас доложить обо мне господину майору Динклаге? Если он сочтет нужным, он наверняка сообщит вам все, что вас интересует.

Ответ этот не был случайным, именно о таком ответе они договорились заранее — он, Хайншток, эта дама и майор. Хайншток, ничего-не-упускающий-из-виду, предусмотрел и это:

— Сначала вы попадете к кому-нибудь из ближайших подчиненных майора, и тут может возникнуть ситуация, при которой вам не удастся отмолчаться. Тогда спокойно скажите правду — что вы пришли из Хеммереса. Все остальное предоставьте майору. Тому, кто станет допытываться, он может ответить, что это дело начальника разведки. О задании, которое ему дает начальник разведки полка, он обязан молчать. «Очень разумно»,— заметил Динклаге, когда Кэте передала ему эту тактическую инструкцию.

Ни один из четверых не учел вот чего: что человек, не принадлежащий к числу ближайших подчиненных майора, но зато внимательно слушающий, начнет размышлять. Примерно так: мне он не сказал, что живет в Хеммересе. Если он живет в Хеммересе, то как же он познакомился с шефом? А делал вид, будто знаком с ним, болтал о Рыцарском кресте. Откуда он знает, что у майора есть Рыцарский крест, если, живя в Хеммересе, никогда его не видел? Как он мог договориться с ним о встрече? Хеммерес отрезан, находится на ничейной земле, никто из наших никогда туда не ходит, как же все это получается?

Тут что-то не так, подумал Райдель,

но его размышления были прерваны, да и штабс-фельдфебель не успел осуществить свое нехотя принятое решение войти в кабинет Динклаге и доложить о Шефольде, ибо дверь, на которой висела табличка с надписью «Командир», открылась и появился майор; какой-то миг он стоял, опираясь на палку, потом совершенно запросто подошел, хромая, к Шефольду, протянул ему руку и сказал:

— Господин доктор Шефольд, не так ли? Рад с вами познакомиться. Проходите ко мне!

Оба господина обменялись рукопожатием.

Вот теперь-то и вышло наружу, что они друг друга в глаза не видели. «У меня назначена встреча с командиром вашего батальона майором Динклаге». Райдель, понятия не имевший о таком термине — «знание людей», мог точно сказать, когда кто-то лгал, а когда — говорил правду. Итак, теперь ясно, что они никогда не видали друг друга и все же условились о встрече. С какой целью и каким образом шеф условился о встрече со штатским, появившимся со стороны противника на передовой, у окопов? Что-то все это очень подозрительно.

Каммерер, не задумывавшийся над тем, откуда к его шефу приходят посетители, или просто не сомневавшийся, что всегда сумеет это разузнать, остановил Динклаге, пока тот еще не исчез вместе с Шефольдом в своей комнате.

— Господин майор,— сказал он,— обер-ефрейтор Райдель осмелился отлучиться с поста, чтобы доставить сюда этого господина.

Динклаге повернулся на каблуках, посмотрел на Райделя и сказал:

— Ах, так это и есть Райдель!

Значит, Борек еще ночью написал свой рапорт и сразу же после побудки отнес его в канцелярию роты. В Винтерспельте ротному фельдфебелю достаточно было сделать несколько шагов, чтобы положить бумагу на стол штабс-фельдфебеля. Просто потрясающе, как быстро они работают, когда сталкиваются с таким вот делом. Интересно, когда командир прочитал писульку, состряпанную Бореком? В девять, в десять, в одиннадцать? Во всяком случае, достаточно своевременно и потому теперь мог уставиться на него и сказать, обращаясь не к нему, а ко всей канцелярии (или к самому себе): «Ах, так это и есть Райдель!» — с ударением на словах «это и есть», так что теперь уже можно не сомневаться: у них есть кое-что против него.

Динклаге снова повернулся к штабс-фельдфебелю.

— Ладно, Каммерер! — сказал он.— На сей раз обер-ефрейтор, в виде исключения, действовал правильно. Позвоните в роту и сообщите об этом!

Все вышло так, как он и думал! «Обер-ефрейтор действовал правильно». Обер-фельдфебель и Вагнер сдохнут от злости.

Тем не менее Райдель признался себе, что не рассчитывал, что все пройдет *так* гладко. Не потому ли все прошло так гладко, что и другие хотели этого? Впрочем, что означает «*другие*», спросил он себя, когда речь идет о шефе?

Словно вспомнив вдруг что-то, Динклаге снова остановился.

— Райдель останется здесь,— сказал он Каммереру.— Потом он отведет господина доктора Шефольда к тому месту, откуда он его привел. Он знает это место.

— Слушаюсь, господин майор,— сказал Каммерер.

Райдель скорее почувствовал, чем увидел жест Шефольда, потому что взгляд его, как и взгляды всех остальных, был устремлен на Динклаге. Но он заметил протестующее движение руки, державшей сигарету, и приготовился к тому, что сейчас незнакомец начнет возражать, но Шефольд ничего не сказал — видно, передумал, подошел к столу, произнес: «Разрешите?» — и потушил свою сигарету в пепельнице Каммерера.

— Мы будем заняты час-полтора. Позаботьтесь, чтобы нам принесли чего-нибудь поесть!— сказал Динклаге своему штабс-фельдфебелю. Затем, прикоснувшись к руке Шефольда, предложил пройти в кабинет и закрыл за собой дверь.

— Возьмите себе стул! — сказал Каммерер.

Райдель снял с плеча карабин, аккуратно поставил в угол между стеной и шкафом так, чтобы карабин не мог соскользнуть, упасть, пододвинул себе стул и сел рядом — сидел он очень прямо, глядя перед собой, а четыре канцелярских оболтуса снова принялись за работу, как ни странно, не обменявшись ни словом,— теперь, кроме стрекота машинки и шелеста бумаги, ничего не было слышно.

Через какое-то время Каммерер снова откинулся на спинку стула — как совсем недавно, когда Райдель отдавал рапорт,— и пристально посмотрел на него. В тот же момент прекратился стук пишущей машинки. Райдель сидел не шевелясь.

— Ну и кашу же вы заварили,— сказал Каммерер.

Райдель тотчас вскочил, стал навытяжку, прокаркал своим высоким, резким голосом:

— Докладываю, господин штабс-фельдфебель: рядовой Борек — враг государства.

О Каммерере мы пока ничего не знаем, кроме того, что он родом из Тюрингии, штабс-фельдфебель 4-го батальона 3-го полка 416-й пехотной дивизии и член национал-социалистской партии. Предположим, что он уже до войны решил стать профессиональным солдатом («дюжинщиком»[1]), потому что его слесарная мастерская в Апольде не очень-то себя оправдывала. Далее, наделим его семьей (жена и трое детей), которая значила для него немало, однако постоянно находиться с ней не было его главным желанием. По всей вероятности, фигурой и лицом он похож на большинство штабс-фельдфебелей, этих прямых, крепко сбитых, надежных людей, обладающих непререкаемым авторитетом у подчиненных; среди них — если иметь в виду среднестатистические данные — едва ли встретишь людей с чувственными губами, беспокойно бегающими глазами, мягким подбородком и пухлыми щеками, свидетельствующими о нерешительности, или с изборожденным морщинами от постоянных раздумий лбом. Зато для штабс-фельдфебелей характерна общая умеренность и твердость. На их лицах отдельные детали смонтированы очень прочно. Эти люди обладают особым даром орать и проявлять чувство справедливости.

(Надо признать: мы пытаемся здесь реабилитировать штабс-фельдфебелей. Их рычание знакомо всем. Что касается справедливости, то каждый солдат знал, что он найдет ее скорее у штабс-фельдфебеля, чем у фельдфебелей в частях. Например, когда речь идет о предоставлении отпуска. К тому же штабс-фельдфебели были взяточниками. Хороший штабс-фельдфебель обладал тонким чутьем, позволявшим умело все уравновешивать. Вот что мы называем справедливостью.)

И уж мы вовсе не собираемся исследовать здесь, почему Ганс Каммерер, штабс-фельдфебель и владелец слесарной мастерской из Апольды, Тюрингия, был членом партии, во главе которой стоял человек, висевший у него за спиной в одеянии рыцаря. Или почему он — как констатировал майор Динклаге — еще в Дании перестал носить значок своей партии. В данный момент это не имеет никакого значения, ибо когда обер-ефрейтор Райдель доносит на рядового Борека как на врага государства, Каммерер даже не вспоминает про партию. Этот вывод можно сделать, если заметить (все, кто присутствует в канцелярии, замечают это, в том числе Райдель, в первую очередь Райдель), как меняется его взгляд, в котором сначала отражается неприятное удивление, потом откровенная антипатия и вслед за тем крайнее отвращение, пока он в упор смотрит на Райделя. Как правило, на лице его, отличающемся умеренной твердостью, нельзя прочитать никаких движений души. Зато сейчас можно. Оно даже покрывается — не румянцем, нет, а каким-то темным пигментом, цвет которого нельзя точно определить, пигментом омерзения. Если бы можно было услышать мысли Каммерера, то они почти наверняка звучали бы так: «Ну и подонок! Подобного свинства я еще не встречал! Если такие вещи начнут повторяться, батальону крышка!»

Так или примерно так. Через некоторое время он уже взял себя в руки.

---

[1] Профессиональный солдат вермахта, завербовавшийся на 12 лет.

— Мне, обер-ефрейтор, вы вообще не имеете права докладывать,— сказал он.— Держитесь служебного порядка. Но одно могу вам сказать: если вы финтите в надежде отвлечь внимание от собственного свинства, то знайте: этот номер у вас не пройдет.

— Так точно, господин штабс-фельдфебель!

— То-то же, а теперь проваливайте! Идите и получите свою порцию еды! Можете пока здесь не появляться! Вы нам отравляете воздух, обер-ефрейтор! Понятно?

— Так точно, господин штабс-фельдфебель!

Он взял карабин, повесил его через плечо, еще раз стал навытяжку, щелкнув каблуками, вытянул вперед правую руку, повернулся кругом и вышел из канцелярии.

Поскольку на голове у него была каска, он все это время не снимал ее. Только пилотки полагалось снимать при входе в канцелярию.

Каммерер мрачно сказал ефрейтору:

— Позвоните в роту, чтобы они там не трогали эту сволочь. Сообщите, что ему приказано, как поест, явиться к командиру!

Писарь, наглый студент, спросил:

— Могу я употребить выражение «сволочь», штабс-фельд?

— Посмейте только! — сказал Каммерер, даже не ухмыльнувшись.

Итак, во-первых, он действовал правильно. Динклаге это подтвердил, все слышали. Во-вторых, его оставили для выполнения особых поручений командира. Он с нетерпением думал о том, не сорвет ли задание майора этот незнакомец, если пожалуется на него, категорически откажется идти обратно в его сопровождении. В-третьих, он сразу же нанес ответный удар. Штабс-фельдфебель с радостью бы его прикончил, но ему на это плевать. Важно только одно — сразу и беспощадно нанести ответный удар. Он мог бы, конечно, притвориться дурачком, ответить: «Прошу господина штабс-фельдфебеля объяснить, какую кашу я заварил». С точки зрения служебного порядка это было бы правильнее, но ничего бы не дало, пустой номер. Теперь все они уже обмозговывали его рапорт, понимали, что на них надвигается очень и очень неприятное дело. Донос на Борека — это был удар в самую точку. Нападение — лучшая оборона. Даже у штабс-фельдфебеля котелок наверняка начал варить, и он смекнул, что Райдель, если его загнать в угол, не остановится перед тем, чтобы подать рапорт и на него, штабс-фельдфебеля, за то, что он, проявляя небрежность, не занялся сразу врагом государства. За то, что отказывается считать беспредметным донос о мнимом гомосексуализме, поступивший от врага государства.

Довольный собою, Райдель шагал к полевой кухне. Свернув на хозяйственный двор, принадлежащий Мерфорту, он увидел, что новобранцы уже вернулись. Они стояли в очереди у полевой кухни, некоторые уже хлебали из своих котелков. Сегодня после обеда они будут заниматься чисткой оружия и починкой одежды. Это значило, что и после обеда часовых на передовой будет не густо, как и утром.

Он сразу же натолкнулся на Вагнера, выпуклые глаза которого при виде его чуть не вылезли из орбит; как и следовало ожидать, он сразу же выдал все, что положено («Вы как, собственно, здесь очутились?», «Нет, надо же, вы, значит, разгуливаете, когда обязаны стоять на посту», «Неслыханный проступок» и т. д.). Райделю теперь

было на все это наплевать, он даже не стал придерживаться общепринятой формы ответа, а просто сказал:

— Справьтесь в батальоне, если вам что-то от меня надо!

Вагнер:

— Вы как, собственно, со мной разговариваете? У меня просто руки чешутся арестовать вас не сходя с места.

Но тут появился ротный писарь, что-то пошептал фельдфебелю, и тот, покачав головой, отстал от Райделя.

То, что Вагнер перед новобранцами набросился на него, опытного обер-ефрейтора, объяснялось, конечно, тем, что он знал о рапорте Борека и решил, что теперь с Райделем можно вообще не считаться: Наверное, этот идиот вообразил, что он, Райдель, из-за рапорта Борека совсем свихнулся, ушел с поста и теперь бродит в полном отчаянии.

Райдель огляделся. Перехватил устремленные на него взгляды — люди тотчас отводили глаза. Видимо, все, кто стоял здесь, на этом дворе, уже знали про него. Ну и идиот же я, подумал Райдель, вообразил, что инстанции — дело надежное, ничего не просочится.

Значит, Фриц Борек был еще в состоянии дойти до полевой кухни, не остался на квартире, измочаленный, в полном изнеможении, выжатый после учений «передвижение на местности». Он сидел на дышле, рядом с ним — другой новобранец. Когда Райдель подошел к Бореку и встал возле него, тот, другой, немедленно исчез.

Райдель сказал:

— В батальоне очень интересуются тем, что ты чигаешь еврейские книжки. Потому что без них ты не можешь жить в этом аду.

Борек поднял к нему лицо. Если бы сейчас начался дождь, подумал Райдель, он прошел бы сквозь его кожу.

— Я очень сожалею,— сказал Борек,— что написал этот рапорт. Правда теперь я жалею об этом. Ты наверняка думаешь, что я говорю так потому, что боюсь тебя. Но я тебя не боюсь. Что со мной может случиться? Ничего. Я ничего не боюсь. Я только хотел сказать тебе, что сожалею.

Райдель никогда не ошибался, всегда точно чувствовал, когда человек говорит правду.

— Слишком поздно,— сказал он,— теперь уже все слишком поздно.

Он спросил себя, что думают другие, видя, как они с Бореком доверительно, почти дружески беседуют.

И пошел с котелком за едой.

В половине первого, после того как ординарец принес обед для обоих господ в кабинет командира и снова ушел, в канцелярии остались только два унтер-офицера: писарь и счетовод. Штабс-фельдфебель и ефрейтор отправились на обеденный перерыв.

Счетовод вдруг прервал свою работу и спросил:

— Ты видел?

— Что? — переспросил писарь.

— А то, что этот,— он кивнул в сторону двери, за которой находились майор и Шефольд,— курил американскую сигарету.

Писарь лишь опустил уголки губ и поднял плечи.

— Слушай,— сказал счетовод,— это же потрясающе. Настоящая американская сигарета! Я ее не только видел, я учуял запах. Я достаточно долго работал в гамбургском порту, знаю, как они пахнут.

— Ладно, приди в себя! — сказал писарь.— Я некурящий, ничего в этом не понимаю.

— Зато я понимаю,— сказал счетовод,— и говорю тебе, он курил американскую сигарету. Я даже видел пачку. Марку я разобрать не мог, потому что он все время прикрывал пачку рукой.

Тут у него возникла идея, он встал, подошел к столу штабс-фельдфебеля и начал изучать содержимое пепельницы, потом вытащил окурок Шефольда.

— Вот она,— сказал он.— Можно не сомневаться, окурок от американской сигареты. К сожалению, он ее докурил почти до конца, марку уже не разберешь. Но такой табак только у американцев. Посмотри, какой светлый!

Он растер окурок в руках и протянул на ладони своему собеседнику, который бросил на него равнодушный взгляд.

— Откуда этот тип добывает такие сигареты? — спросил счетовод.

— Наверно, трофейные,— ответил писарь и снова занялся своим делом.

— Трофейные! С каких это пор у нас американские трофеи? Скорее это у них — наши трофеи.

— Поосторожнее,— сказал писарь.— И кроме того: ну что тебе известно? На этой войне чего только не бывает!

Счетовод подумал, что действительно лучше не касаться этой истории с сигаретой, не докапываться, как она попала в их канцелярию. Он понюхал табак, лежавший у него на кончиках пальцев. Запах напомнил ему о временах, когда он работал в гамбургском порту. Потом он стряхнул крошки табака — виргинский, подумал он,— в пепельницу штабс-фельдфебеля Каммерера.

Капитан Кимброу

Маспельт, 13 часов

Трудно было обижаться на этого немецкого майора за то, что он устал ждать и потому не мог заставить себя и дальше проявлять терпение, а ультимативно передал через Шефольда, что операция должна состояться следующей ночью. Следующей ночью или никогда. Кимброу был с самого начала на его стороне: по многим причинам это дело нельзя было откладывать в долгий ящик. Что, если Боб окажется неправ и в штабе армии в последний момент милостиво соизволят принять в плен полностью укомплектованный немецкий батальон? Для этой цели молниеносно и бесшумно вывести на исходные позиции резервы 424-го полка (он хоть полностью механизирован)? Не позднее 17 часов вернется Шефольд, снабженный тактическими указаниями и чертежами местности, которые ему даст этот майор, как же его зовут?— Динклаге, Динклаге, Динклаге. Чертовски трудно выговорить это имя, если хочешь произнести его правильно, по-немецки.

Он еще не принял решения относительно того, как действовать, если в штабе армии откажут или просто не подадут никаких признаков жизни, отделаются молчанием, но на 13 часов он назначил для своей роты полную боевую готовность.

— Запретите всем увольнительные,— сказал он старшему сержанту.— Все, кто не занят на дежурстве, пусть сидят на квартирах. Чтобы я никого не видел на улице. Командирам взводов назначить чистку оружия.

«Хотя оружием пользоваться не придется,— подумал он.— Если раздастся один-единственный выстрел, все полетит к чертовой матери».

Он послал за лейтенантом Ивенсом, командиром первого взвода, сказал ему:

— Люди из вашего взвода находятся в туннеле недалеко от Хеммереса. Сегодня необходимо особенно тщательно наблюдать за противоположным входом в туннель. Как только немцы уберут свои посты из туннеля, сразу же мне сообщить.

Ивенс, чрезвычайно удивленный, не удержался и спросил:

— Неужели jerries это сделают?

Из десяти старших по званию офицеров восемь ответило бы лейтенанту Ивенсу в подобном случае так: «Делайте, что я сказал!» Или: «Никаких комментариев!» Капитан Кимброу считал такой тон в обращении с подчиненными неуместным.

— Да,— сказал он,— вероятно. Может так случиться, что они сегодня снимут свои передовые посты.

— Будем надеяться, что мои люди вообще смогут что-либо увидеть! — заметил Ивенс.— Ночью разобрать, что происходит у входа в туннель, довольно трудно.

— Ничего! — сказал Кимброу.— В скором времени ваши люди там наверху будут играть с немцами в карты! Очень рекомендую вам, Ивенс, следить внимательно за тем, что происходит на виадуке!

Он приказал соединить его с Уилером. Услышав по телефону голос Боба, он только сказал:

— Кимброу.

— Привет! — воскликнул Уилер.— Я тут постепенно дискредитирую себя. Дважды уже действовал на нервы адъютанту начальника штаба Ходжеса. Получу за это крупный нагоняй. В штабе полка и дивизии будут возмущены. В конце концов я всего лишь разведчик, шпик.

— Что мне делать,— спросил Кимброу,— если майор Динклаге захочет покончить с этим делом сегодня ночью?

— Откуда тебе это известно? — В голосе Уилера прозвучала тревога.

— От Шефольда.

— От Шефольда? — Уилер произнес это с таким удивлением, недоверием, раздражением, на какое был только способен.— Но он же еще пока вне игры.

— Сейчас он как раз беседует с майором Динклаге.

После долгой паузы Кимброу спросил:

— Ты слушаешь, Боб?

— Да,— сказал Уилер.— Господи боже мой!

— Динклаге потребовал, чтобы он пришел к нему сегодня в полдень,— сказал Кимброу.— Я тоже узнал об этом только вчера.

— Когда именно? — быстро спросил Уилер.

— Вчера в первой половине дня. Я был у него в Хеммересе, и он мне сказал.

— В таком случае у тебя был весь вчерашний день, чтобы доложить об этом мне.

Казалось, Уилер услышал по телефону, как Кимброу пожал плечами.

— Ким,— сказал он,— ты, конечно, знал, что я запретил бы тебе делать такую глупость.

— Я считаю, что мы, после всех проволочек, не можем не выполнить этого желания немца.

— Чепуха! — сказал Уилер.— Существуют неписаные законы войны, с которыми должен считаться этот немецкий господин майор. В соответствии с ними он должен теперь ждать, даже если ему кисло.— И он процитировал: — «Увы, почти всю жизнь свою зазря стоит солдат в строю». Ах,— добавил он,— я забываю, что ты южанин. У вас там свои понятия о чести! Одна ваша изысканная вежливость чего стоит! Потому вы и проиграли Гражданскую войну. Вам и в голову не приходило, что придется столкнуться с таким типом, как Шерман. Правда, вы держали рабов, но во всем, что, так сказать, над рабским уровнем, вы были благородными рыцарями Юга.

— Боб,— сказал Кимброу,— занимайся лучше своим двенадцатым веком! Что касается Юга, то в нем ты ничего не смыслишь.

Но Уилер не дал увести себя от этой темы.

— Рыцарь Кимброу, ведущий переговоры с рыцарем Динклаге,— сказал он насмешливо и вдруг взорвался: — Проклятье! Я запрещаю вам самоуправничать, капитан!

— Слушаюсь, сэр! — сказал Кимброу.

Он хотел добавить: «Мне очень жаль, Боб, но уже слишком поздно», однако Уилер больше не слушал — трубка была повешена. А Кимброу, продолжая держать трубку, вспомнил: ведь Боб так и не ответил на вопрос о том, что делать, если майор Динклаге даст знать, что ждет американцев сегодня ночью.

Путь на восток

Двенадцать дней шел караван — сорок судов — из Бостона в Гавр. (Темп определял корабль, который шел медленнее всех.) Океан плотной серой массой вздымался вокруг, насколько хватал глаз. Монотонное зрелище. Только корабли оживляли пустынный горизонт; вид их создавал хоть какое-то разнообразие. В центре шли грузовые суда типа «Либерти», на которые погрузилась дивизия, в окружении эсминцев, минных заградителей. Паек состоял из canned bood[1], пустые банки они выбрасывали за борт. По ночам в трюме, где они спали, офицеры и рядовые вместе, многих рвало, когда океан начинал проявлять характер. Днем Кимброу почти все время находился на палубе, разговаривал с людьми из своей роты, желая познакомиться с ними поближе, после обеда играл с Уилером и двумя другими офицерами в бридж на верхней палубе, в углу кормовой части. Они ни разу не наткнулись на немецкие подводные лодки. Иногда кто-нибудь взволнованно показывал на мелькающие следы дельфиньих плавников, принимая их за торпеду. Так вот, значит, каков он, Атлантический океан! Много лет назад, когда они с отцом стояли на берегу острова Сент-Саймонс и смотрели на океан, отец предостерегал его: «Держись подальше от Атлантики! Знаешь, чего хочет от нас Атлантика? Только одного: чтобы мы вернулись назад. Но мы, американцы, не для того приплыли в Америку, чтобы возвращаться туда, откуда мы пришли».

И вот теперь он, вопреки совету отца, плывет по этому океану, плывет «назад». Кстати, тогда на берегу острова Сент-Саймонс океан не казался ему таким уныло-однообразным. «Странно,— подумал он,— как по-разному может выглядеть океан в зависимости от того, смотришь на него с суши или с борта корабля».

В гаврском порту, куда лишь несколько недель назад снова начали заходить суда, у них глаза полезли на лоб, когда они увидели

[1] Консервов *(англ.)*

гигантский щит — судя по всему, Supreme Commander[1] терпел его,— укрепленный на двух забитых в дно штангах: «GO WEST BOY, GO WEST!»[2].

Так армия демонстрировала свой юмор! До чего же она умеет хватать быка за рога, управляться с тоской по родине! Интересно, кто бы рискнул оказаться настолько мелким, низким, чтобы действительно желать возвращения домой?

Руины Гавра. Ряды старых однообразных французских домов, превратившихся теперь в ряды старых однообразных французских руин; с какой-то тщательностью и методичностью здесь выгорело все — остались только фасады, затекшие черной смолой, которая толстыми жгутами свисала из оконных проемов.

Едва он ступил на сушу, его охватил этот недуг, эта неспособность передать то, что он видел, думал, чувствовал. Перечитывая, прежде чем запечатать конверт, свои письма к родителям, дяде Бенджамену, Дороти в Оахаку, он не обманывался: фразы безжизненны, фразы шуршали, словно сухие ветки.

Например, ему очень хотелось бы написать им о том, что́ он чувствовал, стоя во дворе одной из старых французских или бельгийских казарм, где они провели ночь, отправляясь на фронт. Не среди сверкающих белизной бараков американских camps[3] — транспортабельных, складных, для складных войн,— не среди огромных палаточных городков, молниеносно возникающих и так же молниеносно исчезающих, а среди каменных стен для кадровых армий — серый камень, сизый камень, красный камень, с плотно заделанными пазами, с элементами средневековых крепостей — башенками, зубцами, которые делали их еще более безотрадными. На булыжнике учебных плацев, поджав ноги, опустив винтовки, широким каре сидели солдаты. Как обычно в армии, им приходилось ждать часами, пока их, наконец, расквартируют. (Разобраться, почему это так, вряд ли кому под силу.) Он, как офицер, мог коротать время, расхаживая по плацу и пытаясь читать старые французские и более новые немецкие объявления, плакаты, наклеенные у входов, но понять ему удавалось лишь некоторые выцветшие, размытые дождем французские слова. Потом гулкие коридоры. На следующее утро, когда роты снова выстраивались на плацу, он говорил себе, что никогда прежде не видел ничего столь мертвого, как эти казармы. Наверное, он ошибался, они не могли быть мертвыми — если бы он приглядался, прислушался внимательней, он уловил бы еще отзвуки того рыка, что разбивался об эти стены, французского рыка, немецкого рыка, а теперь и американского рыка, но он не слышал ничего. Ничего. Это даже нельзя было назвать молчанием. Это было полное отсутствие жизни. Серый камень. Сизый камень. Красный камень. Каменный ящик с кубиками. Ничего другого.

Что-нибудь в этом роде он хотел бы написать домой, но он не мог найти нужных слов.

Леса в Арденнах, через которые они ехали, в конце своего пути были темнее, чем леса вокруг Форт-Дефайанса, откуда они прибыли, но если не считать легких цветовых нюансов, отличающих европейскую осень от североамериканской, догорали они с той же беспредельной торжественностью, что и леса в Массачусетсе. Разве

[1] Верховный главнокомандующий *(англ.)*

[2] «Иди на Запад, парень, на Запад!» *(англ.)*

[3] Лагерей *(англ.)*.

что здешние не обрывались, как массачусетские, прямо над морем. Когда их посадили на корабли, идущие из Форта-Дефайанса в Бостон, у Джона Кимброу мелькнула мысль, что он совершает это путешествие лишь для того, чтобы увидеть, как тонет за голубой стеной моря бабье лето Новой Англии.

На лесных прогалинах в горах западнее Конкорда ютились белые игрушечные деревни, а в тенистых лощинах Арденн прятались маленькие серые города или просто каменные церкви, замки, кузницы.

Уилер воспринимал эту страну совсем по-другому — не так, как он.

Когда они встречались вечером на своих квартирах, он восклицал: «Ты видел такой-то замок, Ким? — Название Джон Кимброу сразу же забывал.— Великолепно, правда?» И начинал рассказывать историю такого-то замка.

Что ж, это был его предмет. Армия предоставила майору Уилеру, специалисту по средневековой немецкой литературе, профессору Блумингтонского университета, штат Индиана, возможность совершить бесплатное ознакомительное путешествие. Платой за такое путешествие могла, правда, стать его жизнь. Но для этого надо было, чтобы ему как-то особенно не повезло. Путешествие кончилось, когда они вышли из арденнских лесов. Перед ними находилось не море, а отлогие склоны холмов, горный край, необычайно пустынный, даже по представлению Кимброу, который, живя в Фарго и на болотах Окефеноки, привык к пустынным пейзажам.

Маспельт, 14 часов

Для изучения местности, где находились позиции его роты и где в один прекрасный день ему предстояло воевать,— если в результате какого-нибудь непредсказуемого решения одного из высших армейских штабов 424-й полк не снимут с этого участка и не перебросят куда-нибудь еще, прежде чем начнутся боевые операции,— капитан Кимброу пользовался той же бельгийской топографической картой (масштаб 1 : 10 000), которую раскладывал перед собой майор Динклаге, когда хотел уяснить положение подчиненного ему батальона. На карте были отмечены чуть ли не каждое дерево, каждый телеграфный столб, не говоря уже об овчарнях и проселках.

Кимброу в который раз принялся сосредоточенно обдумывать свой проект, позволявший обойтись без поддержки полка, а также без согласия дивизии, армии или группы армий.

Если майор Динклаге (точно разметив все на этой карте) уведомит его через Шефольда, что ровно в полночь его батальон в Винтерспельте будет готов к сдаче, необходимо проделать следующее:

Первый взвод, используя туннель возле Хеммереса и оставляя слева населенные пункты Эльхерат и Вальмерат (правда, расквартированные там роты немецкого батальона будут выведены, но нужно ли рисковать), выходит к Винтерспельту через северные склоны. Расстояние (от туннеля) — 3 километра; продолжительность перехода, учитывая, что пользоваться дорогами не придется,— полтора часа.

Второй взвод собирается в Ауэле, переходит через Ур по еще сохранившемуся там деревянному мосту и приближается к Винтерспельту с запада — по пешеходной тропе, ведущей из Ауэля. Расстояние — немногим более двух километров, продолжительность перехода — максимум час.

Третий взвод переправляется через Ур южнее Ауэля. (Чтобы перебраться через Ур, не нужны надувные лодки; но, уж конечно, пар-

ни из Монтаны проклянут все на свете, когда им придется идти по самые бедра в воде.) Затем через весьма труднопроходимую местность (пашни, лес — майор Динклаге должен гарантировать, что там нет минных полей) с юго-запада приближается к Винтерспельту. Расстояние пять километров, продолжительность перехода минимум два часа.

Двенадцатого октября, в два часа дня, то есть, так сказать, в последний момент, капитан Кимброу изменил свой план. 3-й взвод может идти тем же путем, что и 2-й, только перед самым Винтерспельтом он должен отделиться от 2-го и проникнуть в Винтерспельт с юга. Это гораздо проще.

Таким образом, ровно в полночь три взвода могут окружить с трех сторон место сбора немцев.

Для этого необходимы следующие условия:

1. Немцы должны действительно собраться в полном составе к моменту прихода американцев, не считая, конечно, больных, которые остаются на своих квартирах. Основная же часть батальона должна быть на месте.

2. Между моментом сбора немцев и приходом американцев должно пройти не более четверти часа. Ничто не должно отвлекать немцев или вызывать беспокойство — необходимо, чтобы они стояли как стена. Захватить врасплох можно только абсолютно дисциплинированное войско. Следовательно, все зависит от точного timing [1].

3. Место сбора батальона майор Динклаге должен выбрать так, чтобы немцы увидели американцев, но не заметили своего численного превосходства.

Взводы должны иметь сильные ослепляющие прожекторы и по сигналу (осветительная ракета?) включить их. При свете этих прожекторов он пройдет через плац к майору Динклаге и отдаст честь.

Короткая речь майора, обращенная к батальону.

Отход батальона поротно и повзводно, с достаточными интервалами между подразделениями. Наиболее пригодна для этого дорога, ведущая на север. Через Вальмерат и Эльхерат, которые теперь уже незачем будет обходить, затем через туннель. Охрана безоружного батальона вооруженной ротой — не проблема. После выхода из туннеля сбор на безлесном склоне над Маспельтом, где для этой цели следует установить с разных сторон четыре пулеметные точки. Завершение операции около двух часов ночи.

Только вот, пока они там в полку сообразят, что произошло, пройдет немало времени. До рассвета колонна грузовиков из Сен-Вита, конечно, не появится.

А в остальном все пойдет как по маслу.

Разумеется, было бы преступно думать, что на этом масле нельзя поскользнуться.

Следовало учесть возможность следующих инцидентов:

1. После первых же фраз, с которыми Динклаге обратится к своим солдатам («Камрады третьего батальона! Война проиграна. Поэтому я принял решение...»), один из младших командиров может вытащить пистолет и выстрелить в Динклаге. (Правда, рядовой со-

[1] Расчета времени *(англ.)*.

став будет построен без оружия, но унтер-офицеры, фельдфебели и лейтенанты всегда имеют при себе пистолеты — они бы заподозрили неладное, если бы им приказали явиться без оружия. Так что об этом и думать нечего.)

2. Подстрекаемые своими командирами, какие-то группы солдат попытались бы добраться до квартир, чтобы взять оружие. Это привело бы к тому, что через несколько секунд начался бы хаос — солдаты устремились бы по плацу в разные стороны.

В любом из этих случаев ему, Кимброу, пришлось бы дать сигнал к началу кровопролития.

И если ему не удалось бы еще на плацу с помощью трехсот американских автоматов перестрелять немцев, то в ночном Винтерспельте начался бы уличный бой. В этом бою его рота была бы уничтожена. Таким образом, ему оставалось только выбирать между расправой с батальоном противника и гибелью своей роты.

3-а. Могло оказаться и так, что они натолкнутся на сопротивление еще на подходе к Винтерспельту. Части немецкого батальона могут не выполнить приказ и остаться на своих местах согласно решению, самовольно принятому отдельными командирами рот или взводов, или же:

3-б. Младшие командиры, заподозрив что-то неладное, могут тайно саботировать приказ и, осторожно осведомившись в штабе полка, дать понять солдатам, что не следует спешить с его выполнением. Как бы случайного упоминания об этой странной операции во время телефонного разговора на обычную тему — например, о подвозе боеприпасов — было бы вполне достаточно, чтобы обезопасить себя и небрежно отнестись к выполнению приказа, не создавая необходимого для проведения боевой тревоги настроения. Конечно, маловероятно, чтобы при этом возникло подозрение в предательстве; самое большее — предположение, тоже весьма неприятное, что у майора сдали нервы. После этого, очевидно, речь пойдет не столько о вмешательстве командира полка, сколько военного врача.

Но по крайней мере в случаях 1, 2 и 3-а наверняка проявится политический фанатизм, и было бы непростительно недоучитывать, какая тут может разыграться сцена.

Итак, хотя среди предков Кимброу нет немцев и он мало что знает о немецкой истории, культуре или антикультуре, он, оценивая обстановку, приходит к тем же выводам, что и Хайншток, который на собственном опыте знает, как ход мыслей у немца ведет к практическим действиям — к выводам, которые Хайншток изложил в субботу утром Кэте, когда размышлял вслух о наличии «определенного процента фашистов среди младших командиров», об их слепом повиновении и готовности проявить бдительность, если они заподозрят неладное, или когда просто вспоминал, с каким скрежетом работает механизм армии.

Итак, полковник Р., которого он не любил, был абсолютно прав, заявляя, что для подобной операции придется ввести в действие весь полк. Он сразу же верно проанализировал положение. Пришлось бы мобилизовать как минимум все резервы полка. Немцы должны убедиться в подавляющем превосходстве противника — лишь в таком случае можно рассчитывать, что никакой осечки не будет.

Эти мелькавшие перед глазами Кимброу и мгновенно растворявшиеся во тьме картины — лишенная поддержки рота, бесшумно подкрадывающаяся к Винтерспельту,— были почерпнуты из фильмов. Это был вестерн с обязательной кровавой резней в конце.

Если одного-единственного выстрела достаточно, чтобы Винтерспельт превратился в ад и вся операция с треском провалилась, значит, рота должна выполнять задание, не имея оружия. Безоружная рота берет в плен безоружный батальон.

От одной мысли об этом вся армия померла бы со смеху.

Самая большая картина в мире

Самая большая картина в мире (400 футов в периметре) находилась в здании циклорамы Грант-парка в Атланте. Она изображала первую битву под Атлантой, которая произошла 22 июля 1864 года и была выиграна южными штатами; последующие битвы за Атланту южане проигрывали. Осматривая картину — ибо, конечно же, в студенческие годы ему волей-неволей пришлось хоть однажды взглянуть на нее,— Джон Кимброу спрашивал себя, действительно ли битвы были такими, как на этом полотне, созданном в 1886 году немецкими художниками. Действительно ли они были такими красивыми. Возможно, облачка, вылетавшие из ружей, и в самом деле казались серо-голубыми и изящными. Возможно — во всяком случае, нельзя заведомо это отрицать,— погибшие, по крайней мере сразу после смерти, лежат вовсе не в ужасающих, а в весьма выразительных позах, как генерал Макферсон, сраженный пулей какого-нибудь служивого конфедерата и распростертый возле своего, также распростертого, вороного коня, судя по всему, чистокровки благороднейшей кентуккской породы. И хотя представление о вставших на дыбы конях устарело уже ко времени минувшей мировой войны, все же битва — *понятие* битвы! — ассоциировалась лишь с platoons[1] (южан), организованно наступающими на беспорядочно защищающиеся превосходящие силы (северян). Джон, со всей серьезностью обдумав это, нашел подобное представление не то чтобы неверным, но просто неполным. Оно не включало в себя того факта — которого не было, кстати, ни в фильмах, ни на самой большой в мире картине,— что пули и штыки проникают в тела живых людей. Прекрасная смерть настигает человека в момент, когда он как раз пьет кофе. Словом, ужасно уже то, что против обычной смерти ничего нельзя поделать. Придя в результате своих раздумий к такому заключению, Джон заторопился покинуть здание циклорамы.

Годы спустя, когда они плыли через океан из Бостона в Гавр, он рассказал майору Уилеру, что терпеть не может изображений войны.

— Тогда хотел бы я знать, почему ты пошел в армию добровольцем,— сказал Уилер смеясь.

— Потому и пошел,— сказал Кимброу.— Это же ясно.

— Извини, Ким, но это вовсе не так уж ясно,— сказал Уилер.

— Просто я понял, что приближается война,— сказал Кимброу.— Ты наверняка тоже понял, что она приближается.

Он замолчал. Уилер не отставал от него.

— Ну, и? — спросил он.

— Это же настоящая война. А ее я, конечно, хотел увидеть.

---

[1] Отрядами *(англ.)*.

Маспельт, 15 часов

Его комната в командном пункте роты выходила не на деревенскую улицу, а на противоположную сторону, на склон с его пастбищами, так что Кимброу смог установить, чей джип ворвался в тишину полной боевой готовности, лишь тогда, когда майор Уилер распахнул дверь, тщательно закрыл ее за собой и сказал очень тихо — так, что его слов наверняка нельзя было разобрать в приемной:

— Я приехал, чтобы помешать тебе сделать глупость.

Он снял пилотку, потом свой battle-jacket и сел за стол напротив Кимброу.

— Рад тебя видеть,— сказал Кимброу.— Но на это ты мог бы не тратить время. То, что ты называешь глупостью, не произойдет.

— Однако ты привел свою роту в боевую готовность,— сказал Уилер.— Я беседовал с лейтенантом Ивенсом только что, когда подъезжал к деревне.

— Сигнал тревоги я распорядился дать на тот случай, если в полку все же решат участвовать в этой игре,— сказал Кимброу.— Ведь не исключено,— добавил он насмешливо, с подковыркой,— что полк в последний момент все же соберется с силами, а?

— Нет,— сказал Уилер,— это исключено. Выбрось это из головы, Ким.

Кимброу посмотрел на топографическую карту, которая все еще лежала развернутой на столе. Он сказал:

— Кроме того, мы ведь не знаем, что этот майор Динкледж...

— Динклаге,— поправил его Уилер.— Старая вестфальская фамилия. Возможно, предки Динклаге были судьями. Но не имея словарей, я могу это только предполагать. Надо дождаться, пока я снова окажусь в Блумингтоне и смогу полистать соответствующую литературу. Или недели через две в каком-нибудь немецком университете.

— Очень интересно, господин профессор,— сказал Кимброу.— Благодарю вас!

Но Уилер не поддавался на его тон.

— Ужасно любопытно,— сказал он,— в каком состоянии находятся немецкие университеты? Вот было бы здорово — попасть в Гейдельберг или Гёттинген и достать там словарь Гримма. Хотя, вообще-то говоря, я надеюсь, что немцы надежно упрятали свои библиотеки, обезопасив их от бомбежек, и потом им останется только расставить все по местам.

Он еще какое-то время предавался своим академическим мечтаниям, и Кимброу не мешал ему. Но затем напомнил:

— Да, кстати: мы ведь не знаем, с какими известиями вернется Шефольд. Может быть, этому немецкому майору пришла в голову какая-нибудь новая идея...

— Вот именно,— прервал его Уилер, сразу же возвращаясь на землю.— С тобой опасно иметь дело, Ким. Ты можешь очертя голову ринуться в авантюру, если этот джентльмен сделает тебе предложение, которое ты сочтешь приемлемым. Или если он заверит тебя, даст честное слово, что все будет в порядке.

— Ты забываешь, что я юрист.

— То есть ты хочешь сказать: трезвый человек. Я знаю многих юристов, которые являются чем угодно, только не трезвыми людьми. Большинство политиков были юристами, прежде чем стали политиками.

— Я никогда не буду заниматься политикой.

— О господи,— сказал Уилер,— тебе сейчас только тридцать! Судя по твоим рассказам, ты в сорок первом пошел в армию потому, что не мог больше видеть, как расправляется с твоей любимой Джорджией этот тип, этот Юджин Толмейдж. А теперь ты не в состоянии смириться с тем, что армия ведет себя так, как обычно ведут себя армии. Ты сделан из того же теста, из какого делаются политики.

Кимброу покачал головой, но ничего не сказал. Боб Уилер не знал Окефеноки и потому не мог знать, что под маской капитана и адвоката, которую носил он, Кимброу, скрывается swamper[1],— а это уже достаточная гарантия того, что он никогда не будет добиваться финансирования избирательных кампаний, проводить собрания, пожимать руки. Конечно, он мог говорить с присяжными, когда на карте стояла жизнь человека, или вести себя как идиот в истории с этим немецким майором, но какое отношение все это имеет к политике? Скорее это была полная противоположность политике.

Герб Уилера

Худощавый, но не тощий, подтянутый, с упругими мышцами, среднего роста, узкая полоска усов, очки с сильными стеклами — в военной форме майор Уилер выглядит так, как хотелось бы выглядеть любому кадровому офицеру — мужественным, надменным, знающим свое дело. Впечатление он производит тем более сильное, что этот человек, который, казалось бы, никого к себе не подпускает, может без малейших признаков высокомерия подсесть к любому студенту, младшему офицеру, разведчику, военнопленному и завести спокойный, деловой разговор, не утаивая своего интереса к собеседнику — интереса, иногда граничащего с любопытством. Впечатление, основанное на контрасте. Уилер умеет даже сделать так, чтобы особенно чувствительные, болезненно реагирующие собеседники,— а ему все время попадаются именно такие,— не испытывали ощущения, что их специально выбрали для этой беседы, хотя, конечно же, их выбрали специально. И это вызывает к нему симпатию; у людей возникает не иллюзия, что их поняли, а убеждение, что этот человек спокойно, без апломба, неназойливо постарался их понять.

Именно так познакомился с ним и Джон Кимброу. Джон был чрезвычайно удивлен, что этот офицер, внешне надменный, высокомерный, презирающий других, все двенадцать дней, пока они плыли из Бостона в Гавр, посвятил ему. Уилер задерживался с ним после того, как кончалась игра в бридж, и, глядя на унылую водную гладь, втягивал его в серьезные разговоры. В первое время у него было впечатление, что профессор Уилер проводит с ним семинарское занятие на тему «Юг, Джорджия», выясняя исторические и социальные причины того, что он, конечно же, сразу охарактеризовал как изоляционизм Джона; но к концу путешествия Кимброу заметил, что приобрел друга, и заметил не только потому, что в один прекрасный день Уилер в ответ на обычное: «Майор!» — воскликнул: «Ради бога, зови меня Боб!»

Чтобы понять майора или профессора Уилера, надо представить себе Блумингтонский университет, штат Индиана! Он расположен среди унылых просторов северной части Среднего Запада (которые, быть может,— кто знает? — обладают своими скрытыми прелестями), южнее Чикаго; винтовой самолет покроет это расстояние за час; там нет ни весны, ни осени, а есть только серая ледяная зима и невыно-

[1] Болотный житель *(англ.)*.

симо жаркое влажное лето. На Main Street [1] городка Блумингтон нет ни малейшего отпечатка великой американской мифологии, она просто скучна, запущена — пустырь, заставленный деревянными домами и щитами с рекламой. На восточном конце этой улицы — уже за пределами городка — начинается парк со старыми деревьями, в нем прячется университет, бесформенное, но просторное, даже уютное здание, напоминающее своей уродливой архитектурой какой-нибудь роскошный городской или курортный отель 20-х годов (возможно, он таковым и был). Этот парк, этот дом — во всех отношениях остров, в том числе музыкальный остров, ибо своеобразие Блумингтона составляет его музыковедческий факультет. Совершенно очевидно, что университеты, затерявшиеся в пшеничных степях — Индианы ли, Туркестана,— обладают собственной гордостью, собственной скромностью. Ученые, тоскливо мечтающие о местах, тесно связанных с историей, скорей откусили бы себе язык, чем сообщили бы редкому гостю с Востока, которого случай занес в Блумингтон, что по уровню исследований и преподавания их университет не уступает его старинному, знаменитому центру культуры. (Да, мы советуем господам из Болоньи или Сорбонны избегать покровительственных интонаций во время их коротких, словно фейерверк, визитов!) Уилер не составляет в этом смысле исключения: неизменные understatements [2], касающиеся Блумингтона, и сохраняющаяся — во всяком случае вплоть до середины 30-х годов — безграничная вера в превосходство европейского образования. Ностальгические воспоминания о четырех семестрах в Гейдельберге (1925—1926).

Таков майор-профессор Роберт («Боб») Уилер, ровесник Хайнштока (52 года), женат, двое сыновей, из которых старший служит во флоте на Тихом океане. Для армии, куда он был призван по схеме (германистов — в офицеры разведки), он стал настоящей находкой: человек, который в такой степени обладает даром слушать, просто неоценим для работы в intelligence service[3].

Некоторые размышления о товариществе

Отношения между майором Уилером и капитаном Кимброу можно охарактеризовать как товарищество: явление не коллективное (мифологизированное), а охватывающее двух, иногда трех, в редких случаях большее число — но максимум от четырех до шести — индивидуумов («душ»). Товарищество существует только до тех пор, пока два солдата служат в одной части; как только одного из них переводят в другую часть, оно угасает. Товарищ (камрад) — это человек, с которым — часто сам того не сознавая — вступаешь в заговор против коллектива. Утверждение, что товарищество возникает на основе взаимной помощи в вооруженной борьбе против «врага», то есть на основе естественных актов войны, здесь опровергается. Доказательство: большинство актов и чувств товарищества возникает вне системы понятий, связанных с «врагом». Не «враг» является врагом, а каторга военного коллектива, в котором ты живешь.

Продолжение: Маспельт, 15 часов

Они вместе просмотрели карты, проверили все аргументы «за» или «против» операции, совместно пришли к тем же выводам, к каким уже пришел самостоятельно Кимброу.

---

[1] Главной улице *(англ.)*.
[2] Недооценки *(англ.)*.
[3] Разведывательной службе *(англ.)*.

— Я, черт побери, не понимаю, зачем ты только что спрашивал меня по телефону, что тебе делать,— сказал Уилер.— Даже этот проклятый майор Динклаге должен понять, что сделать ничего нельзя.

— Ах, это так, пустая болтовня,— сказал Кимброу.

— Это не была пустая болтовня,— сказал Уилер.— Я слишком хорошо тебя знаю, Ким.— Тон его стал строго официальным: — Поскольку ты известил меня об этом преждевременном визите Шефольда к майору Динклаге, мой долг, как старшего по званию, приехать в Маспельт и проследить, чтобы не произошло ничего нежелательного для армии. Итак, я останусь здесь, пока не вернется Шефольд. Если ты после его возвращения примешь решение, которое я не смогу одобрить, мне придется временно отстранить тебя от командования и взять командование третьей ротой на себя. — Мне очень жаль, Ким,— добавил он прежним дружеским тоном,— но когда ты решил позвонить мне, ты наверняка уже четко сознавал, что с этого момента ответственность лежит на мне.

Кимброу сложил карту и отодвинул ее в сторону.

— Никто бы не узнал, что я тебя проинформировал,— сказал он.— Во всяком случае, от меня никто бы не узнал. Стало быть, ты мог спокойно дать мне возможность продолжать эту игру.

— Если ты говоришь серьезно, то обманываешь самого себя,— сказал Уилер.— Если бы ты решил провернуть эту штуку за спиной армии, ты бы мне не позвонил.— И, помолчав, добавил: — Ты позвонил мне, потому что хотел, чтобы я приехал.

Краткая биография

Джон Д. (Диллон — по матери) Кимброу родился в 1914 году в Фарго, округ Клинч, Джорджия, в семье мелкого фермера (poor white)[1] Исаака Кимброу и его жены Нэнси, урожденной Диллон; есть еще сестра, старше его на пять лет. С отцовской стороны Кимброу происходит из шотландских переселенцев, с материнской стороны — от пуритан, которые в 1752 году перебрались в Джорджию, но не из Англии, а из Южной Каролины. (В странах, история которых насчитывает не более семи поколений, еще существует большой интерес к генеалогии и легко установить свое происхождение; но возможность внебрачных любовных приключений и их последствий — например, какую-нибудь женщину из клана Кимброу застиг врасплох испанский солдат во время оккупации острова Сент-Саймонс войсками Де Сото в 1742 году, о чем дама, при всем своем пуританском раскаянии, упорно молчала, а внебрачного ребенка подсунула мужу,— эту возможность народная генеалогия полностью игнорирует.) Итак, Джон Д. Кимброу может называть себя стопроцентным американцем. Прошлое, которым можно гордиться,— или во всяком случае оно так изображается, что им можно гордиться,— осталось позади. Здесь не место объяснять, почему отец Джона, как и большинство фермеров в Фарго,— белый бедняк. Существуют обширные исследования об упадке сельского хозяйства в южных штатах США после Гражданской войны (и до нее). Исаак Кимброу в молодости принимал участие в populist movement[2] и до 1908 года хранил верность Тому Уотсону. Сейчас ему 65 лет, он все еще живет в своем ветшающем, как бы усыхающем на солнце деревянном фермерском доме между Фарго и краем Окефеноки. Тем, что он вообще сумел сохранить ферму, он обязан только стимулирующим мерам и кредитам рузвельтовского New Deal[3], а также

[1] Белого бедняка *(англ.)*.

[2] Популистском движении *(англ.)*.

[3] «Нового курса» (системы экономических мероприятий Ф. Д. Рузвельта).

тому, что Джон, став адвокатом, а потом офицером, ежемесячно высылает отцу определенную сумму. Мать Джона скрючил ревматизм, и она теперь похожа на кривое дерево без листвы. Климат в Фарго убийствен для больных ревматизмом, а Нэнси Кимброу, естественно, не может позволить себе курортного лечения в Уорм-Спрингс.

Когда Джону исполнилось 12 лет, дядя Бенджамен Диллон принял решительные меры: взял мальчика к себе в Саванну, просмотрев предварительно его школьные тетрадки и переговорив с учительницей в деревенской школе мисс Тиббетт. У дяди и тети Диллонов нет детей; они держат в своем доме на Куэй-стрит антикварный магазин, где продаются предметы искусства и мебель, «Ye Olde Shoppe» [1]. Кроме того, дядя Бенджамен позволяет себе роскошь — издает журнальчик по истории родного края — «Хермитейдж». Обучение в high school до 1932 года. Комната с видом на реку, на корабли — в ней Джон делал уроки. Два первых студенческих года (freshmen и sophomore) [2] в государственном университете в Атенсе, а потом, когда он решил стать юристом,— четыре года в университете Эмори в Атланте (юридический факультет Эмориз Ламар). «Том Уотсон изучил это ремесло между делом, работая в конторе, в двадцать лет уже имел собственную адвокатскую практику»,— говорит обыкновенно Исаак Кимброу, когда сын рассказывает о своих занятиях.

В 25 лет Джон начинает работать в адвокатской конторе в Саванне. Гражданские процессы его не интересуют; возмущенный положением дел в уголовном праве и системой наказаний, господствующей в Джорджии, он занимается уголовными делами, защищает убийц и грабителей, которых навещает в пользующейся печальной известностью тюрьме Милледжвилла. Ему не повезло — он оказался адвокатом, да еще молодым, в годы, когда губернатором Джорджии был Юджин Толмейдж. Вся Америка читала в эти годы книги «I am a Fugitive from a Georgia Chain Gang»[3] и «Georgia Nigger»[4]. Благодаря своему умению обрабатывать членов Grand Yury[5], Джон Д. Кимброу быстро приобретает известность, но наживает врагов, когда в серии статей, опубликованных в «Атланта джорнэл», нападает на систему суда присяжных, называя ее священной коровой американского судопроизводства.

Летом 1941 года, за полгода до Пирл-Харбора, он — к ужасу дяди Бенджамена — все бросает и идет в армию. После первичной подготовки ему предлагают стать офицером и, так как он не возражает, посылают его в пехотное училище в Форт-Беннинг. Он быстро продвигается по службе: в 1943 году становится старшим лейтенантом, в начале 1944-го его переводят — уже в чине капитана — в 424-й полк, который комплектуется в Форт-Дефайансе (Массачусетс). Армия предпочитает направлять офицеров из южных штатов в воинские части, состоящие только из белых. Так Джон Кимброу попадает в свою роту, укомплектованную парнями из Монтаны, которых отправляют на европейский театр военных действий. Он предпочел бы Тихий океан. Хотя у него нет никаких иллюзий относительно суровости войны с японцами, он все же иногда мечтает о пальмах и коралловых рифах.

До сих пор он почти не выезжал из Джорджии, если не считать трех поездок в Нью-Йорк в 1940 году, когда он посещал Дороти Дюбуа, дочь убийцы, которого он защищал, впрочем, безуспешно. Он познакомился с ней в Милледжвиллской тюрьме, когда она навещала отца незадолго до его казни. Приехав ради нее в Нью-Йорк в третий

[1] «Лавка древностей». Буквально: «Старый магазин» *(англ.)*.
[2] Первокурсник и второкурсник *(англ.)*.
[3] «Я — беглый каторжник из Джорджии» *(англ.)*.
[4] «Ниггер из Джорджии» *(англ.)*.
[5] Суда присяжных *(англ.)*.

раз, он ее уже не застает; позднее она пишет ему из Оахаки, Мексика. Девушки в Атенсе, Атланте, Саванне. «Easy-going» [1] — труднопереводимое слово. Он приятен и легок в обращении, кроме того, точен, отличается дружелюбием и серьезностью, это обычно нравится присяжным и девушкам. Что касается внешности, то смотри портрет, нарисованный Шефольдом, пока он шел по дороге через Маспельт: худощавый брюнет, черные пряди падают на худое лицо, фиалковые глаза. Может быть, тут действительно не обошлось без того самого испанца из свиты Де Сото, что высадился на остров Сент-Саймонс в 1742 году?

Маспельт и Фарго

Эта здешняя земля не выдерживала никакого сравнения с Югом. Например, дубы и буки здесь сегодня, 12 октября, уже почти голые, в то время как дубы на улицах Саванны еще несут всю тяжесть золотых узорчатых листьев.

Здесь воздух прохладный и crisp[2], там он теплый, мягкий, навевающий сон.

Дым от костров одинаков — и здесь и там.

Недвижимость и Blue Notes[3]

И бедность та же — бедность слишком маленьких крестьянских дворов, только здесь она упрятана в стены из бутового камня, скрыта под шиферными крышами, а там вялится под солнцем или укрылась досками, потрескавшимися, утыканными ржавыми гвоздями, с облупившейся краской.

С давних пор на земле Кимброу стоят хижины Руфуса Мэгвуда и Джо Проктора. (Если бы капитан Кимброу увидел домик Хайнштока возле каменоломни, он бы воскликнул: «Можно подумать, что я пришел к Руфусу!») Электричества в них нет, а воду надо брать из колонки у дороги. Руфусу и Джо теперь тоже около семидесяти, но они и их жены — все еще farm-hands[4] у отца Джона. Джо может доказать, что его предки жили в Бонуа, Берег Слоновой Кости. (Рабы тоже занимаются генеалогией.) Руфус умеет делать из стеблей пальметто, которые приносит с болота, корзины, пользующиеся спросом в Фарго и окрестностях. Это маленький молчаливый седобородый человек в очках, он никогда не снимает войлочной шляпы. Вот чего у них здесь нет, размышляет Кимброу: негров.

«Но это животные! Настоящие животные!» — услышал он как-то восклицание одного из посетителей, который разговаривал с его отцом о неграх.

Когда он ушел, Джон, сидевший возле сеттеров на полу, у печи, заметил: «Па, но ведь ты мне как-то говорил, что когда живешь с собаками, когда узнаешь их как следует, то понимаешь, что они все равно как люди».

Отец, который тем временем уже снова взялся за одну из своих книг, сказал: «Да. Только более порядочные, доброжелательные».

---

[1] Веселый, беспечный, легко сходящийся с людьми *(англ.)*.
[2] Бодрящий *(англ.)*.
[3] Грустные заметки *(англ.)*.
[4] Сельскохозяйственные рабочие *(англ.)*.

Все это перейдет ему по наследству. Если он переживет войну и поселится в Саванне, став чем-то вроде подпольного адвоката, а он как раз и намерен так поступить: снять самое скромное конторское помещение на одной из боковых улочек в районе Броутон-стрит и вести безнадежные уголовные дела,— то на свои заработки он после смерти отца вполне сумеет сохранить ферму. Конечно, он ликвидирует хозяйство, даст хлопковым и табачным полям зарасти, разобьет там нечто вроде сада. Последних сил Руфуса и Джо хватит на то, чтобы посадить деревья, посеять траву. Сам он будет приезжать в Фарго только по воскресным дням и, конечно, долгим, невыносимо жарким летом начнет потихоньку подправлять дом, а может быть, построит новый. Мать не станет возражать против таких перемен: она сыта фермерской жизнью. С сестрой он договорится: она вышла замуж и живет с мужем, владельцем бакалейного магазина, в Колумбусе, штат Огайо. Кимброу всякий раз улыбался, представляя себе, что будет адвокатом с собственным загородным домом, если переживет войну.

Populist movement, Civil war [1]

Из критических, но благожелательных высказываний дяди Бенджамена об отце Джона:

— Твой отец читает и читает без конца — словно стоит в почетном карауле у гроба популистского движения.

— Но что за неудачник был этот Том Уотсон! Когда популизм окончательно провалился на выборах девятьсот восьмого года, он ожесточился и ударился в демагогию. Стал опровергать то, что проповедовал раньше, и писать статьи против Юджина Дебса и социалистов, в которых упрекал их за то, за что когда-то упрекали его. Он занимался подстрекательством против евреев, католиков и даже против негров, другом которых был прежде. Если хочешь, я разыщу тебе соответствующие номера «Уотсонс мэгэзин».

— Не надо, дядя! Скажи мне лучше, как ты все это объясняешь!

— Дебс ответил ему, написал, что мелкобуржуазные бунты, когда их подавляют, неизменно кончаются фашизмом. Мне такое объяснение ничего не говорит. Фашизм — для меня всего лишь слово. Популизм, кстати, тоже — я часто спорил об этом с твоим отцом.

— А ты как считаешь, дядя Бен?

— Я верю в человека. Если человек хороший, то все, что он делает, хорошо, как бы ни называлось то, что он делает. Если человек плохой, все будет плохо, даже если он при этом начнет молоть всякий высокопарный вздор.

— Но в политике всегда побеждают плохие люди.

— Мальчик! — Дядя Бенджамен не мог прийти в себя от изумления, от ужаса.— Ну почему ты такой пессимист?

Сидя у себя на квартире в Маспельте, размышляя о том, как президент Рузвельт намеревался одержать верх над Гитлером, Кимброу иногда задавал себе вопрос, не был ли все же прав дядя Бен, упрекавший его в пессимизме. Президент Рузвельт, хотя и стоял у власти и проводил — на американский лад — широкую международную политику, все же был «хороший» — и, наверное, даже «великий»! — человек; подлость же немецкого фюрера не поддавалась описанию, она была столь безгранична, что его офицеры, люди вроде этого майора Динклаге, вынуждены совершать просто безумные поступки. Правда, имело смысл задуматься: не получится ли в будущем так, что все, что исчезнет вместе с Гитлером, без него возродится вновь, и притом с

[1] Популистское движение, Гражданская война *(англ.)*.

триумфом; впрочем, в данный момент все это — как признался себе Кимброу — лишь бесполезные умозрительные схемы, бесплодные раздумья провинциала. Добро побеждало зло, и климат в мире был вследствие этого оптимистический.

— Твоего отца я знаю с того самого девятьсот восьмого года, и, должен признать, ему, по-видимому, было неприятно говорить о Томе Уотсоне. Я бы даже сказал, что он уже в то время производил впечатление человека сломленного, но, к счастью, вскоре женился на моей сестре, и у них сразу же родилась дочь, а пять лет спустя еще и сын. Но тут как раз он взялся за чтение — только и делал, что читал.

— Он не только читал. Иногда он вместе со мной путешествовал пешком по окрестностям.

У Исаака Кимброу были и другие поводы прерывать чтение «Популизма в Джорджии» Арнетта, «Аграрной революции в Джорджии, 1865—1912» Брука, «Мемуаров» г-жи Фелтон и множества других произведений, посвященных этой эпохе,— например, в те вечера, когда на его porch[1] заглядывал то один, то другой фермер, живший по соседству, или чисто случайно, не сговорившись, сразу несколько.

Юный Джон, которому тогда было лет десять, слушал, как они непрерывно говорили о войне. Не о закончившейся всего шесть лет назад мировой войне, а об отделенной от них более чем шестьюдесятью годами Гражданской войне. Это было просто поразительно.

— После *этой* войны фермеры в твоем Фарго уже не будут рассуждать о Гражданской войне,— сказал майор Уилер, когда Джон однажды описал ему один из таких вечеров на веранде.

Джон готов был бы согласиться с ним,— совершенно ясно, что вторая мировая война в противоположность первой вытравит кое-что из памяти людей на Юге,— если бы майор не привел в подтверждение своих слов аргументы, которые его не устраивали.

— До этой войны мы были просто самой богатой страной в мире,— сказал Унлер,— после нее мы будем самой могущественной. Кроме нас будут еще только русские. Представь себе: мы станем управлять всем миром. Готов заключить с тобой пари, что в этой ситуации любой американский петух добровольно расстанется со своей провинциальной навозной кучей.

— Ко мне это не относится,— сказал Кимброу.— Мне наплевать на американское мировое господство.

— Собственно говоря, мне тоже,— сказал Уилер.— Только нам никуда от этого не деться.

— Америка должна оставаться у себя дома.

— Это было бы прекрасно. Если бы только нам дали такую возможность! Или нам надо было оставаться дома, не обращая внимания на этого Гитлера?

Продолжение: Маспельт, 15 часов

Чертовски сильный аргумент, думал Кимброу, вспоминая этот спор, во всяком случае, куда сильнее, чем та утонченная профессорская болтовня о пограничном вале, который американцы якобы должны воздвигнуть против русских. Теория пограничного вала и вопрос о том, не воображает ли он, Кимброу, будто «мы находимся здесь, чтобы избавить немцев или кого-то другого от этого монстра»,— это потрясающе, шедевр противоречивости, и объяснить такое можно,

[1] Крытое крыльцо *(англ.)*.

только предположив, что Боб хотел помешать ему сделать глупость; это было началом стратегии, закончившейся сегодня тем, что он появился в Маспельте и заявил, что отстранит его временно от командования, если...

Хотя, с другой стороны, как на это посмотреть — ведь он мог бы остаться в Сен-Вите и умыть руки; пусть 3-я рота оказалась бы вовлеченной в невообразимую бойню. (Нет, в бойню, которую можно во всех деталях себе представить!)

Segregation[1]

Когда они вели себя словно орда дикарей, мисс Тиббетт восклицала: «Лучше бы я пошла в школу для нигеров, чем в вашу!» (За это замечание многие белые родители на нее обижались.)

Школа для черных в Фарго была построена черными, как школа для белых — белыми, то есть собственными руками. Она и выглядела так же, как школа для белых — большой деревянный дом с одной-единственной классной комнатой,— только находилась она не в самом Фарго, а на его восточной окраине, внизу, на Суони, где спускались к реке немощеные, желтые от глины улицы Coloured Section[2]: одинаковые безликие дома из горизонтально уложенных досок, с треугольными фронтонами, навесами на тонких опорах, под которыми висело белье и стояли старые кресла-качалки и кадки с алоэ или горшки с геранью. Дети Руфуса Мэгвуда и Джо Проктора — они давно перебрались на Север, оставив родителей на ферме Кимброу,— рассказывали в свое время Джону, что из окон школы видели выдру или большую голубую цаплю, стоявшую в тростниках. Иногда они привирали и утверждали, что видели даже аллигатора, хотя так близко от Фарго аллигаторы не появляются.

Детей Руфуса и Джо, так же как и Джона, забирал по утрам автобус и отвозил в Фарго, только это был другой автобус, не тот, в котором ездил Джон.

Иногда Джон один или с приятелями бродил вдоль Суони, когда черные дети еще были в школе, и слышал доносившиеся оттуда взрывы смеха и крик, которые обратили бы в бегство мисс Тиббетт. Сперва раздавались отдельные возгласы, потом присоединялись другие голоса, словно невидимый хор исполнял речитатив, и вот уже всех охватывала буря веселья. Белые дети на улице не говорят ни слова, даже не качают головой, а светлый ветер дискантов летит над медленно текущей рекою.

Маспельт, 16 часов

Стремясь как-то скоротать время, Джон рассказывал Бобу:

— Вчера получил письмо от дяди. Пишет, что никогда еще не было в Саванне такого бума, как сейчас. Знаешь, город уже несколько лет как захирел из-за подводных лодок, болтавшихся у побережья. Они полностью блокировали порт, и для города это означало конец. Теперь они ушли, пишет дядя, исчезли, от них не осталось и следа, и с тех пор в порту, пишет он, такое оживление, что я и представить себе не могу, там жизнь сейчас в два раза активнее, чем до войны. На дорогах, ведущих к порту, на многие мили стоят грузовики с военными грузами для кораблей, отправляющихся в Европу.

— Они придут слишком поздно,— сказал Уилер.— Когда они явятся сюда, мы уже покончим с jerries.

— Вот как! — сказал Кимброу удивленно, ибо Уилер обычно

[1] Сегрегация *(англ.)*.

[2] Квартала цветных *(англ.)*.

предсказывал, что война будет длиться долго, но сдержался, не стал возражать. Все разговоры Боба сегодня были явно направлены на то, чтобы убедить его, что и с этой точки зрения взятие в плен немецкого батальона не столь уж важно. Если с jerries можно управиться в мгновение ока, то предложение Динклаге лучше всего положить в ящик, но не слишком долгий ящик.

— А еще,— продолжал Кимброу, меняя тему беседы,— дядя пишет: жаль, что я не могу видеть, как новый губернатор Джорджии наводит у них порядок. Дело в том, что у нас с прошлого года новый губернатор — Арналл, ему всего тридцать семь лет, это самый молодой губернатор в Штатах, и если то, что пишет дядя, правда, то значит, подул свежий ветер. Заключенных нельзя больше избивать, и Милледжвилльская тюрьма — это позорище — закрыта. Подкупы прекратились — при Юджине Толмейдже можно было купить и продать помилование для преступника, пойманного на месте преступления. Попытки управлять школами и университетами тоже остались в прошлом. Толмейдж — об этом ты, наверное, слышал даже в Блумингтоне! — увольнял и назначал ректоров университетов как хотел. Теперь Джорджия большую часть бюджета тратит на образоваиие.

— Ты жалеешь, что слишком рано пошел в армию?

Было бессмысленно снова объяснять ему (в который раз!), что он пошел добровольцем не из-за состояния дел в Джорджии. Правда, никому, даже самому себе, он не мог бы точно объяснить, почему не дождался призыва.

Уклонившись от прямого ответа, он сказал:

— Я не верю в большие перемены. Арналла выбрали, чтобы он провел несколько реформ, которые уже были просто необходимы, а потом все пойдет, как и раньше.

— Вот это — огромная твоя ошибка,— сказал Уилер.— Жизнь иногда развивается так, что вернуть старое уже просто невозможно.

И все же сегодня он как собеседник был не в форме, даже не воспользовался возможностью — от которой в аналогичных обстоятельствах никогда не отказывался — вытянуть ниточку интересующей его темы до конца, затеять большую дискуссию о демократии в Америке, пространно изложить свои соображения о взаимовлиянии прогрессивного и консервативного мышления.

Вместо этого Уилер посмотрел на часы и сказал:

— Шефольд должен скоро вернуться.

Маспельт, 17 часов

Он посмотрел в окно, на луговой склон, за которым ничего не было видно и который теперь, в сумерках, был погружен в тень. Майор Уилер полчаса назад вышел на улицу — «Надо немного размять ноги»,— сказал он,— и теперь вернулся, сел, закурил сигарету.

— Ну-с,— сказал он,— доктор Шефольд заставляет себя ждать.

— Не могу понять, в чем дело,— сказал Джон.

— Ты должен учитывать, что оба господина могли заболтаться,— заметил Уилер.— У них есть что сказать друг другу, у этого немецкого эмигранта и этого немецкого офицера, который хотел бы сбежать от своего высшего военачальника. По-моему, они могут проговорить много часов подряд.

— Но это должно означать, что майор Динклаге отказался от своей идеи,— сказал Джон и недоверчиво покачал головой.— Если же он

не отказался, если в его календаре что-то значится на эту ночь, то он должен был бы известить меня как можно скорее.

— Это ты так говоришь! А он наверняка раздумал. Готов держать пари на пятьдесят долларов, Джон, он давно понял, что его операция не состоится.

— Принимаю пари,— сказал Джон.— Зачем бы он стал требовать к себе Шефольда, если он отказался от своих намерений?

Уилер выпустил дым от сигареты прямо перед собой.

— Просто так,— сказал он.— Вплоть до прихода Шефольда он мог проигрывать свой план сколько угодно.

— Но зачем ему это? — спросил Джон.— Подвергать человека опасности просто так, без всякого смысла?

— Не знаю.— Какое-то время Уилер рассматривал стену за спиной Джона Кимброу, чисто выбеленную стену комнаты в Маспельте, на которой, кроме списка 3-й роты, ничего не висело.— Я полагаю, это его способ распрощаться с нами. Он хочет нас устыдить. Заставив прийти Шефольда, он говорит нам: «Видите, я этого хотел. В самом деле хотел. А на сем — адье!»

— Проклятье! — сказал Джон.— А ведь это было бы большое дело. Может быть, самое большое за всю войну.

— Какой смысл размышлять о невозможном? — сказал Уилер.— Ты же мне только что сам доказал, что из этого ничего бы не вышло.

— Да, но только потому, что полк не желает участвовать. Вот если бы иметь перевес сил.

Уилер не дал ему договорить.

— Нет,— сказал он,— даже если бы мы имели численный перевес, нет никакой гарантии, что дело не дошло бы до кровопролития. А если погибнет хоть один солдат, один из наших или из немцев, то майору Динклаге останется только пустить себе пулю в лоб. Это он знает абсолютно точно, и ты, Ким, это знаешь тоже.— Он подумал, потом заговорил снова: — Армия могла бы пойти и на потери, если бы решилась осуществить крупную операцию. Препятствие не в этом. Но майор Динклаге не может нести потери. Этим я не хочу, конечно, сказать, что армия действует так от великой мудрости, заботясь — как бы это точнее выразить — еще и о совести немецкого офицера. У армии, разумеется, совсем другие причины отказываться от предложения господина Динклаге. А может быть, у нее нет никаких причин; может быть, ее это предложение просто не устраивает. Армии отличаются невероятной тупостью.

Он слишком долго держал в руке зажженную сигарету и погасил ее, только когда она начала жечь ему пальцы.

— Пожалуй, армия, которая не отличается тупостью, это вовсе и не армия,— сказал он.

— Я беспокоюсь за Шефольда, Боб,— сказал Джон.

«Значит, он меня вообще не слушал»,— подумал Уилер.

— Так тебе и надо,— сказал он.— Ты ни в коем случае не должен был допускать, чтобы он пошел.— И чтобы успокоить Джона, добавил: — Скоро, конечно, выяснится, где застрял Шефольд. Что касается его безопасности, то мы, надеюсь, можем положиться на майора Динклаге.

— Нет, я все же не принимаю твоего пари,— сказал Джон.— Скоро уже половина шестого. Если Шефольд возвращается так поздно, значит, ничего не будет.

— С тобой только и заключать пари,— сказал Уилер.— Сперва принимаешь, потом отказываешься. Но поскольку я от природы чело-

век честный, не стану возражать. У тебя все равно нет ни малейшего шанса выиграть. Это с самого начала был пустой номер.

— Но тогда я не понимаю, зачем он вызвал к себе Шефольда! — воскликнул Джон.— Махнуть на нас рукой, устыдить нас, как ты сказал,— о'кей, но из-за этого не ставят на карту жизнь человека! Я просто не понимаю, Боб!

«Динклаге потребовал, чтобы Шефольд пришел к нему, а ты не помешал Шефольду пойти, потому что представления о чести у прусских офицеров и американцев из южных штатов весьма схожи»,— подумал майор Уилер. Но эту свою мысль он не выразил вслух, а сказал только:

— Ему наверняка не пришло в голову, что он ставит под угрозу жизнь Шефольда. Этот господин привык к тому, что на подчиненной ему территории все происходит так, как он приказал.

«This gentleman» [1],— он произнес это уже вторично, не подозревая, что переходит на тот же тон, каким Венцель Хайнштоk, желая охарактеризовать Динклаге, говорил Кэте Ленк: «Этот господин».

Поскольку склон за окном погрузился уже в сплошной мрак, Джон Кимброу включил настольную лампу и опустил черную бумагу, скрученную рулоном над окном.

Постучав в дверь, Фостер чуть приоткрыл ее, просунул голову и спросил, не желают ли майор и капитан кофе, как раз есть свежий. Они ответили утвердительно, и через минуту он вошел и, поставив перед ними чашки, налил из эмалированного кофейника кофе с молоком.

— Вообще-то я с большей охотой выпил бы черного,— сказал с усмешкой Уилер, но лишь после того, как Фостер вышел; тем самым он дал понять Джону, что отнюдь не настаивает на черном кофе, а просто хочет поиронизировать по поводу мягкости царящих в 3-й роте кофейных нравов.

— Они вечно насыпают в кофейник гору порошка,— сказал Джон.— Так что с молоком полезнее.

— Особенно для пожилых господ из штаба полка, ты хочешь сказать, так ведь? Господ, которые и без того склонны беспричинно волноваться из-за молодых офицеров?

— От подобных мыслей я далек,— сказал Джон.— Как ты знаешь, я восхищаюсь невозмутимым спокойствием и мудростью высших штабов.

Они подшучивали друг над другом, но мирно, лениво; потом они вовсе перестали разговаривать и только прислушивались к звукам: треск разрываемого бумажного пакетика с сахаром, звяканье кофейной ложечки, щелканье зажигалки, которую Джон поднес к сигарете майора и своей собственной, невнятный звук голосов и стук пишущей машинки, доносившиеся из канцелярии.

«Состояние тревоги имеет свои преимущества,— подумал Джон.— Если бы все шло как обычно, мне сейчас полагалось бы находиться на улице, на вечерней поверке». И еще думал: «При других обстоятельствах мог бы получиться уютный вечер. Уютно посидеть за чашкой кофе на этой уютной войне».

Майор Уилер выпрямился в своем кресле.

— Сколько времени надо Шефольду,— спросил он,— чтобы дойти от Винтерспельта до нас, следуя указанным путем?

Этот вопрос напомнил Джону вчерашнее утреннее посещение

[1] Этот джентльмен *(англ.)*.

Хеммереса. Они еще прикинули с Шефольдом, сколько продлится его поход.

«Обратный путь не займет много времени,— сказал тогда Шефольд.— Дорогу я знаю и к тому же буду спешить. Я полагаю, что на обратный путь мне понадобится не более часа. Так что если я выйду от Динклаге между часом и двумя, то смогу быть в Маспельте не позже трех».

Они сидели на скамейке возле хутора и говорили о посреднической миссии Шефольда, как о воскресной прогулке. Джон Кимброу еще сказал:

«Пожалуй, будет хорошо, если вы пойдете. Вам надо лично уговорить его не подгонять нас, дать нам срок».

Правда, после этих слов произошла какая-то заминка в разговоре, и Джон не решался взглянуть на Шефольда. Вместо этого, словно не замечая обоих своих солдат, стоявших на страже, он принялся рассматривать деревья в долине и представлял себе, как эти стволы прикрывают крупного полного человека, сумасбродно разгуливающего по Германии.

«Было бы мне легче,— спросил он себя,— если бы Шефольд вчера утром отказался идти к Динклаге, а не начал после короткой паузы, даже не выказав колебаний или сомнений, обсуждать технические детали своего похода?»

— Максимум два часа,— сказал он Уилеру.— Да и то если он будет брести не спеша, а он едва ли так пойдет. Он ведь знает, что важны каждые пятнадцать минут.

— То есть могут быть важны, ты хочешь сказать,— поправил его Уилер.— Не забывай, что я здесь и потому никакой важности все это уже не имеет!

У Джона так и вертелось на языке: «Ах да, Боб Уилер, великий предотвратитель!», но он вовремя удержался: в конце концов Боб ведь его начальник, находится он здесь со служебным заданием, пусть даже он дал это задание себе сам, руководствуясь высокой порядочностью, это Джон должен признать, ибо Боб мог ведь остаться в Сен-Вите и умыть руки.

Еще одно соображение удержало его от спора с Бобом по принципиальным вопросам.

— Может быть, Шефольд задержался из-за того,— сказал он,— что решил собрать на хуторе свои вещи, прежде чем прийти к нам.

Уилер посмотрел на него.

— Гм,— сказал он.

— Наверняка,— сказал Джон и повторил — уже увереннее: — Наверняка.— Хотя мысль о том, что Шефольд должен покинуть хутор, возникла у него лишь тогда, когда он ее высказал.

Его охватило беспокойство.

— Если Динкледж,— от волнения он снова произнес это имя на английский лад,— решил махнуть на нас рукой, как ты говоришь, он безусловно задраит переборки. Как офицер, он не может допустить, чтобы на его участке фронта оставалось незащищенное место. Он прикажет сегодня же ночью занять Хеммерес. И у него наверняка хватит порядочности предупредить Шефольда, чтобы тот своевременно убрался, как ты думаешь?

— Можешь быть уверен,— сказал майор Уилер.

Джон сидел на самом краешке стула. Упершись локтями в стол, он крепко стиснул ладони.

— Господи, как же я не подумал об этом,— сказал он.— Надо дать соответствующие инструкции часовым. Надо послать двух разведчиков вниз, чтобы они с близкого расстояния наблюдали, следили, не появятся ли jerries. И, конечно, как только появятся, я прикажу взять хутор под минометный огонь. Пусть немцы не думают, что им удастся удобно расположиться в Хеммересе.

— Я надеюсь, ты этого не сделаешь, не запросив штаб батальона,— сказал Уилер.

Джон поглядел на него с яростью.

— А существуют, вообще говоря, решения,— спросил он,— которые командир роты может принять самостоятельно?

— Не валяй дурака, приятель! — сказал Уилер.— Как будто ты не выучил все, что положено, в первые же четыре недели в Форт-Беннинге! Бывают ситуации, когда у офицера есть возможность принимать решения самостоятельно,— добавил он и процитировал: — «Если командир со своим подразделением оказывается в ходе боевых действий полностью отрезан от следующей более высокой командной инстанции...»

— То есть иными словами: никогда! — воскликнул Джон.

И, заметив изумленный, даже ошеломленный взгляд Боба, смутился.

— Ты еще удивишься,— сказал Уилер.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать,— медленно проговорил Уилер,— что через пару недель здесь у нас начнется величайшее свинство за всю эту войну.

Джон соображал быстро и решил не перечить гостю. Если офицер разведки, обладающий такими способностями, как Боб, говорит такое, значит, у него есть основания.

Он воскликнул: «Whow!»[1] и напустил на себя недоверчивый вид, чтобы заставить Боба разговориться.

— Немцы стягивают в районе западнее Среднего Рейна несколько армейских корпусов,— сказал Уилер.— У меня есть достаточно тому доказательств. Они совпадают с тем материалом, который имеется во всех полках, и с результатами воздушной разведки.

— Ну и что? — спросил Джон.— Что говорят по этому поводу наверху?

— Ничего,— сказал Боб.— Никаких комментариев.

— Но ты же не думаешь, что они будут спокойно смотреть, как несколько армейских корпусов двинутся на нас?

— Не имею ни малейшего представления,— сказал Уилер.

Они принялись обсуждать вопрос с профессиональной точки зрения. Возможно, три жалкие дивизии, стоявшие между Моншау и Эхтернахом, будут своевременно отведены с позиций. Тогда немцы влетят в брешь между левым флангом Паттона и правым Ходжеса и будут взяты в клещи. Возможно также, что с юга двинутся американцы, а с севера англичане и выйдут к исходным рубежам немцев, тем самым обезвредив бомбу, чтобы она уже не могла взорваться.

— Все это теория,— сказал Уилер.— У меня такое впечатление, что Брэдли просто сидит себе и выжидает.

— А нас хочет бессмысленно загубить? — возмущенно спросил Джон.

Уилер пожал плечами.

— Может быть, он надеется, что несколько дней мы сможем продержаться,— сказал он.

---

[1] Ого! *(англ.)*.

— Shit! [1] — сказал Джон.

После чего оба погрузились в раздумье, и в комнате, слабо освещенной настольной лампой, воцарилась тишина.

— Когда все кончится, станут говорить, что не сработала разведка,— сказал майор.— Вижу перед собой фолианты, в которых будет доказываться, что армия была застигнута врасплох масштабами и мощью немецкого удара. Brass-hats [2] начнут давать интервью, в которых будут валить всю вину на нас, разведчиков.

Я тебе расскажу один секрет,— заговорил он снова.— В полку получена инструкция, которая лишь потому еще не передана в штаб фронта, что у полковника Р. начался припадок бешенства, когда он ее прочитал. Там говорится, что фронт должен вести себя так, чтобы и спящая собака не проснулась. Дословно!

— Whow! — снова сказал Джон, на сей раз не недоверчиво, а просто озадаченно. Потом он вдруг ухмыльнулся. Он представил себе армию, которая ходит на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей.

— Вот причина, по которой тебе не разрешат обстрелять Хеммерес из минометов,— сказал Уилер.— И я полагаю также, что это одна из причин, почему армия хранит молчание по поводу предложения Динклаге. Динклаге предлагает ей кусок пирога в тот момент, когда она — ну, никак — не хочет этот пирог есть.

— А Шефольд тоже подтверждал твои сведения о концентрации немецких войск? — спросил Джон.

— Ах, этот,— сказал Уилер и махнул рукой,— он и понятия о таких вещах не имеет. Да ведь там, где он бывает, еще ничего не происходит. Вся эта местность за немецкой линией фронта входит в район, где будут разворачиваться отвлекающие действия и который будет занят в последний момент. Мы даже знаем кодовое название немецкой операции. Она называется «Вахта на Рейне». Тем самым они хотят нам внушить, что готовятся всего лишь к защите Рейна. И я уже встречал в штабе людей, которые в это верят.— Он осекся, потом добавил: — Ну да, если учесть, что, вероятно, даже майор Динклаге ничего не знает о том, какие силы скапливаются у него за спиной...

Кстати, вопрос Джона Кимброу напомнил Уилеру, что все то время, пока он командовал разведкой 424-го полка, он отказывался от мысли включить хутор Хеммерес в число пунктов, служивших для заброски агентов за немецкую линию. А почему? Только из-за Шефольда, который, вообще-то говоря, не был агентом, а был всего лишь поставщиком информации о настроениях, скорее всего неверной, так как Шефольд сообщал лишь о том, что крестьяне и солдаты, с которыми он разговаривал, считают войну проигранной, и ничего больше. Если верить Шефольду, то немцы — самый разумный, самый смирный народ в мире. Как у них мог появиться Гитлер, оставалось загадкой.

Сейчас, дожидаясь Шефольда, Уилер корил себя. Надо было использовать хутор Хеммерес с большей пользой!

Даже для самого Шефольда было бы лучше, если бы он, Уилер, вежливо, но настоятельно попросил его исчезнуть из Хеммереса. «Марш-марш назад, в Бельгию, доктор Шефольд! Вы нам здесь не нужны! Здесь не место для искусствоведов, немецких романтиков, фантазеров!» Да, так было бы лучше. Вместо этого — сегодняшняя неразбериха, которая не кончится, пока Шефольд бродит где-то там, в сумерках, в начинающейся ночи, между линиями обороны!

[1] Дерьмо! *(англ.)*

[2] Высшие чины *(англ.)*.

Теперь им оставалось только изобретать теории, которые объясняли бы его отсутствие.

— Если с ним что-то случилось,— сказал Джон,— то наверняка в самом начале. Когда он появился у немецких окопов. За все остальное, по-моему, майор Динклаге мог бы ручаться головой, но только не за этот момент. Если немецкий часовой начал палить...

Он не договорил фразу до конца, вспомнив нескольких солдат 3-й роты, известных своей неизлечимой страстью к пальбе из автомата. (Мысленно он выразил это словом «trigger-happy» [1].)

Он сказал себе также, что не майора Динклаге, а его самого можно считать человеком, несущим ответственность за риск, которому подвергся Шефольд.

«Ни в коем случае,— подумал он,— я не имел права посылать его с такой миссией, когда мог возникнуть хоть один рискованный момент, за исход которого я не поручился бы головой. Я лишь предостерег его. Этого было мало».

— Можно у тебя на передовой услышать, если у немцев стреляют?— спросил Уилер.

— Исключено,— сказал Джон.— Они находятся не на высоте над Уром, как мы, а за высотой, и склон перед ними наверняка поглощает звуки. Я еще никогда не слышал ни одного звука оттуда.

Он подумал о том, сколько часов провел на высотах, расположенных над Уром, глядя в бинокль на восток, рассматривая убранные поля, лесистые участки, пустынные склоны, дома из бутового камня. При этом ему не только не удалось разглядеть позиции или засечь хоть какое-то движение, он ни разу не слышал ни выстрела, ни грохота колес, ни лязга танковых гусениц. Война была не только безлюдной, но и немой, и он одобрял холодное молчание этого пустынного пространства.

Позднее — благодаря рассказам Шефольда, который черпал свои сведения от Хайнштока,— он понял, что эта пустота, это молчание отнюдь не являются необъяснимой особенностью таинственной войны, а, видимо, следствием того, что майор Динклаге оказался таким специалистом по маскировке: это-то и определяло обстановку у противника 3-й роты.

— Может, нам все-таки выйти на передовую и расспросить часовых? — предложил Уилер. И как бы в оправдание себе добавил: — Любой разведчик — от природы Фома неверующий.

Джон кивнул. Он все равно уже не мог больше сидеть в этой комнате. Он посмотрел на часы и сказал:

— Люди, которые сегодня в полдень дежурили на участке над Хеммересом, потом отдыхали до четырех. Сейчас они снова в своих окопах там, наверху.

Они встали, надели куртки и пилотки.

В канцелярии майор Уилер остановился, повернулся к Джону и сказал:

— Я думаю, тревогу ты можешь отменить.

— Вы слышали? — сказал капитан Кимброу старшему сержанту.— Тревога отменяется!

— Да, сэр,— сказал старший сержант.— Я передам приказ взводам.

---

[1] Готовый стрелять не думая *(англ.)*.

— Я продолжаю считать, что майор и Шефольд просто заболтались,— сказал Уилер, когда они вышли на деревенскую улицу.

— Не думаю,— сказал Джон.— Сколько же можно.

Голоса их глухо звучали в темноте, сквозь которую еще пробивался последний свет, в пустынной тиши деревенской улицы, где пока не было людей: приказ об отмене тревоги еще не дошел до взводов.

— Есть у меня одно странное подозрение,— сказал Уилер.— Я готов допустить, что Шефольд решил остаться на той стороне. Он ведь безумно хочет домой. И вот он попадает к такому типу, как Динклаге. Это могло полностью изменить его планы.

Джон не ответил, да Уилер и не ждал, что Джон что-нибудь скажет.

— Два немецких патриота! — воскликнул он.— И оба брошены нами на произвол судьбы. Да,— сказал он, понижая голос,— Шефольд ведь тоже не мог не сказать себе, что мы, спокойно пожимая плечами, смотрим, как он идет к Динклаге; и еще он мог сообразить, что мы отправим его обратно в Бельгию, когда он выполнит задание — которое даже не было нашим заданием,— и тем самым для него снова начнутся эмигрантские мытарства. Не очень-то роскошная перспектива, учитывая характер Шефольда и обстоятельства его жизни.

— Остаться на той стороне? — переспросил Джон.— Как ты себе это представляешь практически? У него нет документов.

— Во-первых, у него есть документы,— сказал Уилер.— И даже вполне пригодные, я их видел. Во-вторых, он входит в исправно функционирующую немецкую группу сопротивления. Этот коммунист, например, о котором он нам все время рассказывал и который вовлек его в эту историю с Динклаге, мог бы наверняка без особых трудностей спрятать его. А если еще и майор сказал ему: «Оставайтесь! Я возьму вас под свое крылышко...»

— Шефольд, конечно, немного сумасшедший,— сказал Джон.— Но не до такой степени.

Он вспомнил, как расспрашивал Шефольда о Динклаге в прошлую субботу, когда этот грузный человек принес известие о плане майора. Как он был явно разочарован, что я от восторга не прыгаю до потолка, подумал Джон. И как взволнованно защищал Динклаге, когда я назвал майора (только в юридическом смысле, хотя этого он вообще не понял!) преступником. «Динклаге — образованный немецкий бюргер,— сказал он тогда. И добавил: — Такой же, как я, если хотите». Все это говорит в пользу предположения Боба о глубоком внутреннем понимании между этими двумя немцами, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Против этого говорит, собственно, лишь то, что доктор молчал с недовольным видом, когда я спрашивал, что́ заставляет майора так поступать. У него не только не было объяснения на этот счет, но он и не хотел искать объяснения, это было очевидно.

— Тут дело не в сумасшествии,— сказал Уилер,— а в национальном чувстве.

Он сказал: «Feeling for one's country» [1].

«Предположим,— подумал Джон,— я эмигрировал бы из Америки из-за американского Гитлера,— при мысли об этом у него перехватило дыхание,— тогда я бы, наверное, тоже не устоял, если бы кто-нибудь дал мне возможность вернуться в Саванну, в Фарго, на старый добрый Окефеноки».

— У меня нет чувства родины,— сказал он.— У меня есть только чувство родных мест.

[1] Чувство родины *(англ.)*.

Уилер испытывал соблазн прочесть ему лекцию о понятии «родина», защитить известный тезис, что не бывает национального чувства без чувства любви к родине, что чувство родины — всего лишь первый шаг на пути к национальному чувству, и так далее, но вдруг раздумал. В данном случае этого известного тезиса оказывалось недостаточно. Хотя молодой офицер, привлекший его внимание еще в начале военного похода, любил свое болото там, на юге (которое, во всяком случае, было американским болотом), он тем не менее ни за что не давал уговорить себя, что из-за этого любит и всю Америку. Америка казалась ему слишком большой, чтобы ее можно было любить.

«Значит ли это,— спрашивал себя Уилер,— что чувство любви к родине может стоять на пути формирования национального чувства?» Парадоксальная мысль, совершенно не исследованная гуманитарными науками, насколько он знал, и, быть может, потому достойная проверки.

С высоты они видели и слышали битву на севере, огни, кружившие в уже ночном небе, отдаленный грохот артиллерийских залпов. Битва на севере не затихала и с наступлением темноты. Иногда она засыпала днем, чтобы к вечеру разразиться с новой силой.

Окопы находились под силуэтами деревьев. Краски уже исчезли, остались только различные оттенки темноты — от абсолютной черноты листьев и серого цвета касок до бледных лиц солдат, обернувшихся к ним из окопов на звук приближающихся шагов.

Они выяснили, что сегодня в полдень никто ничего не слышал, даже отдаленного эха выстрела.

Они прошли еще несколько шагов — до того места, где сквозь призрачное переплетение, днем представлявшее собой лещину, можно было видеть внизу в долине хутор Хеммерес, словно неясно фосфоресцирующий кусок гнилушки.

Солдатам, стоявшим в окопах по обе стороны дороги, поднимавшейся вверх от Хеммереса, Джон сказал:

— Сегодня будьте особенно внимательны! Я жду доктора, который должен появиться еще сегодня вечером. Передайте это тем, кто вас сменит!

Он мог не сомневаться, что они знают, кого он имеет в виду. Доктор был для солдат 3-й роты знакомой фигурой.

Джон подумал: если бы операция состоялась, было бы очень удачно, что ночь наступает такая темная. Луна узеньким серпом виднелась на востоке; в одну из ближайших ночей наступит полнолуние.

На обратном пути он снова погрузился в воспоминания о своем разговоре с Шефольдом в прошлую субботу. Тогда он еще не сознавал, что взялся вести дело — дело Динклаге. Это он понял лишь спустя какое-то время, хотя и довольно скоро — не позднее, чем на лекции у полковника Р.

Но сейчас, похоже, речь шла уже не о деле Динклаге, а о деле Шефольда, и если еще можно было сомневаться в том, действительно ли он взялся за дело Динклаге, то уже не могло быть никакого сомнения относительно того, что дело Шефольда так и останется за ним. Конечно, не он один виноват в том, что теперь появилось еще и дело Шефольда. Но его не утешало то, что другие — прежде всего майор Динклаге, потом этот коммунист, а также женщина, которая была посредницей между майором и коммунистом,— столь же ответ-

ственны за переход Шефольда через линию фронта, как и он, Джон Кимброу. В конце концов хватило бы одного его слова, чтобы предотвратить этот поход, из которого доктор, судя по всему, не вернется.

Пока еще он отгонял от себя предположение, которое — в худшем случае, то есть если Шефольд не вернется,— напрашивалось само собой, но зато он вдруг осознал различие между делом Динклаге и делом Шефольда. В деле Динклаге он мог только представлять, защищать его интересы как адвокат (не имеющий законного разрешения) перед высшими инстанциями, в то время как в процессе по делу Шефольда он принадлежал к обвиняемым, и ему самому надо было подыскивать себе хорошего адвоката, который мог бы вытащить его, если начнется суд.

Маспельт, 19 часов

— Позвони мне, если он все же придет! — сказал майор Уилер.

Он уже не вернулся в канцелярию, а подошел к своему джипу и сел за руль.

На деревенской улице теперь снова группами стояли солдаты, в темноте были видны их силуэты, слышались негромкие возгласы, смех — возня молодых парней (некоторые солдаты из Монтаны были очень молоды).

— Завтра я попытаюсь выяснить, что произошло,— сказал Уилер.— У меня есть для этого кое-какие возможности.

Они кивнули друг другу. Он завел свой джип и уехал. Джон смотрел на красный свет заднего фонаря, пока тот не скрылся из виду.

Ему ничего не оставалось, как продолжать ждать. Операция Динклаге провалилась, но еще оставалась надежда, что Шефольд все же вернется.

Поздно ночью

(он привез Кэте Ленк в Сен-Вит, передал ее майору Уилеру и вернулся в Маспельт), прежде чем отправиться на ночлег, он остановился возле группы солдат, послушал, как один из них запел «John Brown's Body» [1].

Документы, сновидения, примечания касательно предательства майора Динклаге

Документ I

Вымышленный

Письмо д-ра Бруно Шефольда Венцелю Хайнштоку. Оно не было написано. Шефольд не имел возможности написать его.

Но мы попробуем дать ему такую возможность. Представим себе, например: к вечеру 12 октября Шефольд добрался до Маспельта. По дороге он еще раз зашел в Хеммерес, сложил свои вещи в сумку, попрощался с хозяевами. Переходя через темный Ур по мостику, доски которого по обыкновению приветливо потрескивали, он обернулся, взглянул на хутор, решил, что после войны когда-нибудь вернется сюда посмотреть, что стало с обоими чисто побеленными домиками, лужайками, мужчиной, женщиной, ребенком.

[1] «Тело Джона Брауна» *(англ.)*.

В Маспельте он встретил не только Кимброу, но и майора Уилера. Он рассказал обоим офицерам о своем визите к Динклаге, передал Кимброу адресованное ему письмо. После этого он попросил разрешения написать письмо Хайнштоку, и Кимброу предоставил ему для этого стол в канцелярии, которая — в противоположность тому, что написано в предыдущей главе,— не была забита людьми; там в это время сидел один лишь ефрейтор Фостер и молча составлял расчеты на денежное довольствие. Майор Уилер пообещал передать Хайнштоку письмо через одного из своих stragglers.

Когда Шефольд на какой-то миг переставал писать, он слышал приглушенные, невнятно звучавшие голоса обоих офицеров, которые беседовали в соседней комнате о письме Динклаге.

Что касается стиля, каким писал Шефольд, тут мы вынуждены гадать. Стиль этот, несомненно, вытекает из сущности Бруно Шефольда, который был доктором философии (диссертация на тему «Глубина и плоскость у Геркулеса Зегерса» защищена в 1927 г. у Вёльфлина), историком искусства, поклонником Стендаля, образованным немецким бюргером, немецким эмигрантом, крупным человеком с плавными движениями и беззаботным нравом, обладателем английских усов. Добавим к этому, что он рано поседел, был голубоглаз и весьма непрактичен. Такой человек, если ему надо написать важное письмо, во всяком случае не будет спешить. Дадим же ему это фиктивное время, вечером 12 октября, в канцелярии 3-й роты одного из батальонов 3-го полка 106 й американской пехотной дивизии. Ведь он в этот день пережил немало.

«Маспельт (Бельгия),
вечером 12 октября 1944 г.

Дорогой г-н Хайнштоk,

я очень надеюсь, что посыльный, который передаст Вам это письмо, будет в большей мере, чем я, держаться незаметно, в тени. Только с сегодняшнего утра, с того момента как я встретился со страхом, я знаю, что мое беспечное появление у Вас, среди бела дня и без всяких мер предосторожности, навлекало на Вас опасность. За это я теперь, с опозданием, прошу у Вас прощения. Г-на майора Уилера я настоятельно просил внушить straggler, которого он пошлет с моим письмом, чтобы тот явился к Вам под покровом ночи. Я представляю себе, как этот человек в одну из ближайших ночей постучит к Вам в дверь — уверен, что Вы справитесь с внезапным испугом, услышав ночью стук,— как подойдете к двери, как молчаливый незнакомец протянет вам письмо и тут же снова растворится в темноте.

Я не могу не передать последнего донесения Вам, по праву сомневавшемуся и предостерегавшему нас,— spiritus rector[1] нашего заговора! Вы не просто имеете право на то, чтобы я рассказал Вам, как прошел мой визит к г-ну майору Динклаге,— это представляется мне обязательным итогом тех совместных усилий, которые связали Вас и меня. Я надеюсь, Вы не обидитесь, если я буду рассматривать как своего адресата и оставшуюся мне, к сожалению, неизвестной даму. В результате весьма фрагментарного, конечно, изучения личности Динклаге у меня создалось впечатление, что даже ей удастся узнать о нем лишь очень немногое, да и то не до конца,— это, так сказать, наброски, сделанные тайнописью, которую она не сможет расшифровать, если не является психологом высшего класса. Впрочем, кто знает, может быть, она как раз такой психолог?

[1] Духовному главе *(лат.)*.

Я не психолог, не интерпретатор человеческого характера; для меня г-н Динклаге остался загадкой.

В том, что мною овладел ужас, от которого я уже не мог избавиться до самого конца, он, кстати, не виноват. Помните, я однажды сказал Вам, что готов сделать все, только к одному не готов: к тому, чтобы попасть в руки нацистских солдат? Это было, когда Вы сообщили мне о желании — что я говорю? о приказе! — Динклаге, чтобы я пришел к нему через линию фронта. Так вот, там, наверху, на склоне одной из высот над Уром, я попал в руки человека, для которого, как мне кажется, даже определение *«нацистский солдат»* недостаточно,— не уверен, применимо ли оно вообще к нему. Я не заметил в нем никаких признаков политического фанатизма, зато обнаружил нечто другое — глубоко укоренившуюся способность вызывать страх. Террор как человеческое свойство — Вам это наверняка знакомо! Но я за всю свою жизнь еще не встречал человека, который вот так, с первого же мгновенья, внушал бы столь сильный ужас. Единственное, что мне оставалось,— сказать себе, что ведь я добровольно отправился на поиски страха.

Поскольку Динклаге распорядился в своей приемной, чтобы этот человек сопровождал меня и обратно, наш разговор начался с того, что я, прежде чем мы сели, настойчиво попросил его дать мне на обратный путь другого провожатого. Он, конечно, сразу понял, в чем дело, стал задавать вопросы, я отвечал. Но я совершил ошибку: не сумел заставить себя рассказать ему, что подвергся физическим издевательствам. Вам, человеку, который долгие годы провел в концлагере, я могу без стыда признаться, что это низкорослое чудовище ударило меня сапогом в зад — так сильно, что я упал. Вам покажется непостижимым, что я утаил от Динклаге доказательство недостойности этого субъекта, умолчав, до какой степени он унизил меня. Я просто не мог. Разумеется, я промолчал не потому, что хотел пощадить этого парня. Какое-то время я думал, что веду себя тактично, более чем тактично, оставляя майора Динклаге в неведении относительно поведения одного из его людей — по всей вероятности, ему было бы неприятно узнать, каким с самого начала оказалось то, чего он от меня потребовал. Несколько позднее — Вы, очевидно, понимаете, что обо всем этом я размышлял, уже разговаривая с майором совсем о другом,— я подумал, что, возможно, не хотел выставлять себя в неблаговидном свете. Пожалуйста, поймите, я стыдился сказать об этом пинке! Ведь мне пришлось его стерпеть! И этот стыд, в начале разговора еще очень неосознанный, мешал мне признаться майору, что меня доставили к нему, так сказать, с помощью пинка.

Наконец,—извините за столь пространное описание этой истории, но мне надо с ней покончить, чтобы перейти к делу! — итак, наконец, я понял, что был во всех отношениях прав, не упомянув о случившемся. Рассказ об этом сразу же внес бы диссонанс в нашу встречу. Вы знаете, как это бывает, когда в беседу, которая должна пройти в дружеском тоне, с некоторым подъемом, вдруг врывается тривиальнейшая реальность. Какое это оказывает парализующее действие, какая возникает подавленность! Как сковывает ум необходимость заниматься мелкими конкретными вопросами вместо того, чтобы... ах, конечно же, я вижу ироническое выражение в Ваших глазах, покачивание головой, с каким человек, принадлежащий к пролетариям, следит за беседой двух бюргеров, которым реальность представляется пошлой, а конкретные вопросы — мелкими! (Но можно ли назвать Динклаге и меня бюргерами, если верно, что бюргеры — бюргеры, и никто другой — мыслят реалистически? Этому меня научила моя специальность, и я убежден, что это и в самом деле так.)

Конечно, Вы правы. Я совершил ошибку, умолчав о пинке. Поскольку, кроме этой, у меня не было особых причин жаловаться, поскольку я не был в состоянии описать тот ужас, который исходил от этого отвратительного создания, жалоба моя выглядела весьма неубедительно. Я видел, что Динклаге, будучи человеком вежливым, не хочет показывать, что сомневается в моих словах. Он объяснил потом, что этот человек что-то такое натворил и поэтому лучше, чтобы он сопровождал меня, ибо — по праву — может надеяться, что с ним обойдутся не так сурово, если он безупречно выполнит задание командира. Я попытался выяснить, в чем проштрафился этот парень, но Динклаге отказался отвечать; когда же я продолжал настаивать, он сказал только, что провинность его не военная и не политическая. «Ага, значит, уголовная»,— сказал я, ибо как раз этого от него и можно было ожидать. «Нет, и не это,— возразил Динклаге.— Я не мог бы доверить вас преступнику!» Я не знал, что и думать. Но так или иначе, этот жуткий тип будет сопровождать меня в обратный путь.

Только после этого мы сели. И только после этого я позволил себе внимательно рассмотреть г-на Динклаге. Нет, это не значит, что я еще раньше — когда он появился в дверях канцелярии, подошел ко мне и пригласил в свой кабинет — не сделал мысленных пометок. Он хромал, он опирался на палку — и все же какая, я бы сказал, металлическая четкость линий; или, может быть, точнее сказать так: маленький, изящный, в плотно облегающем мундире, в брюках, не имеющих ничего общего с английскими breeches [1], а напоминающих иератические формы восточноазиатских костюмов (японцы тоже любят прусскую форму!), он казался отштампованным. Так или иначе он сразу же производил впечатление именно прусского офицера. Или оловянного солдатика. «О,— подумал я,— с этим человеком тебе будет трудно». С другой стороны, все это было немножко смешно. Когда мы, наконец, сели друг против друга за его письменным столом, я попытался нащупать какие-то более специфические черты. Это оказалось нелегко. Драгоценные минуты я провел, созерцая грудь майора Динклаге, прежде чем, наконец, решился посмотреть ему в лицо. Я не случайно избрал свою профессию. Когда меня сажают перед картиной, мне очень трудно побороть страсть к иконографии. Сейчас у меня было такое чувство, будто я сидел перед картиной. Формы и краски на фасаде немецкого офицера сочетаются по всем правилам искусства — если, конечно отбросив фанатический пыл, признавать не только абстрактное «чистое» искусство, но и заложенную в нем функцию служить украшением, тягу к орнаментальности и декоративности. Художественный гений целых эпох растрачивался на украшение фасадов. Вы знаете это по Праге, дорогой г-н Хайнштокl Конечно, фасад майора Динклаге не показался мне столь же гениальным, как фасад дворца Клама Галласа, но все же он меня захватил. К своему величайшему удивлению, я очутился в кругу проблем современного художественного мышления, ибо то, что предстало передо мной, не сведущим в военных делах, этот ансамбль — узкая цветная ленточка справа наверху (сторону я указываю с позиции человека, разглядывающего фигуру, а не с позиции самой фигуры), черно-красно-серебряные кресты и полосы, темно-зелено-серебряный герб, орнаменты из плетеного сурового шнура — все это на серо-зеленом, лишенном, к сожалению, вдохновения фоне, было не чем иным, как абстрактными знаками, оптическими сигналами, которыми перегружают свои картины некоторые современные художники. Не говорите мне, что это просто орденские колодки, ордена, знаки отличия, эполеты,

---

1 Бриджами *(англ.)*.

воротнички, петлицы! Даже я знаю, что все это предметы, у которых есть названия,— предметы, которые имеют определенное значение. Кстати, знаки и сигналы на современных картинах тоже что-то выражают, они не есть абсолютное ничто. Но в том-то и дело: и здесь и там не отражение, не подражание, а знак, символ, подлежащий расшифровке или не подлежащий,— иероглиф, ребус, абстракция. Мир как ребус. Странно только — и я воспринимаю это как предостережение,— что грудь майора Динклаге все же не вызвала у меня ассоциации с современной картиной. С архаической тоже, к сожалению, нет! Ведь и в новейших картинах, пусть странно и неожиданно, светится еще воспоминание о мифах давно ушедших человеческих племен. А в этом мундире ничего подобного нет. Художника, который мог бы написать этот мундир, не существует, никогда не будет существовать. А если бы таковой нашелся, где бы он отыскал кисть достаточно жесткую, краску достаточно сухую, какие здесь требуются? И кисть и краска — они бы воспротивились, восстали».

За описанием эмблем, украшающих майора Динклаге, следует социологический экскурс — мы его здесь не воспроизводим — о «мире» (Шефольд подразумевает определенную общественную группу), в котором знаки отличия, ордена, чины, звания демонстрируются публично.

Далее Шефольд снова пускается в обсуждение деталей, подробно описывает воротник Динклаге (высота, ширина, твердость, геральдика петлиц): «Между нами, Хайнштоk, теперь я знаю, почему Германия проиграла бы эту войну, даже если бы сражалась за самое справедливое дело на свете: из-за этих петлиц!»

Потом:

«Среди всех этих знаков я обнаружил один, которому отказываюсь придавать символический характер. Я имею в виду, конечно же, свастику. У Динклаге она была в трех вариантах: черная по черному в центре обоих его главных орденов — Железного креста I класса и Рыцарского креста — и серебряная, окруженная венком, который держит орел, на левой (для него на правой) стороне груди. В этом виде ее носят все немецкие солдаты — так называемая государственная эмблема. Когда я говорю, что свастика — не символ, я имею в виду, что она ничего не обозначает. Она действительно ничего не обозначает. Попытайтесь-ка хоть раз придумать, что могла бы символизировать свастика, и Вы поймете, что я прав. Она даже не символизирует собой те бесчисленные убийства, которые совершались от ее имени, ибо преступления нельзя превращать в символ. Убийство вызывает реальный ужас, и тот, кто, не желая назвать убийство убийством, просто рисует крест с крючками, свастику, тот остается фашистом, даже если его значки выведены тончайшими каллиграфическими линиями или нарисованы тушью на рисовой бумаге.

Если бы это клеймо обладало хоть пряной остротой, юмористической силой старинных тайных воровских знаков! Но еще до того, как упырь решил взять свастику на вооружение, никогда не вымирающая раса школьных советников, тщательно вычертив на миллиметровой бумаге в какой-нибудь мюнхенской комиатушке это геометрическое позорище, уже читала лекции об истории свастики, болтала о санскритском счастье и солнечных колесах!

Разглядывая свастики нашего бедного друга Динклаге — мне вдруг приходит в голову назвать его так,— я попытался представить себе, какие последствия имело для него то, что он носит их много лет подряд. Ордена оставим пока в стороне, но государственную эмблему

он вынужден носить уже седьмой год. Учитывая все то, что мы теперь о нем знаем, я пришел не столько к духовно-политическому, сколько к банальному медицинскому заключению: Динклаге в течение семи лет ощущает вечный зуд на правой стороне груди! Да, я почти уверен, что были времена, когда он не мог противостоять желанию почесаться. Тогда он расстегивал мундир, задирал рубашку и до крови расчесывал ногтями то место, где обычно сидела государственная эмблема. А теперь представьте себе, мой дорогой господин Хайнштоk, что тысячи немецких офицеров (о солдатах я не говорю) страдают от такого же зуда! Я понятия не имею, сколько на свете немецких офицеров, но сто или хотя бы пятьдесят тысяч из них наверняка время от времени чешутся как безумные. Конечно, это не спасает их от чесотки. Но они просто не доходят до мысли вырезать раковую клетку. Или у них не хватает мужества. А ведь это было бы так просто. Я имел возможность вблизи рассмотреть государственную эмблему майора Динклаге. Она просто нашита на мундир.

Оглушенный, не способный охватить все это оптическое изобилие,— есть фламандские мастера, на картинах которых поначалу не воспринимаешь ничего, кроме драгоценностей и парчи,— я спрашивал себя, есть ли в этом майоре Динклаге какие-либо индивидуальные черты, или он лишь воплощение определенного типа. (Я не знаю, дорогой г-н Хайнштоk, придаете ли Вы значение выяснению этого вопроса. Ведь Ваше мировоззрение, как правило, довольствуется выявлением классово-типических черт. В беседах с моими коллегами-марксистами я всегда замечал, что они начинают скучать, когда я заговариваю о нетипичном, индивидуальном в произведениях искусства, об особой *душе* картины.)»

Будем исходить из того, что письмо это было написано и что Хайнштоk его получил; тогда мы должны будем представить себе и разговор Хайнштока с самим собой или, точнее, с отсутствующим Шефольдом, разговор, неминуемый из-за этого выпада, представляющего собой, если разобраться, веский аргумент против учения, которому он следовал. Теоретизировать он бы, вероятно, не стал. «Коммунистическая партия,— слышим мы его голос,— во всяком случае коммунистическая партия, которую я знал, всегда отдавала себе отчет в том, что люди различны. Все товарищи были разные, и партия учитывала это. Даже в концлагере, где всех нас хотели превратить просто в номера, мы были настолько иеодинаковые, что вы и представить себе не можете. Каждый реагировал на лагерь своим, особым, образом». После этого он сделал бы паузу и затем сказал бы: «Конечно, существует классовый враг, и его надо уметь распознать. Но и он очень разный. У него множество оттенков, и это тоже учитывает партия. Вы, г-н доктор Шефольд, вообще не являетесь нашим классовым врагом, хотя вы и бюргер». И уже под конец, почти неслышно, пробормотал бы: «Пошли они к черту, эти ваши коллеги-марксисты!»

«Может быть, его лицо могло убедить меня в том, что он не просто типичный представитель своей профессии? Но, откровенно говоря, я не нашел в этом лице ничего, кроме энергичности. Две тонкие линии морщин идут от носа к уголкам рта — и больше ничего, кроме напряженного выражения и загара, являющегося, судя по всему, результатом строевой службы. Я искал в его лице — конечно, незаметно, не разглядывая его пристально,— признаки... да, я решаюсь написать эти слова: способности к страданию... но не нашел. Вы знаете: перенесенные страдания, будь это даже страдания других, вызывают

горячее чувство сопереживания, оставляют на лице следы. Несколько раз я замечал, что взгляд его становился отсутствующим; у него серые глаза, и вдруг, в разгаре беседы, притом отнюдь не тогда, когда речь заходила о важных вещах, они становились слепыми, на них словно появлялась катаракта. Но это, собственно, и все.

В остальном он вызывает симпатию. Странно, что человек — неважно, как он выглядит,— может казаться симпатичным или несимпатичным. Я не мог определить, почему именно он кажется мне симпатичным,— это, наверное, невозможно. Существует нечто, выходящее за пределы таких понятий, как любезность, хороший тон, сдержанность, способность интеллигентного человека понимать другого. Жаль, что Вам не довелось познакомиться с г-ном майором Динклаге; готов держать пари, что он и на Вас произвел бы впечатление симпатичного человека.

Я стараюсь быть как можно объективнее — это необходимо, ибо мне все время казалось, что я как-то невыгодно отличаюсь от него. Представьте себе: с одной стороны я, грузный человек, слишком располневший, по-своему любящий радости жизни, ценитель хорошей еды, занятый, по существу, только восприятием красоты, эстетических процессов, задуманных и реализованных другими, пассивный почитатель женщин, а с другой стороны — он, стойкий солдат, даже на пороге капитуляции человек сугубо военный, натренированный фронтовой офицер. Достаточно причин для всякого рода неприязненных чувств с моей стороны!

Но прежде всего мне хочется подчеркнуть, что он завоевал мою симпатию и что глаза его время от времени затягивала мутная пелена.

Однако именно это дает мне право сказать, наконец, то, что все время вертится у меня на языке, а именно: если бы я мог познакомиться с ним прежде, чем началось то дело, в которое он нас втянул, я бы, безусловно, стал Вас отговаривать и, во всяком случае, что касается меня лично, решительно отказался бы участвовать в нем.

На Вас все это наверняка производит странное впечатление, ибо Вы чувствуете, что этот вывод никак не связан с моими возражениями против плана Динклаге по политическим и военно-техническим мотивам. Мои слова звучат так, словно я считаю Динклаге недостойным нашего доверия. Об этом, конечно, не может быть и речи. О майоре Динклаге можно сказать что угодно, но это человек надежный, строго последовательный, быть может, слишком последовательный, если иметь в виду то, что он задумал и чего требовал от меня. Нет, тут что-то другое, я не могу это объяснить и не могу найти иного слова, кроме: «чужой». Майор Динклаге для меня чужой, и я — или правильнее сказать: мы — чужие для Динклаге; именно это заставляет меня теперь, оглядываясь назад, рассматривать наши отношения с ним как ошибку, как недоразумение.

Попытаюсь объяснить это. Видите ли, дорогой г-н Хайнштоk, Вы, я и наверняка та дама, с которой я, в силу Вашей привычки делать из всего тайну, так и не смог познакомиться, мы все, если исключить сомнения делового порядка, критику, касающуюся технических деталей,— ринулись в это дело без должных раздумий. Так сказать, без оглядки. Если позволите, я осмелюсь даже сказать: с радостью. Мы с первой же минуты действовали слаженно, работали сообща, образовали gang[1] — я полагаю, что могу воспользоваться американским выражением; да и капитан Кимброу, этот анархист-южанин, отбросив сомнения юридического порядка, сразу согласился участвовать в этом деле, хотя и шел на немалый риск. Четыре совершенно разных че-

[1] Группу заговорщиков, шайку *(англ.)*.

ловека. Но когда мы, при определенном стечении обстоятельств, оказались связанными друг с другом, выяснилось, что мы друг другу подходим. Только один не подходил — Динклаге. Вы знаете таких мальчиков — во время игры они всегда стоят в стороне, скованные, замкнутые, беспомощные? Предпочитают не участвовать в игре, а забиться в угол двора? Динклаге играл с нами неохотно — я отчетливо почувствовал это, когда, наконец, встретился с ним. Вы возразите, что игру начал он. Тут у меня есть некоторые сомнения, я восхищаюсь проницательностью Кимброу: когда я рассказал ему, что этот план передала Вам та самая незнакомая мне дама, он сразу заявил, что решение Динклаге было ускорено. (Надеюсь, Вы не обидитесь на меня за болтливость — в конце концов Кимброу имел право узнать, что за всем этим не стоят какие-то сверхъестественные силы.)

Таким образом, я прихожу к выводу, что мы не должны были объединяться с Динклаге. Причины этого Вы, вероятно, сведете к формуле, что он не сумел преодолеть свой офицерский образ мышления и не обладал достаточной политической зрелостью, чтобы без предубеждения сотрудничать с группой, состоящей из штатских. И тут Вы наверняка были бы правы. Ничто так не подтверждает Вашу правоту, как его требование, чтобы я явился к нему. Теперь, когда это испытание позади, оно кажется мне еще нелепее и бессмысленнее, чем когда-либо. Ибо, дорогой г-н Хайншток, если бы Динклаге действительно разделял наш образ мыслей, он, конечно же, использовал бы приемы работы подпольного сопротивления, а не пытался бы спасти для себя и для своей операции лоскут военного знамени. (И все же я снова хочу отдать ему должное: поскольку американцы отклонили его план, он бы потом до конца жизни корил себя за то, что в этой истории повел себя не как военный, без должной основательности. Он предложил капитуляцию одной армии перед другой. В почти классической форме. Ее отклонили. Так что он теперь с честью вышел из игры.)

Но это только половина правды. Вся же правда состоит в том, что он — мальчик, который не умеет играть с другими. Не хочет. Чувствует себя чужим. В рамках жесткого порядка такие люди вполне пригодны, тут они даже получают Рыцарские кресты и прочее. Но на свободном, так сказать, неогороженном пространстве? Я очень хорошо понимаю майора Динклаге. Я сам был мальчиком, который на школьном дворе забивался в угол, читал, когда другие играли...»

«Я ли это был,— думает, возможно, Шефольд, прерывая здесь на мгновенье свое воображаемое письмо,— когда в тот мартовский день 1937 года запаковал картину Клее, покинул Германию и поехал в Брюссель? Или, наоборот, в тот момент я впервые вышел из своего угла и стал участвовать в игре, к концу которой я оказался перед дулом нацеленного на меня ружья...»

«Скованным, беспомощным назвал я только что поведение таких мальчиков, но в майоре Динклаге я не заметил и намека на подобные качества. Покончив со щекотливым вопросом относительно моего конвоира, хотя и разрешив его так, что меня охватывало беспокойство, стоило мне подумать об этом, он повел искуснейшую беседу; да я, собственно, только потому мог так подробно заняться описанием его персоны, что мы до обеда и во время обеда, который был подан ровно в половине первого, вели лишь светскую беседу. У меня было такое чувство, словно мы познакомились с ним на вечере в казино и отошли в уголок, чтобы спокойно поболтать. Я очень люблю невоз-

мутимость — то, что французы называют désinvolture[1], — но что слишком, то слишком. О, нельзя сказать, что наш разговор не был дружеским, что он был лишен определенного подъема, о чем я говорил в начале письма. Но неужели ради этого мне надо было спускаться по тому откосу, откуда сначала я не видел ничего, а потом увидел воплощенный ужас? Размышляя о том, в какое дело мы оказались вовлеченными — я, Вы, та дама, Кимброу, — я жаждал, чтобы в нашу утонченную беседу ворвалась реальность, пусть даже самая банальная. Или, точнее: я с нетерпением ждал, когда майор Динклаге перейдет к делу. Если бы я время от времени не замечал легкого помутнения в его глазах — быстро исчезавший признак того, что в этот момент он мыслями далеко, я бы считал, что он ведет себя нагло. Или нелепо.... Впрочем, все это *действительно* было нелепо! Ваше покачиванье головой, как это делают простолюдины, было бы здесь вполне уместно. Вообще, из Вас получился бы куда лучший парламентер, чем из меня. Насколько быстрее, решительнее, непреклоннее, чем я, Вы бы покончили это дело с г-ном майором Динклаге!

Ах, дорогой г-н Хайнштоk, размышляя о случившемся, я чувствую, что мы все сделали не так — с самого начала!»

Один раз — но об этом Шефольд не упомянул в письме Хайнштоку — он уловил в глазах Динклаге быстро промелькнувшее выражение неодобрения. Это было, когда Динклаге пристально посмотрел на его красный галстук. Счел ли он это политической демонстрацией или просто дурацкой фантазией человека, принадлежащего к богеме? Был Шефольд красным или снобом? Укрепился ли Динклаге — при виде этого галстука — в мысли, что он поступает правильно, решив до конца соблюдать военные нормы? Мысль, что этот галстук — всего лишь украшение на шее, как и у него, только украшение веселое, а не мрачное, — судя по всему, не пришла ему в голову.

«Так мы беседовали — о положении на фронтах (медик-непрофессионал, внимающий специалисту по агонии, который считал, что немецкая агония продлится еще целую зиму. «Войны никогда не кончаются летом или зимой, — сказал он, — они всегда кончаются весной или осенью»); о Гитлере (он назвал его самым заметным случаем паранойи в мировой истории, долго говорил о гипнотическом действии логически выстроенной системы бредовых идей; может быть, это должно служить оправданием для генералов?); об американцах (он высказал мысль, что мы не доживем до конца эпохи мировых держав, но настанет день, когда они уйдут — не из Германии и Франции, а с Эмса и из Оверни, старые провинции окажутся сильнее, они воспрепятствуют осуществлению всеобъемлющих планов американцев и русских; при этом русских надо опасаться меньше, ибо как чисто континентальная держава Россия прекрасно понимает, что ей нечего искать в Бретани или на Сицилии; короче говоря, фантазии, грезы консерватора; я слушал его не без тайной симпатии, потому что и я, поклонник живописи многих столетий, мыслю, так сказать, категориями не стран, а провинций, разницей света в Амстердаме и Урбино, хотя, будучи человеком, который всегда интересовался не только произведениями искусства, но и жизнью художников, я сразу же поправил себя, вспомнив, что не было в их жизни большего врага, чем затхлый провинциальный дух того же Эмса, той же Оверни — всех эмсов и оверней на свете). Все, что говорил Динклаге, не было глупо, но словно доносилось из какого-то другого мира — мира, чуждого нашему, а уж Вашему-то безусловно, ибо Вы верите в победу органи-

[1] Непринужденность *(франц.)*.

зующего разума, рассматриваете ее как цель мировой истории, но и моему тоже, ибо, хотя я и говорю, что симпатизировал в душе некоторым его идеям, я все же верю во взаимосвязанность искусства всего мира, в великий и свободный интернационал художников всех времен и стран, который служит высшей идее человека, непрерывно напоминая ему о возможности свободного и прекрасного существования, так что, если бы этот интернационал искусства однажды исчез, человек сразу же опустился бы на более низкую, уже почти не достойную жизни ступеньку бытия, — подобные убеждения должны были помешать нам вступить в союз с человеком, который, рассуждая о «паранойе» Гитлера, вдруг спросил меня: «Вы не думаете, что всякая политика есть паранойя?» — говоря тем самым, что ему — если додумать эту мысль до конца! — всякое человеческое действие представляется бессмысленным. (Я оставляю сейчас без внимания тот факт, что он, возможно, и прав. Может быть, всякая политика проистекает из навязчивых идей, неврозов, мании преследования; может быть, вследствие этого всякое действие в области политики абсурдно?) Ах, если бы только мы узнали его раньше! Он человек крайнего пессимизма, он никогда не стремился действительно осуществить свой план. Он специалист по агонии. Что сделало его таким? Проклятая система, которую Вы называете фашизмом? Или в нем с самого начала была заложена такая склонность? Думая о нем, я испытываю чувство отчаяния.

Не стану описывать обед. Если немецкая армия поглощает невообразимое месиво вроде того, что было предложено мне, и притом еще готова и способна драться, это можно назвать лишь актом непрекращающегося и наивысшего героизма. Или величайшего идиотизма. Но что бы это ни было, геройство или глупость, я считаю, что каждому немецкому солдату уже за одно это полагается Рыцарский крест».

Он мог бы описать, как, отодвигая в сторону тарелку, он, чтобы скрыть отвращение к нормальному рациону 416-й пехотной дивизии, сказал: «Недавняя прогулка отбила у меня аппетит». После этого он закурил одну из своих спасительных американских сигарет, предложив пачку «Лаки страйк» сначала Динклаге, который также взял сигарету, с интересом закурил ее и снова впал в состояние прострации. Шефольд не был настолько хорошо знаком с биографией Динклаге, чтобы знать, что в этот момент майор просто предавался воспоминаниям об Англии.

«Вы можете сообщить мне что-то новое?»

Этим вопросом — когда обед закончился и ординарец убрал со стола — он оборвал нашу беседу, притом не только внезапно, неожиданно, невежливо, поскольку в этот момент мы обсуждали наши личные послевоенные планы,— я уже отчаянно искал новые темы для разговора,— но и вдруг изменив тембр голоса, так что я вздрогнул. Слышали бы Вы это внезапное изменение тона — от спокойного, скорее низкого, к высокому, сдавленному, резкому! Какой-то миг мне казалось, что я снова стою перед тем солдатом наверху возле окопа, слышу его: «Руки вверх!», его: «Заткнись!»

Я взял себя в руки, начал обстоятельно описывать сложную систему американских инстанций и то, как Кимброу пытается через них пробиться. Собственно, я был, мягко говоря, возмущен. Как мог Динклаге спрашивать, нет ли у меня для него чего-то нового? Он вызвал меня к себе в момент, когда, как знали мы все — в том числе и он! — ничто не было подготовлено для принятия решения. Стало быть, сообщить что-то должен был не я ему, а он мне. Но я сохранял терпе-

ние. И знаете почему? Потому что, разговаривая с майором Динклаге, я вспоминал слова полковника Р. Майор не знает об этом нелепом оскорблении, он так и не узнал о нем, но я-то знаю, и всякий раз, вспоминая об этом, я говорил себе, что майор Динклаге заслуживает более тактичного отношения. Так что я занял выжидательную позицию, нарисовал скорее оптимистическую картину положения дел, передал ему просьбу Кимброу дать американцам еще какое-то время, потом вдруг впал в помпезный тон, стал называть имена Ходжеса, Брэдли, Эйзенхауэра именно в том контексте, в каком слышал их от Кимброу, сообщил, что армия, правда, отклонила предложение...

Он перебил меня, притом снова в этом тоне «ну-ну», которого я от него никак не ожидал.

«Это неважно,— сказал он.— Так даже лучше для меня».

Теперь я уже не считал нужным скрывать удивление. Раздраженный его тоном, который был мне глубоко отвратителен, я со всей резкостью, на какую способен,— ах, в этом смысле мне не очень-то многого удалось достичь! — спросил: «Зачем же вы потребовали тогда, чтобы я пришел?»

Он ответил, притом снова своим обычным низким голосом, очень спокойно: «Чтобы вы передали капитану Кимброу письмо».

Вам это покажется невероятным, дорогой мой г-н Хайншток, но больше ничего не было.

Мне нечего вам больше сообщать — нечего сообщать о том, что было сказано или произошло после того, как майор Динклаге, наконец, перешёл к делу.

Резкий вопрос, потом мои пространные объяснения, еще две скупые фразы и — конец.

Он открыл ящик своего письменного стола, вынул письмо, дал его мне. Через три минуты все было кончено.

Так что я даже не знаю, зачем он на самом деле требовал, чтобы я пришел, не говоря уже о том, что я так и не выяснил, почему он сделал предложение о сдаче батальона, а когда оно не было принято, заявил: «Это неважно. Так даже лучше для меня».

Сказано это было в том же тоне «ну-ну», за которым, правда, последовало свидетельствующее о мимолетной прострации помутнение взгляда, чему я, возможно, и обязан тем, что он снова заговорил со мной по-человечески.

What makes him tick? Не знаю. Я не психолог.

Его вопрос «Вы можете сообщить мне что-то новое?» не должен был вызывать у меня раздражения. В ночной тишине американской канцелярии я начинаю понимать, что майор Динклаге до последнего момента надеялся на чудо. Может быть, он, вопреки вероятности, ожидал, что я явлюсь с известием, что американцы нынешней же ночью осуществят raid.

Значит, следует все же считать, что он был надежный союзник? Этой загадки я не решу.

Майор Уилер час назад уехал в Сен-Вит; судя по всему, ему уже нечего предотвращать в Маспельте. Мы договорились, что завтра я передам ему это письмо для вас...

Кстати, мы какое-то время еще посидели вместе — Динклаге и я, не спешили разойтись в разные стороны. Когда я вспоминаю последние четверть часа, проведенные с майором Динклаге, это напоминает мне вялые упражнения на фортепьяно, неумелый этюд. Кто-то ударяет по клавишам, время от времени ему удается взять аккорд, часто возникают паузы. Мы действительно подолгу молчали, не испытывая при этом смущения.

Я сказал, как я сожалею, что наши усилия оказались напрасными.

«Это моя вина,— возразил он.— Было бы правильней, если бы я промолчал о своем замысле».

Сохраните это его высказывание в тайне, дорогой г-н Хайншток! Совершенно не нужно, чтобы эта особа, которую я, к сожалению, вынужден обозначать как «эта дама», стала упрекать себя. Не хватает еще, чтобы она почувствовала себя ответственной за случившееся только потому, что решила своим практическим женским разумом помочь осуществлению планов одного мужчины.

Как все же упорно держится среди женщин легенда о слове мужчины! А ведь нет более колеблющихся существ, чем мы. (Вас я исключаю, Венцель Хайншток!)

Майор Динклаге расспрашивал меня о жизни в Хеммересе, попросил, чтобы я описал путь через долину Ирена, заметил, что мне чертовски повезло — ведь я мог угодить в руки какой-нибудь из его разведывательных групп. Или я ошибаюсь, или в его словах действительно прозвучало сожаление, что меня не поймали! Судя по всему, он вдруг нажал не на ту клавишу, почувствовал это сам, сразу же исправился.

«Советую вам не задерживаться в Хеммересе больше, чем на одну ночь»,— сказал он.

Я не стал говорить ему, что и сам пришел к такому выводу во вторник вечером, когда, спотыкаясь, брел в сумерках из Вашей каменоломни домой. Даже эту ночь, на которую он дал мне разрешение, я не проведу в своей постели в Хеммересе. Заняв Хеммерес, думал я, он осуществит первую из целой цепи акций, с помощью которых попытается схоронить воспоминание о своем несостоявшемся предательстве.

Но я хотел услышать это от него и потому спросил: «Отчего же? Вы собираетесь занять его?»

К моему удивлению, он сказал: «Нет. Не я».

Я ждал хоть какого-то объяснения, но он молчал и смотрел в окно, на крестьянский двор напротив — на прекрасную старую усадьбу, вид которой все это время был для меня настоящим утешением. Он мне напомнил белый домик из «Искушения святого Антония» Иеронимуса Босха, где женщина стирает белье среди чудовищ, химер, кошмаров ада.

Наконец, я услышал, как Динклаге сказал: «Скоро здесь разыграются важные события».

Я снова ждал, и снова он поборол себя не сразу — именно это слово я должен употребить, чтобы показать, какое впечатление произвел на меня майор Динклаге, когда заговорил, поднявшись и тем самым заканчивая нашу встречу,— да, ему пришлось именно побороть себя, это далось ему с трудом, и доказательством того, что следующую фразу он буквально выжал из себя, служит то обстоятельство, что заговорил он своим высоким, словно сдавленным, командирским голосом: «Это сообщение вы можете использовать!»

Дорогой г-н Хайншток, больше всего мне хочется разразиться смехом, когда я думаю о том, что от всего гигантского, заранее запланированного предательства г-на майора Динклаге в конце концов не осталось ничего, кроме разрешения сообщить американцам, что предстоит немецкое наступление. План, рассчитанный на то, чтобы перевернуть всю историю войны,— и в результате вот что! Гора родила мышь. И при этом каким он казался самому себе — это было видно по лицу! —изменником, бунтовщиком, клятвопреступником, дезертиром или какие там еще слова есть в его лексиконе для обозна-

чения всего этого. Он *боролся* с собой. Ах, смех застревает у меня в горле. И ради этого мы ставили на карту свою жизнь!

И все же — он снова предостерег противника. Какая противоречивость! Какая путаная смесь благородства и готовности идти на попятный!

Его разрешением я не воспользовался. Нет необходимости информировать майора Уилера о предстоящем немецком наступлении — это известие ново только для меня. Но Вам я должен его передать. Теперь я выступаю в роли предостерегающего. Станьте еще более невидимым, чем Вы есть! Переживет ли Ваша хижина у каменоломни предстоящую битву? Я вернусь и посмотрю, когда все будет позади. Доставьте мне удовольствие и будьте еще там!»

Он не стал описывать Хайштоку свой уход с командного пункта батальона в Винтерспельте, сцену между Динклаге и Райделем, которого майор вызвал к себе, передавая ему Шефольда, затем умело завершенные последние формальности в канцелярии, уже среди внимательно наблюдавших глаз, тщательно регистрировавших каждое слово ушей, вдыхавших запах американского табака носов. И про обратный путь — снова через Винтерспельт, потом по дороге, ведущей на север, к тому месту, где начинался склон, с которого он и Райдель спустились утром,— Шефольд не сообщает ничего... Мы только представляем себе все это, будто он вообще что-то сообщил в письме к Хайнштоку в ту половину ночи, которая завершала 12 октября 1944 года. Но уж если мы дали ему возможность написать такое письмо, то теперь должны признать за ним право на усталость. Он сообщил то, что считал необходимым сообщить. Теперь он устал. Уже поздняя ночь, и ему ничего не остается, как быть кратким.

«На обратном пути этот человек вел себя так же отвратительно, как и утром. Я не должен был допускать, чтобы его снова дали мне в провожатые.

Один раз я чуть не вывел его из себя, но в последний момент решил этого не делать. Возможно, это была ошибка, возможно, мне следовало все же вывести его из себя, чтобы проникнуть в его сущность.

В конце концов, потеряв самообладание, я сам совершил безответственный поступок. Безумный поступок. Вы, г-н Хайнштоk, уж наверняка назовете то, что я сделал, безумием. Я прямо так и слышу, как Вы восклицаете: «Вы с ума сошли?!», наблюдая, как я вытаскиваю бумажник, вынимаю десятидолларовую бумажку и протягиваю ее этому человеку. Ибо именно так я поступил, когда он нанес мне последнее, совершенно невыносимое оскорбление. «Проваливай, ты, шпион!» — сказал он, когда мы подошли к его окопу. И снова это движение головой, этот немой, начисто лишенный вежливости, резкий поворот головы — ах, как я возненавидел его! С этим нельзя было мириться, с этим «Мотай отсюда, ты, шпик!», с этим жестом последнего, крайнего презрения. Я прошу Вас понять, что смириться с этим было нельзя.

Не знаю, как мне пришла в голову мысль схватиться за бумажник. Задним числом мне кажется, что я схватился за бумажник, как за пистолет. (Я, который не в состоянии пользоваться оружием!)

«Но неужели вы не могли сдержаться? — спросите Вы.— Подумали ли вы о Динклаге, о том, какие последствия будет иметь для него то, что этот человек, имея американские банкноты на руках, подаст рапорт?»

Вы покачаете головой. Я подумал о Динклаге. Под конец я думал только о Динклаге и совершенно не думал об отвратительном субъек-

те, стоявшем передо мной. О Динклаге, который вовлек меня в этот чудовищный абсурд. Ради письма, которое ничего не содержало, как выяснилось, когда капитан Кимброу вскрыл его. Я все это время знал, что оно ничего не содержит. Да, я не совладал с собой. Мысль о майоре Динклаге наполняла меня гневом.

«Вот! — сказал я.— За ваши не очень-то любезные услуги».

Я дал ему чаевые. Было слишком поздно пытаться завоевать его добром — слишком поздно и абсолютно бессмысленно. Я добивался его расположения, да будет Вам известно! Несколько раз за этот день я добивался его расположения!

Вам надо было видеть его лицо! Он был так ошеломлен, что взял бумажку.

Только после этого я пошел дальше. Я не оборачивался. Я шел вверх по склону, пока не добрался до сосен. Оказавшись наверху, под деревьями, я почувствовал, как отступает весь этот кошмар. Ведь я боялся, Хайнштоk, а теперь все страхи остались позади. Я был свободен. Свободен!»

Мы не станем воспроизводить здесь заключительные фразы и приветственные формулы. По всей вероятности, заканчивая письмо, Шефольд снова обратился бы к Хайнштоку с настоятельной просьбой позаботиться о картине Пауля Клее. Возможно также, что он осведомился о сыче: будучи человеком в общем-то отзывчивым, он знал, что птица — «сова», как он ее называл,— в настоящий момент была единственным существом, с которым еще общался Хайнштоk.

Потом он скорее всего решил бы еще ночью отправиться в Сен-Вит, чтобы найти какое-нибудь жилье. (Что касается Кимброу, то он, наверное, давно вернулся к себе домой, не говоря уже о Фостере. Но какой-нибудь дежурный всегда остается в канцелярии.) Взглянув на часы, Шефольд установил бы, что уже нечего и рассчитывать на встречу с той официанткой. Все пивные в Сен-Вите были в эту пору уже давно закрыты. Но он наверняка порадовался бы возможности пройтись по дороге, глотнуть ночного ветра, может быть, даже, кто знает, увидеть в ночном небе отблески битвы на севере.

Два сна Динклаге

В ночь с 11-го на 12 октября майору Динклаге удалось заснуть лишь очень ненадолго. Какими бы лаконичными ни казались оба письма, которые мы воспроизводим ниже, они все же — или, быть может, именно поэтому — занимали его с полуночи до двух часов. Потом он лег, но заснул только около трех, а уже в пять его разбудили боли в бедре. Проснувшись, глядя в темноту своей комнаты, он пытался восстановить содержание двух сновидений, посетивших его. У него было впечатление, что сны эти не прекращались все время, пока он спал.

1

Вместе с женой он ехал на машине вдоль реки. Кто была эта женщина, он не знал,— знал только, что это его жена; во время всего сна она оставалась невидимой. Дорога вдруг оборвалась, одна черная грязная колея набегала на другую, впереди простиралась равнина, поросшая кустарником, какой бывает на речных берегах. Из-за кустов неожиданно появился широкоплечий молодой человек, которого Динклаге никогда прежде не видел. У него было лицо сильного, здорового человека, светлые, вьющиеся, зачесанные назад волосы. Динклаге спросил, не знает ли он дорогу на Фен. Они вместе развер-

нули карту какой-то северной равнины, и молодой человек указал Динклаге на область, над которой было напечатано: «Большое Фенское болото».

Проснувшись, Динклаге долго раздумывал над этим словом «Фен», пока не вспомнил, что оно связано с его матерью. Его мать была родом из Восточной Фрисландии, из семьи голландских колонистов, поселившихся у канала в болотистой местности южнее Аурика. Канал назывался «Гросефен-канал».

Динклаге так и не понял, кто был этот сильный молодой человек.

2

Он снова был в обществе женщины (только на сей раз они не ехали в машине), снова она никак не проявляла себя, но теперь это, возможно, была Кэте, он хотел показать ей улицу в Меппене, где находилась его школа и где он провел большую часть юности; чтобы сократить путь (как он подчеркивал), он выбрал освещенный подземный переход, вдоль которого тянулись продовольственные магазины; выйдя из него, он увидел нужную ему улицу, которая, однако, начиналась не так, как в Меппене, на углу площади, а по другую сторону лужайки, и вообще это была не та улица, о которой он думал, а совсем другая. Вместо ренессансной ратуши и гимназической церкви в самом начале улицы стояли две гигантские кариатиды (которые, правда, ничего не держали), и он вдруг понял, что это не та улица, на которой проходила его школьная жизнь, а та, где он родился. Он не пошел по ней, а пошел по соседней, кстати, один, женщина (Кэте?) исчезла. На этой улице, собственно не имевшей к нему никакого отношения, стояли развалины домов, правда, уже очищенные от щебня, даже словно отполированные. Руины высились, будто большие скульптуры из терракоты. В стене дома, последнего на этой улице, была дыра, через которую просунул свою бородатую рогатую голову козел; самого козла Динклаге не видел — только эту голову, которой тот непрерывно кивал. Другой козел пытался залезть на стену дома, чтобы добраться до дыры, из которой торчала кивающая голова, но это ему не удавалось — он все время соскальзывал вниз.

Истолковать этот сон Динклаге также не мог.

Документ II

Не вымышленный

Письмо Йозефа Динклаге к Кэте Ленк. Указание места и времени отсутствует. Написано, по-видимому, непосредственно после передачи (приведенного здесь как «Документ III») сообщения капитану Кимброу, что явствует прежде всего из первой фразы («А теперь о нас обоих!»). Как ни странно, обращения нет вовсе. Можно только предположить, что обращение «Дорогая Кэте» показалось автору письма слишком сухим и что, с другой стороны, он не мог решиться на такие формулировки, как «Возлюбленная», «Любимая Кэте» или тем более: «Моя любимая Кэте». Почерк, по обыкновению, аккуратный, буквы слитные, не очень крупные, без волосяных линий, книзу более удлиненные, чем обычно у Динклаге.

Письмо было передано в дом Телена ординарцем, которого мы уже знаем, в четверг, после 14 часов. Похоже, что Динклаге точно рассчитал, когда Кэте получит письмо. Судя по всему, для него было очень важно, чтобы она получила это письмо только после ухода Шефольда и почти в тот же момент, когда, по его распоряжению,

штабс-фельдфебель Каммерер должен был отдать приказ о выступлении батальона, то есть когда уже истек срок сохранения в тайне приказа, поступившего из дивизии.

«А теперь о нас обоих!

В тот час, когда ты взяла осуществление моего плана в свои руки, ты совершила шаг, отдаливший тебя от меня.

Я не перестаю удивляться себе: ведь я что-то понимаю и все же не могу в это поверить.

Нет, конечно же, ничего я не понимаю. Уважая непостижимые для меня причины твоего решения, я ношу маску терпения. Мне кажется, она мне не идет.

Ты не должна была оставлять меня одного подобным образом.

Ты дала мне слишком много времени для размышлений.

«Размышления» — не то слово. О «чувствованиях» тоже не может быть и речи. Каким же словом обозначить те часы, когда я ждал тебя и в мое сознание вползала правда о моем плане?

Если бы ты хотела показать мне, до какой степени нет ни малейшего смысла в том, чтобы что-то произошло, ты не могла бы выбрать лучшего способа, чем отдалиться от меня.

Ты хотела показать мне, как это просто — действовать. А вместо этого ты показываешь мне, что гораздо проще не действовать.

Реальность существует, стало быть, сама по себе, подумал я. Ее не надо организовывать.

Вчера ночью меня снова охватило ощущение бессмысленности всего сущего. Уставясь на лампу, на ящик с книгами, на кровать, я говорил себе: этого могло и не быть.

В такие моменты у меня всегда возникает чувство, что уже когда-то я пережил нечто подобное. В прошлой жизни. Какой мрак наступает тогда. С ним не в состоянии справиться даже лампа, которую ты мне принесла.

Сегодня ночью я отказался от проведения операции.

Мне не удается отказаться заодно и от желания прикоснуться к тебе.

Й.

Post scriptum: Ах, да что там — план сорвался совсем по другим причинам. Дивизию отзывают. Выступать надо уже сегодня ночью. Я знаю об этом с понедельника. Соответствующий приказ по батальону я должен отдать сегодня в 14 часов.

Не упрекай меня, пожалуйста, и не говори, что я должен был сообщить тебе об этом еще во вторник, вместо того чтобы молчать и, выслушав твой рассказ о медлительности американских штабов, потребовать все же прихода Шефольда! Но даже если бы я не знал о подлых словах того полковника, я все равно бы пришел к выводу, что непременно должен подать американцам последний знак.

Какое-то время я заблуждался, считая, что они, послав Шефольда через линию фронта, должны доказать, что относятся ко всему этому серьезно. Ты со мной не согласилась. Ты обратила мое внимание на то, что я не имею права ничего ожидать, ничего требовать от них. Хорошо. Я это понял. Но теперь я знаю — и, вероятно, знал с самого начала,— что хочу доказать им, насколько серьезно отношусь ко всему этому сам, и докажу, потребовав, чтобы Шефольд пришел через линию фронта. Ибо иначе я доказать этого не могу.

А доказать это необходимо. Даже еще сейчас. Именно сейчас.

Еще один post scriptum: На совещании в понедельник командирам полков и батальонов было сообщено, что дивизию перебрасывают в

Северную Италию для борьбы с партизанами. Поскольку я не желаю участвовать в этом, я попросил полкового врача подать документы о моей демобилизации, что он уже неоднократно предлагал мне. Он заверил меня, что, учитывая характер моего заболевания и, как он выразился, мои военные заслуги, это не вызовет затруднений. Очевидно, меня еще во время переброски дивизии переведут в запасную воинскую часть и оттуда в самое короткое время уволят в запас. Кавалеры Рыцарского креста пользуются некоторыми преимуществами, и при демобилизации их избавляют от долгого мучительного ожидания в казармах. Я рассчитываю уже в первые дни ноября быть дома.

Так что ты наверняка найдешь меня в Везуве, если приедешь около 5 ноября. Мы могли бы тотчас же начать необходимые для заключения брака формальности, и я почти уверен, что могли бы обвенчаться еще в ноябре или, во всяком случае, до конца года.

Если ты решишь выбрать другой путь,— а я подозреваю, что таковы твои намерения,— то обращаю твое внимание на то, что долину Ирена и хутор Хеммерес можно использовать для этой цели только ближайшей ночью. Дивизия, которая сменит нашу, состоит из эсэсовцев и значительно превосходит нашу по численности и оснащению; они ничего не оставят без внимания — ни одной лесной долины, ни даже самого уединенного хутора.

Post scriptum: Обещаю, что последний. Просто, думая о тебе, я все вспоминаю разные вещи. Хотя бы еще одно ты должна знать: кирпичные заводы семьи Динклаге не работают. Печи давно остыли, последние штабеля кирпича еще не вывезены. На лугах вдоль Эмса бродят теперь охотники с маленькими пятнистыми собаками — охотятся на фазанов. Луга черные, и по краям, в ноябре, когда ты приедешь, будут стоять голые деревья. Вода в Эмсе очень темная, река течет неторопливо, петляя по земле. На ее берегах дети запускают воздушных змеев. Я вспоминаю своего первого змея — небо в Везуве такое прозрачное, что ты и представить себе не можешь».

Документ III

Не вымышленный

Сообщеиие майора Динклаге капитану Кимброу. Динклаге напечатал его на машинке двумя пальцами в ночь с 11-го на 12 октября и, как мы видели, вручил Шефольду для передачи; к Кимброу оно так и не попало. Английский язык Динклаге, безупречный с точки зрения синтаксиса, наверняка показался бы получателю немного комичным, ибо письмо несло на себе отпечаток казенного немецкого стиля.

«Винтерспельт, 11 октября 1944 г., полночь.

Dear Captain,

два дня назад я получил сообщение о том, что дивизия, в которую входит подчиненный мне батальон, нынешней ночью будет снята отсюда и переброшена на другой театр военных действий.

В этих условиях намеченная нами операция отпадает.

Сожаления по поводу того, что она не состоится,— а она все равно бы не состоялась, как я заключаю из поведения Ваших штабов, о котором Вы меня известили,— вследствие этого излишни.

Независимо от изменений, происшедших в общей обстановке, а также независимо от возможных решений Вашего начальства я сам пришел к выводу, что осуществление моего предложения не имеет особого смысла.

Я считаю своим долгом довести до Вашего сведения, капитан Кимброу, этот результат моих размышлений.

Прошу Вас поверить, что то слово, каким командир Вашего полка, г-н полковник Р., охарактеризовал мои намерения и мою персону, не оказало никакого влияния на мое решение. Поскольку так же обозвал бы меня и Гитлер, я, обдумывая положение дел, не стал принимать это в расчет.

По двум причинам я отказываюсь от моего намерения. (Не от намерения, а от попытки его осуществить.)

Во-первых, этот эпизод не изменил бы нынешнего состояния и дальнейшего хода войны.

Во-вторых, он мог быть осуществлен лишь в результате чистой случайности. («A mere chance»,— пишет майор Динклаге.) Если же какое-то событие оказывается результатом случая, это значит, что оно могло произойти, а могло и не произойти *.

Я понимаю, что перемена в моем отношении к операции покажется Вам признаком нерешительного и неустойчивого характера, и если я скажу Вам: я не жалею, что вовлек Вас в это дело,— Вы сочтете мои слова беспомощной попыткой прикрыть такую нерешительность. И все же я говорю это, и я благодарю Вас за то, что, когда мое предложение было Вам передано, Вы не сразу его отвергли.

Упомянутая в начале акция объяснит Вам, почему я был вынужден попросить г-на д-ра Шефольда явиться ко мне в столь непонятный для Вас и кажущийся преждевременным срок.

То, что я вообще пригласил его к себе, оговорив, что для придания переговорам серьезности — серьезности с военной точки зрения — он должен быть послан ко мне через линию фронта, объясняется только одним: мне хотелось исключить всякое подозрение, будто я отношусь недостаточно серьезно к своему предложению. Или к своему отказу от него. Отказ — это лишь оборотная сторона моего предложения.

Преданный Вам

Йозеф Динклаге, майор».

Примечание I

* С этой частью письма, где он намекает на вмешательство Кэте в его план («О, если дело только в этом» — словно осуществить этот план проще всего на свете), Динклаге возился дольше всего. На листке бумаги он набрасывал фразы, в которых пытался объяснить Кимброу свое неверие в судьбу, например: «Хотя я придерживаюсь мнения, что все, что мы делаем, случайно, и считаю всякую веру в судьбу (это слово он передает английским словом «destiny», а не «fate») грубой иллюзией, все же есть события, ситуации, обстоятельства, когда говоришь себе...»; здесь мысль обрывается, он не может сформулировать, что же «говоришь себе», ибо вдруг понимает, что подтекст этой фразы может заставить его отказаться от своей позиции. И вот он оставляет лишь ту фразу, которая, как он сам прекрасно знает, философски слаба, ее легко опровергнуть. Кроме того, вообще бессмысленно посылать этому американцу философское сочинение, думает он и рвет листок.

Что сказала бы Кэте по поводу второй причины его отказа, он хорошо себе представляет.

«Если ты считаешь,— слышит он ее голос,— что какое-то событие может как произойти, так и не произойти, то дай ему произойти!» **

Примечание II

**«Человек — это прежде всего проект, который субъективно живет сам по себе; он — не пена, не гниль, не цветная капуста; нет ничего, что существовало бы до этого проекта; ничего нельзя прочитать на небесах; и человек будет прежде всего тем, чем ему велит быть его проект. Не тем, чем он захочет быть»[1].

Гарантия безопасности

— Жратва у вас опять такая — с души воротит!

Унтер-офицер из пищеблока только вытаращил на него глаза, словно онемел от такой наглости (он подаст об этом рапорт), но среди поваров был один, что за словом в карман не лез.

— В следующий раз надо будет как следует наплевать тебе в суп, ты, зануда гостиничная,— сказал он; конечно же, он рискнул сказать это только потому, что вообразил, будто он, Хуберт Райдель, уже снят с линии, как проржавелый автобус.

Райдель ничего не ответил, отвернулся, подозвал сосунка, у которого одалживал котелок и ложку, и сказал ему громко, чтобы все, кто стоял вокруг, могли слышать:

— Выплесни это дерьмо!

И пошел в сторону батальонной канцелярии, сопровождаемый взглядами собравшейся почти в полном составе роты — солдат и прочих воинских чинов.

Он снова снял автомат, аккуратно поставил его в угол, между стеной и шкафом, сел возле оружия на стул, на котором сидел до того,— на сей раз без разрешения, поскольку в канцелярии не было никого, кроме писаря в чине ефрейтора, и он мог устроиться поудобнее, не дожидаясь приглашения. (Но он не стал устраиваться поудобнее, сидел, ни на секунду не забывая о выправке, и смотрел прямо перед собой.)

Батальонный фельдфебель, эта штабная крыса,— Райдель не знал, как его фамилия (тот, кто не был прикомандирован к штабу, с батальоном не соприкасался), ах да, «Каммерер», так обращался к нему шеф,— этот Каммерер, стало быть, посоветовал ему выйти. «Вы отравляете воздух, обер-ефрейтор!»), но Райдель и не собирался выполнять его пожелание. Не хватало еще, чтобы он из-за этой задницы с галунами, из-за этого безмозглого типа прозевал момент, когда командир и тот неизвестный покончат со своими делами. Надо быть совсем уж чокнутым, чтобы не оказаться на месте, когда командир вызовет. Как будто он не знал, что ждать его не будут и заниматься поисками тоже не подумают! Первый попавшийся дежурный унтер-офицер мог бы сделать все за него и переправить этого типа через передовую. Тогда хана, конец надеждам отделаться в этой истории с Бореком дисциплинарным взысканием, может быть, даже одним только предупреждением (ибо командир по какой-то причине, которую Райдель не мог назвать, но прекрасно чувствовал, взял бы его под свое покровительство, если бы он проводил незнакомца — Райдель не мог сейчас вспомнить его имени — туда, где тот чуть не угодил под пулю). Тогда он бы радовался уже тому, что ему не пришили дело о самовольной отлучке с поста.

Шефольд его зовут. Доктор Шефольд — так было написано на той бумажонке, которую этот хлыщ сунул ему под нос там, наверху, на

[1] Цитата из книги Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм».

позициях, и так он назвался, когда пришел сюда. Райдель почувствовал облегчение, вспомнив имя. На тот случай, если когда-нибудь станут допрашивать о визите этого странного клиента к командиру, неплохо будет назвать его имя. Райдель не стал раздумывать, почему ему вдруг пришла в голову мысль, что его станут допрашивать,— слово *допрос* просто возникло в его сознании как звук, пока еще отдаленный. «Расскажите-ка нам по порядку, как все было, когда вы привели этого человека к майору Динклаге?» Он отчетливо *слышал* эту фразу.

«Доктор Шефольд». Как он произнес свое имя тем сытым тоном, какой был у постояльцев, когда они представлялись в вестибюле гостиницы. «Могу я попросить вас доложить обо мне господину майору Динклаге?» Тон был такой, как будто он разговаривал не со всемогущим батальонным фельдфебелем, а со швейцаром в дюссельдорфском отеле «Рейнишерхоф».

Сидя прямо, словно аршин проглотил, и глядя в одну точку, Райдель сосредоточенно обдумывал, не лишит ли его Шефольд шанса безупречно выполнить задание командира, непосредственно данное ему, маленькому обер-ефрейторишке. Но может быть, там, за дверью, на которой висит табличка с надписью «Командир», этот тип уже так основательно выпачкал его грязью, что ни о чем подобном не может быть и речи, и его вызовут туда в лучшем случае, чтобы дать взбучку, после чего ему останется только сматывать удочки и ждать, когда его передадут военно-полевому суду? (Предварительное заключение, ускоренный процесс, разжалование в рядовые, штрафная рота, до конца войны на хлебе и бурде в этих командах смертников; утешением не могло служить даже то, что так же плохо будет и Бореку, если удастся подставить и его.)

Если эта зараза расколется и скажет про пинок в задницу, то ему, Райделю, крышка. Тут его ничто не спасет. И в истории с Бореком ему хана, для них это будет последним доказательством того, что он склонен к насилию, агрессивен.

Он уже готовился к худшему. Он пойдет напролом, как танк. Не зря вояки придумали: не помрем, так крепче станем.

Кроме того, война вот-вот кончится. Пару недель он как-нибудь перетерпит. В России он убедился, что и в командах смертников можно жить неплохо.

Вошел фельдфебель, не обратив ни малейшего внимания на то, как он рывком поднялся, встал навытяжку. Райдель сел снова. Железного креста Первой степени у него нет, подумал он, а у меня есть. Зато у него аксельбанты, серебряные, почти такие же, как у швейцара в «Рейнишерхоф» в Дюссельдорфе.

Между двумя фразами: «Скоро здесь разыграются важные события» и «Это сообщение вы можете использовать» — фразами, вызвавшими у Шефольда острое желание расхохотаться, как он сообщил Хайнштоку (в том самом письме, которое не было написано),— Динклаге поднялся и дал понять, что их беседа окончена. Шефольд тоже встал. Он раздумывал, что бы сказать на прощанье. Надо поблагодарить майора за совет насчет пребывания в Хоммереса или, точнее, ухода оттуда.

— Одну минуту,— сказал Динклаге,— мне надо еще проинструктировать этого болвана.

Он взял свою палку, подошел хромая к двери, открыл ее и сказал:

— Каммерер, пусть войдет Райдель!

Шефольд невольно покачал головой. Этот Райдель сидел у майора перед носом — Шефольд видел его в дверную щель,— но Динклаге не обратился прямо к нему, а поручил ближайшему по званию третьему лицу позвать его. Военная иерархия состоит из перепоручений, и даже интеллигентному офицеру, командиру батальона и кавалеру Рыцарского креста, не пришло в голову нарушить эту систему.

Райдель уже стоял наготове, перекинув автомат через плечо, когда Каммерер мотнул головой в его сторону — вот так же мотнул головой Райдель, приказывая Шефольду подняться по ступенькам к командному пункту батальона, что безгранично возмутило Кэте, когда она это увидела.

Как он встал по стойке «смирно», этот человек! Он не то чтобы одеревенел, он напоминал окаменевшую рептилию, маленькую, серо-зеленую.

— Закройте дверь! — сказал майор.

Поворот кругом, намеренно беззвучный,—

в этом случае не щелкают каблуками, подумал Райдель, и снова поворот кругом, маленький солдат, глаза-буравчики глядят из-под каски, заляпанной для маскировки краской неопределенного цвета.

— Где вы получили Железный крест Первой степени, Райдель? — спросил Динклаге.

— В России, господин майор,— сказал Райдель.— За полсотню иванов.

Шефольду не видно было, что отразилось при этом на лице майора.

— Вы их считали? — услышал он голос Динклаге.

— Нам было приказано считать,— доложил Райдель.— Это контролировалось.

Фотографии лучших снайперов публиковались какое-то время в «Берлинер иллюстрирте», вспомнил Райдель. «Мне и здесь не везло. Я так и не попал в иллюстрированный журнал». Он с ожесточением подумал об унтер-офицере, чье фото, когда тот убил 75 человек, появилось на обложке.

— Как я слышал, вы плохо вели себя в отношении господина доктора Шефольда.

Ну вот, началось все-таки.

Он молчал. Отвечать он обязан только на вопросы.

— Это верно, что вы запрещали ему разговаривать и обзывали бранными словами?

И это все? Если не всплывет его пинок в задницу этого шпика, то все еще не так страшно.

— Я принял этого господина за шпиона, господин майор.

Это была единственно правильная тактика — не отпираться, не искать отговорок, а признать ошибку, что может вызвать понимание. А то, что солдат на передовой принял за шпиона человека, идущего с вражеской стороны, должно, безусловно, вызвать понимание.

Правдивый. Правдивый солдат, который не лжет своему начальнику. Подлость заключается в том, что он все еще считает меня шпионом, подумал Шефольд: «Я принял этого господина за шпиона». В этих словах не было ни малейшего признака того, что он отказывается от своих подозрений.

Заметил ли майор эту опасность?

Но Динклаге лишь сказал:
— Судя по всему, вы слишком много думаете, Райдель.

Значит, не очень-то всерьез он болтал тогда, в Дании, о том, что ему нужны думающие солдаты. Офицерский треп, больше ничего. Райдель никогда этого всерьез не принимал.

Но то, что он хотел, чтобы Райдель не думал, когда со стороны противника у самого его окопа появился человек,— вот это потрясающе. «Он, видно, считает меня чокнутым»,— мелькнуло в голове Райделя.

Он решил, что позднее надо будет как следует пораскинуть мозгами на этот счет. А сейчас важно лишь то, что пока никто и словом не обмолвился о том пинке. Так что почти наверняка майор понятия не имел, какой ужасающе глупый номер он, Райдель, выкинул, иначе ему бы первым делом ткнули под нос именно это, а не всякую ерунду, вроде того, что он сказал Шефольду, чтобы тот заткнулся, или назвал его задницей. «Наверняка я уже не стоял бы здесь, давно меня выдворили бы отсюда, если бы шеф знал, что я дал его гостю пинка под зад. Но почему он этого не знает,— спросил себя Райдель.— Ведь тот пожаловался на меня. Почему же он не рассказал все, чтобы как следует раздуть свою жалобу?»

Неподвижный взгляд Райделя был устремлен на командира, но это не мешало ему краешком глаза наблюдать за Шефольдом. Вполне возможно, что тот как раз и разворачивает свое тяжелое орудие. Может, свой козырной туз он выложит в самый последний момент?

Этот человек, видимо, страшно перепугался в связи с рапортом своего дружка, иначе он не решился бы явиться сюда вместе с Шефольдом. Неслыханная дерзость — ведь он обязан был ждать, пока явится дежурный унтер-офицер (что, правда, весьма задержало бы появление Шефольда в батальоне, так что в общем и целом это было счастье, что Шефольд наткнулся на него. Райдель исправил ошибку, которую совершил он, Динклаге, убрав с передовой вместе с новобранцами и унтер-офицеров).

Динклаге отвел Райделя в сторону. Райдель — один из моих людей, подумал он вопреки своей привычке избегать этой формулы, а служебные дела не касаются посторонних. Конечно, это было бесполезно: в этой комнате невозможно разговаривать так, чтобы кто-то третий не услышал. Но необходимо соблюсти форму. У Райделя не должно создаться впечатление, что помимо своего командира он держит ответ еще перед кем-то, к тому же перед штатским.

— Вы хотите загладить свою вину,— сказал Динклаге вполголоса.— Только не думайте, что я не понимаю, почему вы, вопреки инструкциям, покинули свой пост и привели господина доктора Шефольда прямо ко мне. Вы не могли знать, что в порядке исключения действовали правильно. Или, возможно, вы это знали. Появление господина доктора Шефольда было для вас очень кстати. Он дал вам возможность выгодно обратить на себя внимание. А ведь вы именно этого хотели, Райдель, не так ли? У вас есть все основания стараться предстать передо мной в лучшем свете. Ради этого вы даже нарушили главную заповедь солдата: не привлекать к себе внимания. Вы уже привлекли к себе внимание, притом с безобразнейшей стороны, Райдель, это я должен сказать вам прямо, и вы, не задумы-

ваясь, снова решили привлечь к себе внимание, раз этим можно улучшить свое положение. Во всяком случае, вы именно это вбили себе в голову. Так ведь, Райдель?

Если бы он знал, подумал Райдель, что я чуть не кокнул его господина доктора Шефольда.

Но в остальном командир этот — сила!

Только он, Райдель, не может доставить ему удовольствие и ответить: «Так точно, господин майор!» — потому что тогда он просто-напросто признает факты, содержащиеся в рапорте «Борек против Райделя». А об этом не может быть и речи. Против этого рапорта он должен защищаться зубами и ногтями. Он сам не знал почему. Он даже не задавал себе такого вопроса. Ему достаточно было сказать: «Так точно, господин майор!» — и он почти наверняка выпутался бы из этой свинской истории, которая только докучала майору. Но об этом не могло быть и речи.

По делу Борека надо было врать. В упор, стоя и лежа, в любом положении, не считаясь с потерями. Играть в искренность на сей раз смысла не имело.

— Господин майор, разрешите доложить!

— Я жду,— сказал Динклаге.

— Борек лжет,— сказал Райдель.— В рапорте Борека нет ни слова правды. Рядовой Борек — враг отечества. Своим рапортом он хотел только опередить мой рапорт относительно его высказываний против нашего государства.

Он произнес это громко, своим каркающим голосом — так же, как недавно в канцелярии. Он и не подумал воспользоваться возможностью, которую предоставлял ему командир: чтобы все это дело, во всяком случае формально, осталось между ним и майором.

Он заметил, как незнакомец отступил на шаг, и от него не ускользнуло, как судорожно сжалась рука, которой Динклаге держал свою палку. Пальцы на сгибах даже побелели.

«Значит, он не только человек, внушающий ужас,— подумал Шефольд,— он еще и настоящий нацистский солдат. Я попал в руки нацистского солдата.

Что же здесь, собственно, происходит,— размышлял он.— Почему тот, другой, солдат, которому я симпатизирую, ибо он враг отечества, подал рапорт на это чудовище?» Динклаге сказал, что у Райделя рыльце в пушку, но речь идет и не о военном и не об уголовном проступке (политический исключался после всего, что он здесь слышал). Что же, черт побери, происходит?

«Я не доверил бы вашу судьбу преступнику». Был ли Динклаге все еще в этом уверен?

Рука разжалась.

— Может быть, вы этого и не заслуживаете, Райдель,— сказал Динклаге,— но я готов пропустить мимо ушей то, что вы сейчас сказали.

Благородно. Подозрительно благородно. Ведь он как-никак доложил, что рядовой Борек допускал высказывания против государства. Это еще вопрос, может ли майор вермахта позволить себе пропу-

стить мимо ушей такое донесение. Но уже следующая фраза показала, что шеф идет по горячему следу.

— Райдель,— спросил Динклаге,— вы пытались шантажировать Борека, услышав его высказывания?

Подло. Сперва благородно, а потом так подло, что дальше некуда. Вот такие они все.

На антигосударственные высказывания Борека ему наплевать. Он использовал их только в целях самообороны.

Райдель смотрел на майора не опуская глаз. На это он ему ничего не ответит. Такие вопросы может задавать только военно-полевой суд.

Шантажировать? Значит, речь шла о деньгах? Этого не может быть, потому что тогда было бы уголовное дело, а майор категорически это отрицает.

История с Райделем становилась все более темной.

— Ну, хорошо, оставим это,— сказал Динклаге.— Итак, я ошибся. Вы вовсе не собирались заглаживать какую-то свою вину. Но тогда объясните мне, почему вы сочли сегодня необходимым отлучиться с поста и привести ко мне господина доктора Шефольда? Вы хотели заслужить награду, хотя она вам совершенно не нужна, ибо у вас совесть чиста, не так ли, обер-ефрейтор?

Он шел по горячему следу, да, он сила, этот хромой кавалер Рыцарского креста, и теперь главное — молчать в тряпочку. Сохраняя молчание, Райдель понял, что он все поставил на карту. Если бы он уступил, задание отвести назад этого Шефольда было бы ему обеспечено. А теперь — вилами по воде писано.

Он решил сделать уступку, изобразив легкое смущение во взгляде. Это ему не удалось. Его глаза были для этого попросту не приспособлены. Они были светло-карие, почти желтые и такие зоркие, что зрачок по существу не сужался, фиксируя какой-то объект. Светло-карие, желтые, острые, как буравчики, неподвижные глаза Райделя пристально смотрели на Динклаге. В них не было и следа смущения. Безжалостный взгляд птичьих глаз, лишенных ресниц. Почти желтых.

— Господин доктор Шефольд находится под моей защитой,— сказал Динклаге.— Вы отведете его теперь туда, где его встретили. Надеюсь, что по дороге вы будете обходиться с ним самым корректным образом. Вам понятно?

Значит, выгорело. Отлично!

— Слушаюсь (Сл-л-лушаюсь), господин майор!

Если этот парень ничего не сказал о пинке и ничего не скажет, то, пожалуй, с ним стоит обходиться прилично.

— Если вы выполните приказ как надо, я потом поговорю с вашим Бореком и попытаюсь убедить его забрать рапорт. При условии, что вы этого хотите. Вы этого хотите, Райдель?

— Так точно, господин майор!

Ему явно очень важно не только, чтобы гость был доставлен в целости и сохранности — куда, собственно? На ту сторону? К противнику? Странно, очень странно! — но и чтобы не был дан ход всей

этой писанине про гомосексуализм и антигосударственные высказывания.

— Стало быть, вы не придаете большого значения своему рапорту на Борека?

Осторожно! Ни в коем случае не признаваться до конца, иначе тебе не поверят, а Бореку поверят.

— Я вовсе не желаю делать Бореку неприятности, господин майор,— сказал он.

Если несколько минут назад, когда он им все выложил про Борека, он буквально почувствовал, как они затаили дыхание, то теперь от него не укрылось, что они вздохнули с облегчением. Он готов был пощадить врага государства — это очко в его пользу. Хоть и крошечное, но он видел это по их лицам.

— Ага,— сказал Динклаге,— я так и думал. Значит, я не совсем ошибался.

Голос его звучал теперь дружелюбнее. И он не стал объяснять, почему «не совсем ошибался». Но потом майор выдал одну штуку, которую он, Райдель, ему никогда не забудет.

— Только не воображайте, Райдель, что я собираюсь поговорить с вашим Бореком, чтобы доставить вам удовольствие,— сказал майор.— Я сделаю это прежде всего, чтобы помочь этому парню.

Значит, врагам государства нужно помогать, а педерастам — нет. Собственно, он не так-то уж и рвался узнать все это. Теперь он это знал. Майор Динклаге сообщил ему. Хотелось бы надеяться, что он сумеет ему за это отплатить.

К тому же майор совершил ошибку.

Если он думал лишь о том, чтобы помочь рядовому Бореку, достаточно было вызвать его к себе и уговорить забрать рапорт. Тот не стал бы сопротивляться. («Я сожалею, что написал этот рапорт. Правда, очень сожалею!»)

Зачем в таком случае ему, Райделю, надо зарабатывать награду, переправляя этого неизвестного через линию фронта,— вообще непонятно.

Но именно вокруг этого все крутилось, и к Бореку это не имело ни малейшего отношения.

Просто у майора Динклаге какой-то свой расчет, чтобы он, оберефрейтор Райдель, вообразил, будто должен первым делом завоевать его расположение.

Но тогда не надо болтать, что он только о том и печется, как бы помочь Бореку.

Шеф совершил большую ошибку.

Ну, да ладно. Он не мог пока разобраться, почему майор так хотел убедить его, что он, Райдель, ему бог знает как обязан. Главное, что все это здорово прокручено. Все получилось именно так, как он рассчитал еще там, на откосе, и по дороге в деревню. «В виде исключения он действовал правильно». И вот получил задание отвести обратно этого типа, к тому же не отступил со своих позиций ни на сантиметр. Историю с рапортом «Борек против Райделя» они теперь спустят на тормозах и еще будут рады, что он не откалывает никаких номеров, а ведет себя тихо и им не мешает.

«Я упустил все, ну, буквально все возможности отвязаться от этого страшного человека. Даже когда майор упрекнул его за то, что он оскорблял меня, я еще имел возможность сказать про пинок. Или когда эта гадюка прошипела, что приняла меня за шпиона. Но потом вдруг все возможности исчезли. Между майором и этим солдатом происходило что-то, во что мне уже не позволено было вмешиваться. Уже было слишком поздно. Ведь каждому инструменту положено вступать в какой-то определенный момент. Я этот момент упустил.

Ах, да что там,— думал Шефольд,— все это оттоворки! Мне следовало грубо вмешаться. Когда речь идет о вещах невыносимых, можно ни с чем не считаться. Решительно и безапелляционно я должен был возразить против того, чтобы этот субъект меня сопровождал».

Но столь же невыносима для Шефольда была мысль, что он еще и сейчас мог пустить в ход аргумент, который помешал бы обер-ефрейтору Райделю стать его провожатым. Хорошее воспитание (воспитание в доме образованного немецкого бюргера) и чувство формы (чувство, побудившее его заняться изучением истории искусств) сыграли с ним злую шутку. Они были сильнее, чем страх. И дело не в том, что они не позволили ему показать свой страх. Они, может быть, и позволили, но когда для этого было уже слишком поздно, когда было упущено время.

Динклаге окончил разговор. Он вышел первым в канцелярию. Райдель сразу последовал за ним. Шефольд вышел только тогда, когда понял, что на этом все кончено.

Майор, кажется, был недоволен собой. Он еще не понимал, что Райдель сказал себе: дело с рапортом утрясется без особых усилий с его, Райделя, стороны.

Свое недовольство он объяснял оскорблением, которое нанес Райделю. «Это была ненужная жестокость,— подумал он,— сказать ему в лицо, что я больше заинтересован в том, чтобы выручить из беды этого Борека, чем его. К тому же это не так. Я был абсолютно готов помочь и ему. Доносам по поводу гомосексуализма я вообще не намерен давать ход».

Он обратился к Каммереру.

— Обер-ефрейтор Райдель потом вернется и доложит вам о выполнении приказа, который я ему дал.

Инструкция касалась прежде всего слушавшего ее Райделя.

— Есть, господин майор,— сказал Каммерер.

Маскировать все это было не только не нужно, но и неправильно. Это хорошо понимал тот самый Хайнштоk, когда посоветовал спокойно упомянуть про Хеммерес.

— Райделю дано поручение переправить через передовую господина доктора Шефольда. Господин доктор Шефольд живет в Хеммересе.

— Есть, господин майор.

Каммерер успел найти на карте этот Хеммерес, где жил самовольно доставленный Райделем человек (как сообщил этот человек и теперь подтвердил майор). Странно. Может, действительно это связано с разведкой. Больше Каммерер на этот счет не задумывался. Майор сам объяснит ему, что к чему.

Вот так, запросто, как будто между прочим, упомянуть о Хеммересе — в этом и заключался трюк. Но с ним, Райделем, такие штуки не проходят.

Только бы ему оказаться, наконец, в своем окопе, чтобы как следует поразмыслить об этой подозрительной истории.

Он надеялся, что, несмотря на уже происшедшую смену часовых, в его окопе никого нет. А если есть, он его за ноль целых ноль десятых секунды выставит оттуда. Пустых ям сколько угодно, потому что и к вечеру на передовой будет мало народу — раз новобранцев освободили от караульной службы.

Его самого этот знатный господин своим заданием переправить хлыща за линию обороны практически приговорил ко второй смене в карауле. Но ему от этого ни жарко ни холодно. Напротив. Он и не подумает вернуться, как письмо с обратной почтой, в канцелярию, чтобы доложить, что выполнил приказ. Первым делом он залезет в свой окоп и подумает над тем, что, собственно, произошло.

Теперь у меня уже нет возможности поблагодарить его за то, что он посоветовал мне покинуть Хеммерес. Теперь уже ни на что не остается времени. Почему майор не нашел, не отослал этого человека и не объяснил мне все, что с ним связано? Это дало бы мне последнюю возможность заявить решительный протест.

Он снова перекинул плащ через плечо, нащупав при этом письмо, которое сунул в боковой карман пиджака. Конверт, вспомнил он, был без адреса и заклеен.

— Желаю вам благополучно добраться до Хеммереса, господин доктор! — сказал майор и пожал ему руку.

Шефольд должен был что-то ответить. Он предпочел бы уйти молча. Но это было невозможно из-за устремленных на него взглядов.

— Прощайте, господин майор,— сказал он.— И большое спасибо за гостеприимство.

— Пустяки,— сказал Динклаге.— Прошу прощенья за еду, она была чудовищная.— И повернувшись к штабс-фельдфебелю, сказал: — Каммерер, я полагаю, настало время вам заняться кухней.

Шефольд вынудил себя улыбнуться. Они разыграли спокойное, беззаботное прощанье.

Этот Райдель снова распахнул перед ним дверь, снова пропустил его вперед, но на сей раз совсем по-другому — не так, как недавно, когда они сюда пришли; он проявил даже нечто вроде вежливости, хотя и не совсем такой, как по отношению к майору; но все же он чуть-чуть подобрался, как и положено по отношению к штатскому, с которым приказано обращаться *самым корректным образом*, притом на глазах у того, кто отдал этот приказ.

Так открывают дверь перед *постояльцем* в ожидании чаевых.

Когда они ушли, Динклаге посмотрел на часы.

— Половина второго,— сказал он.— Можете теперь передать в роты приказ о выступлении, Каммерер. Через двенадцать часов батальон должен быть готов к маршу. Уже известно, когда прибудут машины?

— Полк обещал прислать их в двадцать часов, господин майор.

— Ну, тогда считайте, что они придут не раньше двадцати двух часов. Часовым, конечно, оставаться на передовой, пока их не сменят люди из новой части. В остальном все ясно?

— Все ясно, господин майор. Короткие же у нас здесь были гастроли.

— Радуйтесь этому, Каммерер! Я предполагаю, что здесь не будет ничего хорошего.— Он направился к двери.— Пошлите мне денщика наверх! — сказал он.— Пусть поможет уложить вещи.

Когда он ушел, все, кто находился в канцелярии батальона, переглянулись с довольным видом. Командир у них — что надо. Хоть он и кавалер Рыцарского креста, а не делает тайны из того, что, как и они, рад покинуть эти места, где, судя по всему, не предстоит ничего хорошего.

Пока денщик не появился, Динклаге лег на койку и стал смотреть в потолок.

Кэте, как они условились, должна прийти к нему, чтобы справиться, чем закончился разговор с Шефольдом,— не сразу, а позднее, ближе к вечеру. Об этом он попросил ее, делая вид, что заботится о камуфляже, а на самом деле чтобы выиграть время. Он хотел, чтобы она, прежде чем прийти сюда, прочитала его письмо. Он собирался послать к ней ординарца с письмом, как только упакуют ящики, на что потребуется не более получаса. Из письма она поймет все про Шефольда и операцию, так что, когда она придет к нему, ей останется только сообщить, согласна ли она (или отказывается) поехать на Эмс. Если она примет его предложение, он даст ей короткую записку к своим родителям.

Рассматривая потолок, он думал: в двадцать два часа машины, смена, новая часть, СС (тут уж не обойтись без «немецкого приветствия»), выступление среди ночи. Конец операции. «О, если дело только в этом!» (Ах, Кэте!) Что осталось от операции? Ничего, кроме этого мягкого человека, симпатичного искусствоведа, безусловно, эстета, который сейчас, в сопровождении исключительно несимпатичного парня, эдакого низкорослого дьявола, шел по дороге и потом через холмы.

Кэте. Винтерспельт. Кэте.
Она поедет не на Эмс, а в Линкольншир.

Сегодня обед приготовила Тереза, потому что Кэте слишком поздно вернулась из каменоломни, они уже обедали, и Кэте села за стол так, чтобы видеть дом напротив, потом она вышла во двор, разложила мокрые полотенца на скамье, стоявшей у входа, соломенной метлой подмела камни у порога. Когда в дверях командного пункта батальона один за другим появились Шефольд и солдат, который его привел, и спустились по ступенькам на улицу, она быстро отошла в узкую полосу тени. Жилые строения находились в восточной части двора, и в два часа пополудни там уже лежала тень, узкая, но такая темная полоса, что наверняка скрыла Кэте.

Она сразу же почувствовала беспокойство, увидев, что тот самый солдат, который тогда так отвратительно мотнул головой — она еще мысленно назвала его «страшным типом»,— сопровождает Шефольда и в обратный путь. Йозеф Динклаге просил, чтобы она выждала час, прежде чем прийти к нему, но она решила пойти сразу же, как только кончится его беседа с Шефольдом, и, объяснив значение этого быстрого кивка головой слева направо и вверх, сказать, что ни в коем случае нельзя подвергать такой опасности Шефольда. Неужели Динклаге, пленник своего военного мышления, системы приказов и повиновения — *структуры*, подумала Кэте,— так плохо разбирается в людях, что не обратил внимания на устрашающую сущность этого человека? Возможно — от военной системы этого вполне можно ожидать,— Динклаге и не видел его, этого безымянного солдата, который все это время сидел в приемной и ждал, пока

какой-нибудь писарь не приказал ему отвести Шефольда туда, где он с ним встретился.

И все же, когда Шефольда вели в штаб, все разыгрывалось, по-видимому, не совсем так, ибо, судя по всему, в отношениях между этими двумя людьми что-то изменилось. Теперь уже не только исчез язык жестов, выражавший понукание, немое терроризирование; вместо этого появилось нечто, напоминающее скорее готовность приспособиться. Да, было отчетливо видно, что солдат теперь приспосабливался к походке, к манерам Шефольда. Шефольд между тем совершил нечто, по ее мнению, невероятное. Пройдя несколько шагов, он вдруг остановился, судя по всему, совершенно беззаботно порылся в кармане пиджака, вынул пачку сигарет и, поднеся зажигалку ко рту, закурил. Солдат тоже остановился, не стал ему выговаривать, а ждал, пока Шефольд двинется снова, при этом он не смотрел, как Шефольд закуривает, кажется, он, наоборот, отвернулся. Удивительно! Об этой перемене в отношениях при приходе и уходе надо обязательно рассказать Хайнштоку, когда он появится здесь, чтобы узнать, все ли в порядке.

Усадьба Телена была угловой. Оба человека, большой, грузный, с плавными движениями, хотя и выглядевший словно поверженный властелин, но уже не казавшийся столь беззащитным, как два часа назад, и маленький, жилистый, устрашающий, вынужденно вежливый, скрылись из виду за пристройкой к сараю. Кэте сняла очки и прислонилась к чисто выбеленной стене дома, где ей предстояло прожить еще несколько часов. Двор с его навозной кучей, деревенская улица, полугородской безликий дом напротив, несколько деревьев — все это превратилось в расплывчатое нагромождение белых, серых, коричневых, зеленых или ржаво-красных пятен. Не было никакой необходимости идти к Йозефу Динклаге и что-то ему объяснять, движение головы и прочее. Винтерспельта больше не существовало. Только это переплетение неясно очерченных цветовых пятен.

Он подумал, не предложить ли сигарету этому, как его, Райделю, да, именно так, Райделю. В памяти возникло выражение «выкурить трубку мира».

Ах, да что там, сказал он себе, это не игра в индейцев. Он убрал пачку. Вспомнив предостережения Хайнштока, он, как и тогда в канцелярии, прикрыл сигарету ладонью.

(Шефольд не знал, что немецким солдатам, в отличие от американских, запрещалось курить не только на посту, но и на улице.)

Теперь этот тип еще остановился и закурил сигарету! И нельзя ему запретить! Малейшая ошибка — и он повернется, пойдет в канцелярию и потребует, чтобы его сопровождал кто-нибудь другой. «А ну, поторапливайся, здесь не курят!» Нет, нельзя подливать масла в огонь.

Постоялец в отеле предложил бы ему сигарету. Но, конечно, лишь в том случае, если бы с ним обращались не так, как с этим типом.

Райдель не был заядлым курильщиком. Он выкуривал свой рацион, эту солому, которую им выдавали, но не страдал, когда курева не было.

Он представил себе, как вынул бы сигарету из протянутой ему пачки, но не стал бы прятать ее в нагрудном кармане (что было ему разрешено, зато курить ее тут же он не имел права), а бросил бы на глазах у этого типа на дорогу.

Жаль, что он упустил такую возможность. Этот гость ему такого шанса не даст.

Лучше всего остановиться и не смотреть в его сторону.

Искусство состояло в том, чтобы не смотреть и все же определить, что тот курит сигарету фабричного производства. Где, интересно, он такие берет? Если он шпион, тогда все объясняется просто. Но если он не шпион, то, видно, располагает немалым количеством витамина «С» — связями.

Какие могут быть связи у человека, живущего в Хеммересе?

Шефольд двинулся дальше. Он хотел было идти медленно, чтобы разозлить своего провожатого, но скоро отказался от этого намерения. Чем медленнее он будет идти, тем дольше он от него не избавится. А весь этот день Шефольд думал об одном — о том моменте, когда он избавится от Райделя.

И все же он остановился, когда они проходили мимо крыльца дома, на ступеньках которого недавно, около двенадцати, играли, нападали друг на друга, обнимались мягкими лапками два котенка— черно-серый в полоску и светло-рыжий.

Он огляделся и сказал:

— О, как жаль, их уже нет!

Ответа он не получил, но увидел, что Райдель жалеет об исчезновении котят. Это подтверждалось хотя бы тем, что он не глядел равнодушно или нетерпеливо в другую сторону, а, как и Шефольд, искал взглядом животных.

«Два маленьких котенка — и он становится человечнее,— подумал Шефольд.— Ну что ж, это уже кое-что».

Возле усадьбы Мерфорта стояло несколько типов из его роты. Они сразу же перестали молоть языком, когда увидели, что он идет по улице со штатским. Дошло, видно, до них, что тот, кто идет прямо из батальона и выполняет задание штаба, еще не полностью выпал из игры? Ни один из этих паскуд не решился крикнуть ему что-нибудь. Стояли себе и глазели как последние идиоты.

Солдаты в деревнях. В Маспельте. В Винтерспельте. Какими будут эти деревни, когда в них не останется ни одного солдата? Будут ли они напоминать тогда сезанновские пейзажи или кубики из известняка и мха, как у Алберта ван Ауватера, лишенные отпечатка времени? Пока же через них шла история, истории, события. Покинутые солдатами деревни обходились без слов. Они являли собой картины, немые картины.

Но может случиться и так, что после ухода солдат Маспельт и Винтерспельт вовсе не станут живописными полотнами, во всяком случае не будут напоминать картины Сезанна или Ауватера, а превратятся в пустыню или в ландшафт с руинами в стиле Альтдорфера.

Какое чудо, что он видел Маспельт и Винтерспельт еще почти невредимыми! Кое-где царапины, небольшие ранки, шрамы, но ничего, что всерьез нарушило бы их жизнь. А ведь здесь противостояли друг другу две гигантские армии. (Нет, даже не армии, а всего лишь рота Кимброу и батальон Динклаге.) Просто невозможно поверить, что вместо Маспельта и Винтерспельта с лица земли исчез большой город Франкфурт, далеко в тылу. Наверное, отец преувеличивал.

Он уже не мог справиться с собой, дождаться, когда снова окажется в своем окопе, чтобы разложить наконец все по полочкам, разобраться как следует в паршивой истории, в которую он влип.

Ясно было одно: майор хотел помочь ему, потому что он помог майору.

Рука руку моет.

Но почему было так необходимо, чтобы одна рука мыла другую? В этом вся загвоздка, из этого и надо исходить.

Забегая вперед, сформулируем результаты напряженных раздумий Райделя: он до самого конца так и не сумел взять в толк, почему майор Динклаге считал, что должен ему помочь. Динклаге думал о благополучии Шефольда и предполагал, что Райдель, оказавшись в затруднительном положении, сделает все, буквально все, чтобы безупречно выполнить порученное ему задание. Счастливый случай, так сказать,— Динклаге не мог уяснить себе, почему Шефольд этого не понимает. Он сразу сообразил, что с Райделем Шефольду не грозит никакой опасности.

Он так и не осознал, что допустил ошибку, сказав Райделю, что стремится прежде всего помочь Бореку.

Райдель думал четче, чем он: если майор хочет помочь не ему, а Бореку, то достаточно заставить того забрать свой рапорт. Тогда с этой историей будет покончено и нет ни малейших причин рассчитывать на его, Райделя, услуги. Доставить Шефольда на передовую мог любой другой.

Необдуманные слова Динклаге, сказанные в порыве неприязни к Райделю, помешали Райделю понять, почему майор упрямо настаивал на том, что он, и никто другой, наиболее подходящий человек для столь секретного дела.

Едва он подумал о Франкфурте, на него нахлынули воспоминания — словно слетели с ясного, лишь местами подернутого легкой дымкой неба; он вспомнил последний разговор с родителями.

Телефонная кабина на почте в Прюме. Где-то на шоссе под Хабшайдом торговец скотом Хаммес вдруг остановил свой автомобиль и спросил: «Подвезти вас, господин Шефольд?» Это было, когда майор Динклаге еще не превратил главную полосу обороны в зону молчания. Тогда Шефольд еще мог почти свободно расхаживать повсюду, какое-то время это была территория, принадлежавшая немцам, по ней проходила линия фронта, очертания которой все время менялись, были неопределенными. Только в сентябре началось это окостенение, и Хайнштоk сразу же настойчиво рекомендовал ему ограничиться — если уж ему так необходимо разгуливать — дорогой, ведущей через долину Ирена.

«Да нет, спасибо»,— ответил он.

«Я еду в Прюм,— сказал Хаммес.— У вас есть время? Хотите проехаться?»

Он тут же сел в машину. Добраться до Прюма — о такой прогулке по Германии можно было только мечтать. Во время поездки у него вдруг возникла идея позвонить из Прюма родителям. (Он мог бы позвонить им из любой деревенской гостиницы. Но это никогда не приходило ему в голову. Для этого нужен был Прюм, нужно было представить себе здание почты.)

Маленький серый городок в глубокой лесистой долине. На улицах совсем мало людей, Прюм почти вымер, но почта еще работала.

Он подошел к окошку, заказал междугородный разговор с Франкфуртом, за семь лет он не забыл номер: 27511; оказалось, что номер не изменился.

— Франкфурт на проводе!

Он вошел в кабину, закрыл за собой дверь, снял трубку. Маленькая серая кабина в маленьком сером городке. В Германии.

10 июля 1944 года. Дата, которую легко запомнить, день, когда он впервые за семь лет снова говорил по телефону со своими родителями.

— Кто это?

Голос отца.

— Это я, Бруно.

— Где ты?

Никакой паузы, никакого удивления, ни малейшего признака, что от неожиданности он не может прийти в себя.

— В Прюме. В Эйфеле.

— Что ты там делаешь?

Сухие вопросы. Такой уж он человек. Его отец, член суда низшей инстанции, офицер резерва, кавалер Железного креста I степени, полученного в первую мировую войну, никогда не позволял себе проявлять эмоции.

А возможно, он был просто осторожен. Разговор могли подслушивать.

— Собственно говоря, ничего, отец.

— Почему ты не остался за границей?

Он словно допрашивал обвиняемого.

— Как ты поживаешь, отец? Как мать?

— Спасибо, мы здоровы.

— Отец, я так рад, что скоро снова буду с вами.

— Да. Мы тоже рады встрече с тобой.

Хоть бы он добавил: «Бруно»!

— Я совершенно не могу себе представить, каково это — снова жить во Франкфурте.

— Ради Франкфурта ты можешь не возвращаться. Франкфурта больше нет.

Значит, вот в чем дело? Возможно, отец не в состоянии думать ни о чем другом, кроме того, что Франкфурт разрушен в этой войне? Наверное, они пережили что-то ужасное.

Он подумал, как лучше ответить. Правильно ли сказать: «Мы восстановим Франкфурт»? Нет, это было бы не то.

Он вспомнил, что его отец имел обыкновение говорить: «Оптимизм — это просто синоним глупости». Его отец высоко чтил Гёте, но его любимым писателем был Шопенгауэр. (В вопросах литературы он тоже был патриотом родных мест.)

Вдруг отец забыл про всякую осторожность.

— Если ты болтаешься там в Эйфеле только потому,— сказал он,— что не можешь дождаться возвращения в Германию, то это очень глупо с твоей стороны, Бруно. Ты уже не найдешь Германии. Германии больше нет.

Ах, наконец: «Бруно»!

Он был избавлен от ответа, потому что на другом конце провода вдруг послышался шепот, шушуканье. Трубку взяла мать.

— Мальчик,— сказала она,— не слушай его. Твой отец просто ожесточен.

— Мама!

— Надеюсь, ты соблюдаешь осторожность, мальчик?

— Да, да, мама, не беспокойся.

— Ах, как я рада слышать твой голос, Бруно!

— Смотрите хорошенько друг за другом, мама! Я хочу увидеть вас в добром здравии, через несколько недель.

— Ты думаешь, это будет так скоро, Бруно?

— Скорее, чем все мы думаем.

— Это было бы прекрасно, Бруно.

Выходя из кабины, он улыбался. Он был взрослый мужчина сорока четырех лет, такой крупный и грузный, что в телефонной будке его охватил страх перед замкнутым пространством. Но он не был взрослым: на самом деле он был ребенком.

Ему крупно подвезло, что я его не пристрелил.

Да и мне тоже. Представить невозможно, как бы со мной разделался майор, если бы я прикончил этого типа.

Все же варит котелок. Вовремя сообразил: если он шпион, можешь заработать орден, Хуберт Райдель! Доведи его только живого до места! «Дело ясное»,— подумал я.

Дерьмо. Не думал он ни о чем похожем. Это он сейчас выпендривается перед самим собой. В штаны наложил от страха. О рапорте «Борек против Райделя» — вот о чем он подумал. О том, что влип бы еще в одну историю, если бы не сумел образцово справиться с происшествием на посту, а дал волю своей страсти палить из винтовки. И тихо надеялся, что избавится от дополнительной неприятности, если по инструкции (или не совсем по инструкции) доставит на место этого человека, так внезапно появившегося там наверху, под соснами.

Особенно если выяснится, что он шпик. Ведь вполне естественно — увидев человека, появившегося на передовой со стороны противника, подумать, что это вряд ли случайный прохожий. «Судя по всему, вы слишком много думаете, Райдель!»

Как на это поглядеть?

И все же, пожалуй, это была ошибка из ошибок, потому что ведь такого быть не может, чтобы командир якшался со шпиками. Да это просто невозможно. Говорят, что и среди офицеров бывают предатели, но так открыто они этим наверняка не занимаются. Командир должен был совсем уж спятить, чтобы встречаться с вражеским шпионом у себя в канцелярии. И вообще провалиться ему на этом месте, если майор Динклаге — предатель.

А может, все наоборот? Может, этот Шефольд — немецкий разведчик? («Наш разведчик», — подумал Райдель.) Но и это невероятно. Для разведчиков штатских есть специальная система инстанций и командных пунктов, действовавшая строго секретно и без контакта с частями действующей армии. Не будут же наши средь бела дня посылать разведчика через собственные окопы! И не станет он появляться на командном пункте батальона. Разве только его отзывают, потому что он примелькался и больше не может оставаться на той стороне? Но ведь этот-то возвращался назад средь бела дня через собственную линию обороны! Разве такое бывает?

Значит, верить тому, что было в письме, которое ему показал этот парень?

«Д-р Бруно Шефольд. Памятники искусства».

Со смеху сдохнешь!

Все не то. Единственное, за что можно зацепиться, это несколько фраз, но и они становятся все более необъяснимыми, чем дольше о них думаешь.

«У меня назначена встреча с командиром вашего батальона, майором Динклаге». «Ваш майор — кавалер Рыцарского креста». «Господин доктор Шефольд, не так ли? Рад с вами познакомиться».

Как они могли договориться о встрече (если он не был ни вражеским шпионом, ни немецким разведчиком)? Как Шефольд узнал, какие ордена у шефа? Откуда они знали друг друга по фамилии, если между ними — линия фронта?

И что, собственно, было командиру обсуждать с человеком, который появился на передовой со стороны противника?

Фельдфебелю этот Шефольд сказал: «Я живу в Хеммересе. Могу я просить вас доложить обо мне господину майору Динклаге!»

Хеммерес отрезан, находится на ничейной земле, никто из нас никогда не ступал на эту землю; как же это получается?

Держи ушки на макушке!

В Институте Штеделя он занимал всего лишь должность ассистента, хотя ему тогда было уже 37 лет, но научных сотрудников в институте насчитывалось всего пять, а места хранителя и главного хранителя музея уже давно были заняты.

У Хольцингера он числился на хорошем счету, с тех пор как предложил убрать таблички с надписями возле картин.

— Это только отвлекает,— сказал он.— Когда люди читают название картины, имя художника, годы жизни, они уже не видят картины, а размышляют об истории искусств.

Хольцингер с интересом посмотрел на него и спросил:

— Вы думаете, это неважно — узнать, что был такой человек по имени Адам Эльсхаймер?

Эльсхаймер был любимый художник Хольцингера.

— Если я влюблен в манеру Эльсхаймера, в то, как он изображает ночь, как решает проблему темноты, то я заинтересуюсь и тем, как зовут этого художника,— сказал Шефольд.— Тогда я, возможно, постараюсь выяснить, что он заимствовал у Караваджо и как повлиял на Клода, может быть, даже на Рембрандта. И узнаю, что этот сумеречный блеск, который умеет создавать только он, происходит оттого, что он писал на меди. Но для этого ведь существуют каталоги, книги.

Шефольд вспомнил разговор с Хольцингером, и ему показалось, что он снова очутился во Франкфурте.

Кстати, разговор этот происходил, по-видимому, тогда, когда Макс Бекман еще преподавал в Штеделевской художественной школе во Франкфурте, то есть до 33 года. Позднее Хольцингер уже не мог бы говорить о табличках возле картин Бекмана. Ибо со стен были сняты не только таблички, но и сами картины. Хольцингер превратился в молчаливого, замкнутого человека, а Бекман эмигрировал, как и он, Шефольд, только тремя годами раньше.

Когда Шефольд в один из апрельских дней 1937 года пошел в хранилище, чтобы отыскать Клее, он увидел на полках и картины Бекмана. Добавить к Клее еще и Бекмана он не мог. Вот теперь Бекману мстили большие форматы его картин — их нельзя было спасти!

Месяц спустя Шефольд прочитал в одной брюссельской газете, что картины Бекмана, и Нольде, и Кирхнера, и Кокошки, и Файнингера, и, кстати, Клее из немецких музеев продаются с молотка в Швейцарии. Вот, значит, о чем шла речь в той бумаге из Берлина, где Институту Штеделя предписывалось такие-то и такие-то картины — список прилагался — приготовить к такому-то числу для вывоза! А

они думали, считали неизбежным, что картины будут уничтожены! Хольцингер несколько дней не приходил в музей, заперся дома, ни с кем не желал разговаривать. Но нацисты не уничтожили картины, а продали их с аукциона! Это было ужасно, однако вообще-то говоря, не причина считать, что произошла трагедия, уходить в себя, думать о конце мира. В один прекрасный день немецкие музеи снова скупят эти картины; Шефольд мысленно потирал со злорадством руки — суммы, которые придется выплачивать, приведут не одно городское управление на грань банкротства! Придется, как никогда, клянчить у меценатов!

Но потом он вдруг вскочил со стула уличного кафе на бульваре Анспа, поспешно расплатился и ушел, потому что не мог больше выдержать, не мог сидеть, внезапно поняв, что означало это известие для него, Шефольда. Не было необходимости спасать Клее. Возможно, Клее уже сейчас висел бы в какой-нибудь швейцарской или американской частной коллекции и с ним уже ничего не могло бы случиться!

Из этого далее вытекало, что он, Бруно Шефольд, мог оставаться во Франкфурте, ибо если не нужно было спасать Клее, то не было и причины покидать Франкфурт. Переждать это время во Франкфурте или в Брюсселе — принципиальной разницы нет.

Он чувствовал себя обманутым, словно кто-то насильственно лишил его способности поступать благоразумно. И ему вовсе не обязательно было идти сейчас по бульвару Анспа. Его эмиграция основана на недоразумении.

Прошло много времени, прежде чем он избавился от этого чувства.

Если бы он остался во Франкфурте, его в самом начале войны призвали бы в вермахт. Научный ассистент в художественном музее — не та профессия, без которой нельзя обойтись в военное время.

И он оказался бы солдатом, как тот, что шел сейчас рядом с ним.

Нет, таким он все равно бы не был.

Вместо того чтобы оставаться во Франкфурте, он снял Клее с полки хранилища, пошел наверх, в свою ассистентскую комнату под крышей музея, завернул картину в оберточную бумагу; она была в такой плоской раме и такая маленькая, что он мог сунуть ее в портфель, где она напоминала бы подшивку документов, втиснутую между пачками почтовой бумаги, брошюрами, каталогами выставок. На границе таможенники даже не потребовали открыть портфель.

Прежде чем покинуть Институт Штеделя, он даже не выглянул из окна своего кабинета. Утренний поезд в Брюссель отправлялся через полчаса. Но вид из окна он никогда не забудет. Майн — и на том берегу длинный, прерываемый только Леонхардскирхе фронт белых зданий классической архитектуры (в воспоминании они казались ему чисто белыми, хотя на самом деле, конечно, были светло-серые или выцветшие желтоватые), а за ними колокольни, рыжевато-серая громада собора (который в архитектурном отношении, надо признать, не был величайшим творением песчаниковой готики, но какое это имело значение), этот вид, открывавшийся на город и на реку, не уступал Флоренции, Парижу, Дрездену (нет, Дрездену, он, пожалуй, все же уступал!), и к тому же это была не просто декорация, а одна из граней вполне реальной субстанции — свободного, богатого и так тесно застроенного города, что отдельные названия архитектурных сооружений воспринимались лишь как примеры, вкрапления: Старая ратуша, Либфрауенкирхе, Катариненкирхе, Кармелитерхоф, Векмаркт, Бухгассе, Гросер-хиршграбен...

«Франкфурта больше нет». Отец, безусловно, преувеличивает. Он был ожесточен, потому что, наверное, кое-что действительно разрушено. Но субстанция, материя Франкфурта, конечно же, не могла исчезнуть! Фронт домов вдоль Майна, Старая ратуша, церкви — они переживут войну. Дом, где родился Гёте,— груда развалин? Нет, представить себе это невозможно!

Чепуха — еще как *возможно!* Вполне можно представить себе, что он вернется не во Франкфурт, а на сцену, где кулисами окажутся рухнувшие стены, глядящие в небо оголенные балки, пустые глазницы окон, все изменившееся до неузнаваемости, где бродят оставшиеся без крова уцелевшие жители, безропотные, не способные понять, что перед ними уже другой город — город, не похожий на их Франкфурт.

Он возвратит им Клее. (Хоть эту картину им не придется покупать.) Может быть, от Института Штеделя уцелели подвальные помещения. Он войдет в хранилище, расположенное в подвалах, и положит картину Клее на ту же полку, откуда он ее взял. Поскольку Шефольд был влюблен в свое дело, он вознесся в мыслях так высоко, что вообразил, будто Клее может компенсировать уцелевшим жителям Франкфурта дом, где родился Гёте (если он превратился в кучу щебня.) Маленькая акварель — 30×28 см. Семечко. Из него мог вырасти новый город. Полифонически очерченное белое поле.

Какая жалость, что он сегодня утром упустил возможность порыться в его бумажнике. Упустил, растяпа, момент, когда мог все у него перерыть. Может, как раз там и спрятано то, что ему требуется; тогда уж он бы их раскусил. Да, тут явно дело нечисто!

В какой-то момент — предположим: когда они приближались к концу деревенской улицы,— Райдель подумал: а как бы он повел себя, если бы ему удалось раскусить Шефольда (и майора). (Хотя он пока и ведать не ведал, с какой стороны к этому подступиться. Он только гадал, принюхивался, было у него какое-то недоброе чувство, «подозрение как таковое», если нечто подобное вообще существует.)

И вдруг он пришел к — удивившему его самого! — выводу, что ему на все это наплевать. Что бы там ни оказалось, он не побежит в канцелярию и не станет бить тревогу. Ему надо блюсти исключительно собственный интерес, а этот его интерес подсказывал ему, что должна существовать прямая связь между готовностью майора Динклаге не давать хода рапорту «Борек против Райделя» и тем фактом, что майор пошел с этим господином доктором Шефольдом в свою комнату и закрыл за собой дверь. И разгадать эту таинственную зависимость двух независимых друг от друга событий было бы невозможно, если бы он вздумал трезвонить о том, что ему удалось бы разузнать и что не имело никакого отношения к его конфликту с Бореком.

Проникнуть в эту тайну было бы здорово. Но только в том случае, если бы он мог использовать это в своих целях. Не устраивая большого шума. Втихую, украдкой, осторожно.

Даже в том случае, если бы под угрозой оказалась безопасность армии: если бы выяснилось, что клиент не только подозрителен, но и на самом деле шпион, тайный агент, с которым сотрудничает их командир, сотрудничает с предательскими намерениями. Но какими? Это исключено; скорее можно предположить, что у того типа было задание шпионить за шефом, подвести его под монастырь. Но даже в таком случае он, Райдель, не побежал бы, как последний дурак, и не стал бы устраивать шум. Он не идиот. Во-первых, надо еще при-

кинуть, на руку ли ему это — устраивать шум. Скорее всего, ему от этого никакой пользы. Он может раскрыть любой заговор — службист вроде этого штабс-фельдфебеля Каммерера не бросит из-за этого в мусорную корзину рапорт Борека. Каммерер посмотрел бы на него ледяными глазами и спросил бы: «А какое отношение имеет одно к другому?» Он получил бы официальное поощрение, а после этого против него начали бы процесс. Они же такие справедливые.

Нет, что бы ни обнаружилось — если вообще что-то обнаружится,— все должно оставаться между ним и шефом. Даже и представить себе нельзя, какие шансы открылись бы для него, Райделя, если бы оказалось, что у шефа рыльце в пушку. Нет, не может быть, чтобы ему так подвезло!

На безопасность армии ему плевать. С безопасностью все равно покончено. Ей угрожают совсем другие, притом давно. Потому-то теперь и конец не только безопасности, но и самой армии. Достаточно поглядеть на эту часть, куда его забросило. Майор может хоть из кожи вон лезть, чтоб заставить эту ораву подтянуться, все его старания — коту под хвост. Максимум, что с ней еще можно сделать — это сгубить в боях! И сделают это те, кто поставил на карту безопасность армии, притом уже давно...

Вот почему теперь главное — обеспечить собственную безопасность. Старые обер-ефрейторы вроде него знают, как смыться с передовых рубежей, тем более с неумело выбранных позиций, прежде чем начнется крупная заваруха. Старые обер-ефрейторы не дают себя бессмысленно загубить. Они своевременно рвут когти.

Тщеславного желания завоевать политические лавры, вскрыв что-то очень важное, у него не было.

Никогда не было. Он вспомнил солдата, чью пьяную болтовню услышал как-то в бункере Западного вала в начале войны.

Размахивая бутылкой из-под водки, солдат кричал: «Хайль Черчилль! На этой навязанной нам англичанами войне!»

Райдель не донес на него.

На политику он плевал. Образцовым солдатом он стал только для того, чтобы никто к нему не смел придираться.

Его не касалось, что Борек — враг государства. Ему до этого не было никакого дела. И если он все же донес на Борека, то лишь из соображений самообороны. Потому что этот идиот просто-таки заставил его это сделать.

«Надо было бороться, оказывать сопротивление, а ты вместо этого приспособился. Наверное, ты еще и гордишься тем, что все эти годы приспосабливался, только и делал, что приспосабливался, подлый трус!»

Внешне — да. Внешне он приспосабливался. Но внутренне — нет. Никогда.

Он просто маскировался. Аккуратнейшим образом. Люди вроде него должны маскироваться. Да, он был весьма горд своей маскировкой. Может, для него это — форма сопротивления. Борек ничего не понял.

Борек думал, что такой человек, как он, Райдель, должен быть еще и врагом государства, но тут он основательно ошибался: во времена вроде нынешних не только достаточно, но и единственно правильно хорошо замаскироваться и спрятаться, чтобы остаться тем, что ты есть.

(Огромные, окрашенные в серый, зеленый и бурый цвета камуфляжные сетки, которые они натягивали над позициями на Верхнем Рейне!)

Его маскировка оказалась недостаточно хороша. Или его поведение в условиях маскировки. Лишь однажды, один-единственный раз он не остался в укрытии, показался противнику. И вот, пожалуйста... Сразу ярлык: розовый кружок.

Из-за этого розового кружка он и не сумел добиться в этой лавочке, которая теперь полностью обанкротилась, даже звания унтер-офицера.

Идя рядом с Шефольдом по длинной улице Винтерспельта, он, возможно, задумался на мгновение над тем, не шагает ли он сейчас навстречу такому времени, когда сможет выйти из укрытия.

Времени, когда педик позволит себе быть педиком. Пусть он по-прежнему вызывает ухмылки, но пусть его терпят, дадут существовать. У всякой пташки свои замашки.

Плевал он с высокой горы на их терпимость. Их скрытая ухмылка ему невыносимее, чем угроза штрафной роты.

В одном Шефольд, во всяком случае, ошибся: предположив, что обер-ефрейтор Райдель — не просто человек, вызывающий ужас, но еще и настоящий нацистский солдат.

Этот подозрительный субъект ничего не сказал майору о пинке. Чудно. А ведь уже было протестующе поднял руку, когда майор распорядился, чтобы он, Райдель, проводил его туда, откуда он пришел!

Почему же он снова опустил ее, потушил сигарету — и все?

Наверное, ему было неприятно говорить об этом. Райдель знал клиентов такого сорта. Они лучше удавятся, чем заговорят о том, что им неприятно.

Ну, за это можно обойтись с ним прилично.

Этот Райдель вел себя теперь корректно. Был ли он по-прежнему враждебно настроен, как утром, как с самого начала,— разобраться в этом Шефольд не мог.

Может быть, он мрачен просто оттого, что вынужден вести себя хорошо.

Интересно, что он думает: кто я такой?

То, что Шефольд всего только раз задал себе этот вопрос, пожалуй, самый важный в его положении, да к тому же мысленно сразу отбросил как нечто второстепенное, незначительное, характерно для этого человека, великодушие которого граничило с беспечностью. Ему бы надо всегда иметь возле себя кого-нибудь вроде Хайнштока. Хотя обычно он даже предостережения Хайнштока оставлял без внимания. Если погода была хорошая, а дорога пустынная, Шефольд считал, что и война исчезла,— тут уж Хайншток мог себе хоть мозоли на языке натереть. (Чего, впрочем, этот человек из каменоломни все равно никогда не делал, ограничиваясь короткими репликами, неодобрительным молчанием, пристальным взглядом прищуренных глаз.)

Он, со своей стороны, очень хотел бы знать, что такое Райдель. Майор дал ему в дорогу неразрешимую загадку. У Райделя «рыльце в пушку»,— но майор не снизошел до того, чтобы объяснить, какого рода проступок числился за Райделем. Не военное, не политическое, не уголовное преступление — в чем же тут, тысяча чертей, дело?

Угрюмый солдат. Немой офицер. Шефольду было жаль, что он оказался среди людей, которые, судя по всему, потеряли дар речи.

Правда, майор вел с ним светскую беседу, но о том, что по-настоящему важно, он молчал. Загадка «Райдель» была не единственной, которую он ему задал.

Ни слова о сегодняшней ночи. Ведь не только он, но и капитан Кимброу предполагал, что майор что-то планирует на ближайшую ночь. В конце концов, именно это и побудило их пойти на требование Динклаге. Тот передал нечто вроде приказа — перейти через линию фронта, да еще приложил план местности. Что-то должно же было за этим скрываться!

Ну, в Маспельте выяснится, что́ именно, когда капитан Кимброу вскроет письмо. Шефольд все время чувствовал это письмо у себя в боковом кармане, хотя оно оказалось таким тонким, что совершенно не было заметно.

Вряд ли в нем написано много. Что еще могло быть в этом письме, кроме напоминания о необходимости торопиться, кроме советов, слов, выражающих нетерпение, возможно, упреков?

«Впрочем, и это вряд ли возможно,— подумал Шефольд.— Когда я сказал Динклаге, что американская армия отклоняет его предложение, он ответил: «Это неважно. Так даже лучше для меня». И потом: «Было бы правильней, если бы я промолчал о своем замысле».

Динклаге предупредил его, что нельзя больше оставаться в Хеммересе.

«Странно,— подумал Шефольд,— он потребовал моего прихода уже после того, как отказался от операции.

И никакого объяснения своих действий — эта оскорбительная манера из всего делать тайну! К концу беседы — несколько брошенных мимоходом реплик, весьма существенных, безусловно, но ничего, что объясняло бы необходимость моего появления. Зачем мне надо было переходить линию фронта, если его вполне устраивает, чтобы вся эта затея лопнула?»

Проходя мимо последних домов Винтерспельта, Шефольд посмотрел на часы. Четверть третьего. Если округлить, то майор Динклаге целых два часа занимался с ним светской болтовней.

Светская, отвлекающая от главного, часть их беседы с Динклаге включала в себя размышления вслух о том, что они будут делать после войны.

— Можете себе представить, я собираюсь остаток жизни посвятить обжигу кирпича! — заметил майор. (Он рассказал о Везуве. Обычный обмен сведениями о происхождении. Эмс. Франкфурт.)

Но ведь этот человек был примерно на десять лет моложе его, Шефольда. «Остаток жизни». Это звучало так, как будто он уже заканчивал свой жизненный путь. Или ему казалось невероятным, что после войны начнется что-то новое? Или вместе с Рыцарским крестом он как бы снимал с себя и собственную жизнь? Шефольд попытался представить себе Динклаге в штатском. Это ему не удалось. Что носят люди, занимающиеся изготовлением кирпича? (Те, которые обжигают кирпич не сами, а нанимают для этого людей?)

— Обжигать кирпич, наверное, прекрасно,— сказал он.— Хотел бы я это уметь.

— Приезжайте как-нибудь ко мне, когда война кончится,— ответил Динклаге.— Я вам покажу, как это делается.

Легкомысленная любезность: едва прозвучали эти слова, как оба смутились. Они поняли вдруг, что если им доведется встретиться пос-

ле войны, они не смогут избежать темы, которой майор так упорно избегал сейчас. Обжиг кирпича интересовал бы их уже во вторую очередь.

Шефольд отогнал эту неприятную мысль.

— Если работа в музее оставит мне время,— сказал он.

— В музеях я, наверное, понимаю еще меньше, чем вы — в кирпичных заводах.— Майор воспользовался возможностью отойти от темы послевоенного бытия.— Как ни странно, я никогда не интересовался картинами. Никогда не хожу в музеи.

Жаль. Очень жаль. Впрочем, в тоне майора, когда он сообщил, что не ходит в музеи, не было никакого самодовольства.

Недостаток немецкого бюргерства. Оно интересуется лишь теми картинами, которые как-то связаны с событиями в их жизни и, следовательно, имеют воспитательное значение. Картины должны быть «более понятными», «близкими по духу», только тогда бюргер готов ими «заниматься».

Интересно, что висит дома у Динклаге? В столовой — пейзаж или натюрморт, что-нибудь более или менее сносное из нидерландской массовой продукции; в так называемом «кабинете» хозяина дома — один или два семейных портрета, бидермайер, если дела шли хорошо и если вообще семья Динклаге была родовитая. Картины были для майора всего лишь обычными вещами, которые, словно по какому-то давнему соглашению, висели на стенах.

Он отказался от ответного маневра, не стал говорить: «Загляните как-нибудь ко мне в музей. Я вам все там покажу».

Его музей. Он надеялся, что, когда вернется домой, ему дадут музей. Нет, он не просто надеялся — он жил этой мыслью. Он был полон решимости завладеть каким-нибудь музеем. Без всякого стеснения воспользоваться тем, что он — знаток музейного дела, вернувшийся из эмиграции и имеющий специальное образование. «Диссертант-эмигрант»,— мрачно подумал он. Они не смогут ему отказать. Найдется музей, который они ему дадут. Он это заслужил.

Конечно, не Институт Штеделя. Подобные институты его не прельщали. Слишком большие. К тому же он окажется там преемником. Иногда он словно пробовал на вкус цепочку имен: Сварценски, Хольцингер, Шефольд. Ведь это то, к чему стремятся все люди его профессии. Ах нет, тут же говорил он себе, пожалуй, все же не надо.

Он мечтал о небольшом провинциальном музее с не слишком маленьким фондом, который можно было бы расширять. Он отыщет несколько хороших картин, которые висят у всех этих провинциальных Динклаге, и скупит их. Он найдет богатых людей, меценатов, которые будут жертвовать картины и давать деньги на картины. Он мог бы в этом музее создать и некоторые специальные отделы, о которых в Институте Штеделя или музее Вальрафа Рихарца никто и не помышлял и которые позднее окажутся очень ценными. Но главное — найти настоящих современных художников. Купить у них картины, прежде чем торговцы начнут взбивать цены. Провинциальный музей мог бы опережать торговцев картинами, открывать новые имена.

Он мечтал о том, что через десять, двадцать лет будут говорить: «Вы видели, какую экспозицию устроил этот Шефольд в таком-то городе? Один из лучших *маленьких* музеев Германии!»

Примерно в то время, когда Шефольд и Райдель миновали последние дома Винтерспельта, Тереза вошла в кухню, где Кэте мыла посуду, и сказала:

— Представь себе, они уходят.

Кэте не сразу поняла, о чем речь, спросила как-то бездумно, а может быть, просто думала в эту минуту о другом:

— Что такое? Кто уходит?

— Наши квартиранты,— сказала Тереза.— Весь батальон. Сегодня ночью придут другие. Один солдат из тех, что квартируют у нас, только что мне сказал. Они уже укладываются. «Завтра утром последние из наших уйдут»,— сказал он.

Кэте поставила на стол тарелку, которую держала в руках.

— Этого не может быть,— сказала она.

— И все же это именно так,— сказала Тереза.— Солдат вовсе не хотел меня дурачить, я видела это по его глазам.

Они молча посмотрели друг на друга.

— Неужели твой майор тебе ничего не сказал? — спросила Тереза.

Произнося «твой майор», что иногда бывало, Тереза вовсе не стремилась придать словам оттенок насмешки или неодобрения. Как и Кэте, когда говорила «твой Борис» — добродушно, невольно понижая голос и, пожалуй, с некоторой озабоченностью.

— Нет,— ответила Кэте.— Он мне ничего не сказал.

— Странно,— заметила Тереза.— А я уже хотела тебя упрекнуть. Ну и секретница же, хотела я сказать, давно знает, что они уходят, и словом не обмолвилась. Ты действительно ничего не знала?

— Действительно,— сказала Кэте,— я действительно ничего не знала.

Миновав большой амбар на околице деревни, Шефольд снова попытался определить, где находится каменоломня Хайнштока. И снова безрезультатно. Он не видел ничего, кроме мягких контуров холмов, простора полей, лесов, пустынных выгонов, едва заметных подъемов и спусков, словно затянутых голубой дымкой.

И все же где-то там, правее и севернее, должен находиться этот человек с совой, философской птицей.

Он не удержал его от сегодняшнего бессмысленного похода. Правда, он не советовал идти. Но и не удерживал. Никто не запрещал ему идти. Решать они предоставили ему.

Ему надо было вести себя, как сова. Закрыть глаза и подавить в себе мысль, что за ним наблюдают. Сказать себе, что он не пойман, не стиснут их взглядами, что за ним не следят, что он один и свободен в своем дупле — Хеммересе.

Мысль о Хайнштоке успокоила его. Воплощение твердости с фарфорово-голубыми глазами. Все знающий, все учитывающий человек из каменоломни. Тут уж ничто не могло сорваться. Да и не сорвалось.

Сорвался только план Динклаге.

Американцам следовало ковать железо, пока горячо.

Непостижимо, что они этого не сделали.

Собственно говоря, отреагировал — и к тому же сразу — один только Джон Кимброу. Хотя и он не проявил восторга, не высказал ничего, кроме сомнений. Юрист, как отец. Главное — не показывать эмоций!

Человек, который не желал понять, что американцы обязаны были включиться в эту войну. Который считал, что немцы должны сами решать свои проблемы.

«Сами избавляйтесь от своего Гитлера!»

И как раз он-то и загорелся, узнав о плане Динклаге. А вовсе не те, кто понимал, что немцы не могут сами избавиться от своего Гитлера.

И это тоже было непостижимо.

В ночном небе над планом Динклаге с самого начала стояла несчастливая звезда.

Красный галстук был бы идеальной мишенью. Взять красный галстук под прицел, потом перевести чуть ниже и нажать спусковой крючок.

И как только можно разгуливать по местности, вырядившись таким образом! У него явно не все дома!

Тем не менее Райдель решил, что после войны купит себе такой же галстук. Огненно-красный! Потрясающая приманка! Кое-чьи взгляды сразу устремятся на него. Это будет его знак.

В этот момент он не осознавал, что мысль о покупке красного галстука — такого, как у Шефольда,— была его первой и единственной мыслью о жизни после войны.

Теперь оставалась только белая дорога меж холмов. Справа — откосы, ведущие к делянкам винтерспельтских крестьян, за ними окопы и пулеметные гнезда второй линии обороны, которую велел создать Динклаге и о существовании которой Шефольд не подозревал; слева над Уром поднимались пологие склоны, по которым они утром вышли на дорогу. Сейчас они снова окажутся на этих пустынных уступах. Слышны только их шаги. Освещение изменилось, воздух уже не сухой, прозрачный, как утром, и вот-вот начнет смеркаться — вдали уже намечаются сумерки.

Она прочитала письмо Динклаге.

«Вот как,— подумала она,— вот как, значит, обстоит дело».

Тереза окликнула ее:

— Кэте, тут посыльный с письмом для тебя.

Кэте уже кончила мыть посуду, вытерла руки. Она вошла в гостиную, и денщик майора передал ей письмо. Он тут же повернулся и исчез.

Когда она вскрыла письмо и стала читать, Тереза вышла тоже.

«Ты не должна была оставлять меня одного...»

Об этом она поразмыслит позже.

Упреки! Она понимала, что сейчас не время отвечать на упреки.

«Реальность существует сама по себе. Ее не надо организовывать».

Да, но переход Шефольда через линию фронта надо было организовывать! Опасность, навстречу которой двигался Шефольд, была вполне реальной. Она существовала не «сама по себе».

Он потребовал прихода Шефольда, хотя знал, что уходит вместе со своим батальоном. А почему? Чтобы доказать американцам, насколько серьезны были его намерения. Серьезность и честь Йозеф Динклаге ставил столь высоко, что ради них потребовал доказательств от американцев. За счет Шефольда.

Ее охватил безудержный гнев.

«Конечно, он точно знал, что я помешала бы Шефольду пойти к нему,— подумала она.— Если бы он сказал мне, что батальон уходит, я позаботилась бы о том, чтобы Шефольд остался в Хеммересе. Или прогуливался бы где угодно, только не ходил бы через линию фронта к Йозефу Динклаге. Еще вчера вечером было время сказать

мне это. Я подняла бы на ноги Венцеля, заставила бы его пойти ночью в Хеммерес, отменить эту затею с Шефольдом».

Она попыталась обуздать свой гнев. «Может быть, я просто обижена,— подумала она,— потому что он утаил от меня приказ о выступлении своего батальона?» И снова и снова приходила к тому же выводу: он утаивал это от нее только потому, что он не желал, чтобы что-то помешало его встрече с Шефольдом. Другой причины для его молчания не было. Если он хотел условиться о свидании в Везуве, ему следовало поговорить с ней сразу же после того, как он узнал, что они уходят. Он должен был сказать ей все, а не писать, и притом сказать как можно быстрее.

«Нет,— подумала она с испугом,— теперь я лгу сама себе. Ни о чем я бы с ним не стала уславливаться».

Так что, возможно, было и правильно, что он *написал* ей про Везуве.

Он оставлял ей возможность выбора. Это было порядочно. Вообще, если не считать непростительного поведения по отношению к Шефольду, письмо было написано вполне порядочным человеком. Хотя что-то в нем ей не понравилось, она только не могла понять, что именно.

(Понял это Шефольд. В своем ненаписанном письме Хайнштоку он, характеризуя Динклаге, написал: «чужой». Ему было дано найти это слово, потому что он сам был чужой. Правда, всего лишь чужой для этой жизни — человек не от мира сего.)

Ей только показалось, что письмо несколько напыщенно. Собственно, сами слова не были высокопарными, но они к ней не подходили. Ей вспомнилось берлинское выражение. Когда кто-то произносил слишком возвышенные речи, ему говорили: «А у вас нет на номер меньше?»

Этого она, конечно, не скажет, когда пойдет к нему. Ей необходимо сдерживаться, нельзя быть дерзкой во время последней встречи.

И вдруг она поняла, что ей не нужно идти к нему. Он дал ей возможность выбора, и идти к нему, только чтобы сказать, что она уже сделала выбор, было излишне. Если она не придет, он поймет, что́ это значит.

Последней встречи не будет. Она никогда больше не увидит Йозефа Динклаге.

Но от этой мысли ей стало так тяжело, что она сняла очки и беззвучно заплакала. Она думала о Динклаге. Она думала о себе.

Она неясно различала дом напротив; из-за близорукости и слез ей казалось, что он прикрыт вуалью. Если бы она еще раз пошла туда, она, возможно, не выдержала бы и сдалась.

Последние дни ей приходилось держать себя в узде. Он этого не понимал.

Она перестала плакать, взяла платок, вытерла глаза, надела очки. Она будет еще долго тосковать по Йозефу Динклаге.

Ей будет очень трудно отказаться от него.

«Я думаю только о себе,— мелькнуло у нее в голове.— Но если я буду думать о нем, я сдамся. Тогда я пойду в дом напротив и стану говорить с ним о Везуве».

Его желание прикоснуться к ней вдруг обожгло ее.

Слишком поздно. Первое предложение он сделал слишком рано, второе — слишком поздно.

Эта попытка соблазнить ее жизнью в Везуве так трогательна. Ведь она бы вышла замуж не за поэзию Эмса. А за человека, с которым, наверное, могло бы быть хорошо.

Она разорвала письмо. Слишком опасно хранить его, даже те немногие часы, что она еще пробудет в Винтерспельте. Она пошла на кухню, сняла конфорки с плиты и бросила туда клочки бумаги. В плите еще был жар.

Кэте поискала Терезу, нашла ее за домом, где та нарезала в миску бобы.

— Они действительно уходят,— сказала Кэте.— У меня теперь есть официальное подтверждение.

— Ты плакала,— сказала Тереза.

— Мне сделали предложение.

— Ты его приняла? — спросила Тереза.

Кэте с улыбкой посмотрела на нее и покачала головой.

— Почему нет? — спросила Тереза.— Он такой видный мужчина. И ведь он тебе нравится!

— Скажите, господин Райдель, что, собственно, с вами произошло? Я слышал, что вам сказал господин майор. Расскажите, в чем вас упрекают! Меня это интересует. Поверьте, интересует!

Он остановился прямо посреди дороги, вынудив тем самым остановиться и Райделя. Если еще была возможность объясниться с Райделем, то только здесь, на дороге, пока они не добрались до склона.

Результат сложных раздумий.

Это не было просто любопытством. Его мог встретить и отвести обратно любой другой человек. И весь этот поход мог оказаться чисто техническим делом, конечно, не лишенным опасности, но последнее хотя и играло определенную роль, все же зависело от случая. Встретившись же с Райделем, он оказался вовлеченным в чью-то судьбу. За этим неприятным человеком стояла судьба — он это понял,— и следовало хотя бы попытаться выяснить, какие недобрые силы переплелись тут, иначе он не может. Он не решался поверить, что все кончится хорошо. Но, по крайней мере, он хоть приоткроет завесу, постарается понять смысл происходящего. Чтобы уяснить, во что он дал себя вовлечь, когда принял поручение Динклаге (и Хайнштока, и Кимброу, и неизвестной дамы) — воспоминание об этом не покинет его всю жизнь! — важно осветить темный угол, в котором он споткнулся. Который ни он сам, ни другие не сумели предусмотреть.

Господин. Господин Райдель. Уже много лет так к нему никто не обращался.

— Заткните пасть! — сказал Райдель.— Не ваше собачье дело!

Утром «глотка», теперь «пасть».

«Неужели этот человек так и остался серо-зеленой рептилией? Или теперь он всего лишь раздраженный маленький солдат? Я коснулся чего-то, что его глубочайшим образом (и в высшей степени) раздра-

жает,— подумал Шефольд.— Что же это такое, что не является моим «собачьим делом»?»

Он заставил себя быть кротким.

— Но, может быть, я сумел бы вам помочь,— сказал он.

Сочувствующие начальники. Это он особенно любит.

Выходит, майор ему и вправду ничего не рассказал.

Очко в пользу майора. Значит, этот хлыщ может больше не приставать.

Господин доктор Шефольд. Интересуется. Этим.

— Не нужна мне помощь! — сказал Райдель.— Тем более от шпика.

Словами «тем более» он признал, что нуждается в помощи, подумал Шефольд. Это ясно и так, если вспомнить его разговор с майором Динклаге.

Все остальное сигнализировало об опасности.

— Я не шпион,— сказал Шефольд.— Как это могло прийти вам в голову? Я запрещаю вам говорить такое.

«У меня в бумажнике бельгийские франки, доллары,— подумал он.— Письмо Динклаге. Если он вздумает обыскать меня, я пропал. И Динклаге тоже. Я не смогу ему помешать. Я мог бы повернуть назад, пригрозить, что пожалуюсь Динклаге, но если он, будучи нацистским солдатом, все поставит на карту и меня здесь обыщет, я не смогу воспротивиться».

— Бьюсь об заклад, что вы шпион,— сказал Райдель.— Но мне на это плевать.

Это было самое поразительное за весь этот поразительный день. Всего ожидал Шефольд, только не такого заявления. Как могло быть этому чудовищу безразлично, является ли человек, которого он сопровождает, шпионом или нет? А если ему это безразлично, значит, он не нацистский солдат? Или был раньше, но теперь деморализовался?

Шефольд мог бы почувствовать облегчение, но не почувствовал.

Я педик. Он шпик. Два сапога — пара. Мне не в чем его упрекнуть.

Кроме того, если я буду помалкивать, это мне кое-что принесет.

Но, конечно, нельзя допускать, чтобы этот парень остался при своих подозрениях (или своей уверенности). Хотя бы в интересах Динклаге. Райделю может прийти в голову шантажировать Динклаге. Он способен пригрозить майору расследованием. Даже когда его, Шефольда, и след простынет.

«Вообще-то Динклаге это заслужил»,— подумал Шефольд. Навязать ему этого ужасного человека на обратный путь — не самая гениальная идея. Какой-то заскок у господина майора. Не обер-ефрейтор, а его командир излишне много иногда думал.

Теперь надо просто солгать.

— Я передал вашему командиру ценные сведения,— сказал он.— Этого вы не можете себе представить?

Он не подозревал, что Райдель, в лексиконе которого выражение «разбираться в людях» отсутствовало, тем не менее всегда точно знал, когда ему врут, а когда говорят правду. «У меня назначена встреча с командиром вашего батальона, майором Динклаге». Это он принял без всяких сегодня утром. Но тому, что Шефольд передал их командиру ценные сведения, он абсолютно не поверил.

Значит, Шефольд не может быть немецким разведчиком. Немецкий разведчик, который имеет дело с начальником разведки, бывает на командных пунктах, получает точные инструкции, никогда не станет трепаться про «ценные сведения» или спрашивать, может ли он себе что-то представить. Такой бы ему сказал, притом резким тоном: «Не вмешивайтесь в секретные дела командования» или: «Я напишу на вас рапорт!»

А американский шпион? Американский шпион сказал бы то же самое.

Значит, он не немецкий разведчик и не американский шпик.

Тогда Райдель вспомнил про свое решение: плевать ему, кто такой Шефольд.

— Я себе вот что могу представить,— сказал он.— Чешите-ка вы отсюда, да побыстрее. Не то я вам помогу.

Это было уже слишком. Пожалуй, в такое бешенство Шефольда привели слова «да побыстрее». Но он снова постарался умерить свою ярость.

— Извинитесь сейчас же,— сказал он,— или я больше ни шагу не сделаю вместе с вами!

Тон постояльцев отеля. И тон, и слова те же. «Где вы обучались таким манерам?», «Что вы себе позволяете?», «Извольте извиниться!»

Так они разговаривают. Он забыл об этом. Нет, он никогда об этом не забывал. И вот снова началось, семь лет спустя.

То, что он твердо решил никогда и ни от кого больше не выслушивать.

По лицу этого типа он увидел, что тот не шутит. Похоже, что он действительно может повернуть назад.

— Ладно,— сказал Райдель.

— Что «ладно»?

— Извиняюсь.

Встал на задние лапки. Через семь лет. Встал на задние лапки, услышав тон, который, удирая из отеля в армию, он дал себе слово никогда больше не слышать.

Эта шпионская свинья добилась своего.

Шефольд вздохнул. Он был не рад своей победе. Он зашагал дальше. Внезапно охватившую его усталость он объяснил тем, что с утра, кроме завтрака, почти ничего не ел. Обед майора Динклаге. Лучше забыть о нем.

В Хеммересе он немного перекусит, прежде чем отправится с письмом к Кимброу.

Вместе они дошли до конца дороги, двинулись по склону горы.

Каким образом собирался Шефольд помочь Райделю? «Но, может быть, я сумел бы вам помочь». Что это было — просто фраза, предусмотрительно снабженная оговоркой «может быть» и втиснутая в форму сослагательного наклонения, никого ни к чему не обязывающую, или за этим скрывалось нечто вполне конкретное, предложение практической помощи? Быть может, Шефольд очень растерялся бы, если бы Райдель согласился? Что он мог реально сделать для Райделя, если бы тот, вопреки всем ожиданиям, воспользовался бы этим предложением — предложением, сделанным хотя и с легкостью, однако же не легкомысленно, а даже с некоторой торжественностью в голосе,— и к тому же выяснилось бы, что его преступление — и не политическое, и не военное, и не уголовное, а просто таинственное — таково, что оправдывало помощь? Что за него при всех обстоятельствах надо было вступиться?

(«Может быть, чудовище превратится в человеческое существо, если раскроет свою тайну,— подумал Шефольд.— В таком случае помочь ему — долг, от которого нельзя уклониться. Однако представить себе это трудно».)

Если мы хотим понять, что́ имел в виду Шефольд, предлагая Райделю помощь, надо вернуться к одному замечанию, которое он сделал, обращаясь к Хайнштоку. В своем — лишь воображаемом нами! — письме Хайнштоку он сообщил, что в какой-то момент был близок к тому, чтобы вывести Райделя из себя, но в последнюю минуту решил этого не делать. (Он размышляет, не было ли ошибкой то, что он этого не сделал. «Возможно, мне следовало все же вывести его из себя, чтобы проникнуть в его сущность». Можно не описывать, как поползут вниз уголки губ Хайнштока, когда он прочтет такое типичное буржуазное выражение, как «сущность», да вдобавок еще применительно к Райделю.)

Что он имел в виду? Как он собирался «вывести из себя» Райделя?

Скажем коротко: на обратном пути (предположим: когда он шел по дороге, прежде чем остановиться и спросить, в какой истории был замешан Райдель) Шефольд носился с мыслью уговорить Райделя дезертировать.

«Я хочу вам сделать предложение: идемте со мной в Хеммерес! Тогда вы избавитесь от того, что вас угнетает».

Сразу заманивать его к американцам нельзя. Это было бы слишком легкомысленно. Образ Хеммереса еще содержал в себе что-то открытое, неясное, расплывчатое. Скрыться на ничейной земле — не то же самое, что перебежать к врагу. Все остальное устроилось бы в Хеммересе. (Страшно представить себе, что из-за своего необдуманного великодушия он был бы вынужден жить в Хеммересе с Райделем. Но эта проблема решилась бы сама собой благодаря тому совету, который дал ему Динклаге относительно пребывания в Хеммересе или, вернее, ухода оттуда.)

Он мог сделать так, чтобы это выглядело еще безобиднее и его вообще ни к чему не обязывало.

«Проводите меня до Хеммереса! Вы увидите, это совсем просто».

Он отверг эту формулу. Райдель ни за что бы не поверил, что после всего происшедшего между ними он вдруг вздумал задерживать своего провожатого хоть на миг дольше, чем это необходимо. Нет, сказать это следовало как-то по-другому.

На какой-то миг, буквально на миг, он представил себе, какое лицо будет у Кимброу, если он вернется с немецким обер-ефрейтором, раскрашенным по всем правилам военной маскировки.

Эта мысль была столь фантастической, что он едва все не выболтал.

Безрассудный он был человек, этот Шефольд!

В конце концов он отказался от своего намерения, потому что вовремя вспомнил, какие последствия это могло иметь для майора Динклаге. Если Райдель не вернется с задания, предписывающего проводить Шефольда до передовой, там немедленно свяжут визит незнакомца, появившегося с той стороны фронта, к майору Динклаге и бесследное исчезновение немецкого обер-ефрейтора.

Хотя, с другой стороны, он был бы не прочь сыграть злую шутку с Динклаге!

В нем все еще тлел огонь возмущения по отношению к Динклаге. Время от времени он помешивал угли и раздувал этот огонь.

Проигрывая мысленно ходы, которые должны были подвести Райделя к мысли о дезертирстве, Шефольд не учитывал одной неожиданности, одного трюка своего противника, который абсолютно ошеломил бы его. Шефольд не подозревал, не мог себе представить, что предложение дезертировать вовсе не вывело бы Райделя из себя.

Дело в том, что он уже и сам пришел к этой мысли.

«Вот это *мысль*,— сказал он себе (когда? Еще в канцелярии? Или позднее, шагая с Шефольдом по Винтерспельту?),— это *мысль* — смыться вместе со шпиком! Через фронт и — в Хеммерес! Хотел бы я видеть его морду при этом! Как бы ему стало кисло, когда бы он смекнул, что я его прикончу, если он не проведет меня в Хеммерес, а потом своей тайной тропой к американкам. А тропу эту он знает, как дважды два, наверняка соображает, как сматывать удочки, если дело запахнет керосином.

Господи боже, вот это был бы номер! Война все равно уже не война, а анекдот какой-то. Лучше и не придумаешь способа покончить с войной!

А рапортом Борека пусть они себе задницу подтирают».

Ну, а если такое может быть, что он не знает никакой тайной тропы, если он на самом деле простофиля, который попусту ошивается в Хеммересе, то я пойду дальше один. Это будет не сложно. Надо немножко пошуметь, пошуршать в кустах, когда пойду по склону, где сидят американки, чтобы они не напугались.

Он извлек из памяти обломки своего гостиничного английского. «Хелло, бойз»,— вот что ему надо закричать, поднимаясь по склону холма на том берегу Ура.

Мысль, что прежде чем выйти к американцам, придется бросить где-то в кустах свой автомат, показалась ему почти невыносимой.

Ни на секунду ему не пришло в голову сказать об этом своем намерении, высказать свое желание Шефольду. Обсуждать дезертирство с Шефольдом — об этой возможности Райдель даже не думал, потому что для него она вообще не существовала.

Сам не зная почему, он отказался от своей лучшей идеи так же мгновенно, как она возникла. Можно предположить, что у такого че-

ловека уже одна мысль сдаться врагу наталкивается на неодолимое сопротивление, под какой бы маской она ни подкрадывалась.

Так что, сказав: «Не нужна мне помощь», он, вопреки предположению Шефольда, действительно в помощи не нуждался.

Как он и ожидал, на передовой и теперь было мало людей. На всем пути вверх, к его окопу, они встретили только ефрейтора Шульца, который стоял в своей стрелковой ячейке, той самой, где утром стоял ефрейтор Добрин. В противоположность Добрину, Шульц не был раззявой. Он, как и Райдель, редко раскрывал рот. Из него и клещами слова не вытянешь. Говорили, будто он откладывает свое денежное довольствие, эти вонючие полторы марки в день, которые получает ефрейтор, и отправляет домой курево, которое ему выдают, чтобы у жены было что выменивать на жратву для детей.

Шульц, в отличие от Добрина, не вылез из окопа, когда они приблизились. Он только с интересом повернул голову, посмотрел на Райделя и Шефольда.

Райдель остановился и сказал:

— Приказано перевести его на ту сторону. Дело совершенно секретное.

— М-м,— сказал Шульц.

А сам подумал: «Что-то я не припомню, чтобы тут, на фронте, доводилось сталкиваться с какими-то секретными делами».

У Шульца тоже был немалый фронтовой опыт: Балканы, Россия.

Рассматривая Шефольда, он подумал: «Заблудился, наверное. А Райдель просто набивает себе цену. Ну, и на здоровье. Меня это не касается».

«Ах,— подумал Шефольд,— вот они, эти слова! «Совершенно секретно». Вот как надо было говорить с самого начала, чтобы произвести впечатление на Райделя».

Война голов. Уже у американцев он обратил внимание, что это война голов. Тела были запрятаны в землю. Снаружи торчали только головы.

Шульц не поверил, пробурчал свое: «М-м». Ничего, поверит, когда вечером вернется в деревню и начнет разузнавать. Можно потом и не спрашивать, поверил ли он наконец. Пошел он! Плевать мне, что он думает.

Дальше начинался можжевельник, за которым скрылась теперь голова ефрейтора Шульца, его спокойное худое лицо под каской. Они снова были одни.

У Шефольда возникла идея, которая показалась ему блестящей.

— Это действительно совершенно секретное дело,— сказал он.— Как вы сразу не поняли!

Ему казалось, что он еще должен что-то наверстать. Даже теперь, когда уже видел макушки сосен, под которыми стоял в одиннадцать часов утра.

Он не подозревал, что́ натворил, когда заставил Райделя извиниться.

Он считал, что после этого им еще было о чем разговаривать — ему и Райделю.

Шпионская морда. Как все сразу вылезло наружу: «совершенно секретное дело». Да тут со смеху сдохнешь.

Может, дать ему хорошую оплеуху?

Надо взять себя в руки, отвлечься.

Уже издали он увидел, что его окоп пуст. Никем не занят. Но теперь он и ему не нужен. Уже незачем залезать туда, чтобы все обдумать. Он теперь и так все знает. А может, и нет. Да наплевать, что тут происходит. Когда эта шпионская морда исчезнет, он без промедления вернется в Винтерспельт, доложит, что приказ выполнен.

Они подошли к окопу Райделя.

— А ну, пошел,— сказал Райдель,— мотай отсюда, ты, шпик!

Он сделал резкое движение головой, рывком повернул ее вбок и чуть вверх.

Шефольд не мог этого так оставить. Не мог ни при каких обстоятельствах. Он не мог отнестись к этому с безразличием, пусть даже это не имело теперь никакого значения, потому что через минуту он окажется наверху, под соснами. Под соснами, а оттуда в путь. Нет, этого нельзя было так оставить. Нельзя. Пусть это стоит ему еще одной минуты. От этой одной минуты нельзя было отказываться. Ни при каких обстоятельствах.

Он мрачно посмотрел на Райделя.

«Чудовище,— подумал он,— чудовище».

И тут его снова охватила ярость против Динклаге. Это Динклаге навязал ему такое чудовище.

Он еще раздумывает, смываться или нет! Он еще останавливается и смеется! Если он сейчас же не исчезнет, я еще раз дам ему под зад.

День, проведенный с чудовищем. И ради какой цели? Никакой. Ради часа болтовни. Ради письма, в котором ничего нет. Не может ничего быть. Просто смешно. Это просто смешно.

Жалкое ничтожество.

Чудовище, возможно, было всего лишь жалким ничтожеством.

Пламя его возмущения в отношении Динклаге разгорелось теперь вовсю.

И гнев против Динклаге вдруг заставил его ощутить нечто вроде сочувствия к Райделю.

Что делает жалкое ничтожество чудовищем?

Воспитание, которое дают все эти Динклаге!

Он попытался успокоить себя. Я преувеличиваю, подумал он. Есть вещи, не зависящие от воспитания.

Пора отделаться от этого человека.

Он сунул руку в задний карман брюк, вытащил бумажник.

Что он еще там делает? Зачем вытащил бумажник?

Райделя вдруг охватило крайнее возбуждение.

Шефольд порылся в бумажнике, нашел десятидолларовую бумажку, весьма потертую купюру, протянул ее Райделю.

— Вот! — сказал он.— За ваши не слишком любезные услуги.

Он посмотрел, как рука автоматически протянулась за банкнотой.

Мне все равно, будут ли неприятности у Динклаге. Он ведь думает, что Райдель у него в руках. Пусть теперь сам управляется со своим чудовищем. Когда тот покажет ему доллары.

Я взял деньги.

Он уже повернулся и пошел, на ходу пряча бумажник. Он поправил плащ, брошенный через плечо. Было легко и удобно ступать по короткой траве склона. Она приятно шуршала под ногами. Он шел один. Прекрасный предвечерний час.

Райдель держал в руке десятидолларовую купюру. Посмотрел ли он на цифру, прочитал ли английские слова, рассмотрел ли изображенную на банкноте голову?

Он бросил бумажку на землю.

Шефольду было жаль, что он не может обернуться — обернуться и помахать рукой. Тому, другому солдату, который, выглянув из своего окопа, ничего не сказал, кроме «М-м», ему он мог бы помахать рукой, в этом Шефольд был уверен. Окажись у него другой провожатый, сегодняшний день мог бы стать очень приятным.

Он шел вверх. Шел несколько медленнее, чем утром, потому что дорога вела в гору. Медленнее, но достаточно легко. Склон был пологим. Шефольд не считал шагов, его не интересовало, каково расстояние до сосен,—

Зато это интересовало Райделя. Тридцать метров. Сорок — пятьдесят шагов.

— и вот он уже был под первыми зелеными зонтами, легкие тени в этот светлый предвечерний час.

Господи, да ведь я боялся, подумал Шефольд, я весь день боялся. А теперь я больше не боюсь. Я свободен.

Свободен!

Тело Шефольда было доставлено в Винтерспельт около четырех часов. Двое санитаров несли его на носилках. За носилками шли Райдель, ефрейтор Шульц и два унтер-офицера. Ефрейтор Шульц и оба унтер-офицера держались на некотором расстоянии от Райделя.

Те немногие солдаты, что стояли в этот час у своих домов, с любопытством смотрели на группу с носилками, двигавшуюся по улице. Они не решались присоединиться к ней, потому что знали, что унтер-офицеры грубо одернут и отгонят их, если они попытаются это сделать.

Носилки были поставлены перед крыльцом командного пункта батальона, точнее — были просто положены на немощеную деревенскую улицу. Один из двух унтер-офицеров поднялся по ступенькам, исчез в доме.

Теперь из близлежащих домов вышли крестьяне — мужчины и женщины,— а также солдаты, собрались вокруг лежавшего на дороге Шефольда. К ним присоединились и несколько русских пленных.

Ефрейтор Шульц и оставшийся на улице унтер-офицер время от времени произносили: «Разойдись! А ну, разойдись!» Райдель стоял у самых ступенек.

Кэте не сразу узнала Шефольда.

Его лицо было желто-серым. Костюм был весь в пятнах и полосах уже запекшейся крови. Правая сторона его рта была разорвана; темная кровь стекала оттуда на шею, на рубашку. Глаза были полуоткрыты.

Ефрейтор Шульц прикрыл тело Шефольда плащом, но пока его несли, плащ соскользнул, прикрывал теперь только ноги. Шульц нагнулся над Шефольдом, еще раз натянул на него плащ.

Унтер-офицер, который поднялся в дом, снова вышел на улицу, за ним штабс-фельдфебель Каммерер. Штабс-фельдфебель сказал что-то Райделю. Райдель что-то ответил. Стоящие вокруг не могли расслышать, о чем они говорили, потому что держались на расстоянии. Они видели, как штабс-фельдфебель с удивлением посмотрел на Райделя, потом повернулся, снова вошел в дом.

Вскоре после этого один из писарей открыл дверь и кивком головы позвал Райделя. Райдель сразу же пошел наверх. Дверь за ним закрылась.

Тело Шефольда, прикрытое плащом, еще какое-то время лежало на земле. Плащ был примерно такого же цвета, как пыль на улице Винтерспельта. Затем санитары подняли носилки и унесли, должно быть, в медчасть.

Откуда-то появились двое солдат, одетые по-походному, встали под ружье перед командным пунктом.

Люди разошлись.

Мы не будем подробно описывать первую реакцию Кэте на неожиданное возвращение Шефольда в неожиданном виде.

Можно легко представить себе, что она воскликнула или подумала: «Но этого не может быть!» или: «Это какой-то страшный сон!»

Возможно также, что она не нашла слов и испытывала немой ужас.

Сразу после этого она отреагировала спонтанно.

Надо было потребовать объяснений от Динклаге. Он должен был ответить ей.

Один из постовых сказал:

— Туда нельзя, фрейлейн!

— Но мне надо срочно к майору Динклаге!

— Очень сожалею,— ответил солдат.— Но у нас строгий приказ никого не пускать.

Через час, в пять, пришел Хайншток.

Она ушла вместе с ним.

Каммерер сказал Райделю:

— Я слышал, что вы убили этого человека?

— Я должен поговорить с майором,— ответил Райдель.

Он уже не следил за соблюдением формы. Предписанная инструкцией военная формулировка должна была быть такой: «Прошу господина штабс-фельдфебеля разрешить мне поговорить с господином майором».

Определить расстояние было совсем не трудно. Когда он дойдет до сосен наверху, расстояние будет составлять около тридцати метров.

Снимать с предохранителя и взводить курок можно было только в последний момент, чтобы между звуком взводимого курка и выстрелом прошли только доли секунды.

А пока надо подвести спусковой крючок к промежуточному упору.

Красный галстук уже не мог служить ему мишенью. Ему надо было довольствоваться точкой на движущейся спине.

Десятидолларовая купюра, уже затертая, помятая бумажка, лежала у его ног, на земле возле окопа.

Я взял их, эти чаевые.

Вокруг воображаемой линии между стволом автомата и точкой на спине Шефольда серым пятном, неподвижно и неумолимо, располагалось абстрактное социологическое понятие: класс людей, берущих чаевые.

В тишину прекрасного безветренного октябрьского дня громко ворвался сухой металлический звук рычага, передвинувшего первый патрон из магазина в ствол автомата.

Прежде всего он вытащил бумажник, стал рыться в нем, методично искать, нашел письмо. Один уголок письма был разлохмачен пулей. Он вскрыл конверт. Его гостиничного английского было недостаточно, чтобы понять, о чем говорилось в письме. К тому же он торопился. Было достаточно и того, что понял: майор Динклаге написал письмо американскому офицеру.

Как много крови! Он не представлял себе, что будет такая масса крови. Он вытер руки о траву, спрятал бумажник и письмо.

Подошел Шульц. Райдель сказал:

— Так надо было. Это дело совершенно секретное. Пойди-ка приведи унтер-офицера!

— Что же это такое,— сказал Шульц.— Да что же это такое! Я с тобой дела не хочу иметь.

Он остановился, переводя взгляд с Шефольда на Райделя, стоявшего на коленях возле трупа.

Райделю пришлось самому отправиться в путь и отыскать унтер-офицера, Шульц в это время охранял тело Шефольда. Когда Райдель вернулся вместе с унтер-офицером, Шульца послали в деревню за санитарами.

Позднее к ним присоединился еще один унтер-офицер.

Коробчатый магазин улучшенной модели карабина К 98-к, принадлежавшего Райделю, был заряжен не полностью, а содержал лишь 12 патронов. О воздействии на живое человеческое тело вонзающихся в него двенадцати пуль со стальной оболочкой мы не знаем ничего, кроме того, что если они вылетают из карабина тщательно прицелившегося, едва заметно поднимающего свое оружие чуть вверх снайпера высшего класса и рассеиваются по всему телу от головы до живота, то ведут к немедленной смерти этого человека.

Так что, как принято говорить в таких случаях, Шефольд не страдал. Может быть, он пережил момент безмерного удивления, почувствовав, как в нем вдруг запылало сразу двенадцать огней, но момент

этот был так короток, что он наверняка не успел ощутить, как удивление превращается в боль.

Да, это все, что мы достоверно знаем о последнем мгновении Шефольда. Не исключено, что в момент, когда его уже покидало всякое представление о времени, в нем могло происходить еще вот что. Если в том исключительном состоянии, каким является умирание, миг длится столько же, сколько вечность, то можно предположить, что перед ним возникали какие-то вещи, картины, слова не в определенной последовательности, конечно, а молниеносно, подобно вращающемуся шару из осколков света. Представьте себе этот крутящийся перед его мысленным взором клубок из прошлого и будущего не в виде плоского диска, а в виде тела с тремя измерениями, то есть именно шара, стремительно вертящегося круглого тела на фоне касательных, ведущих в бесконечность!

Гипотеза, не более того. Поскольку еще никто не рассказывал нам, что происходило с ним, перед тем как он испустил дух, мы удовольствуемся тем, что скажем: Шефольд был мертв прежде, чем Райдель опустил свой карабин. И хотя тело его еще было теплым и кровь еще лилась, когда Райдель опустился возле него на колени и стал его обыскивать, он уже в этот момент был не чем иным, как частью неорганической материи.

Данные о потерях

Свободен как птица

В вечерних сумерках одного из ближайших дней Хайншток выпустил сыча на свободу. Сотрясение мозга, которое было у птицы, наверняка давно уже прошло, и не было никакой причины держать ее у себя.

Он надел перчатки, в которых работают с камнем, обхватил крылья птицы и вынес ее на улицу. Сыч долбил своим кривым клювом кожу перчаток. Хайншток осторожно посадил его на землю, где тот какое-то время растерянно оставался сидеть. Потом он взлетел вверх и вправо, издавая пронзительное «кью-вик», и исчез за косым изломом известняковой стены. Если он и дальше будет лететь в этом направлении, подумал Хайншток, он попадет в Эльхератский буковый лес. Ему придется поискать себе другой лес, в стволах буков редко бывают дупла.

Крик сыча распугал галок вверху на стене. Взмахнув крыльями, они взлетели и громко загалдели в наступившей темноте.

Хайншток вернулся в хижину, разобрал ящики, совиную башню, и вынес их на улицу. Управившись с этим, он осмотрелся в хижине. Теперь она выглядела так же, как и прежде: стол, кровать, печка, полка с книгами и образцами окаменелостей.

Что остается за пределами повествования

1

Например, то что произошло между Динклаге и Райделем.

В кармане Райделя лежало письмо Динклаге к Кимброу. Неслыханно повезло Хуберту Райделю! У шефа действительно оказалось рыльце в пушку. Вот теперь-то он, Райдель, ему покажет, где раки зимуют.

Нет нужды описывать, что извлек Райдель из данной ситуации. Это легко себе представить.

Вероятно, он извлек даже чин унтер-офицера. Может быть, они пошли на компромисс: Райдель вручает Динклаге письмо и за это получает чин унтер-офицера и переводится в другую часть.

Чин унтер-офицера помог ему примириться с мыслью, что он больше не увидит Борека.

Возможно, конечно, что встреча Динклаге с Райделем проходила совсем по-другому.

Может быть, Динклаге велел на месте арестовать Райделя, потом пошел в свой кабинет, написал короткий рапорт полковнику Гофману и застрелился из пистолета.

Но об этом непременно узнал бы Хайншток, когда на следующий день пришел в Винтерспельт. Весть о самоубийстве командира батальона распространилась бы в Винтерспельте с быстротой молнии.

Возможно, конечно, что Динклаге приставил пистолет к виску только после ухода из Винтерспельта. Где-то во время переброски 416-й пехотной дивизии в Северную Италию, еще прежде, чем его настиг приказ явиться к полковнику Гофману, он во время одной из стоянок отошел в сторону и покончил с собой. В этом случае Хайншток ничего бы не узнал.

Предположения. Мы не решаемся остановиться ни на одном из них.

Выберите, какое решение кажется вам наиболее достоверным, учитывая все загадки и противоречия, присущие уже слегка потускневшему от времени образу этого сложного человека.

2

Мы не станем описывать и то, какое воздействие оказало на Хайнштока известие о гибели Шефольда.

Вообще всю эту сцену между Кэте и Хайнштоком в пять часов вечера!

Стереотипный разговор онемевших людей. «Но этого не может быть», «Это просто страшный сон».

Их полная растерянность, неспособность понять причины.

Короткий спор. Пусть она подождет, пока ее пропустят к Динклаге. Совершенно необходимо выяснить причины. Ее отказ. Она хочет уйти. С нее хватит. Она не желает терять время.

Первые тени, еще робкие, расплывчатые, тени наступающей ночи вины.

То, что теперь он больше не мог ей отказывать и должен был показать тайную тропу, которой пользовался Шефольд, совершенно очевидно. Он и не пытается возражать. Но даже если бы он пытался — от передачи этого диалога мы себя избавим.

3

Допрос, который Кимброу и Уилер устроили Кэте, был рутинным делом. Кэте не могла ничего объяснить, она могла только сообщить тот факт, что Шефольд убит.

После этого они сидели вместе и говорили о возможных причинах. Майор Уилер не упрекал ни Кэте, ни своего друга Кимброу. Он говорил о несчастном случае.

Хайнштоk приготовил ей и себе поесть. Они выпили кофе. Они молчали или снова и снова гадали о причинах, побудивших Райделя убить Шефольда. (Райделя, ни имени, ни фамилии которого они не знали.)

Хайнштоk вернулся к своей теории о том, что у Динклаге нет опоры в массах, снова говорил о тех, кто всегда начеку, едва заподозрит что-то неладное, направленное против порядка, против фюрера и рейха.

— Вот на такого и налетел, наверное, Шефольд,— сказал он.— Другого объяснения нет.— Затем подумал и добавил: — Но упрекать Динклаге не в чем. Он не мог предвидеть, что Шефольд налетит именно на такого идеального фашиста.

Снова Ханиельвег, во второй раз. Неожиданные смерти.

Кэте подумала: «Значит, сегодня днем я не в последний раз была в хижине Венцеля».

Лампа освещала стол, у которого сидел Венцель Хайнштоk и курил свою трубку. Все остальное было в тени. Сыч, прятавшийся, вероятно, в полом пространстве верхнего ящика, оставался невидимым.

В восемь часов они двинулись в путь. Хайнштоk все время думал о том, как они справятся с темнотой. Ночь предстояла очень темная, хоть глаз выколи. От луны оставалась крошечная четвертушка. Но о том, чтобы брать с собой карманный фонарик, не могло быть и речи.

Кэте была одета точно так же, как тогда, когда пришла со своего последнего урока английского языка: коричневый шерстяной костюм, тонкие серые шерстяные чулки, прочные туфли. Когда она хотела надеть светлый плащ, Хайнштоk сказал:

— Лучше не надо!

Летнее платьице, купленное в Прюме, она, как и все остальное, оставила у Теленов.

В руках у нее, кроме плаща, ничего не было. В одном из карманов лежал кусок мыла, зубная паста, зубная щетка, расческа. Самым ее ценным достоянием был футляр с запасными очками. Их ей никак нельзя было терять.

Они нырнули в сосновый лес в том самом месте, где Шефольд всегда выходил из него Сначала их окружала сплошная мгла, и все же они ориентировались лучше, чем ожидал Хайнштоk. Пространство между черными вертикалями сосновых стволов было словно заполнено серым, прозрачным веществом. Так как весь октябрь не было дождей, земля, покрытая иглами, сухо шуршала под ногами. Идти по ней было приятно, хотя двигались они медленно, черепашьим шагом. «Нам понадобится час до Хеммереса»,— подумал Хайнштоk.

Время от времени Кэте ощупывала одну из черных вертикалей, чтобы убедиться, что это дерево. Она чувствовала кору, шершавую, неровную. На ладони у нее оставалась смола.

Один раз она остановилась, подождала, пока и Хайнштоk остановится, прошла три шага, чтобы оказаться рядом с ним.

— Ты думаешь, он приказал его убить? — спросила она тихо, почти шепотом.

— Исключено,— сразу же ответил Хайншток, не понижая голоса.— Это ты себе выбей из головы.

Он сказал это так, что Кэте решила раз и навсегда отбросить эту самую черную из ее мыслей.

«Без Венцеля я бы пропала»,— подумала она.

Внизу, где кончаются сосны, есть над ручьем луг, заросший арникой. Когда-то там было ущелье, а в нем — заросли ольхи, еще до того, как насадили сосну. Поэтому всюду, где земля не засыпана иглами, еще растут лесные фиалки и купена, мох и аронник.

Он обернулся к ней и спросил:

— Чувствуешь, как пахнет?

— Да,— сказала Кэте.— Как странно, этот цветочный запах здесь, в лесу.

— Это лунники, внизу у ручья,— сказал Хайншток.— Они цветут до поздней осени. И сильней всего пахнут ночью.

Он старался теперь идти так, чтобы срывать попадавшиеся тут и там дикую герань, звездчатку, дрему, волчник, медвежий лук, норичник, валерьяну, аконит, цирцею, молочай, не забывал и дикие орхидеи, ятрышник, любку; выйдя из лесу, он побрел по известняку, собирая дубровник, яснотку, герань, солнцецвет, камнеломку, бедренец, живучку, пока не собрал прощальный букет, который она еще долго будет вспоминать.

Йозеф Динклаге сейчас укладывает вещи, подумала она. Возможно, уже завтра он будет на пути в Везуве. Туда, где летают бумажные змеи.

Сев на пни, они стали смотреть на хутор Хеммерес, белевший на фоне темной стены гор на противоположном берегу Ура. Света не было видно, но наверняка не из-за светомаскировки, а потому что хозяева Хеммереса уже спали.

— Там еще лежат вещи Шефольда,— сказала Кэте.

Хайншток пожал плечами.

— Знаешь, что они с тобой сделают, когда ты окажешься там,— сказал Хайншток, и слова его прозвучали не как вопрос, а как утверждение.— Они отправят тебя в лагерь для интернированных. А после войны бельгийцы вышлют тебя обратно в Германию. Вот и все, что из этого выйдет.

— Ах, оставь! — сказала Кэте.

Наверное, он был прав. Но не стоило отравлять ей последние полчаса.

— Как-нибудь уж я устрою, чтобы остаться там, можешь быть уверен,— сказала она.— А если мне действительно придется вернуться, то лишь для того, чтобы сразу снова уйти.

— Ты знаешь, где меня найти,— сказал Хайншток.

Словно извиняясь за то, что уходит, она показала в направлении, в котором собиралась двигаться дальше, и сказала:

— Кто-то ведь должен сказать им, что́ произошло.

— Обойди хутор слева! — сказал он.— В этой темноте мостик отсюда не увидишь, но когда подойдешь к хутору, сразу его обнаружишь. Быстро переходи мостик и сразу в лес, если от твоих шагов кто-нибудь проснется!

У него возникла было мысль довериться хозяевам Хеммереса. Крестьянин наверняка знал, как пройти к американским постам. Но когда Кэте рассказала ему, что, как она узнала из письма Динклаге, завтра утром Хеммерес будет занят, он отказался от этого намерения. Нельзя было положиться на то, что крестьянин, когда хутор перестанет быть на ничейной земле, не станет болтать о своих ночных гостях. И тогда он, Венцель Хайншток, попался. Это была одна из причин, почему они так поздно двинулись в путь. Хайншток хотел быть уверен, что люди в Хеммересе будут спать, когда Кэте пройдет по их двору.

— Когда поднимешься наверх, кричи что-нибудь по-английски. А еще лучше до того, как окажешься наверху.

— Ты думаешь, они будут стрелять?

— Вряд ли, если услышат женский голос.

Как все было бы просто, если бы они поручили это мне. Вместо меня пришлось идти Шефольду. Через линию фронта.

Кэте поцеловала его в щеку.

— Если мне действительно придется вернуться, я навещу тебя,— сказала она.

— Счастливого пути! — сказал Хайншток.

Он смотрел ей вслед, как она вышла из черноты леса на старые вырубки, лишенные всякой окраски, перешла луг и приблизилась к хутору. Он с удовлетворением отметил, что шла она бесшумно. Она двигалась по равнине, словно дух. Когда он услышал, как загрохотали доски мостика, она уже была лишь летящей тенью.

Он спокойно наблюдал, как хозяин Хеммереса вышел из дому, какое-то время глядел на мостик, потом снова вернулся в дом.

Хайншток подождал, не донесутся ли крики или выстрелы, но ничего не услышал. Вероятно, она наткнулась на передовой пост американцев на полпути — так сказать, не успев и оглянуться.

Он встал и пошел обратно. В первый момент его ослепила темнота леса. «Сычом надо быть»,— подумал он.

Фазы превращения художественного вымысла в документ

I

Но что же произошло с 4-м батальоном 3-го полка 416-й пехотной дивизии?

В то время как Кэте шла в Хеммерес через линии американской обороны, он готовился к выступлению.

Весьма загадочно, что 416-я пехотная дивизия, которая только 5 октября была передана главнокомандующему группой войск «Запад» для использования на спокойном участке фронта, не числится в списках группы войск «Б». А ведь тогда был только один-единственный спокойный участок фронта: между Моншау и Эхтернахом.

Должно быть, она состояла из призраков, эта 416-я.

Дадим ей и 4-му батальону ее 3-го полка возможность еще какое-то время сражаться с партизанами в Северной Италии. Все равно

дело плохо. Если воспользоваться выражением Райделя, война — и не война уже вовсе, а анекдот какой-то. Правда, не для партизан Северной Италии и не для тех, кто пытается их одолеть.

«Когда в ночь с 20-го на 21 апреля — в эту ночь Гитлер говорил со мной о заговоре, якобы раскрытом в 4-й армии,— я собирался покинуть зал совещаний в бункере, где в этот момент оставался только Гитлер, в дверь просунул голову посланник Хевель из министерства иностранных дел и спросил: «Мой фюрер, у вас есть для меня еще поручения?» Гитлер ответил отрицательно, и Хевель сказал: «Мой фюрер, без пяти секунд двенадцать. Если вы еще хотите чего-то добиться с помощью политики, то сейчас для этого последний шанс». Выходя из комнаты медленно, устало, еле волоча ноги, Гитлер ответил тихим, слегка изменившимся голосом: «Политика? Я больше не занимаюсь политикой. Она вызывает у меня отвращение. Когда меня не станет, вам еще придется много заниматься политикой». (ВД, раздел «Документы», Франкфурт, 1961.)

Посланник Хевель из министерства иностранных дел обманул своего фюрера относительно времени. 21.IV.1945 года не оставалось и пяти секунд до двенадцати. А в ночь с 12-го на 13.X.1944 года, когда 4-й батальон 3-го полка 416-й пехотной дивизии уходил из Винтерспельта, все шансы были уже окончательно упущены.

2

А 3-я рота 4-го батальона 3-го полка (полк 424-й) 106-й пехотной дивизии?

Остатки 106-й дивизии — два ее полка были захвачены на Шнее-Эйфеле в плен (как предсказывали капитан Кимброу и майор Динклаге) — попали в конце декабря в goose-egg [1] в районе Сен-Вита. Это подтверждается соответствующими военными документами.

При сравнении фактов, связанных с майором Динклаге и капитаном Кимброу, снова и снова обращает на себя внимание то обстоятельство, что номер дивизии последнего можно считать подлинным, в то время как номер дивизии Динклаге предположителен.

(Дивизии, состоящие из призраков, в высшей степени пригодны для игр в ящике с песком. Для *повествований*.)

Впрочем, в списках личного состава 424-го полка капитан Кимброу не значится. Поэтому мы не знаем, удалось ли ему в goose-egg в районе Сен-Вита узнать что-либо о качествах своего духа и тела, что казалось ему столь неслыханно важным.

Но почему, черт побери, остатки 106-й американской пехотной дивизии, а с ними Джон Кимброу, должны скрыться от нас в дыму арденнской битвы?

«Самое большое препятствие для союзников, с тех пор как в войне наступил перелом, было создано ими самими: неумное и близорукое требование безоговорочной капитуляции. Оно помогало прежде всего Гитлеру, ибо укрепляло его позиции в немецком народе, а также позиции сторонников войны в Японии. Если бы руководители союзников обладали достаточным умом и дали какие-то гарантии относительно условий заключения мира, Гитлер еще до 1945 года потерял бы власть над немецким народом. Уже за три года до этого эмиссары широкого антинацистского движения в Германии сообщили руководителям союзников свои планы свержения Гитлера, а также имена многих ведущих военных, которые были готовы принять участие в мятеже, если бы только получили от союзников гарантии относительно условий заключения мира. Но ни тогда, ни позднее никаких гарантий, даже намеков на таковые им не было дано, так что заговорщикам, естественно, трудно было найти поддержку

[1] В окружение. Буквально: в гусиное яйцо *(англ.)*.

для подобного прыжка в неизвестность». (Лиддел Гарт. История второй мировой войны. Цит. по немецкому изданию, Дюссельдорф, 1972.)

«Может быть, это должно служить оправданием для генералов?» — думал Шефольд, слушая теории Динклаге, который, впрочем, был единственным, кто проявил готовность реализовать определенные военно-научные теории и принципы в конкретном действии на уровне командиров подразделений.

Прусское дворянство, или Досье трех генерал-фельдмаршалов (с примечаниями)

«После того как фон Рундштедт был снова возвращен из отставки, чтобы принять верховное командование немецкими армиями на Западе, Гитлер сообщил ему, что в рейхе формируются новые дивизии, которые в ноябре будут готовы к боевым действиям. Действительно, уже к 19 октября фон Рундштедт получил несколько новых дивизий и другие подкрепления, однако за минувшие шесть недель наличный состав, по его словам, сократился на 80 тысяч человек; он считал, что, включая войска укрепленных районов, его армии — 27 полностью укомплектованных пехотных и 6,5 танковых дивизий — составляют примерно половину численного состава противника.

Но Гитлер и его штаб уже давно планировали контрнаступление, и 22 октября Гитлер вызвал в свою ставку в Восточной Пруссии начальников штабов фон Рундштедта (генерала Вестфаля) и Моделя (генерала Кребса). Там им было сообщено, что комплектование новых дивизий будет завершено в ноябре, но что они предназначены не для обороны, так как пассивная оборона не может предотвратить дальнейшую потерю решающих областей рейха. Предотвратить ее можно только с помощью наступления. Поэтому Гитлер решил, что, «ввиду малочисленности войск противника в этом районе», следует начать наступление в Эйфеле. Целью было уничтожение сил противника севернее линии Антверпен—Брюссель—Люксембург и, таким образом, осуществление решающего перелома на западном театре военных действий. Захват немецкой армией Антверпена расколол бы вражеский фронт и разъединил бы англичан и американцев. 5-я и 6-я армии должны были осуществить главный удар; 7-я армия должна была прикрывать южный фланг. Все три армии входили в группу армий «Б»...

Фон Рундштедт и Модель, узнав об этих планах, немедленно пришли к единому мнению, что осуществить поставленную Гитлером задачу имеющимися в их распоряжении силами невозможно. Они настойчиво пытались добиться принятия плана более ограниченных действий, но абсолютно безуспешно. Им было сообщено о решении фюрера, что «ни одна деталь операции не может быть изменена», и их повторные предложения «плана малых задач» были отклонены как «проявление слабоумия» (Major L. F. Ellis. Victory in the West. Her Majesty's Stationery Office, London, 1968)[1].

Примечание. См. также ВД, Мантейфеля, Вестфаля, Юнга, Эйзенхауэра, Аланбрука, Брэдли, Томпсона, Лиддела Гарта, Кальвокоресси/Винта, Элстоба и др.

«Заключайте мир, глупцы!» (Телеграмма находившегося тогда в отставке генерал-фельдмаршала фон Рундштедта верховному главнокомандованию вермахта после битвы под Фалезом, лето 1944 года.)

Его «ход мыслей в основном соответствует концепциям ОКВ»[2], поэтому его предложение «лишь незначительно» отклоняется «от точки зрения фюрера». «Мне ясно, что сейчас все должно быть поставлено на карту. Поэтому я отбрасываю все эти сомнения» (а именно: сомнения, вызванные недостаточностью сил). (Письмо — уже не находящегося в отставке — генерал-фельдмаршала фон Рундштедта генерал-полковнику Йодлю, начальнику штаба оперативного руководства вермахта, от 3.XI.1944, цит. по: Герман Юнг. Наступление в Арденнах 1944—1945, Гёттинген, 1971).

Примечание. Майор Динклаге: «Такого не было, чтобы я не подчинился приказу».

Примечание. Смягчающее обстоятельство: как в мышлении Райделя не были заложены слова «знание людей», так в мышлении фон Рундштедта отсутствовали слова «неподчинение приказу».

---

[1] Майор Л. Ф. Эллис. Победа на Западе. «Стэйшенери оффис» Ее Величества. Лондон, 1968 *(англ.)*.

[2] Верховного главнокомандования вермахта.

Примечание. Зато в лексиконе немецких генерал-фельдмаршалов наличествовали слова «судьба» и «провидение».

«Мой фюрер, я считаю себя вправе утверждать: я сделал все, что было в моих силах, чтобы овладеть положением. Как Роммель, так и я, и, по-видимому, все другие командующие здесь на Западе, обладающие опытом борьбы против англо-американцев с их материальным превосходством, предвидели нынешний ход событий. Нас не слушали. Наши взгляды диктовались не пессимизмом, а просто знанием фактов.

Должны существовать средства и пути, чтобы положить этому конец и прежде всего воспрепятствовать тому, чтобы рейх оказался в большевистском аду. Поведение некоторых офицеров, попавших в плен на Востоке, остается для меня загадкой. Мой фюрер, я всегда восхищался Вашим величием и Вашим самообладанием в этой гигантской борьбе и Вашей железной волей, с какой Вы утверждали самого себя и национал-социализм. Если судьба сильнее Вашей воли и Вашего гения, значит, такова воля провидения. Вы вели честную и великую борьбу. Это свидетельство Вам выдаст история. Проявите сейчас такое же величие, положите конец безнадежной борьбе, если это окажется необходимым.

Я ухожу от Вас, мой фюрер, как человек, который, сознавая, что до конца выполнил свой долг, был к Вам ближе, чем Вы, возможно, думали.

Хайль, мой фюрер!

18 августа 1944 Фон Клюге, генерал-фельдмаршал

(ВД, 4-й раздел. Документы. Франкфурт-на-Майне, 1961.)

Примечание. Написал это и покончил с собой.

Примечание. С собой. Но не со своим фюрером.

Примечание. Генерал-фельдмаршал фон Рундштедт: «Глупцы!»

Примечание. Дал такую телеграмму и всего два месяца спустя взялся за осуществление порученного ему арденнского наступления (которое какое-то время носило его имя: рундштедтовское наступление).

Примечание. Исключение, или Остатки прусской славы.

Если вы окажетесь в Берлине [1], посетите Плётцензее!

В Плётцензее фон Витцлебен все еще придерживает брюки, стоя перед палачом [2].

Эрвин фон Витцлебен, генерал-фельдмаршал, казненный 9 августа 1944 года за участие в покушении на Гитлера.

«Остались две опустошенные маленькие страны, разрушенные дома и крестьянские хозяйства, мертвый скот, мертвые люди, мертвые души и мертвые сердца. Арденны превратились в гигантское хранилище костей 75 с лишним тысяч мертвецов». (John Toland. Story: the Battle of the Bulge. Цит. по нем. изд.: Битва в Арденнах 1944, Берн, 1960.)

Автоматы

Арденнское наступление началось в утренние часы 16 декабря.

Приготовлений к нему Хайнштох почти не заметил, если не считать трех танков «тигр», которые утром 14 декабря появились на узкой дороге, проходившей мимо его каменоломни. С низко нависшего неба падал снег, он лежал тонким слоем на дороге и лугах, вплоть до леса, поднимавшегося из долины Ирена. С высоты над каменоломней,

[1] Имеется в виду Западный Берлин.

[2] Во время процесса над участниками заговора 20 июля гитлеровская пропаганда пыталась выставить подсудимых в карикатурном, унизительном виде. На одной из фотографий фон Витцлебен придерживает брюки.

стоя под соснами, Хайнштоk смотрел, как серые танки, скрежеща, шли один за другим по дороге. Люки их были закрыты, и длинные стволы пушек оставались неподвижными. Миновав каменоломню, они сошли с дороги, повернули на луга, где снег и земля приглушали железный лязг цепей, какое-то время двигались рядом, потом исчезли в долине. Они оставили за собой веер черных следов на снегу.

Воскресший из мертвых

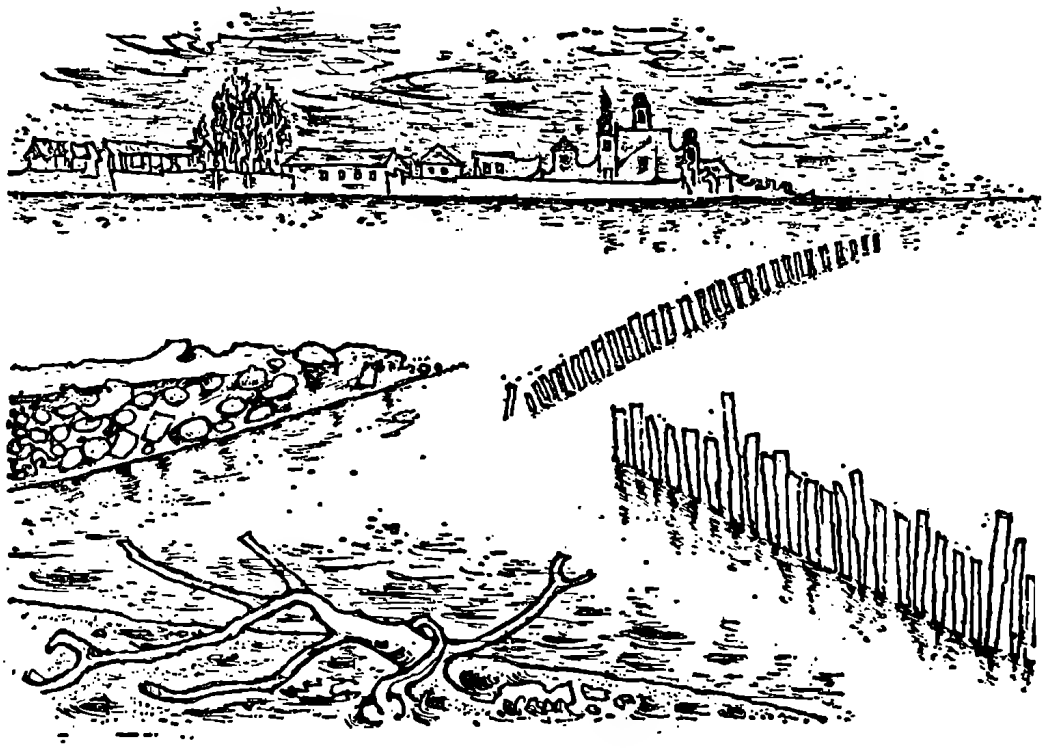
Деревня Винтерспельт во время сражения в Арденнах дважды переходила из рук в руки. То, что от нее осталось, было в конце концов захвачено 20 января одной из частей 7-го корпуса 1-й американской армии.

Когда все кончилось, Хайнштоk пошел однажды на восточные высоты над Уром, чтобы осмотреть место, где был убит Шефольд. Он увидел Шефольда, стоявшего под сосной и курившего сигарету. Казалось, Шефольд его не видел — он курил и рассматривал покрытую снегом местность. Единственное отличие, по сравнению с прежними временами, заключалось в том, что он был весь однообразно серый. Его галстук (Хайнштоk не знал, что он был огненно-красным) казался теперь густо-черным.

«Я сошел с ума»,— подумал Хайнштоk.

В ближайшие дни, установив, что с головой у него все в порядке как всегда, что его психологические реакции остались прежними, он сказал себе: «Ну и прекрасно, теперь я, по крайней мере, знаю, где найти Шефольда, если мне как-нибудь захочется повидаться с ним».

■



ТАДЕУШ КУЛИСЕВИЧ.
Рисунок из кубинского альбома.

Критика

РАДКО ПЫТЛИК

У ИСТОКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Вступление и перевод с чешского Р. ФИЛИПЧИКОВОЙ

В истории чешской литературы 20—30-х годов — поры, когда творили такие выдающиеся художники слова, как С. К. Нейман, И. Волькер, В. Незвал, М. Майерова, И. Ольбрахт, М. Пуйманова,— яркую страницу составляет творчество писателя-антифашиста Ярослава Кратохвила (1885—1945). Не менее ярка и сама его личность: страстный борец за торжество коммунистических идей, участник проходившего в республиканской Испании в 1937 году II Международного конгресса писателей («конгрессом воинствующей человечности» назвал его Кратохвил), верный друг Советского Союза — страны, которая всегда оставалась для него «прибежищем надежды», активный деятель антифашистского Сопротивления...

Опубликованный в 1934 году роман Кратохвила «Истоки»[1] представляет собой первые две части масштабно задуманной эпопеи — писатель собирался показать в ней трудные судьбы чешских и словацких солдат, попавших во время первой мировой войны в русский плен и ставших затем свидетелями Октябрьской революции и гражданской войны в России. Произведение насыщено личным опытом автора — он сам был офицером чехословацких «легионов», сформированных из военнопленных на территории России. Наблюдая бурные революционные события, Кратохвил сумел понять глубокий социальный смысл русской революции и поверил в правоту большевиков. В своей книге он с достоверностью очевидца изобразил сложный процесс идейно-политической поляризации в среде легионеров, показал, как назревал перелом в сознании солдат, как все бóльшая их часть проникалась революционными настроениями. Действие романа «Истоки» охватывает 1916—1917 годы. В последующих книгах Кратохвил намеревался описать дальнейшие события, связанные с эвакуацией чехословацкого корпуса на родину через Сибирь,— именно тогда легионеры были втянуты реакционным офицерством, подстрекаемым западными державами, в антисоветский контрреволюционный мятеж. Однако националистическому руководству не удалось повернуть на этот путь всю массу военнопленных. Многие перешли на сторону советской власти и в рядах Красной Армии сражались с белогвардейцами и интервентами. Бескомпромиссно и честно рассказывая о драматической истории корпуса, автор «Истоков» смело противостоял попыткам представить в ложном свете роль чехословацких легионов, развенчивая миф об их мнимых патриотических подвигах. Роман

[1] В переводе на русский язык вышел в издательстве «Художественная литература». М., 1969. Об этом романе см. также в кн. Р. Кузнецовой «Становление романа-эпопеи нового типа в чешской прозе». М., МГУ, 1975. *(Здесь и далее прим. перев.)*

«Истоки», по словам Зденека Неедлы, «прост, чист и, главное, убеждает, как всякая подлинная правда».

Предлагаемая читателю работа Радко Пытлика вводит нас в творческую историю романа и опирается не только на его текст, но и на совершенно новые материалы, впервые изученные автором статьи. Ему удалось прочесть дневник Ярослава Кратохвила, относящийся ко времени его пребывания в России в 1915—1920 годах. О существовании дневника было известно и ранее, но он оставался нерасшифрованным из-за неразборчивого почерка. Пытлику удалось преодолеть эту трудность. Он обнаружил также несколько неизвестных и сохранившихся в рукописи глав третьей книги романа. Эти открытия и позволили чехословацкому литературоведу более точно определить значение творчества Кратохвила для формирования социалистического реализма в литературе Чехословакии. Особый интерес и глубину работе Радко Пытлика придает то обстоятельство, что анализ «Истоков» соотнесен в ней с теоретическим осмыслением в чехословацкой марксистской критике актуальных проблем социалистического реализма.

«Истокам» Ярослава Кратохвила принадлежит особое место в истории чешского социального романа 30-х годов. Выдающийся наш критик Ф. К. Шальда[1] одним из первых высоко оценил это произведение, назвав его «удивительно зрелым, насыщенным и продуманным». И главным образом, по двум соображениям. Во-первых, автор «Истоков» открыто полемизировал с так называемой легионерской литературой, прославлявшей «сибирский поход» чехословацких легионов. А во-вторых, роман Кратохвила поражал прекрасным знанием русской действительности октябрьской поры. Но исчерпываются ли этим достоинства книги, ее значение? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к творческой истории «Истоков». Однако сначала — несколько слов об их авторе.

Друг Страны Советов и неутомимый пропагандист ее достижений, Ярослав Кратохвил в годы Первой республики (1918—1938) вместе со Зденеком Неедлы основал «Общество культурных и экономических связей с Новой Россией», редактировал журнал «Нове Руско» («Новая Россия»). Его жизнь оборвала война. (Кратохвил погиб в концлагере Терезин.) Писатель успел издать лишь две части романа «Истоки», повествующего о чехах и словаках, солдатах австрийской армии, взятых в плен на русском фронте, о непростой истории их пребывания в России.

В одном из писем Кратохвила корреспонденту ТАСС И. Ипполиту сохранился набросок плана книги в целом — она должна была стать исторической эпопеей и по первоначальному замыслу называлась «Река». Писатель намеревался показать — во всем многообразии и значимости — воздействие русской революции на национально-освободительное движение в Чехословакии, воссоздать истинную картину того, как корпус легионеров оказался вовлеченным в контрреволюционную борьбу против новой России. Кратохвил писал, что считает свою книгу не только свидетельством бывшего военнопленного или романом о чехословацких легионерах, но и романом о социальной революции. Сохранившаяся рукопись эпопеи, которой мы теперь, наконец, располагаем, убеждает в том, что писатель сознательно стремился к изображению процессов и событий с точки зрения социальной, революционной. Он хотел представить русскую революцию как мощный катализатор национального и социального движения обездоленных первой мировой войной народных масс Европы.

Для понимания творчества Ярослава Кратохвила ключевое значение имеет его «Легионерский дневник», явившийся как бы фундаментом эпопеи «Река». Маленькая тетрадка с пожелтевшими от времени, распадающимися страничками хранит непосредственные, живые впечатления очевидца социалистической революции и борьбы с интервенцией в России. Документ драматический, поражающий своей силой, поскольку написан он рукой человека предельно честного, думающего — и вместе с тем офицера армии, которая оказалась на стороне контрреволюции и защищала интересы империалистических держав. Эти свидетельства тем более важны, что проливают свет на сложный, временами мучительный процесс идейного созревания их автора.

Дневник Ярослава Кратохвила делится примерно на три части. В первой речь идет о развертывании революционных событий на Украине. Знаменательно, что, находясь еще под влиянием отравленной национализмом пропаганды, Кратохвил все же сумел почувствовать величие большевистской революции и ее идеалов. «Непонятная и пугавшая» легионеров революция «предстала вдруг перед ними в своей глубоко человеческой сущности». «*Мысленно я прошу прощения,*— заносит Кратохвил в дневник,— у *русских солдат-товарищей, на которых я был так сердит. Ведь я понимаю: большевизм — это такое естественное движение сердца. А вина всегда лежит на верхах*»[1].

Приподнятр-эмоциональная тональность дневника вполне естественна — перед на-

[1] Шальда Франтишек Ксавер (1867—1937) — чешский критик, писатель, драматург. В 30-е годы поддерживал писателей-коммунистов, передал Ю. Фучику руководство журналом «Творба».

[1] Здесь и далее цитируется дневник Ярослава Кратохвила, хранящийся в Музее национальной письменности ЧССР.

ми документ, запечатлевший совсем особый способ проникновения в суть происходящего — «познание сердцем». Именно так, «сердцем», Кратохвил приходит к глубоким и совершенно верным наблюдениям: *«Притягательность большевизма в том и состоит, что он обнажает простые, грубые, беспощадные истины. Достаточно отвлечься от красивых слов — и предстанет это самая Правда».*

Так начинается идейная эволюция легионера Ярослава Кратохвила: им движет непоколебимая воля к постижению «этой самой «Правды», побеждающая все предрассудки и заблуждения привычного окружения.

Вторая часть дневника относится ко времени так называемого сибирского похода легионов — их главари с помощью демагогических фраз о патриотизме, обещаний, денег, наконец, просто силы пытались сколотить тогда армию наемников, послушных марионеток в руках интервентов. На этих страницах дневника в наибольшей степени раскрываются черты личности самого Кратохвила — столь свойственные ему чуткая совесть, человечность и сознание своей моральной ответственности за происходящее. Беспощадно, с чувством стыда и отвращения описывает он зверства легионеров, упивающихся временной победой, произвол, чинимый контрреволюцией: *«Наши действия бессмысленны! И, несмотря на временные успехи и победы, мы недолго продержимся. Мы могли и должны были организовать поддержку русской революции, а вместо этого ведем войну с ней».*

Отсюда всего один шаг до открытого протеста против контрреволюционной интервенции, который и определяет основное содержание третьей, самой важной части дневника. В ней Кратохвил решительно выражает несогласие с политикой тех, кто руководил чехословацким корпусом. Он включается в борьбу с честолюбивыми военачальниками, ввергшими легионеров в империалистическую авантюру, и становится одним из самых активных деятелей легионерской оппозиции, требовавшей созыва съезда и создания революционных комитетов. Не будем, однако, вдаваться во все перипетии волнующей сибирской драмы легионеров. Предоставим слово самому Ярославу Кратохвилу:

«Если русские контрреволюционные войска начнут, как и мы, отступать, а большевики будут преследовать нас по пятам, я пойду вместе с большевиками воевать против Колчака или сложу оружие, предстану перед судом и под конвоем вернусь на родину».

«Вы провозглашаете себя освободителями народов, — обвиняет писатель реакционное командование легионеров,— *а сами сжигаете целые деревни и сообщаете об этом в газетах!»*

Или еще одна цитата: *«Необходимо, наконец, избавиться от национализма и защищать... свою подлинную независимость. Наш национализм нас погубит».*

В тот решающий момент судьба Кратохвила воплощала судьбу многих его соотечественников, оказавшихся на перекрестке дорог истории. Его национально-демократические убеждения перерастают в бескомпромиссный классовый интернационализм. Новое мировоззрение Кратохвила приобретает все более универсальный характер. Выходя за пределы конкретного исторического момента, он стремится осмыслить проблемы исторической ориентации чешского и словацкого народов, их будущей государственной самостоятельности. *«Интеллигент-созерцатель становится анархистом, интеллигент, охваченный справедливым гневом,— большевиком,—* размышляет писатель.— *На обоих полюсах — насилие. Но на одном... черная диктатура реакции; на другом же — насилие... над мракобесием реакции, красным заревом пламенеющая диктатура революции. А посредине тупое, довольное, жирное мещанство, подающееся то вперед, то назад, в зависимости от того, куда склоняется чаша весов, куда влекут его собственные выгоды и интересы».*

«Большевики сейчас — вожди русского национального движения. Они-то и есть истинные русские патриоты», — из этого дорогой ценой обретенного убеждения вырастает политическая концепция Кратохвила. Он связывает судьбы национально-освободительной революции в стране с судьбами мировой революции, начало которой было положено Октябрем. Новое мировоззрение позволяет писателю делать прогнозы на много лет вперед. Словно предвидя Мюнхен, он предостерегает и против возможных трагических поворотов событий.

«Связать себя... со *старым, отживающим миром — означало бы для нас верную смерть!»* Эти слова были написаны вдали от родины, в разгар революционных событий в мае 1919 года!

«Легионерский дневник» — не просто исторический документ, имеющий литературную ценность. Здесь впервые — так сказать, еще в горниле исторических событий — Кратохвил творит апофеоз революции. Здесь — как бы на наших глазах — рождается его концепция революции, которую по возвращении на родину он развернет в документальной книге «Путь революции» (1922). Заключенная в ней правда, проверенная писателем на личном опыте, также легла в осиову романа. Приступая к работе над «Истоками», Кратохвил поставил перед собой нелегкую задачу: по-новому осветить целый эпизод отечественной истории, показать процесс крушения националистических иллюзий легионеров, необходимость национального и социального возрождения чехов и словаков на новых путях — на путях социалистической революции. Вот почему «Истоки» — как и вся

РАДКО ПЫТЛИК
У ИСТОКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА
В ЛИТЕРАТУРЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ

задуманная Кратохвилом эпопея «Река» — должны были стать и стали произведением новаторским, первым, пожалуй, чешским романом о революции. По идейной концепции и форме «Истоки» родственны советскому революционному роману, прежде всего — «Тихому Дону» Шолохова.

Широкий идейный кругозор писателя, совершенное знание им материала, подкрепленное личными наблюдениями, типизация исторических событий как драматического процесса, как конфликта между человеком и историей, умение изобразить героев через действие — все это позволяет определить «Истоки» как роман социально-революционный в полном смысле этого слова.

Углубленный анализ «Истоков» Кратохвила дает основания и для выводов теоретического характера, прежде всего — об очевидной внутренней связи этого произведения с концепцией социалистического реализма, какой она предстает в трудах Бедржиха Вацлавека [1] второй половины 30-х годов. Ее положения стали базой для объединения прогрессивных писателей, издававших журнал «У» (от начальной буквы чешского слова umění — искусство). Главным в концепции Вацлавека был тезис об устремленности искусства к синтезу. Некоторым марксистским критикам 30-х годов путь к синтезу виделся следующим образом (по схеме гегелевской триады): искусство пролетарское [2] (тезис) — поэтизм [3] (антитезис) — социалистический реализм (синтез). В отличие от них Вацлавек исходит из конкретного анализа социально и социалистически ориентированного искусства, складывавшегося в процессе предшествующего развития. Социалистический реализм для него, следовательно, отнюдь не постулат, привносимый извне, а результат реализации тенденций развития чешской и словацкой литератур.

Судьба «Истоков» по-своему исключительна: своей внутренней концепцией, художественным решением роман словно предвосхитил принципы социалистического реализма — у нас в стране им еще только предстояло быть провозглашенными. Иначе говоря, это был образец социалистического реализма avant la lettre [4]. Не случайно именно так рассматривает «Истоки» Вацлавек в статье «Корни социалистического реализма в современной чешской литературе» (1935). Следует подчеркнуть также, что роман не только содержит в себе общие черты литературы социалистического реализма, но и может служить ярким примером специфически национального проявления социалистического искусства.

Важнейшей особенностью творчества Кратохвила, более того, главным его принципом изображения действительности является раскрытие драматической конфронтации нового со старым, диалектической борьбы противоположностей. Кратохвил неразрывно связывает внутренний мир своих героев с объективными социальными процессами, создавая таким образом как бы «силовое поле» между двумя полюсами — психо-экзистенциальным и общественно-историческим. Писатель широко прибегает к приемам метафорического и символического письма, особенно в изображении природы. Все эти элементы сливаются в единое целое в экспрессивном и емком образе реки, могучего течения — образе, вбирающем в себя и судьбы индивидов, и историю масс.

Представление о творческом методе Кратохвила было бы, пожалуй, неполным без изложения его литературных взглядов — они характеризуют Кратохвила как художника мыслящего и целеустремленного.

В статье «Заметки на полях» (1935) писатель объясняет, как случилось, что его произведения отмечены чертами социалистического реализма, хотя и были созданы до разработки его концепции в Чехословакии. По его мнению, социалистический реализм — естественная тенденция развития искусства нынешней эпохи. Причину единства своего художественного метода и прогрессивных веяний времени Кратохвил усматривает в том, что всегда искал источники вдохновения в «простой, настоятельной действительности, действительности нашего времени»: «Присмотритесь повнимательнее к жизни, оглянитесь вокруг! Можно ли выдумать что-либо более значительное, богатое, более драматичное, более прекрасное и оптимистичное, чем сама действительность».

Существенной чертой современного общественного развития является его динамичность. «Раз не существует статичной действительности, — размышляет Кратохвил, — то нет и не может быть и иного реализма, кроме реализма динамичного — социалистического. Реализм не означает пусть даже самого верного, но статического постижения изолированного факта или изолированных фактов, ибо статическое познание изолированных фактов столь же мало похоже на познание действительности, как, например, попытка уловить направление течения реки, наблюдая лишь за отдельной волной или прибрежными струями... оно столь же мало похоже на познание сущности мира, как детское представление о... деревьях, якобы создающих ветер».

Итак, истинное познание (в том числе и художественное познание) действительности и ее сущности заключается в познании

---

[1] Вацлавек Бедржих (1897—1943) — один из основоположников марксистской эстетики в Чехословакии. В конце 30-х годов при его содействии была организована литературная группа «У Блок», сплотившая писателей социалистического направления. Погиб в Освенциме.

[2] Имеется в виду течение в чешском искусстве 20-х годов, утверждавшее идеи пролетарской революции и явившееся начальным этапом становления социалистического реализма.

[3] Левоавангардистское направление в чешской литературе второй половины 20-х годов противопоставлявшее искусство и идеологию как якобы разные сферы деятельности и считавшее, что в буржуазном обществе возможно создание лишь «предобразов» искусства социалистического.

[4] Здесь: до появления самого термина (*франц.*).

целого. Это подчеркивал и Вацлавек в своем вступлении к анкете «К вопросу о социалистическом реализме» (1934), напоминая, что тотальность познания предполагает умение связывать действительность фактов с действительностью их отношений и функций. Словно в унисон ему Кратохвил утверждает: «...лишь информация о целостной реальности есть подлинная информация о действительности».

Проблема целостного изображения реальности теснейшим образом связана с проблемой ощущения перспективы в социалистическом искусстве. Эта перспектива отнюдь не есть некий довесок к художественному образу, ибо является органическим составным слагаемым самой действительности, а следовательно — и ее правдивого отображения в искусстве. «Только при наличии такого убеждения,— замечает Кратохвил,— тема, мотивы, материал произведения оказываются обусловленными самой действительностью».

Основываясь на личном опыте, писатель приходит к убеждению, что «нет иной социалистической тенденциозности, кроме тенденции к проникновению в глубокую правду нашей эпохи». Познавая реальность в ее революционном развитии, социалистический художник открывает для себя источник общественной активности — этим путем достигается единство поэтического ви́дения и объективных общественных потребностей. О необходимости такого единства писал и Вацлавек: «Где нет ощущения слитности художника с объективными социальными процессами, там он не поднимается над этическим отношением к ним даже в том случае, если подобное отношение продиктовано самыми благими намерениями... Многие из поэтов и романистов до сих пор еще остаются на этом изначальном этапе. Однако речь идет не об этической направленности произведения, а о гораздо большем — о самой сущности поэтического ви́дения и о прямом активном участии в общественно-исторических процессах». Сам Кратохвил всегда был их активным участником.

В конце 30-х годов он — один из руководителей литературного объединения «У-Блок» и организаторов антифашистского фронта прогрессивных писателей и деятелей культуры. В этом смысле знаменательны слова из его «Легионерского дневника»: *«Я горд тем, что в великую эпоху был не просто сторонним, малодушным зрителем, что в одной из величайших глав истории я — действующее лицо»* (слова «действующее лицо» написаны по-русски — *Р. Ф.*).

Вернемся еще раз к вопросу о синтезе в социалистическом искусстве. В годы борьбы с нараставшей фашистской опасностью социалистическое искусство постепенно — чем дальше, тем больше — становится у нас искусством общенародным, преодолевает ограниченность и авангардистского конконформизма, и предшествующей социальной литературы. Реалистическая линия литературы обогащается элементами поэтической символики, условности, монументальности и иными выразительными средствами и приемами современного искусства (упомянем использование разных типов внутреннего монолога, временной симультанности, техники монтажа, фиксации подсознательных движений души и т. д.). Возникает задача с помощью словесной формы выразить самые сокровенные процессы сознания, сохранив при этом внешние контуры действительности, а с точки зрения языковой — и необходимую коммуникабельность. Все в большей степени применяются концентрированные формы смыслового выражения, такие, как символ, метафора, миф.

Возникновение этих тенденций подметил и попытался истолковать Ф. К. Шальда. В статье «О современном состоянии поэтического творчества» (1933) он подчеркивает, что на переломе XIX и XX столетий существенно меняется характер действительности и отношения к ней. «Наша действительность, — пишет Шальда, — гораздо сложнее, загадочнее, изменчивее. Изменилось соотношение между действительностью и вымыслом. Элементы вымысла порождаются уже не романтической позой, а становятся выражением иронии и самоиронии. Одновременно стираются границы между конкретным и абстрактным, между общим и частным».

Наибольшие изменения претерпевало, как полагает Шальда, устоявшееся в литературе, так сказать классическое, понятие личности: «Старое представление о личности находится под угрозой краха. Какая уж там «личность»,.. если человек утрачивает цельность, распадается на ряд реакций и взрывов, не связанных никакими нитями разумной цели».

В подобных условиях, естественно, возникает настоятельная необходимость в синтезирующем начале, которое Вацлавек, а вместе с ним и Кратохвил находят в объективном ви́дении реальности, в гармонии взглядов художника и объективных социальных процессов. «Диалектическое ви́дение, — утверждает Вацлавек,— дает возможность писателю понимать объективную общественную действительность как процесс, сущностно тождественный его собственным внутренним процессам. В нем нет ничего чужеродного внутренней жизни. Именно объективный общественный процесс является движущим началом и внутренней жизни поэтов».

Такое понимание действительности как своего рода аналога внутренней жизни художника открывает простор для активного познания им общественной реальности и вместе с тем собственного внутреннего мира — мира фантазии, мечты, творческих

РАДКО ПЫТЛИК
У ИСТОКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ

устремлений. Последовательная ориентация на действительность дает возможность широкого использования художественных средств, выдвигаемых современным искусством, скажем, различных форм смысловой поэтической концентрации.

Рассматривая в связи с этим, как меняется соотношение основных категорий, характерных для реалистического метода изображения — таких, как конкретное и общее, особенное и типическое,— Вацлавек выдвигает, в противовес «описательному реализму», тезис о «конкретной абстракции», имея в виду образ, в котором часть и целое диалектически взаимопроникают и который отличает особая мера обобщенности, стремление к цельности — один из главных признаков синтетического искусства. «В каждой клеточке произведения, творимого художником, — подчеркивает Вацлавек, — должен проглядывать весь современный общественный процесс... или, по крайней мере, с ним должна соотноситься каждая частность». В конце 30-х годов преодолевается та ограниченность в подходе к социалистическому искусству, которую я бы назвал «детской болезнью» нашей марксистской критики на рубеже 20—30-х годов. Передовая эстетическая мысль приходит к выводам, которые с наибольшей четкостью были сформулированы Бедржихом Вацлавеком и Куртом Конрадом[1]: социально активной является не только тема произведения, но и способ ее художественного решения, то есть весь комплекс изобразительных средств, с помощью которых писатель достигает выразительности и убедительности своих образов. Существенно при этом, что и арсенал этих средств тоже развивается вместе с движением жизни, в тесном контакте с эпохой.

Здесь необходимо сделать одно пояснение. Дело в том, что в отличие от советской литературно-теоретической мысли, во многом непосредственно опиравшейся на достижения великих писателей-реалистов XIX века, для нашей эстетики и литературоведения долгое время была характерна неуясненность понятия реализма. Порой дело доходило (особенно у авангардистов) до подмены его понятием натурализма.

«Истоки» Кратохвила — и в этом непреходящее значение романа — стали одним из тех произведений, которые послужили сильнейшим стимулом для глубокой разработки у нас теории социалистического реализма. Именно об этом свидетельствует совпадение ее конечных выводов с особенностями творческого метода Кратохвила, воплощенными в романе «Истоки».

[1] Конрад Курт (1908—1941) — чешский критик, историк, эстетик. Внес заметный вклад в разработку марксистской эстетики, теории социалистического реализма. Погиб в фашистском застенке.

◆

ТАДЕУШ КУЛИСЕВИЧ. Идущие женщины. Из цикла «Люди Мексики»

Литературные портреты

ЭЛЬВИО РОМЕРО

РОЗЫ В БРОНЕ РАУЛЯ ГОНСАЛЕСА ТУНЬОНА

Непроницаемый, безмолвный,
загадочный, всегда в пути.
А взгляд его был столь глубоким,
что был неразличим почти...[1]

Так Рубен Дарио, великий поэт Латинской Америки, писал о блистательном испанском поэте Антонио Мачадо, еще молодом в ту пору,— словно глядя на него из другого времени, когда расстояние уже позволяет охватить жизненный путь художника. Эти стихи могли бы стать и портретом Рауля Гонсалеса Туньона, хотя он пока все еще настолько рядом, что не так-то просто определить с достаточной точностью «температуру» его духовного мира.

И все же самое главное — ощутить эту температуру, прикоснуться к горячим источникам туньоновской поэзии. Истинные поэты питают их соками своей жизни, квинтэссенцией чувств, добытых из незначительных событий, серой и однообразной повседневности. Ведь это и есть труд поэта — уверенно проникать в гущу событий, вымывая из песка и гравия крупицы золота. Каждая стихотворная строка — итог такого труда, ее суть — стать сутью, блеск же ее зависит от того, сколько в ней скрыто света и тепла. Все это — о Рауле Гонсалесе Туньоне. В его произведениях — его биография, не похожий ни на кого облик, трепет личности, загадочность маски.

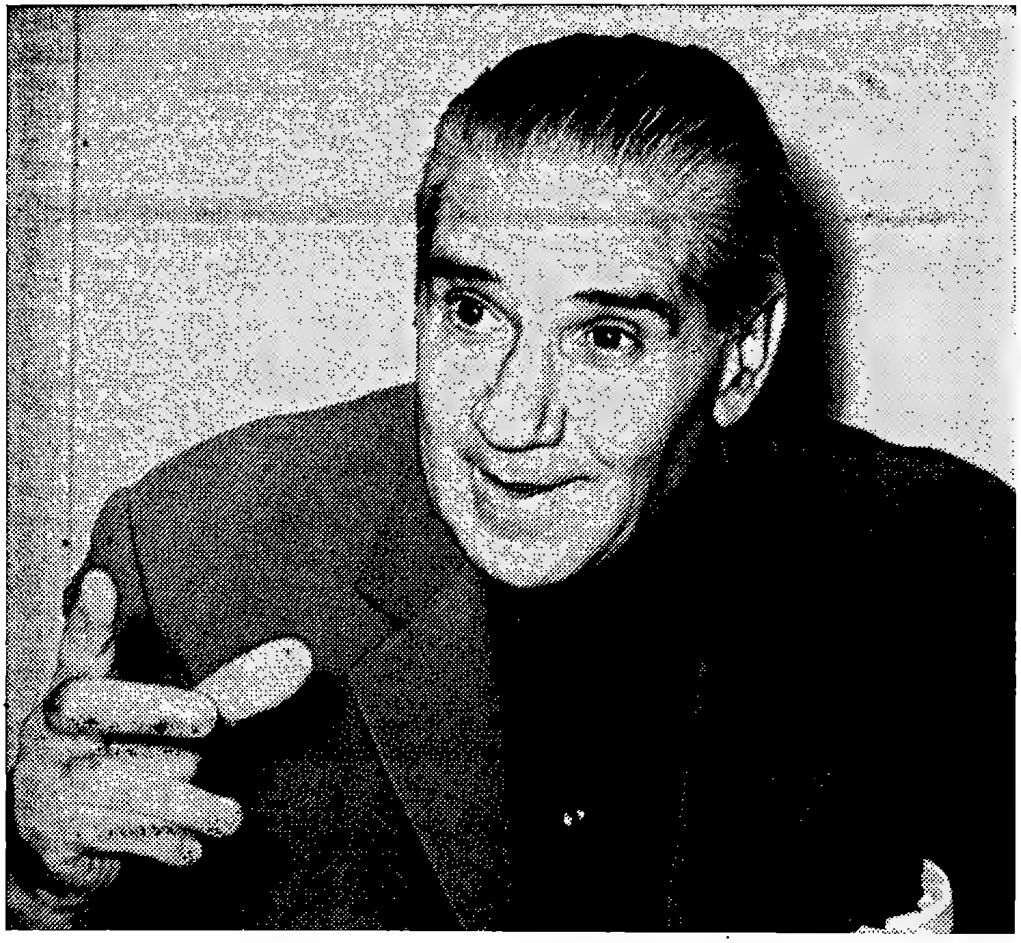
Простой перечень дат не помог бы обрисовать путь поэта. Может ли сказать нам что-либо тот факт, что он родился в 1905 году в Буэнос-Айресе, что юность его была бурной, а вся жизнь — длинной цепью перемен, бесконечной борьбой с жестокой действительностью, порывом к мечте и зачарованному созерцанию. Его биографию скрупулезно изучали многие. Сам поэт в интервью и статьях не раз уточнял некоторые обстоятельства своей жизни, приводил немало случаев и историй, имевших место там и сям, вчера и позавчера, с поразительной памятливостью распутывая тайные нити встреч и размолвок, любовных и дружеских, связанных с разными периодами жизни. Раулю Гонсалесу Туньону была свойственна поразительная тяга к воспоминаниям, он был неустанным и вдохновенным рассказчиком... Словом, его биографию было бы нетрудно выстроить, исходя из конкретных фактов его жизни. Но куда важнее восстановить духовный климат, сопутствовавший ей, а климат этот рождался в жарком горниле творчества Гонсалеса Туньона.

Леон Фелипе[1] написал как-то: «У больших поэтов нет биографий, у них есть судьба...» Судьба Рауля Гонсалеса Туньона — судьба его поэзии.

Известно, что у каждого поэта есть излюбленные мотивы, слова — неумолчное эхо, время от времени звучащее в том или ином произведении (не оттого ли, что в груди нашей всегда бьется сердце, и ритм этого биения не меняется?).

[1] Переводы поэтических текстов, приводимых в статье, принадлежат П. Грушко.

[1] Фелипе Леон (1884—1968) — видный испанский поэт, представитель «поколения 1927 года». *(Здесь и далее — прим. ред.)*



Рауль Гонсалес Туньон в редакции «Иностранной литературы»

Есть эти константы и в поэзии Рауля Гонсалеса Туньона. Житейские перипетии на время как бы заглушают их, но они то и дело воскресают как свидетельства изначальной цельности. Печаль его последних стихотворений из книги «Скамья на площади», целиком не изданной и поныне (мы знаем ее лишь по опубликованным фрагментам),— та же печаль, что и в книге «Скрипка дьявола» (1926), но углубленная рекою времени. Четыре десятилетия назад он писал о себе, что был «печальным и сердечным, как истый аргентинец».

Думаю, то же самое он сказал бы и на склоне лет. Его поздние стихи «печальны и сердечны», как и в пору далекого начала, когда он написал:

Полночь, город словно неживой.
Мертвый конь застыл на мостовой.
Пять часов лежать ему, пока
грузовик утащит старика
за город на свалку. Жалкий труп,
розовая пена возле губ,
рухнул наземь, выбившись из сил,
он с рожденья работягой был.
Друг собак и птиц, коняга-брат
брел по жизни в лютый зной
и в град,
ветер на дворе или гроза —
он тащил свой воз, закрыв глаза.
Брат-коняга! Хоть бы кто-нибудь
проводил тебя в последний путь.

(«Мертвый конь»)

Поэт Гонсалес Туньон появляется на «творческий свет» под созвездием романтиков, хотя формальные приемы футуризма и сюрреализма, уже влиявшие на новый способ поэтического отражения, оставили след и в его поэзии. Романтизм «презирал время своего бытия», и именно поэтому он искал вымышленное пространство, поступаясь тусклой реальностью во имя вторжения в область ирреального. В эту пору вселенная поэта — мир чистоты, наивно-простых образов, добытых далеко не простым трудом.

Романтики отвергали рутинный порядок вещей. Презрение к буржуа — живой модели скуки и загнивания — заставляло их обращаться к зеркалу, менявшему очер-

тания реального мира. И они блуждали в этом «искусственном раю», пытаясь найти исцеление от всех тревог. Они испытывали безмерное сострадание к отверженным, скитальцам и забиякам, проституткам и бродячим музыкантам, ворам и бездомным собакам, авантюристам — вечным возмутителям спокойствия.

Рауль Гонсалес Туньон выходит на сцену с жестом Пьеро, смеясь и рыдая, на его губах скептическая усмешка. Он сам сказал нам о своем «лице хохочущего привидения»:

Молись за меня, я похож
на святого и на бандита.

Поистине дерзость Пьеро отличает в то время поэта, но Пьеро этот сидит в полудреме на своем бауле где-нибудь на вокзале или бредет по сумрачному переулку, заглядывая в таверны и бары, где ютятся завсегдатаи злачных мест и случаются диковинные сцены:

В «Уайт-корнере» удивились
и хмыкнули деликатно,
когда в дверях появились,
как тени, два музыканта.

Один был русский калека,
он тренькал на балалайке,
а с флейтой — его коллега —
был негром, родом с Ямайки.

Припав к балалайке, русский,
рыжий и большеротый,
глаза прижмурив от грусти,
играет свои гавоты.

А с флейты негра, чье кепи
покоится на коленях,
слетают звуки-отрепья
седых паутин осенних.

Два оборванца играли,
тоску на кафе навеяв,—
казалось, из дальней дали
привел их сюда Андреев...

Но вот Пьеро этот перемахивает через изгородь и теряется среди железнодорожных путей, ведущих невесть куда. Он отправляется в свои первые странствия, зная, что его ждет участь бесприютного скитальца. Исходив — миля за милей — родную Аргентину, он ступает на берег Европы. Здесь его горизонты расширятся, он приобретет универсальное видение, свойственное каждому большому художнику. Сначала родина — позже пограничные шлагбаумы многих стран... Еще в молодости, «бородатый, как цыган», он странствует по аргентинским провинциям Неукен, Ла Риоха и Санта Фе, впитывая впечатления и краски,— они ему пригодятся на всю жизнь. Потом, попав на север страны в Тукуман, он с особой остротой воспринимает упадок и нищету этих мест, грабеж и притеснения, от которых страдают простые люди, наблюдает и запечатлевает жизнь на сахарных плантациях и заводах. Его хроники окрашиваются болью и протестом:

Луны печальней лица-луны
у гитаристов из Катуны!

Напившись, Пеньялоса с Чачо
напев свой горький тянут, плача.

И горько вторят им с порога
Факундо пьяный и Кирога.

Печальных льяносов объятья
вам сердце разрывают, братья!

Сквозь листья робким светом сирым
потемки трогает звезда.
Вокруг гитар кружит вампиром
неотвратимая беда...

. . . . . .

И в эту пору, на рассвете,
иду искать я новый ветер.

Прощайте, братья из Катуны
и льяносов простор степной!
Как горько плачут ваши струны
под обезглавленной луной!

(«Гитарист из Катуны»)

В сердце поэта вспыхивает пламя, которое уже никогда не погаснет. Он свидетельствует в стихах обо всем, что видит.

В эту пору Рауль Гонсалес Туньон познает и горький вкус парагвайской драмы. В 1932 году между Боливией и Парагваем вспыхивает война из-за нефтеносной области Чако-Бореаль — война, безжалостно опалившая обе страны, оба народа (война обошлась им в 250 тысяч убитых и раненых). Посетив Бокеронский фронт, военные форты, Туньон с гневом пишет о «запахе нефти», которым явственно отдают военные действия. Поэт понимает, что интриги, приведшие к братоубийству на земле Южной Америки, плелись далеко отсюда (война была вызвана соперничеством английских и американских нефтяных монополий), здесь же, в Латинской Америке, готовится пушечное мясо, которое будет принесено в жертву чужой наживе. Так открываются поэту звериные законы империализма — в его стихах мощно звучат призывы к братству, обращенные ко всем народам мира.

Итак, уже в юности Рауль Гонсалес Туньон вступает в схватку. Его дерзость навлекает на него преследования: поэт задержан и отдан под суд «за подстрекательство к восстанию», усмотренное в одном из стихотворений. Это стало началом его «университетов». Приговор, который вынесут ему,— приговор Поэзии. Но Рауля не останавливает зловещее обвинение в «подстрекательстве» — только ярче разгорается его протест: стихи закаляются, становятся точнее и яснее. Неприятие — негасимый костер его юношеского опыта.

ЭЛЬВИО РОМЕРО
РОЗЫ В БРОНЕ
РАУЛЯ ГОНСАЛЕСА ТУНЬОНА

Во время странствий по Панаме, Гваделупе, Бразилии, он постигает Латинскую Америку, ее людей, ее необычный пейзаж и климат — физический и духовный. Поэзия Гоисалеса Туньона накрепко связывается с конкретной реальностью — в глубинном значении этого слова,— а в поэзии это всегда признак значительности.

Такие стихи, как бы остаивливающие беглые мгновения человеческого существования, наиболее любимы истинными художниками. Кажется, Гёте сказал, что мир велик и многообразен, а жизнь являет нам различные картины, поэтому темы для Поэзии не будут исчерпаны никогда, нужно лишь, чтобы она всегда была поэзией конкретных обстоятельств...

Другое высказывание принадлежит аргентинцу Фернандесу Морено[1]: «Что касается меня, я то и дело молю бога, чтобы он, если это возможно, позволил мне быть поэтом всего конкретного, непосредственного, местного — пусть даже анекдотического, неудобоваримого, случайного». Проникновение в обстоятельства — наперекор соблазну бегства на олимпийские выси, в спокойствие и безразличие к делам человеческим — становится характерной чертой поэзии Рауля Гонсалеса Туньона.

Конкретные обстоятельства, земное, повседневное порой открывают столь же широкий духовный простор, как и универсально значимые, постоянно меняющиеся события внешнего мира. Для жизни нет запретных рамок, она проникает и в самые потаенные уголки души, и на шумные площади народных восстаний. И поэтому Гоисалес Туньон говорит:

Во мне живет слово и сон, явь
и неосознанные порывы,
и значит, на моем верстаке — вся
реальная жизнь...

Это верно: он трудится надо всей реальностью, проясняя и организуя ее «беспорядочными чувствами», как того требовал Рембо.

Поездки по Европе (не будем вдаваться в подробности маршрутов) разовьют страсть Рауля к поэтическим обобщениям. Автор двух уже опубликованных книг — «Скрипка дьявола» и «Пепельная среда» (1928) — готов показать, на что он способен в свое первое посещение Старого света. Путь его начинается в Испании. Пока еще это Испания монархии и монахов, соборов и феодальных владений — Республика грянет через два года. Эта Испания не оставила следов в лирике нашего поэта.

Антонио Мачадо в стихотворении «Смутное завтра» так писал, предрекая пробуждение родины:

В упорной жажде самоочищенья,
забрезжив вдали,
грядет, зажав в руке секиру мщенья,
Испания страстей и идеала.

Через несколько лет эта другая — героическая — Испания осенит туньоновские страсти и идеалы, сюжеты и воображение поцелуем, которым превратит его в «первого, кто одел розу в броню», чтобы защитить чистоту этих идеалов.

Тогда же, в первое путешествие по другую сторону Атлантики, поэт плодотворно проявляет себя вблизи от Пиренейского полуострова — в Париже, который в отрочестве так притягивал его воображение.

В те годы Париж был магнитом, антенной для многих творческих волн. Быть принятым и признанным в Париже — кто из поэтов или художников не мечтал об этом?.. В Париже ждал триумф или поражение. Его благосклонность была равнозначна славе, прочному признанию, престижу. В особенности для латиноамериканца, бедного писателя из неведомых заморских земель.

Открытие Парижа стало, быть может, решающим моментом в поэтическом формировании Рауля Гонсалеса Туньона. По существу, среди аргентинских поэтов он был первым, кто прибыл сюда подготовленным, чтобы погрузиться в этот фантастический, загадочный город — и разгадать его загадку. Ибо уже его юношеские сборники «Скрипка дьявола» и «Пепельная среда» были пронизаны предчувствиями гротескного города, покрытого блеклой вековой патиной, уже в этих книгах проглядывал темперамент поэта, склонного рассматривать мир через призму, позволяющую увидеть как бы в приближении вереницу отвержен-ных существ, мерцание синематографа и цирковых огней города. Добавим к этому, что его юношеским чтением были «проклятые поэты» и первые сюрреалисты — Тцара и Арагон. И конечно же, жизнь поэта осеняли мрачные крылья его идола — Бодлера. На парижском дне, на бульварах он жадно глотал воздух, которым дышали Алоизиус Бертран, Верлен, Бодлер, Лотреамон, Рембо, Марсель Швоб, разыскивал места, где они стисиув зубы прозябали в нищете и одиночестве бесконечных зим и тумаиных садов. Особенно ищет он следы того, совсем далекого времени, когда жил Франсуа Вийон, городской трубадур, потому, может быть, что больше всего походил на него, ибо сам был трубадуром униженного города, его нескончаемых лабиринтов, закоулков.

Этот первый приезд в Париж никогда не изгладится из его поэзии. Оттуда он привез одну из главных своих книг «Улица Дырявого Чулка» — вещь, словно бы созданную под ночными фонарями, вблизи какой-нибудь уличной ярмарки. «Я напишу для вас симфонию города»,— объявляет поэт, рассказывая, как он бродит, «попивая доброе красное вино, радостное, как песня, красное и радостное, как революция».

Но конечно же, только Испания, переживавшая грандиозные общественные потрясения, пробудившие Пиренейский полу-

[1] Бальдомеро Фернандес Морено (1886 - 1950) — аргентинский поэт, основатель литературной школы «сенсильизма», стремившейся к простоте стиля, реалистическому изображению будничной жизни.

остров (события 1936—1939 гг. достаточно известны, и я не буду на них останавливаться), конечно же, эта Испания стала местом, где Рауль Гонсалес Туньон уверовал в освободительные идеалы революции: в его поэзию властно врывается новый ветер, многое переменивший в нем и определивший будущность поэта...

Испанская поэзия к тому времени достигла расцвета, сравнимого разве что с ее «золотым веком»,— эта новая поэзия становилась бесценным достоянием мировой культуры. Ее создатели — Федерико Гарсиа Лорка, Висенте Алейксандре, Педро Салинас, Леон Фелипе, Рафаэль Альберти (я перечисляю здесь лишь немногих) — с бесподобным мастерством заставили звучать золотые струны вдохновения. А рядом с ними — две неповторимые личности: худой пастух козьих стад из Леванта, Мигель Эрнандес, поразивший всех стихами, озаренными самой молнией, и другой — открытая чилийская душа Пабло Неруда. Долгие часы провел с ними Рауль Гонсалес Туньон за чтением стихов, в беседах.

Исключая Альберти, целиком поглощенного революционной деятельностью, большинство из этих поэтов поначалу не предчувствовали всей серьезности ураганных событий, надвигавшихся на Испанию. Однако восстание астурийских шахтеров раскалило докрасна их сердца. Гонсалес Туньон задолго до 18 июля 1936 года осознал необходимость посвятить себя гражданскому революционному долгу. Он стал застрельщиком, так сказать, нового образа творческого действия. Об этом удивительно верно заметил Неруда: «Рауль был первым, кто одел розу в броню».

Книга Рауля Гонсалеса Туньона «Роза в броне», написанная как свидетельство, навсегда останется в поэзии, останутся такие ее стихи, как «Освободительница». Второй поэтический сборник, созданный в пору трагедии, постигшей Пиренейский полуостров,— «Смерть в Мадриде» — книга, где возмущение и элегическая печаль перемешаны, как кровь и песок на арене после корриды.

...Сотни смертей струились потоками
к морю,
к древнему морю опустошенных
селений,
к темной ночи завершенного
исчезновения,
которое приоткрывается нам лишь
во сне.

А после — тихое пылающее
безмолвие тропиков,
кровь и дым под развалинами луны.
Собаки, которые владеют секретом
испуга,
лизали обломки этой обесцвеченной
мглы.
Трамваи, отвозившие мертвых,
вернулись в город.
Кибела на площади успокоила своих
львов [1].

[1] Имеется в виду памятник на одной из мадридских площадей.

Воющий волк долго еще царил
на проспекте.
Сирена оповестила, что преступление
отошло.

Улыбка на время скрылась,
но не исчезла.
Народ, влюбленный в жизнь, черпал
из всеобщего, древнего горя
силу, которая так для улыбки нужна.

Это — видение жертвоприношения, казни, горькой фиесты, объединившее героическую песнь и трагедию. Вместе с отважными защитниками испанской столицы Рауль Гонсалес Туньон пережил великий час ее обороны. Его, поэта-интернационалиста, приветствовал Рафаэль Альберти:

Ты жил в осажденном Мадриде,
снарядов и бомб не страшась,
твой голос заокеанский
выразил нашу страсть.
Республикой Аргентиной
ты прислан в наш батальон,
голос Мадрида с Ла-Платы —
Рауль Гонсалес Туньон!

Хорошо известно: Рауль не ограничился лишь свидетельством о героическом сопротивлении испанского народа фашизму — он побуждал и других обратиться к самым жгучим вопросам современности. Именно Гонсалес Туньон призвал под знамена народа Мигеля Эрнандеса, который вскоре проявил себя как один из его благороднейших рыцарей. Вот каким увидел Рауля Гонсалеса Туньона в те дни Эрнандес:

Ты занесен, как молот, ты грохочешь,
ты, как протест, бушуешь над
толпою,
ты, как земля, трепещешь день за
днем.

Неколебимых, словно сталь, рабочих
ведешь на штурм умов, объятых
мглою,
чтоб разбудить их, озарив огнем!

В этом «трепете день за днем» уже не будет отдыха поэту, не будет отдыха никому, ибо то, что творилось в Испании, было прологом к страшной драме. Фашизм наступал, его черные копыта уже обжигали землю Европы. Вторая мировая война пробуждалась, как вулкан.

Судьбы человечества — на краю пропасти, границы государств стерты пороховыми шквалами, оккупированы Чехословакия и Франция, целые народы стонут под кованым каблуком гитлеровских захватчиков. Тысячи писателей исчезают в огне пожаров. Двое из них особенно дороги нашему поэту. Гуманист Ромен Роллан, чьи книги стояли на полке юношеской библиотеки Рауля, скрыт от его взора дымной пеленой

ЭЛЬВИО РОМЕРО
РОЗЫ В БРОНЕ
РАУЛЯ ГОНСАЛЕСА ТУНЬОНА

сражающегося Парижа. Гибнет во франкистском застенке Мигель Эрнандес, его ученик и друг, сжигаемый туберкулезной горячкой. Из глубин страдающего сердца Рауль Гонсалес Туньон обращается к ним со словами братской солидарности.

Единственным бастионом надежды остается Советский Союз, хотя целые города и области его почти сметены с лица земли. Мужество советского народа озаряет ночь, густеющую над землей. Кажется, весь мир затаив дыхание следит за битвой на востоке Европы.

Рауль в то время переселяется в Чили. Вместе с Пабло Нерудой и другими деятелями культуры он основывает здесь «Союз передовой интеллигенции». Испанская битва позади, но в Праге, Париже, Варшаве — повсюду вспыхивает пламя антифашистского сопротивления. Яркой звездой разгорается Сталинград. Рауль Гонсалес Туньон пишет «Песни третьего фронта» (1941) и «Пороховой гимн» (1943). Стихами, строгими и простыми, как хлеб, как боль, как надежда, он воспевает героизм советского народа. Горячая вера в будущее — его вклад в усилия сражающихся наций, в их стойкость, упорство. Партизан поэзии, он исполняет свой долг бойца.

Вернувшись в Буэнос-Айрес, Рауль Гонсалес Туньон испытывает состояние, определенное им самим как «лирическая экзальтация». Надышавшись воздухом целого мира, он снова попадает в атмосферу юности. Теперь его взгляд обращается к героическому прошлому родной земли. Всей кожей чувствует он жар этой гигантской печи, где сплавились воедино разные расы, обычаи и традиции, он словно видит героев и строителей страны, заново пронизанный юношеским восхищением перед борцами за ее независимость — Морено, Сан-Мартином, Ривадавией,— их имена он произносит с любовным трепетом. Как блудный сын, он взволнован видом родных стен. «Первая аргентинская песнь» (1945) исполнена бесконечной нежности и уважения к Аргентине.

Но города своей молодости поэт уже не находит. Лихорадочный ритм космополиса изменил его уклад. Исчезают милые сердцу места. Рауль отправляется искать их в предместье, где еще сохранились следы прошлого, прежние типы горожан, навевающие воспоминания об истаявших привязанностях, о дорогих сердцу, но навсегда утраченных временах. Его стихи пронизывает ностальгия, желание воскресить минувшее, которое все еще живо в сердце. Разумеется, речь идет не о повторении ушедшего, а о новой встрече с тем, что навсегда запечатлелось в памяти поэта.

Главным мотивом туньоновской поэзии почти всегда оставался город с его музыкой, тесными площадями и однокими закоулками. Книги его «населены» людьми, местами и вещами многоликой столицы, увиденными впечатлительным летописцем, глазу которого доступны мельчайшие детали. В его хрониках звучат скрипки, сверчки и навсегда исчезнувшие шарманки, живут ангелы и прохвосты, фонари и парусники, лестницы и забегаловки, шум кузниц и звуки пианол, фонтаны и вывески, рабочие и бродяги, дожди и книжные развалы — бесконечная вереница вещей и событий, словно бы извлекаемых из цилиндра фокусника, имя которому Память.

Он снова «под сенью любимых кварталов» — это его последняя поэтическая вахта...

На долю поколения Рауля Гонсалеса Туньона выпали огромные испытания, которых не знали предшественники. Не все его представители сумели усвоить уроки эпохи великих перемен, побед и поражений, света и мрака, не все смогли уловить главное направление ее событий. Гонсалес Туньон стал истинным поэтом своего времени потому, что принял душой и разумом самую дееспособную и плодотворную идеологию своей эпохи. Поэт-коммунист, он опередил многих в понимании долга художника в историческом процессе, ведущем к освобождению человека от вековых оков угнетения. Октябрьская революция придала новую силу его убеждениям и энтузиазму. Ни разу не сошел наш поэт с верного пути, а путь этот требовал стольких жертв! Колебание — понятное, вполне объяснимое движение человеческой души — он побеждал.

Рауль Гонсалес Туньон влился в ряды тех мастеров культуры нового времени, которые бросались в самое пекло битвы с беспримерной верой и бесстрашием. Замечательная плеяда неповторимых художников слова, в напряженном духовном порыве сражавшаяся за самые благородные человеческие идеалы! Маяковский и Неруда, Горький и Мигель Эрнандес, Фучик и Аннибаль Понсе, Пикассо и Хосе Карлос Мариатеги, Барбюс и Эренбург...

Тот, кто вступает на этот путь, неизбежно сталкивается с тяжкими испытаниями. Так было и с Раулем Гонсалесом Туньоном. В скольких наградах и премиях ему отказали, хотя он, как никто другой, был достоин их! Тайное и низменное недоброжелательство не сломило его твердости, не лишило творческого порыва. Ибо поэт познал высокую гордость человека, заглянувшего в будущее, уверенного в надежности своего компаса. Он никогда не гонялся за эфемерной славой, за временными почестями. Он верил в пылающую розу в груди, в созидательное пламя, питаемое страстным, каждодневным прилежанием — «на улице, в постоянном лирическом возбуждении», как сказал он однажды. Те, кто встречал его, будь то в укромном уголке или в толпе, погруженного в мысли, мог заметить, что и во время беседы глаза его были обращены к какому-то таинству, а лицо озаряли магические молнии.

Гонения и хула обрушивались на него не как на «инородца», но как на певца великих идеалов. Это была цена, которую он платил за свою верность коммунизму,— подобно многим товарищам по борьбе из Аргентины и других стран. Он нежно любил их — смерть каждого разрывала ему душу, но не

разоружала. Когда не стало Барбюса, Рауль Гонсалес Туньон ночувствовал, как лицо его овеял «ветер знамен», провожавших в последний путь большого писателя:

Это ветер знамен —
красный ветер красных знамен.
Это ветер знамен —
он знаменами-веснами напоен.
Это ветер знамен —
он знаменами-бабочками обагрен.

А рядом вырастала молодежь, которая восхищалась Раулем Гонсалесом Туньоиом как ни одним другим поэтом его страны. В сущности Гонсалес Туньон был и остается поэтом молодежи. Его книги, никогда не издававшиеся массовыми тиражами, мгновенно исчезали из книжных магазинов, и тогда начинался их долгий путь из рук в руки. Карманы его были вечно набиты рукописями, которые приносили юноши, ждавшие от него совета, критики, слов наставника. Он быстро находил с ними общий язык, а они бывали зачарованы дружеским мерцанием его глаз.

Однажды в Перу я спросил у друзей, чем объяснить всеобъемлющее влияние Сесара Вальехо на современную поэзию страны. Мне ответили: Вальехо писал в ритме мыслей каждого перуанца, в Перу трудно мыслить по-иному. Может быть, то же самое относится и к барду Буэнос-Айреса? Наверное, он владел глубоким, всеохватывающим, особым видением, позволяющим открыть необычное в баре, порту, перекрестке, цирке, пороге дома, закате над городом? А может быть, Рауль Гонсалес Туньон, доверившись взгляду ребенка на мир — взгляду, который живет в каждом человеческом существе, видел все через эту немудреную призму и завораживал всех так, что по-другому видеть окружающее они уже не могли? Кто знает. С уверенностью могу сказать одно: его стихи вызывают в душе жителя Ла-Платы глубокое волнение, словно находишь в них частицу собственных переживаний, электрический разряд собственной памяти...

Имеино молодежь отвоевала Рауля Гонсалеса Туньона у тех, кто старался сделать так, чтобы о нем забыли. Мало-помалу имя его всплыло из забвения, которое пророчила официальная критика. Его стихи стали петь, а к дому начали стекаться поклоинники. Были переизданы его главные книги. Газеты и журналы все чаще отводили место его высказываниям, из Европы приходили переводы его стихов, к нему обращались за консультациями, его окружили уважением. В конце жизни Гонсалес Туньон получил несколько премий — завидных, хотя получателям премий он никогда не завидовал. Все связаниое с ним вызывало теперь небывалый интерес. О его творчестве появилось множество критических работ. Однако скромность не изменила поэту и после этих перемен: признание в последние годы жизни — он был снисходителен к нему.

Мы, пишущие каждый о своем, его латиноамериканские собратья, терзаемые другими драмами (причины которых — все те же), приникаем к туньоновской поэзии в ноисках того, чего не хватает нам, словно она — модель будущего, воздух не существующих еще городов, улиц и зданий. Нас покоряют мощь его «городского воображения», его пророческие предсказания, уверенность, что эти предвидения сбудутся, что справедливость не пустое слово, а нечто достижимое для человечества.

Подобио каждому художнику, до конца дней не истощившему золотую жилу воображения, Рауль Гонсалес Туньон не завершил своего труда. Его последние произведения — «Стихи для пюпитра пианолы», «Курс на потерянные острова», «Флюгер и антенна» и еще не изданная «Скамья на площади» — ничуть не уступают лучшим страницам, написанным поэтом в иные времена. Зрелые плоды последнего этапа жизни Гонсалеса Туньона убеждают, что он находился в расцвете мастерства, владел всею палитрой поэтических красок, задумывал новые книги, мечтая о неоткрытых еще островах, надеясь отправиться в предпоследнее путешествие, весь обращенный к флюгерам, бросающим вызов ветру и времени.

Так завершилась эта яркая судьба.

Райнер Мария Рильке, размышляя о смерти, писал: «У каждого собственная смерть». Возможно, каждый человек — соответствие между тем, как он жил, и тем, как умер. Рафаэль Альберти сказал о безвременио погибшем Федерико Гарсиа Лорке:

Ты умер не смертью своей, ты
со своей разминулся.
А эта — коварно и долго искала
с тобою встречи.

И действительно, Федерико — если бы он не был расстрелян фашистами — мог умереть одним из командиров испанской войны, такой конец еще больше возвеличил бы поэта. Разве не заслуживал великий андалусиец смерти, которая наведалась бы к нему с улыбкой, осыпая дождем из лепестков гвоздик?

Поэтам свойственио предугадывать свою кончину. Сесар Вальехо предчувствовал, как это будет с ним:

В Париже я умру, в дождливый
полдень,
который я теперь уже запомнил.
Умру в Париже — раньше или
позже,—
и будет осень, и четверг такой же...

Так оно и случилось.

ЭЛЬВИО РОМЕРО
РОЗЫ В ВРОНЕ
РАУЛЯ ГОНСАЛЕСА ТУНЬОНА

И Антонио Мачадо рассказал о своем конце:

Когда пора наступит последнего
отплытья
на судне, что не знает обратного
пути,
меня — почти без клади — вы
на корме ищите,
подобно сыну моря — раздетого
почти...

Оборванный и одинокий, сорванный с места испанской трагедией, пересек он границу словно для того только, чтобы лечь в землю чужого французского пограничного городка «подобно сыну моря — раздетому почти...».

Рауль Гонсалес Туньон, обращаясь словно и не к себе самому, а к вымышленному существу, запечатлел свой исход и одновременно свою судьбу, свой внутренний портрет:

Без гроша, одинокий, каким явился
на свет,
он умер на площади возле
ярмарочной канители.
Две музы — муза надежды и муза
бедняцких бед —
над телом скитальца свою отходную
пели.
Свидетели говорят, что умер он
без труда,
словно дитя. Он смерти едва успел
удивиться.
На впалой груди его дотлевала
звезда,
а на плече у него сидела какая-то
птица.

Так с ним и было. 14 августа 1974 года, когда небо над Буэнос-Айресом застлали тяжелые тучи, Рауль, созвав бесприютных и продрогших бедняков со всей округи, простился с ними — и отправился на Потерянные Острова, на перекрестки безымянных кварталов, в край миражей и туманов, который давно виделся его зачарованным глазам. Он окончил одну вахту, чтобы заступить на другую. В памятном всем нам стихотворении он сложил песню о смерти своего двойника — Хуансито Путника:

И вот Хуансито Путник
умер в далеком порту,
он был драчун и причудник,
у мертвого на счету —
песня, карты, синица,
только лишь и всего.
Все в ящик один вместится...
Кроме песни его!

Все, кроме песни. Ее ноты живы, они трепещут. В туньоновских напевах, как в калейдоскопе,— пережитые им события, его сердце, охваченное страстью и поэзией. Красота и тонкая ирония, суровый слог и нежная ткань лирики, полемический блеск и отзвуки наивно-детских воспоминаний, покой и буря, кипение крови и любовный шепот, неясные видения и яркость солнца — всему есть место в стихах Рауля-поэта, одержимого думами о минувшем — и угадыванием будущего, разведкой грядущих дней. Все, что открыл и узнал, он отдал всем и навсегда, вложив в свои строки душу провидца. Истлеть, облететь, подобно осенней листве, забыться может все — жизнь, печальная улыбка, даже образ поэта,— все, кроме его песни!

Перевод с испанского ПАВЛА ГРУШКО

◆

ТАДЕУШ КУЛИСЕВИЧ. Рисунок. Из цикла «Люди Мексини».

Культура и современность

Заметки на полях

«ЛОТОС»: ПИСАТЕЛИ АЗИИ И АФРИКИ И ОКТЯБРЬ

Историческое значение Октябрьской революции — величайшего события мировой истории — все глубже осознается мастерами литературы Азии и Африки. Литераторы ранее порабощенных стран приходят к убеждению, что Октябрь 1917 года знаменовал собой беспримерный поворот и в области культуры, что социализм обогатил человеческую историю опытом духовного раскрепощения тружеников, поднял на новую высоту общественную роль литературы и искусства, открыл художникам верные пути к человеку. В этом вновь убеждаешься, читая последний номер ежеквартального журнала «Лотос» — органа Ассоциации писателей стран Азии и Африки [1], который посвящен 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

В журнале выступают крупнейшие писатели Азии и Африки: Агостиньо Нето, Кэндзабуро Оз, Алекс Ла Гума, Мухаммед Махди Аль-Джавахири, Жан Бриер, ныне покойный Саджад Захир. По-разному откликнулись они на крупнейшее событие нашего века: коротким автобиографическим эссе о 1917 годе, путевыми заметками о советских республиках, стихами о Ленине, поэмой о подвиге советского народа в борьбе против фашизма. Но эти произведения, отобранные редколлегией журнала из написанного писателями двух континентов в разные годы, роднит желание осмыслить Октябрьскую революцию и последующую историю Советского государства как общую победу всех угнетенных на земле, как реальное и зримое воплощение чаяний и устремлений трудящихся всех стран. Писатели Азии и Африки видят в СССР олицетворение надежд своих народов на прочный мир и безопасность. Они внимательно вглядываются в советского человека, рассматривая его как образец личности, раскрывшей свои силы и возможности в подлинно человеческих условиях жизни.

Редколлегия «Лотоса» включила в номер подборку программных высказываний крупнейших деятелей нашей страны и документов советской власти по проблемам литературы и искусства. Подборка открывается выдержкой из знаменитой статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», в которой содержится строго обоснованное предвидение того, какой будет грядущая литература социалистического общества: «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет слу-

[1] Прогрессивная организация, учрежденная в 1958 году на Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки. В ее деятельности, так же как в работе редколлегии журнала «Лотос», участвуют и советские литераторы.

жить не пресыщенной героине; не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность».

И, как бы подтверждая конкретными творческими доказательствами правоту ленинских теоретических положений, составители специального номера «Лотоса» развернули на его страницах панораму достижений нашей литературы и культуры. Ветеран советской поэзии Николай Тихонов открыл номер статьей «Великое братство литератур, рожденное Октябрьской революцией». В ней он подчеркнул, что многонациональное единство советской литературы, присущий ей дух интернационального братства — одно из великих завоеваний социалистической культуры, начало которому было положено победой Октября.

Читатель «Лотоса» находит в номере стихи и прозу Владимира Маяковского, Чингиза Айтматова, Константина Симонова, Александра Твардовского, Расула Гамзатова, Мирзо Турсун-заде, Эдуардаса Межелайтиса, Самеда Вургуна, Евгения Евтушенко, Фазу Алиевой. Здесь вновь публикуются, казалось бы, давно известные произведения, которые не раз появлялись и на английском, французском, арабском переводах (языки, на которых выпускается «Лотос»). Но это «повторение» удачно и целесообразно и потому, что выросло новое поколение афро-азиатских прозаиков и поэтов, для которого знакомство с советской классикой имеет большой смысл, и потому, что в данном журнальном контексте получается перекличка творений советской литературы с опубликованными рядом произведениями литератур афро-азиатских. В ходе этой переклички возникает немало интересных идейно-творческих совпадений и контактов. Так, знаменитое евтушенковское «Хотят ли русские войны?» по-новому воспринимается, перекликаясь со страстной антивоенной касыдой иранского поэта Мохаммеда Таги Бахара «Сова войны», стихи украинца Виталия Коротича о Ленине органично сочетаются с посвященными Владимиру Ильичу строками крупнейшего мастера поэзии на языке малаялам (Индия) Шанкара Курупа.

Столь же примечательно сопоставление произведений на патриотическую тему, созданных афро-азиатскими писателями, с представленными в «Лотосе» стихами о родине Самеда Вургуна, Мирзо Турсун-заде, Паруйра Севака. Драматизм и напряженность борьбы за национальное освобождение, отраженные в таких стихах, как «Букет роз» Агостиньо Нето, «Дар» мозамбикского поэта Марселину Душ Саитуша и «Я вас призываю» палестинца Тауфика Зайяда, здесь как бы оттенены светлыми, оптимистически радостными тонами поэзии советских народов, определивших свою национальную судьбу, нашедших свое счастье в социализме.

Гуманистическая сущность нашей литературы, всей нашей духовной жизни хорошо подчеркнута на страницах «Лотоса» публикацией широко известной повести Чингиза Айтматова «Первый учитель» и стихотворения Эдуардаса Межелайтиса «Человек». Именно человек, богатством своей души самоотверженно служащий добру, сопричастный всем заботам и делам мира, стоит в центре внимания наших писателей, и в осмыслении этого неоспоримого факта нашей литературной жизни содержится противоядие отраве антигуманизма, проповеди жестокости и безысходности.

Выступления советских писателей в «Лотосе» звучат как голоса солидарности, братского сочувствия народам, борющимся за свою свободу и независимость. Именно так воспринимается небольшое стихотворение Константина Симонова «Товарищу То Хыу, который перевел «Жди меня», написанное в те годы, когда во Вьетнаме еще продолжалась война:

Скорей бы наступил тот год,
На длительном пути к свободе,
Когда стихи, как люди, свой поход
Закончат в Вашем переводе.
Пусть в этот день, когда уже не ждут
С войны людей и — тишина в природе,
Мои стихи, легко вздохнув, умрут
В прекрасном Вашем переводе.

О путях и задачах, достижениях и горизонтах молодых литераторов Азии и Африки, которые осенью 1976 года собрались на свою Первую международную встречу в Ташкенте, говорится в заметках Николая Федоренко «Встреча интернационалистов». Заботы и труды литературной молодежи рассмотрены здесь в тесной связи с ходом всего международного литературного процесса, с проблемами участия всех писательских поколений в борьбе за новый мир и нового человека, с ролью молодежи как наследницы многовековых культур, всего накопленного за тысячелетия духовного богатства человечества. И потому не случайно заметки Н. Федоренко открывают раздел журнала, посвященный трудам советских востоковедов — исследователей культуры народов Азии и Африки.

О том, как высоко оценивается у нас творческое наследие прошлого, о том, как культура социалистического общества опирается на высшие достижения мировой культуры, рассказывают две статьи: очерк советского исследователя традиций и изы-

ков народов Африки Дмитрия Ольдерогге «Бронза древнего Бенина» и размышления скончавшегося летом 1977 года выдающегося историка-востоковеда академика Бободжана Гафурова о месте культур народов Центральной Азии в мировой цивилизации. К этим статьям примыкает иллюстрированный очерк первого секретаря Союза художников СССР Таира Салахова «Шестьдесят лет советского искусства», в котором развернута впечатляющая картина творческого развития изобразительного искусства народов нашей страны за годы советской власти. Характерное для нашей культуры пристальное внимание и уважение к духовной жизни далеких народов отразилось и в разделе рецензий. Роберт Рождественский делится своими впечатлениями о новом сборнике современной филиппинской поэзии, Анатолий Софронов пишет об антологии поэтов Анголы, Мозамбика, Островов Зеленого Мыса, Сан-Томе и Принсипи.

О значении опыта советской литературы, выросшей в атмосфере социалистического интернационализма, для творчества и мировоззрения писателя-африканца, участвующего словом и делом в борьбе против расизма, пишет в «Лотосе» известный прозаик ЮАР Алекс Ла Гума. Писатель рассказывает в своей статье о том, какую огромную роль в его общественной деятельности и литературной судьбе сыграли книги Максима Горького, и в первую очередь ромав «Мать». Алекс Ла Гума говорит, что для литератора Южной Африки, с ее социальным и расовым неравенством, угнетением и жестокостью, произведения Горького «явились лучом света, рассеивающим густой мрак эксплуататорского общества».

Читатели «Лотоса» найдут в этом номере много интересного и познавательного. В нем опубликованы честные талантливые произведения, самой своей сутью противостоящие мутному потоку лжи о Великой Октябрьской революции и славном пути, пройденном нашим народом за 60 лет советской власти, которую распространяют в странах Азии и Африки наши идейные враги. На страницах журнала как бы материализовалась идея творческого сотрудничества советской и афро-азиатских литератур — сотрудничества, у которого большие возможности и широкие перспективы.

МИХАИЛ КУРГАНЦЕВ

ВЕХА В ЖИЗНИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В декабре прошлого года состоялся Учредительный съезд Союза чехословацких писателей. Ему предшествовали республиканские съезды чешских и словацких писателей. В работе съезда приняли участие 150 делегатов, представлявших 423 члена Союзов чешских и словацких писателей, гости из братских социалистических стран.

Съезд, открытый народным писателем ЧССР, председателем Союза словацких писателей Андреем Плавкой, приветствовал член президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии, секретарь ЦК КПЧ Василь Биляк. Он, в частности, сказал:

> «Мир идет к социализму, ибо любой другой путь ведет в тупик. Эту истину поняло большинство деятелей искусства и культуры. Даже те, кто в период кризиса не сумел правильно сориентироваться, на собственном опыте убедились в правильности политики нашей партии и пришли к выводу, что осуществление того, к чему стремились так называемые «борцы за социализм с человеческим лицом», привело бы к трагическим последствиям для наших народов, их культуры и литературы. Они нашли свое место в обществе; своим искусством они хотят служить народу, поддерживать его творческую инициативу, помогать ему формировать художественный вкус».

В. Биляк подчеркнул большую ответственность писателя перед обществом:

> «Речь идет о том, чтобы искусство вдохновляло нас, помогало в борьбе за лучшую жизнь. Написать рассказ, стихотворение, пьесу или роман можно так, чтобы это возвышало, учило, наполняло читателя оптимизмом или гневом, но можно и породить у него чувство уныния, сознание бессилия, скептицизм, даже внушить ему идеи расизма или жестокости... Поэтому роль художника исключительно ответственна и сложна».

С докладом на съезде выступил заслуженный писатель ЧССР Ян Козак. Он отметил значение Великой Октябрьской социалистической революции, идей В. И. Ленина, советской литературы в формировании сознания сотен миллионов людей, огромную историческую роль победоносного февраля 1948 года, когда был разгром-

лен заговор реакции и открыт путь к социалистическому будущему Чехословакии. Значительное внимание уделил Я. Козак вопросам братского сотрудничества чешской и словацкой литератур, дружеским связям не только чешских и словацких, но и украинских и венгерских писателей, проживающих в ЧССР. Он отметил необходимость связи писателя с жизнью народа, ответственность его перед читателем, подчеркнул роль критики для идейного и художественного роста писателей. Много места в докладе отдано вопросу взаимосвязей чехословацкой литературы с литературами мира и прежде всего с литературами братских социалистических стран.

На съезде выступили известные мастера чешской и словацкой литератур. О высоком назначении писателя в социалистическом обществае, о подлинной его творческой свободе говорили академик Ладислав Штолл и поэт Павел Койш. Вопросам общности и дальнейшего сближения братских национальных литератур посвятили свои выступления литературовед Карол Розенбаум и писатель Рудо Мориц. Бесперспективную, эксплуататорскую мораль буржуазного общества противопоставил подлинному гуманизму общества социалистического заслуженный поэт Иван Скала. Состоянию современной чехословацкой литературы, ее задачам, успехам и перспективам развития посвятили свои выступления народный писатель ЧССР Богумил Ржига, литературовед Гана Грзалова, главный редактор журнала «Литерарни месичник» Олдржих Рафай, поэт и прозаик Петер Андрушка.

В заключение работы съезда было избрано Правление Союза чехословацких писателей. В него вошли Ладислав Беньо, Гана Грзалова, Вилем Завада, Йозеф Кадлец, Ян Козак, Павел Койш, Йозеф Кот, Милош Крно, Войтех Мигалик, Владимир Минач, Богумил Ногейл, Андрей Плавка, Зденек Плугарж, Олдржих Рафай, Владимир Райсел, Богумил Ржига, Карол Розенбаум, Йозеф Рыбак, Иван Скала, Ян Солоаич, Винцент Шабик, Донат Шайнер, Станислав Шматлак, Мирослаа Флорнан. Председателем Союза чехослоаацких писателей был избран Ян Козак, его заместителями Андрей Плавка и Йозеф Рыбак. Секретарямя Союза стали Ладислав Беньо и Йозеф Кадлец.

Учредительный съезд чехословацких писателей явился важным общественно-политическим событием в жизни ЧССР. Союз чехословацких писателей стал первой творческой организацией, отвечающей федеральному устройству страны. Съезд продемонстрировал единство чешской и словацкой литератур при сохранении их национальных особенностей, стремление литературоа всесторонне развивать и укреплять социалистический характер литературы Чехословакии.

Т. МИРОНОВА

Из доклада Я. Козака на Учредительном съезде Союза чехословацких писателей

Когда шестьдесят лет назад вспыхнула Великая Октябрьская социалистическая революция, ставшая побудительным импульсом для всего международного рабочего движения, во всем мире развернулась борьба за утверждение новой эры в истории человечества. Идеи В. И. Ленина и революция, которая привела к возникновению Союза Советских Социалистических Республик — государства рабочих и крестьян, созданного на основе добровольного союза свободных народов, потрясли устои старого мира... Борьба за победу революции и не менее трудная, поражающая своими свершениями борьба за укрепление первой страны социализма размежевала, а затем совершенно по-новому объединила общественные силы нашей планеты. И мы можем сказать, что огромную роль в этом процессе, как и в процессе изменения сознания сотен миллионов людей, сыграла советская литература.

Произведения таких великих творцов советской культуры и литературы, как Максим Горький, Анатолий Луначарский, Владимир Маяковский, Николай Островский, Константин Федин, Михаил Шолохов, помогли нашим трудящимся, интеллигенции и рабочим лучше понять советскую действительность, Октябрь, идеи Ленина... Именно под влиянием идей и свершений Октября наши писатели постигали суть классовой борьбы собственного народа, сознательно становились на сторону наиболее прогрессивной части чехословацкого рабочего класса и его авангарда — Коммунистической партии Чехословакии.

Если Октябрьская революция оказала сильнейшее воздействие на передовую художественную интеллигенцию 20-х годов, то наш победоносный Февраль своей революционной динамикой захватил всех прогрессивных и честных художников слова, которые отдали свой талант рождающейся социалистической жизни. Вместе со старыми мастерами, чье коммунистическое мировоззрение было твердым и непоколебимым, выступило и молодое поколение.

Трудная борьба за новый подъем социалистического искусства стала сегодни одновременно и борьбой за творческие личности, поддавшиеся вредным влияниям в годы кризиса. Шла битва за каждый талант, который можно было привлечь на

свою сторону. Мы заранее никого не исключали навсегда из нашей литературы. Гуманистическому характеру социализма органически чужды сектантство и замкнутость в отношении всех, сделавших неправильный шаг или не сумевших правильно сориентироваться в определенной ситуации. Тем, кто хотел идти с нами, наше общество без колебаний протягивало руку помощи.

Говоря о литературной продукции последних пяти лет, мы не можем не отметить, что за это время чешские и словацкие издательства выпустили 1700 художественных произведений, из которых многие были заслуженно удостоены высших государственных и национальных премий или премий Союзов писателей. В борьбе за будущее рождается проза больших масштабов... представленная произведениями, различными по своей тематике и жанрам, написанными писателями разных поколений и разных национальностей. В одном ряду с лучшими произведениями европейской и мировой литературы стоит наш исторический роман с его широким эпическим размахом, отражающим борьбу за свободу и демократию, а также детская литература, являющаяся существенной частью чехословацкой социалистической литературы. Однако в целом наша проза должна была бы стремиться к созданию более зрелых художественных произведений, дышащих современностью, полнокровно отражающих то, чем живет современный человек, за что и против чего он борется.

Кризисные явления 60-х годов в нашей поэзии пришлось преодолевать прежде всего молодому и самому молодому поколениям поэтов. Ставшее модой воспевание отчужденности, внутренняя раздвоенность, безразличие к судьбе другого человека, фатализм — все это оставило свои следы. Но сегодня, несмотря на еще имеющиеся трудности, хотя мы все еще не достигли желаемых успехов, мы можем сказать, что сущность молодой лирики, интересы поэтов, их подход к действительности изменились.

Менее удовлетворительно идет развитие драматургии. Кинематография, радио и особенно телевидение ежегодно выпускают в свет сотни новых произведений, инсценировок, обладающих подчас высокими художественными достоинствами. Писатели принимают активное участие в этой работе. Однако оригинальных драматургических произведений создается пока еще очень и очень мало. Тем не менее нельзя не отметить успешное развитие словацкой театральной драматургии.

Мы по праву гордимся тем, что наш строй открыл широкие возможности перед молодыми авторами, хотя нередко и случается, что стремление поддержать молодого писателя приводит к изданию книг незрелых или написанных наспех. Для самих авторов и для читателей было бы лучше, если бы произведения созревали подольше. Все еще появляются слабые, рассчитанные на нетребовательных, отсталых читателей, издаваемые исключительно из коммерческих соображений произведения. Мы сами чувствуем настоятельную потребность проявлять больше требовательности к своему творчеству; нам нужна идейно и художественно зрелая, эмоционально сильная и захватывающая читателя социалистическая литература. Прения на съездах писателей наших национальных республик выявили, где наши главные слабости, в чем заключаются недостатки художественного изображения социалистической действительности, каковы их причины.

В нашем обществе, которое по-революционному изменяет жизнь и окружающий мир,— все ново. Перемены глубоко потрясают не только чувства, но и сознание, и бытие каждого из нас. Какие конфликты порождает наше социалистическое общество и какое влияние оказывает на жизнь рабочего, кооперативного крестьянина или интеллигента, например, научно-техническая революция? Она существенно меняет производственную базу и влияет на всю общественную надстройку, она требует новых производственных профессий и быстрого роста образовательного уровня, ускоряет установление связей и контактов в мире, перегружает человека разнообразнейшей информацией. Как глубоко она затрагивает личную жизнь человека, тысячами нитей связанную с прошлым, со старыми жизненными ценностями? Как глубоко и сложно воздействует она на психику человека и на его взаимоотношения с обществом? Каков духовный мир этого человека и каковы его жизненные перспективы в сравнении с тем человеком, который в период научно-технической революции живет в капиталистическом обществе? Сколько здесь скрывается необычайно многообразных и оригинальных сюжетов!

Борьба между социализмом и капитализмом продолжается. И в дальнейшем нам придется бороться с попытками отравить сознание творческого работника ядом буржуазной и ревизионистской идеологии, которым пропитаны разного рода лицемерные кампании, начиная с кампании борьбы за «права человека» и кончая выступлениями в защиту «социализма с человеческим лицом» и «еврокоммунизма». Буржуазная идеология, как идеология класса, который сходит с арены истории, предпринимает для своего спасения все новые и новые усилия, призванные способствовать исполнению его давней мечты — лишить научный социализм революционной классовой силы и, таким образом, внутренне разоружить и разложить международное рабочее движение и социалистические страны. Буржуазные идеологи стремятся расшатать, разру-

шить единство социалистической культуры, сплоченность ее деятелей, вбить клин между творческой интеллигенцией и коммунистической партией. Наша социалистическая родина у них как бельмо на глазу; они не хотят примириться со своим поражением.

Большими художниками сейчас могут стать только те писатели, которые твердо отстаивают принципы социалистического общества и ощущают себя его составной частью.

Основным творческим методом нашей социалистической литературы, художественного изображения отношений человека и окружающего его мира является социалистический реализм. Социалистический реализм — искусство нашей эпохи. Он позволяет писателю, обладающему реалистическим взглядом на общественную жизнь, сознательно отождествляющему свои позиции с политикой партии, которая ведет нас к расцвету социалистического общества и победе социализма над капитализмом, создавать правдивые художественные произведения, обращенные к творцам нового мира — к трудовому народу.

Значительную помощь в развитии художественно и идейно зрелой литературы должна сыграть литературная теория и критика.

Сегодня литературная критика осознает свой общественный долг, необходимость своего активного участия в литературной жизни. Отряд литературных критиков вновь набирает силу. Сейчас здесь работает целый ряд специалистов с большим жизненным и литературным опытом, с глубоким знанием марксистско-ленинского учения и эстетических принципов социалистического реализма. К сожалению, литературная критика пока редко выходит за рамки обычной рецензии. Ей следовало бы смелее прибегать к более глубокому и взыскательному анализу, со знанием дела оценивать отдельные произведения, способствовать развитию литературы. Она должна определять, что нового внесло данное произведение, что в нем положительного, в чем сущность основных недостатков, и в полную меру заявлять о рождении новых черт характера, о нравственной силе образа социалистического человека в литературном произведении.

Перед критикой стоит еще одна задача, которая сегодня, в период интеграции социалистических литератур, особенно актуальна,— систематически следить за связями нашей социалистической литературы с литературами других социалистических стран и социалистически направленными литературами других стран мира, никогда не забывать об их единстве. Поэтому мы считаем, что в области литературной теории и критики необходимо более целеустремленно, чем раньше, использовать взаимный обмен мнениями о конкретных произведениях, развивать творческие дискуссии и принципиальную полемику...

На наших национальных писательских съездах мы подчеркнули, что считаем обмен культурными ценностями и постоянные личные контакты между их творцами необходимой составной частью нашей социалистической культурной политики. Мы последовательно стремились наладить дружеские контакты с прогрессивными писателями разных стран, сблизиться с их народами, обрести возможность понять друг друга, постичь самобытность национальных культур, приобщиться к их ценностям. Сколько выдающихся писателей Европы и Америки были гостями нашей страны, нашего народа! Все ценное, что создается в мире, мы должны усвоить и усваиваем. Любое другое отношение противоречило бы духу социалистической культуры.

Наше стремление к сотрудничеству и обмену культурными ценностями очевидно всем, кто следит за выполнением Хельсинкских соглашений, кто стремится и в области культуры проводить политику мирного сосуществования и дружбы. Только за последние пять лет в Чехословакии было переведено и издано 1576 художественных произведений авторов несоциалистических стран.

На Западе, к сожалению, нашу литературу знают гораздо меньше. Поскольку издательства в капиталистических странах находятся в частных руках, их хозяева зачастую стремятся помешать своим читателям познакомиться с творчеством писателей социалистических стран. Они обходят молчанием даже весьма значительные художественные произведения, опасаясь влияния заложенных в них гуманистических идей.

Искусственно созданный, питаемый классовой ненавистью барьер мешает проникновению сведений о нашей действительности и помогает некоторым людям на Западе сеять ложь о «кладбище культуры» в Чехословакии.

Мы в социалистической Чехословакии будем и впредь, несмотря на политику дискриминации в отношении нашей литературы, нашей культуры, проводимую некоторыми «друзьями» на Западе, издавать лучшие художественные произведения прогрессивной мировой литературы. Однако если кое-кто на Западе полагает, что нам взамен под предлогом так называемой «свободы» можно навязать низкопробный литературный товар, в котором будут проповедоваться аморальные идеи насилия, общественного анархизма или смаковаться порнография, то он глубоко ошибается: мы не будем его распространять. Мы не собираемся менять свои законы, запрещающие пропаганду расизма, войны, распространение антикоммунистических, клеветниче-

ских измышлений. Мы не будем распространять произведения, ведущие к идеологической диверсии, к «психологической войне» против социализма.

В заключение разрешите мне снова вернуться к Заявлению Чехословацких комитетов творческих союзов от 28 января 1977 года, значение которого остается для нас все еще в высшей степени актуальным, и напомнить сказанные там слова: «Мы... хотим идти в ногу с трудящимися нашей бурно развивающейся страны, мы хотим плодотворно использовать ту творческую свободу, которую предоставляет нам наше общество, мы хотим, чтобы наши новые произведения богатством сюжетов и яркостью красок как можно лучше отвечали широким запросам и стремлениям наших современников». И пусть грядущие годы будут наполнены новыми творческими свершениями, отвечающими интересам наших трудящихся, гуманистическим целям нашего социалистического общества и политике его руководящей силы — Коммунистической партии Чехословакии!

◆

ТАДЕУШ КУЛИСЕВИЧ.
Рисунок из цикла «Шлембарк»

Публицистика

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

ГЁТТИНГЕНСКИЙ СЕМИНАР

В октябре 1977 года группа германистов из Болгарии, Польши, Румынии, Советского Союза и Югославии занималась в Гёттингене, в Институте Гёте, проблемами художественного перевода.

Гёттинген для русских — не пустой звук. В конце XVIII века в начале XIX в Гёттингенском университете обучались молодые русские люди. Здесь были Н. И. и А. И. Тургеневы, Кайсаров, будущие учителя Пушкина — Куницын, Кайданов, Кареев. Пушкиным же воспетый Каверин, гусар. Может быть, Пушкин не случайно наделил своего Ленского, который «из Германии туманной привез учености плоды», «душою прямо гёттингенской». Ленский впервые появляется в «Евгении Онегине» во второй главе, Пушкин завершил ее в 1824 году. В том же году в «Путешествии на Гарц» Гейне написал о «знаменитом своими колбасами и университетом» Гёттингене: «Сам город очень красив и нравится больше всего, когда повернешься к нему спиною». Этого в Гёттингене не могут простить Гейне и по сей день, особенно же утверждения, будто у гёттингенок слишком большие ноги. Свои письма из Гёттингена Гейне помечал: «дыра Гёттинген», иногда — «проклятая дыра Гёттинген». Он жил здесь на Вендштрассе, в голубом особнячке, где сейчас в нижнем этаже рыбный магазин «Нордзее», то есть «Северное море» — название одного из гейневских циклов.

Все же Гейне был несправедлив к Гёттингену: к этому городу стоит повернуться лицом. Здесь жили великие поэты, ученые. К гёттингенскому кружку поэтов был близок Готфрид Август Бюргер, автор знаменитой «Леноры», напечатанной в «Гёттингенском альманахе муз», и — «Мюнхгаузена». В России вокруг перевода «Леноры» кипели литературные страсти: перевод Катенина вызвал нападки Гнедича, Катенина яростно защищал Грибоедов, позже к нему присоединился Пушкин. Жуковский переделывал свой перевод «Леноры» дважды...

Бюргер в Гёттингене выступил в поддержку идей французской революции, против посягательства на свободу человеческой мысли. Это было в 1789 году. В том же году Павел I особым уложением запретил всем русским обучаться в заграничных университетах и ввозить в Россию книги с Запада.

В 1805 году, однако, Андрей Кайсаров защитил в Гёттингене докторскую диссертацию — «Об освобождении крестьян в России».

Это был человек редкостной духовной мощи, публицист, филолог, автор «Сравнительного словаря славянских наречий» и книги «Славянская и русская мифология», изданной на немецком языке.

1812 год застал Кайсарова университетским профессором в Дерпте. Он вступил в действующую армию, при штабе Кутузова создал первую в истории России фронтовую газету «Россиянин». От «Россиянина» тянулись незримые нити к ранним декабристским организациям. Кайсаров погиб в партизанском отряде в 1813 году под Ганау...

Гёттинген свидетельствует о таинственном переплетении человеческих судеб, неисповедимых путях истории. Рус-

Фрагменты из новой книги.

ских гёттингенцев здесь помнят, их биографии исследует университетский профессор Рейнгард Лауэр...

В 80-х годах XVIII века среди гёттингенских студентов был граф Михаил Милорадович. Впереди его ждала слава: участие в походах Суворова, победы над турками, освобождение Бухареста, Бородинская битва, где он командовал правым крылом 1-й армии. ...14 декабря 1825 года на Сенатской площади Петербурга его смертельно ранил Каховский.

В 1792 году в Риге, при возвращении из-за границы, были арестованы обучавшиеся в Гёттингене Василий Колокольников и Максим Невзоров, косвенно связанные с Новиковым. Их доставили в Петропавловскую крепость, где обоих пытал сыскных дел мастер — знаменитый Шешковский. Колокольников умер в заключении, в Обуховской больнице. Невзоров наказанию не подвергся, ему лишь запретили ехать врачом в Сибирь. С 1807 по 1815 год он издавал журнал «Друг юношества», от которого веяло мрачной религиозной мистикой, печатал слабые, многословные победные оды. Гёттинген он назвал рассадником крамолы и атеизма.

29 января (10 февраля) 1837 года у смертного одра Пушкина стоял его друг Александр Иванович Тургенев, член арзамасского братства, выдающийся историк, в прошлом — гёттингенский студент. Тургеневу суждено было сопровождать тело Пушкина в Святые горы. Известно, что царь прислал умирающему Пушкину своего лейб-медика Ареидта. Дочь Арендта вышла замуж за немецкого врача русской службы — Максимилиана Гейне. В 1824 году он получал от своего брата Генриха письма: «проклятая дыра Гёттингеи»...

В мире все связано между собой, как в библейских сказаниях: всё и все.

Когда-то я переводил «Балладу о Генрихе Льве»:

Чего так в Брауншвейге встревожен народ,
Кого провожают сегодня?
То Генрих Брауншвейгский уходит в поход
На выручку гроба господня...

Баллада была записана в XVI веке, подвергалась неоднократным обработкам, народная молва сделала Генриха Брауншвейгского героем фантастических приключений. Потерпев кораблекрушение, он расправился с грифом, который «герцога вынес на сушу», оказался свидетелем схватки дракона со львом и — «кинулся льву на подмогу». Лев поклялся служить ему до конца своих дней. Затем следует еще целый ряд невероятных происшествий.

Баллада заканчивается словами:

Так герцог, что прозван был Генрихом Львом,
До старости герцогством правил.
А лев, находясь неотлучно при нем,
И в смерти его не оставил.
Не смог пережить он такую беду
И в тысяча сто сорок третьем году,
Теряя последние силы,
Почил у хозяйской могилы.

Герцог Брауншвейгский — Генрих Лев — основал Гёттинген. Герб города: три сторожевые башни, под ними — с поднятой лапой лев, увенчанный золотой короной. Он показался мне давним знакомым...

Отчего тянет к старине, к фольклору? Гёте писал, что в старых народных стихах «таится непреодолимое очарование, подобное тому, какое имеет для стариков образ юности и юношеские воспоминания». К родниковым истокам поэзии припадают, чтобы обрести новые жизненные силы, выслушать суждения, которые выверены временем и поэтому кажутся вечными, незыблемыми...

Гёттинген дохнул на меня романтикой старины, чистотой, созерцательностью. Именно этим проняли меня еще в детстве немецкие народные песни, потянули к себе.

Меня иногда спрашивают, с чего началось мое увлечение немецкой поэзией? С Шиллера, с Гейне? Как становятся германистом?.. Я окончил филологический факультет Московского университета, с благодарностью вспоминаю моих профессоров, но первое «ощущение Германии» пробудили во мне не они.

Когда мне было пять лет, в 1926 году, в нашей семье поселилась Иоганна Андреевна Прам — немка, одна из тех «немок», которые водили по бульварам тогдашней Москвы группы детей.

Это была послереволюционная, последняя по счету разновидность домашних учителей — сочетание «отмеченных» революцией бонн и гувернанток с обычными нянями, обладавшими скорее педагогическим инстинктом, чем навыком и образованием.

Женщины в основном пожилые и одинокие, они отдавали много души «своим» детям и в постоянном общении приучали их к иностранному языку «без грамматики». Именно на таком условии, чтобы «без грамматики», Иоганна Андреевна, которую мы все звали просто «Анни», согласилась меня учить, воспитывать и проводить со мною весь день — с самого раннего утра до вечера, пока не укладывала спать.

Жила она в небольшой комнате при кухне, которая в старых домах предназначалась специально для прислуги, и сразу же обставила эту комнату на немецкий лад, с вышивками и изречениями на стене, одно из которых — в рамке, с серебряными готическими буквами на черном стекле — я хорошо помню: «Бог помогает, бог помогал, бог поможет и впредь».

Все это не мешало Анни, может быть с некоторой осторожностью, принимать

ЛЕВ ГИНЗБУРГ
ГЁТТИНГЕНСКИЙ СЕМИНАР

новые нравы, и, приобщая меня к пасхе, к рождеству, к немецким пасхальным и рождественским песням, она не забывала и о советских, общегражданских праздничных днях, и вместе со своей Анни я вырезал из глянцевой красной бумаги звездочки, вплетал красные ленты в хвойные ветки, чтобы украсить ими комнату к 1 Мая, 7 Ноября или же 22 января, который тогда отмечался как День памяти Ленина и 9 января 1905 года.

Кстати, недавно заглянув в календарь за 1926 год, я установил, что тогда официально отмечались следующие праздники и памятные дни: Новый год, День памяти Ленина, Низвержение самодержавия, День Парижской коммуны, День Интернационала, День Пролетарской революции. Днями отдыха также считались: в марте — Благовещение, в апреле — Страстная суббота и Пасха, в июне — Вознесение и Духов день, в августе — Преображение и Успение, в декабре — Рождество. Религиозные традиции были еще сильны, и над Москвою еще плыл колокольный звон всех ее церквей...

Однако это отступление, очевидно, мало относится к предмету моего очерка, хотя именно в канун праздников, как революционных, так и немецко-лютеранских, меня охватывали особо сильные, хотя и противоречивые чувства, выражавшиеся мною, естественно, по-немецки. Сидя в комнатенке Анни, скажем, в канун Первого мая, мы по-немецки пели «Интернационал» и «Марсельезу», и, надев пенсне, она читала из книжки заранее заложенное специальной закладкой стихотворение или рассказ революционного содержания. И в той же комнатке, в сочельник, мы самозабвенно пели: «Тихая ночь, святая ночь».

От Анни я узнал множество немецких песен, песенок, немецких стишков, сказок, детских, наивных, которые спустя долгие десятилетия вернулись ко мне в виде немецкого фольклора.

Я уже тогда совершенно отчетливо представлял себе (видел, слышал), как мимо скалы Лорелеи «тихо Рейн течет», фахверковые дома в старинных городишках, даже их обитателей — у Анни были книжки с картинками. И когда, через целую жизнь, я увидел все это «в натуре», воочию, то испытал скорее радость узнавания, чем удивление.

Среди сказок Анни самой, быть может, трогательной была повесть ее собственной жизни, со сказочной, недосягаемой страной, где в одном старинном городе, в маленьком доме, жил отец Анни — старый сапожник Андреас Прам и где остались ее добрая старая матушка с двумя дочерьми — сестрами Анни. Я видел эту беленькую старушку и двух ее дочек, двух прелестных барышень, которые существовали в прекрасном, неведомом городе на желтом песчаном берегу моря. Рассказ Анни всякий раз сопровождался демонстрацией единственной цветной открытки с видом старинного города и фотографий матушки и прекрасных барышень — сестер. Правда, и открытка, и фотографии относились к далеким временам. После войны и революции Анни потеряла всякую связь со своими родными, не получала от них писем, не писала им сама и вообще не знала, где они и что с ними. И все же Анни верила, что обязательно еще встретит в этой жизни и свою мать, и сестер, и она пальцем показывала на черное стекло с серебряными готическими буквами...

Анни водила меня на Немецкое кладбище. Недалеко от входа стояла статуя — Гамлет с черепом в руке, на постаменте было написано: «Дар Карла Цитемана». Цитеман был московский богач, Анни когда-то служила у него в доме чтицей при его больной, прикованной к постели жене. Когда жена Цитемана умерла, он подарил Немецкому кладбищу статую Гамлета — кажется, она там стоит и сейчас.

Мы бродили между могил, замшелых плит, склепов. Я читал немецкие эпитафии, стихотворные заклинания, обещания встретиться в ином, лучшем мире. Однажды у кладбищенской стены Анни показала мне заросшие высокой травой могилы немецких солдат.

Среди песен Анни — по большей части любовных или шуточных — были две солдатские песни про смерть: «О, Страсбург, о, Страсбург, любимый город мой, лежит здесь, похоронен, солдат молодой...» и песня ночная, жуткая о том, что рассвет сулит смерть: вчера ты еще гарцевал на гордом коне, сегодня — будешь пронзен пулей в грудь, завтра — погребен в хладной могиле.

Так я ощутил дыхание военной немецкой смерти...

В Аннины рассказах часто фигурировал персонаж, изображенный на одной из фотографий: плотный, круглолицый мужчина, с бородой, в пенсне, с круглым, чуть вздернутым носом — учитель немецкого языка в классической московской гимназии — Артур Кох, дядя Анни и ее покровитель, самый близкий ей человек, который вывез ее из родного города в Москву, опекал, заботился о ней и учил многим мудрым вещам. Анни то и дело приводила его рассуждения по самым различным поводам: от мелких, житейских, практических советов до философских размышлений о том, что добро побеждает зло, о силе милосердия и как важно быть бережливым, не будучи скаредным. Этот Аннин дядя, как она рассказывала, скоропостижно умер перед самой войной, и она, оставшись одна, пошла сперва служить к Цитеману, потом — в бонны к купцам Вешняковым, от которых осталось название станции «Вешняки», затем жила в семье одного профессора, который куда-то исчез, снова лишилась места, пошла на биржу труда, где встретилась с моей матерью...

Много позже кто-то из нашей семьи высказал предположение, что Артур Кох был вовсе не дядя, а возлюбленный Анни, и возможно, что так оно и было на самом деле. А спустя еще много лет в какой-то букинистической лавке я нашел истрепанный сборник упражнений по немецкой грамматике, составленный Артуром Кохом.

Анни пробудила во мне «немецкое начало», задела в моей душе какую-то «немецкую» струну, все остальное — «германистика» — пришло потом...

В Гёттингене я рассказывал о своей Анни. С чего начинается переводчик? Что значит способность воспринимать чужую жизнь как свою, обмениваться не только языками — жизнями?.. Нации, народы, «языцы» тянутся друг к другу, как двое королевских детей из немецкой народной баллады. Те стояли на противоположных берегах глубокой реки, изнывая от невозможности преодолеть разделяющее их пространство. Королевич бросился вплавь, тогда королевна зажгла свечку, чтобы ему был видней берег. Однако злая старуха — черница — загасила свечу, и «ночь поглотила пловца»... Кто эти злые силы, которые гасят зажженный любящей рукой огонек?... Но, может быть, переводчики — лодочники?..

Немецкие народные баллады я переводил с особым чувством. Я помнил слова Гейне: «Тот, кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, пусть прочтет их народные песни». Я хотел, чтобы немцев узнали с лучшей стороны: для этого были свои основания.

Когда моя книга вышла, я получил письмо от одной женщины. Она писала, что три года провела на оккупированной территории. Первые немцы, которых она увидела, носили зеленого цвета шинели солдат. Потом пришли немцы в черных мундирах эсэсовцев... У этой женщины убили дочь, муж ее погиб на войне. К немцам она прониклась ненавистью, ей казалось, что на всю жизнь. И вот она писала: «Эти стихи спасли меня от ненависти. Не может быть плохим народ, у которого есть такие песни. Не народы, видимо, виноваты...»

Вскоре я оказался в Кёльне, среди моих сверстников. Я с гордостью показывал им свою книгу, с замечательными, в старинном немецком духе выполненными, гравюрами художника Бургункера. Однако ни содержание книги, ни иллюстрации не вызвали особого умиления.

Кто-то сказал:

— Нас от этих стихов воротит. Они напоминают нам гитлеровщину.

Да, их украли у народа: нежную Лилофею, королевских детей, влюбленного мельника, хитроумного портняжку, пляшущего крестьянина, тихое течение Рейна, фахверковые дома с отвесными крышами, леса, темные силуэты замков на вершинах ступенчатых гор, украли, оприходовали по ведомству министерства пропаганды. Изо дня в день, из года в год немцам твердили: Германия, родина, кровь, почва.

Они отдали народные песни своей солдатне, превратили в маршевые. Тысячи хриплых глоток ревели: «В глуши зеленой чащи я помню старый дом...» Национальную любовь к празднествам, красочным карнавалам, к площадным действам они использовали для своих истерических массовок и оргий. Они лгали, что очищают национальную культуру от скверны, от зловредных наростов, возвращают ее к чистым истокам, но возвратили ее не к «истокам», а отшвырнули на столетия назад — в ночь средневековых кошмаров. Они покушались на самое сокровенное: на душу народа.

Те, кто поверил им, пошел за ними, пришли: одни в Сталинград, другие в Освенцим — убийцами

Когда кончалась война, в 1945 году, Томас Манн сказал: «Опустившись до жалкого уровня черни, до уровня Гитлера, немецкий романтизм выродился в истерическое варварство, в безумие расизма и жажду убийства...»

Прошло более тридцати лет, а святые слова «родина», «честь», «материнство», «народ», «почва» все еще вызывают страшные ассоциации. За ними все еще мерещатся силуэты лагерных вышек и крематориев. С идиллических немецких ландшафтов все еще не смыт яд, которым их опрыскали.

В Гёттингене одной из первых мы слушали лекцию профессора Фера: «Немцы глазами иностранцев».

В аудиторию вошел элегантный седой господин, в сером костюме, с мрачным, серьезным лицом. Он начал так:

— Я родился 8 ноября 1918 года, в последний день мировой войны, и поэтому мои родители дали мне имя Готфрид: бог, мир Прошло немногим более двадцати лет, почти все мои школьные товарищи погибли в концентрационных лагерях, на полях войны. Мира не было. Был ли бог?

После 1945 года я объездил все страны Европы, кроме Албании. Бывает, что имя «немец» еще вызывает неприязнь, отчужденность. Это не случайно. Гитлер нанес Германии, немцам, такой ущерб, вызвал к немцам такую ненависть, как никто ни к одному другому народу. И от этого шока мы еще не оправились, хотя стремимся доказать, что мы — не те, какими нас, возможно, еще представляют...

Он продолжал:

— В отношении тех или иных народов издревле существуют предвзятости, расхожие клишированные представления. Например, многие думают, что итальянцы — все — обязательно едят

ЛЕВ ГИНЗБУРГ
ГЁТТИНГЕНСКИЙ СЕМИНАР

скатетти, они — «макаронники», датчане — все — белобрысые. Педантичность, чрезмерная пунктуальность в равной мере считались немецкой добродетелью и немецким пороком. В этих беззлобных клише нет, собственно, ничего обидного. Немцы — это пиво, немцы — колбаса. В английском учебнике иемецкого языка тридцать четыре упражнения связаны с колбасой...

После двух мировых войн для многих народов немцы стали олицетворением войны, нацией Гитлера, Круппа. В послевоенных английских сказках для детей злодеи всегда — немцы. На это обратили внимание педагоги, пресса, началась кампания против антинемецких настроений, против злобы и недоверия. Искоренить их нелегко... Невозможно, встретившись с французом, избежать разговоров о войне, о нацизме. Как выглядит немецкая тема в передачах французского телевидения? Нацизм, война, оккупация, немного старой немецкой классики и крохотный процент — сегодняшняя жизнь немцев. Нечто подобное происходит и в Италии. Голландцы теснее других связаны с немцами, но голландцы жестоко пострадали от немецкой оккупации, это наложило свой отпечаток на то, как они смотрят на нас...

Готфрид Фер сказал:

— К сожалению, Федеративную Республику Германии еще плохо знают, особенно ее культуру. Культурная жизнь у нас рассредоточена, у нас нет культурной столицы, такой, как, например, Париж. Постарайтесь изучить нас, понять. Мы уповаем на литературу, на переводчиков. Мало высоких слов о дружбе, мало одной доброй волн, для взаимопонимания нужны конкретные дела. Чтобы переаодить, нужна объективность, нельзя заниматься переводом книг, руководствуясь предвзятостями...

...Первым немецким поэтом, которого я перевел на русский язык, был (если не считать детских упражнений, проб пера) Иоганнес Бехер. Вернувшись из армии вскоре после войны, я разыскал его новые стихи в газете «Теглихе рундшау». Это были свидетельства об отчаянии, надежде, первых проблесках света. Главная их сила — спасительная горькая правда... С первых послевоенных месяцев, в потемках, в немыслимом краю развалин Бехер искал, что еще уцелело от великой немецкой культуры, что еще можно спасти. Он вытаскивал из-под руин, бережно возвращал соотечественникам слово Гёте, фугн Баха, холсты Грюневальда... Он ободрил, привлек к делу возрождения немецкого духа престарелого Герхарта Гауптмана. Он протянул руку поддержки Гансу Фалладе, Бернгарду Келлерману. Он обратился с призывом сотрудничать к писателям, оставшимся в эмиграции,— Томасу и Генриху Маннам, Лиону Фейхтвангеру: его услышали. Сердце его исходило любовью к немцам, к Германии и леденело от ненависти к фашизму, к обезумевшим от шовинизма жестоким кретинам, которые ввергли немецкий народ в пучину безмерных страданий...

В Германской Демократической Республике Бехер был первым министром культуры, его стихи 50-х годов исполнены предчувствия космической эры, но тогда, в тишине мертвых, неподвижных летних немецких ночей 1945 года Бехеру слышались слова Якоба Бёме: «И если бы горы стали горами бумаги, и моря — морями чернил, и все деревья— стволами перьев, этого все равно не хватило бы, чтобы описать страдание, существующее в мире...»

Поэт революционного авангарда, спартаковец, один из видных экспрессионистов 20-х годов, Бехер обратился к самым простым, исконным формам: к изречениям, проповедям, тихим народным песням. Он писал: «От таких песенок не следует отмахиваться с высокомерием, свойственным иным литераторам, ибо они, эти песенки, действительно выражают народные чувства, притом самыми народнымн средствами».

Он стоял среди развалин, среди тишины, и ему казалось, что все немцы, все человечество, весь мир вопрошают: где была Германия?..

И он ответил:

Как много их, кто имя «немец» носит
И по-немецки говорит... Но спросят
Когда-нибудь: — Скажите, где была
Германия в ту черную годину?
Пред кем она позорно гиула спину?
Свою судьбу в чьи руки отдала?

Быть может, там, во мгле, она лежала,
Где банда иемцев немцев угнетала,
Где немцы, немцам затыкая рот,
Владыками себя провозглашали,
Германию в бесславный бой погнали,
Губя свою страну и свой иарод?

Назвать ли тех «Германией» мы вправе,
Кто потянулся к дьявольской отраве,
Кто, опьянев от бешенства и зла,
Нес гибель на штыке иевинным детям
И кровью залил мир? И мы ответим:
— О нет, не там Германия была!

Но в камерах, в тюремных казематах,
Где трупы изувеченных, распятых
Безмолвно проклинали палачей,
Где к отомщенью призывает жалость,—
Т а м новая Германия рождалась,
Т а м билось сердце родины моей!

Оно стучало там, за той стеною,
Где узник сквозь молчанье ледяное
Шагал на плаху, твердый, как скала;
В немом страданье матерей немецких,
В тоске по миру, в тихих песнях
детских—
О, т а м мол Германия была!

Ее мы часто видели воочью,
Она являлась днем, являлась ночью,
Украдкой пробираясь по стране.
Она в глубинах сердца вызревала,
Жалела нас, и с нами горевала,
И нас будила в нашем долгом сне.

Пускай еще в плену, пускай в оковах,
Она рождалась в наших смутных зовах,
И знали мы, что день такой придет:
По воле пробужденного народа
Восторжествуют правда и свобода,
И родину получит наш иарод.

Об этом наши предки к нам взывали,
Грядущее звало из дальней дали:
«Вы призваны сорвать покровы тьмы!»
И, неподвластны ненавистной силе,
Германию в себе мы сохранили,
И ею были, ею стали — МЫ!..

Эти стихи я всегда читаю в оригинале и в переводе, когда выступаю перед любой немецкой аудиторией.

Я вспомнил их в связи с лекцией профессора Фера... Что значит «немец»? Как понимать слово «немец»?..

В 1941 году, в июле, нацистские летчики бомбили Москву. В большом сером доме в Лаврушинском переулке, напротив Третьяковской галерен, стоял у окна человек. Это был Иоганнес Бехер. Он смотрел на багровое зарево, слушал, как грохочут зенитки. На улице женский голос пронзительно закричал:

— Немец бомбит!..

Бехер подошел к письменному столу, на листе бумаги было написано: «Я — н е м е ц»...

Так озаглавлено его ставшее хрестоматийным стихотворение. У нас оно печаталось множество раз.

В 1977 году в западногерманском издательстве «Атенеум» вышла «Большая Книга немецкой поэзии», составленная Карлом Отто Конради. В ней есть все — от поэтов XII века до тех, кто родился в 1944 году. Поэты Германии, Австрии, Швейцарии, ФРГ, ГДР, Западного Берлина. Звезды первой величины и стихотворцы не очень известные. В антологии Бехера нет... Впрочем, в книге «Письма немецких классиков», выпущенной в 1969 году издательством Киндлера в Мюнхене, где есть Геллерт и Клопшток, Лессинг и Виланд, Гёте и Шиллер, Гёльдерлин и Клейст, Новалис и Тик, Гофман и Брентано, где есть даже Анна Луиза Карш, нет Генриха Гейне.

Реакция мелочна и мстительна. Она никому ничего не прощает.

2

Лекции о современной западногерманской поэзии читали на гёттингенском семинаре профессора Йорг Древс и Альбрехт Шёне.

Йорг Древс — в кожаной куртке, худой, узколицый, с усиками, вошел в аудиторию; не здороваясь, ничего не говоря, мелом написал на доске свое имя, звездочкой пометил год рождения: *1938.

Он начал с тезиса Эрнста Блоха: «Поэзия есть сгусток прожитого мгновения», затем стал рассказывать о поисках новых форм выразительности, о демократизации поэтического языка, о влиянии «поп-арта» и бит-музыки, о попытках новых поэтов совместить индивидуальное «я» с политическим...

По мнению профессора Древса, в поэзии началось некоторое оживление, стихи сейчас больше пишут, больше читают, однако, добавил он, если наступают хорошие времена для поэзии, то, значит, неблагополучно в обществе.

Поэты, стихи которых он разбирал, у нас почти неизвестны: Делиус, Урсула Крехель, Юрген Теобальди, всем примерно по тридцать — тридцать пять лет. Это те, кто пережил смену поветрий, крушение экстремистских иллюзий. Когда читаешь их стихи, ощущаешь странную неустойчивость, кажется, что качается пол под ногами.

Они расстались с герметической метафорикой Айха, Целана, Кролова, прозаизировали язык, но иногда это не те прозаизмы, которые спасают стихи от высокопарной красивости, а серая проза повседневной скуки. Теобальди, например, посвятил большое стихотворение консервированному итальянскому блюду — равиоли, дешевой студенческой еде вроде наших пельменей... Иные стихи напоминают мусоросбрасыватели: в них — банки из-под консервов, бутылки из-под пива, объедки, окурки. Интерьер новейшей поэзии — дешевая студенческая квартира, пивная, неуютный, накуренный бар. В таких стихах зябко, как в нетопленной комнате. И человек, живущий внутри этих стихов,— продрогший, изнывающий от житейских неурядиц вялый неудачник.

Древс разбирал стихотворение Урсулы Крехель о женской эмансипации. Оно начиналось так: «Анджела Дэвис, дева Мария и я лежим в узких белых кроватях...» Теобальди придумал стихи о том, как он вместе с Гёте на бешеной скорости мчится в машине, включает на полную мощность радио, Гёте, крайне заинтересованный всем, что он видит, кричит: «Вперед! На природу!» — ломает стеклоочистители, машина вкатывается «на природу», пролетев через деревню, вырывается в поле, Гёте и Теобальди вываливаются из кабины... В чем смысл этих стихов?.. Йорг Древс пояснил: в уничтожении дистанции между поэтами, в упразднении авторитетов...

Я задал вопрос об отношении к классике, вернее, о взаимоотношениях между классикой и современной поэзией.

Профессор вскинулся на меня:

— Что вы понимаете под классикой? Что значит для вас классическая традиция? Для нас это понятие рухнуло. Гёте почти никто не читает и не изучает. Шиллер практически мертв. Гораздо важнее Шиллера для меня Бюхнер. Сейчас живыми к л а с с и к а м и, если уж употреблять это слово, считаются у нас не Гёте и Шиллер, а Клейст, Гёльдерлин, Жан Поль. Гёльдерлина выпустило издательство «Ротер штерн» («Красная звезда») — заметьте!..

Что ж. Бывают общественные, литературные ситуации, когда одни классики отходят на задний план, уступают

ЛЕВ ГИНЗБУРГ
ГЕТТИНГЕНСКИЙ СЕМИНАР

место другим, затем возвращаются. Наследие оттого и живое, что не остается неподвижным.

В Гёттингене в витринах книжных магазинов я видел уцененные собрания Гёте. Зато возрос читательский спрос на Клейста, из писателей XX века — на Германа Гессе. Я бывал во многих профессорских и литературных домах с большими библиотеками, случалось, что разговор заходил о Шиллере, надо было найти то или иное стихотворение. Шиллера, как правило, не оказывалось, долго обзванивали знакомых, пока кто-либо не находил у себя ветхий томик, оставшийся еще от родителей, дедов. Кто, однако, из нынешних западногерманских интеллигентов не держит у себя «Жизнь Квинта Фикслайна» или «Зибенкэза» — острые сатиры Жан Поля?..

Классиков можно убить чинопочитанием, парадными чествованиями, тупой школьной зубрежкой, но бывает и так, что усталое общество уже не в состоянии хранить классику, духовные ценности выпадают из его обессилевших рук.

Бессмертие классиков — понятие чрезвычайно сложное. Можно назвать самые высокие имена и не сразу ответить, живы ли они или покоятся в сердцах знатоков? А может быть, они живут в строках новых поэтов, перешли в них?.. Пушкинский «Памятник» отвечает на это со всей определенностью: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит»... Не — «хоть один человек», не «хоть один читатель», а — п и и т!.. Хоть один!.. Речь идет о далеком поэтическом потомке, в чьих жилах его, Пушкина, кровь. То же происходит, конечно, и с Шекспиром, и с Гёте, и с Шиллером — с любым из великих. У каждого — многочисленное потомство, на всех материках, во всех странах света.

Из чего создаются стихи?

Профессор Альбрехт Шёне (ему 52 года, он учился в США, Канаде, ФРГ, выдающийся знаток немецкого барокко) построил свою лекцию оригинально. Поэтов он не цитировал, включал кинопроекционный аппарат, на экране появлялись, допустим, Пауль Целан, или Готфрид Бенн, или Гюнтер Айх, читали свои стихи Экран выключался, Шёне комментировал, затем экран вспыхивал вновь...

Возник диктор телевидения, объявил о начале войны во Вьетнаме. После этого экран показал поэта Герхарда Рюма. Он читал сонет, составленный из тех же слов, что и сообщение диктора, но ритмически организованных так, что слова падали на слушателя-читателя, как бомбы — на крыши Вьетнама. Это был звуковой эффект, но содержал ли этот эффект поэзию? Может быть, за поэзию принимают любую эмоционально окрашенную речь или же, напротив, существует тенденция к возведению в поэзию газетной и даже канцелярской речи?.. На стихи «идут» рекламные проспекты, расписания поездов, газетные информации — из них выдергивают слова, комбинируют, составляют коллажи... Один из поэтов ритмизовал газетную заметку, помню первую фразу, начало сонета:

Астро-
навт
Арм-
строиг
в Мо-
ре
Тн-
шиины...

Каждый слог сопровождался ударом метронома.

В прежние времена пошлость в поэзии называли «рифмованной»: она бряцала рифмами, рядилась в пышные метафоры, у нее был возвышенный слог. Ныне пошлость опростилась, приобрела аскетический вид, она «рационалистка» и изъясняется преимущественно верлибром.

Из словесной мешанины выплывает иногда крохотная мыслишка, чаще всего «политическая»... Это входит в «правила игры».

В конце далеких 50-х годов Ганс Магнус Энценсбергер писал о торжествующей накипи:

Пена цветет, шипится,
захлестнула всю землю,
накипь забрызгала мир,
и ее не выжжет огонь, не вырубит меч...
...И что делать с теми,
кто говорит: «Гёльдерлин»,
а втайне думает: «Гитлер»?

Энценсбергера-поэта вызвало к жизни отвращение к накипи, к наглому самодовольству «экономического чуда», к безнаказанности зла. Он надеялся выразить себя в протесте, перепробовал много «моделей», заблуждался, но не отчаялся. Его выручили трезвый рассудок, скепсис, ирония. В его недавней книге «Мавзолей» за скромными инициалами А. Г., Ф. Ш., Ч. Д., А. М. встают фигуры тех, кто украсил собой историю человечества, например, Александр Гумбольдт, Фредерик Шопен, Чарльз Дарвин, русский математик Андрей Андреевич Марков, многие другие... И здесь же — описание жизней, прожитых зря, во вред остальным...

Энценсбергер, как и большинство современных поэтов Запада, пишет безрифменным стихом, но рифма ему, пожалуй, и не нужна. Мысль, уткнувшись в рифму, стала бы куцей; видимо, ей легче переходить из одной нерифмованной строки в другую...

На гёттингенском семинаре мне по-новому открылся Пауль Целан, поэт, который числился гражданином Австрии, издавался в ФРГ, а жил и умер в Париже. Я переводил его «Фугу смерти» — скорбное поминание тех, кто замучен в концлагерях, в гетто. Целан в юности познал нацистские преследования, все его родные погибли, образ смерти в эсэ-

совской форме шел за ним по пятам. Он покончил с собой в 1971 году, в возрасте пятидесяти лет... Теперь он вдруг ожил передо мной на экране — человек с грустным, спокойным лицом. Стихи он читал по книге, отчетливо, медленно произнося каждое слово. Чтобы понять Целана, нужно проникнуть в грунтовые, подземные воды слов. Смысл у него не лежит на поверхности, но его «темная» поэзия противостоит словесной дешевке, истрепанному языку стихов-однодневок. У него есть страшные метафоры: мука́, перемолотая мельницами смерти, волосы, которые никогда не станут седыми.

Поэт Фолькер фон Тёрне составил стихотворение из лексических шаблонов третьего рейха... Вначале эти стихи могли показаться скучными, даже дешевыми, но вслушавшись, я вдруг подумал о пагубном всевластии шаблонов. За каждым из этих словесных клише стояли трагедии и пороки: беспомощность обманутых, обворованных, бесстыдство политиканов, изворотливость манипуляторов, цинизм сочинителей грязных статей. Здесь все слова были преступники: совратители, обманщики, шулера, воры.

В шаблонах торжествовала в л а с т ь т ь м ы — гигантское вторжение невежества во все сферы жизни, вытесненне духовного начала, замещение всегда тонкого по своей природе искусства грубым антиискусством, тупой силой, бездарностью, воинствующей скукой.

...В перерыве говорили с профессором Шёне о барочной поэзии: он считает ее наиболее близкой сегодняшнему состоянию, восприятию. Коллизии XVII века — это не конфликты между чувством и долгом или между богатством и бедностью, а столкновения исключительные, роковые: между жизнью и смертью, между временем и вечностью, войной и миром. Одна из величайших трагедий барочной эпохи — отсутствие положительного идеала, вернее, какого-либо реального душевного пристанища, кроме веры в бога. Но и вера в бога как в высшую спасительную силу, которая с таким простодушием выражена в стихах Пауля Гергардта:

Но если кажется порой,
Что не пришла подмога,
Свой тяжкий грех молитвой вскрой
И уповай на бога,

подвергается сомнению у Ангелуса Силезиуса:

Бог жив, пока я жив, в себе его храня.
Я без него ничто. Но что он без меня?..

Впрочем, одно-единственное пристанище остается всегда: совесть.

Мы вспомнили Фридриха фон Шпее. Он был иезуит, в его обязанности входило сопровождать на казнь осужденных на сожжение «ведьм». Закончив обряд, он возвращался домой, запершись в кабинете, писал свои стихи, бисерным почерком, нумеруя строфы. Сторонники Реформации отиосились к нему с особой ненавистью: святоша, пособник палачей!.. На его жизнь покушались, он был тяжело ранен, с трудом выздоравливал. В 1631 году по всей Германии разошлось анонимное латинское сочинение «Cautio criminalis». Автор неопровержимо доказывал, что среди осужденных женщин нет ни одной виновной, признания вырваны пыткой. Трактат возымел свое действие, после него сожжение «ведьм» по существу прекратилось. Автором этого сочинения был Фридрих фон Шпее — поэт. Но есть нечто такое, что выше поэзии: совесть.

3

В те дни, когда в Гёттингене работал наш семинар, Западную Германию трясли политические страсти. Не стихала, а, казалось, наоборот, усиливалась «гитлеровская волна», неожиданный для посторонних, массовый, болезненный интерес к Гитлеру. То и дело выбрасывало на рынок обломки, сор третьей империи: дневники Геббельса, мемуары Шпейделя, мемуары Августа Кубицека «Адольф Гитлер — друг моей юности», мемуары Германа Гислера «Другой Гитлер», мемуары Х. Ф. К. Гюнтера «Мои впечатления об Адольфе Гитлере», мемуары Гергарда Бука — «Штаб-квартира фюрера», «Три завещания Адольфа Гитлера» — отдельной брошюрой... На экранах шел (шестую неделю! восьмую неделю!) фильм Иоахима Феста «Гитлер. История карьеры». Продавались предметы нацистского обихода. Не было газеты, журнала, иллюстрированного еженедельника, где в той или иной связи не появлялись бы фотографии Гитлера, Геринга, Бормана, Гиммлера, Геббельса, Риббентропа. При желании можно было вообразить, что время круто повернуло вспять, к тридцать третьему году; нацисты в центре общественного внимания: может быть, они уже идут к власти? Устроители семинара чувствовали себя неловко, приходилось отвечать на недоуменные вопросы.

Молодой доктор Ш., приложив руку к груди, заглядывая в глаза собеседнику проникновенно-умоляющим взглядом, объяснял:

— Клянусь вам, это — преходящая мода, на ней наживаются коммерсанты, не придавайте этому серьезного значения.

Но как будто назло, одно за другим поступали сообщения: лейтенанты бундесвера под пение «Хорста Весселя» сжигали картонные таблички с надписью «Еврей», молодой злоумышленник водрузил в Западном Берлине на Колонне победы государственный флаг третьего

ЛЕВ ГИНЗБУРГ
ГЁТТИНГЕНСКИЙ СЕМИНАР

рейха. Нацистские последыши устраивали эксцессы и с самом Гёттингене.

И снова доктор Ш. проникновенно говорил:

— Я сам в отчаянии, но это — хулиганство, ие более чем отвратительное хулиганство... Поверьте...

Время было непонятное, беспокойное, по тихим улицам Гёттингена ползла жуть. Однажды ночью неизвестный вломился в гостиничный номер, в котором жил польский участник семинара, напал на него, произошла потасовка; полиция объяснила, что в гостиницу забрел «обыкновенный» наркоман... Тем не менее из Бонна прибыли представители польского посольства, была направлена официальная нота протеста...

Все это вторгалось в «переводческие проблемы», накладывало на работу семинара свой отпечаток.

Беспокойство усиливалось еще одним обстоятельством. Кто-то искусно имитировал нарастание «красной опасности». На улицах то и дело встречались плакаты с изображением красных флагов с серпом и молотом, красных звезд, стены были испещрены лозунгами, которые принадлежали отнюдь не коммуинстам. Полиция разыскивала террористов, которые тоже именовали себя «красными». Молодые люди в защитного цвета шинелеобразных пальто предлагали прохожим листки, на которых пылали слова: «Красное утро»... Не каждый мог разобраться, что́ иногда сейчас прячется за словом «красный», чьи руки потянулись к революционным символам. Бесконечные разговоры о «советской угрозе» калечили психику людей.

Многим начииало казаться, что вотвот разразится кризис, катастрофа, все рухнет. В чем спасение?.. Одни тосковали по утраченной «силе»: Гитлер был, коиечно, плох, но все-таки при нем был «порядок». У других сердце холодело от страха: неужели на жизнь снова накинут серую сеть?..

Журналы проводили опросы: стоит ли вводить смертную казнь? Подавляющее большинство ответило: «Нет»...

В стране действовали «запреты на профессии». Коммунистов не допускали на государствеииую службу, увольняли из школ, из театров. Это вызвало широкое недовольство. Об ущемлении демократии открыто заговорили даже умеренные писатели, ученые, деятели культуры. На них накинулись «справа» объявили «симпатизаитами», втайне сочувствующими террористам...

Обер-бургомистр Гёттингена Артур Леви (социал-демократ) и 2-й бургомистр Иоахнм Куммер (ХДС) устроили в честь участиков семинара прием в старом зале старой городской ратуши. Речь зашла о положении в стране, о защите демократии. Артур Леви сказал:

— У нас слишком много свободы...

Его мысль развил Иоахим Куммер:

— Опыт Веймарской республики показал, что избыток свободы, бесконечные дискуссии, критиканство привели к фашизму. Коиечно, были и другие причины, например, реваншистские притязания, но главное состояло в глубоком разочаровании в республике, в том, что был решительно подорваи авторитет существующей государственной власти, оплеванной, расшатанной со всех сторон.

В какой-то степени эта тема присутствовала и в фильме Иоахима Феста. Я смотрел этот фильм на последнем сеансе, зал был переполнен, хотя фильм демонстрировался уже около месяца, а Гёттинген — город не такой уж большой.

О фестовском «Гитлере» много писали, его ругали, кажется, всюду, дурные отзывы о нем я читал и в ФРГ. В соответствии со сценарием в фильме разыгрывалась трагедия не столько немцев, не столько народов Европы, сколько мистической личности: мечтателя, фантазера, авантюриста, фанатика. Он н сейчас, в этом фильме, «возвышался» над толпами, над горем и кровью миллионов, над могильным рвом где-то в Россин, в который падали с обрыва тела убитых выстрелом в затылок (в фильме есть и такой нечеловеческий мимолетный документальный эпизод). Мерзкая фигура полоумного диктатора, ретивого, рьяного, яростного исполнителя злой воли темных социальных сил, возводилась в ранг шекспировского персонажа; он заслонял собой всех. Двеиадцать гитлеровских тюремных, лагерных, казарменных, окопных лет изображались как эпоха «бури и натиска». Но в фильме есть и другое. Из цепи событий Фест вырвал, крупно показал сумятицу, предшествовавшую 1933 году, агонию Веймарской республики.

В разное время я видел фильмы «Корабль дураков» и «Кабаре». В зеркале «Кабаре» кривилась, корчилась предгитлеровская Германиия, отравленная ядом слабости, нервозности, моральной извращенности, больиая, гнилая страна, где персонажи — завтрашние палачи и жертвы и послезавтрашние «фрицы», которые будут стрелять из фаустпатронов, а потом кричать: «Гитлер капут!»; трагедия издерганной нации, которая ждала, искала спасителя, а получила убийцу. В «Корабле дураков» — патологический «сои разума», слепота, самообман, пошлость, злоба, наглеющий, жестокий расизм, гнетущее социальное неравенство. Корабль, нагруженный такими пороками, не мог не причалить к Гитлеру...

У Феста было иное: он предостерегал от нарушения политического стереотипа. В сопротивлении, которое оказывали пруцим штурмовикам рот-фроитовцы, в схватке между красными и коричневыми, в отчаянной попытке левых сил преградить дорогу нацизму он усматривал смуту, состязание «крайних». Тогда победил Гитлер, но кто победит теперь?..

Публика расходилась после сеанса

молча, одни были озабочены, другие подавлены. В беснующихся толпах, в охваченных эротическим возбуждением женщинах, которые, замерев в экстазе, слушали «фюрера» или устилали дорогу его автомобилю цветами, молодые люди с ужасом узнавали своих бабок и матерей...

...Интерес к фашистскому прошлому в Западной Германии действительно крайне возрос, но вызван он совершенно различными причинами.

Через тридцать два — тридцать три года после войны в благоустроенных квартирах западных немцев вдруг зазвучало эхо далеких выстрелов, там — в Керченской яме, в Бабьем яре, в балках смерти, в глубине тюремных дворов, в камерах пыток.

Молодежь, словно очнувшись, вопросительно взглянула на старших:

— Кем вы были?.. Кто вы?..

Тридцать два года непережеванное, загнанное вглубь прошлое набухало, превращалось в гнойник... Молчали школьные учебники, отмалчивались родители. А литература? Отмеченная большими талантами проза?.. Нельзя сказать, что она молчала. В 50-х годах Вольфганг Кёппен написал свой роман «Смерть в Риме»: фашизм, милитаризм у него мечутся в агонии, но и агонизируя продолжают убивать. В романе Генриха Бёля «Бильярд в половине десятого» в сплющенном, сжатом времени, во внутренних монологах «буйволиный» фашизм подтачивает, разрушает не только творения человеческих рук, но и пожирает человеческую душу — «агнца». В «Жестяном барабане» Гюнтера Грасса карлик Мацерат барабанит на жестяном инструменте свою «одиссею»: фашизм — уродство, фашизм — извращение... Мы знаем книги Зигфрида Лепца, Мартина Вальзера, публицистику Гюнтера Вальрафа, Берита Энгельмана...

И все же Главная Книга о самой трагической полосе в истории немцев еще пока в ФРГ не создана. Много символики, метафор, сложных стилистических построений, действие слишком замедленно...

Об этом говорили и на семинаре: традиции реалистов 20—30-х годов исчерпаны, в их манере сейчас не пишет никто, время эпопей, «просторных» реалистических романов кончилось, сейчас другой «стиль». Может быть, это и так, но кто не помнит у нас романов Фейхтвангера, Фаллады, Ремарка, пьесу Вольфа «Профессор Мамлок», потом — «Седьмой крест» Зегерс?.. Они потрясали достоверностью. Позже пришел «Доктор Фаустус» Томаса Манна: он поражал своей глубиной...

Крупные писатели ФРГ имеют за плечами большой личный опыт. Им доступно гигантское множество ценнейших документов, открыта возможность встречаться с какими угодно людьми, причастными к жизни третьего рейха. Но используют ли они эту возможность? Быть не может, кого-то все же, наверно, влечет воссоздать всеохватывающую картину жизни немцев при Гитлере, до конца разобраться во внутренней структуре фашистского общества, в моделях поведения людей внутри этой структуры, в мотивах, определяющих человеческие поступки при фашизме. Когда эта Главная Книга будет написана?.. Ее отсутствие ощущается, ее недостает... Литература ФРГ почти не коснулась конкретных исторических персонажей, прошла мимо такой страницы истории, как Нюрнбергский процесс. Дела и дни фашистских фюреров стали достоянием поверхностной журналистики, а то и пронацистских книг.

Боюсь быть чрезмерно категоричным, но, с моей точки зрения, на страстный «вопрос» пока не ответили в полной мере ни западногерманская литература, ни живопись, ни кино, ни театр.

Теперь вместо писателей, историков, педагогов молодежи отвечал рынок. По своему размаху «гитлеровская волна» могла соперничать разве что с сексуальной.

Однако дело было не только в коммерции. На гребне «гитлеровской волны» к власти рвались реваншисты, крайне правые, оголтелые экстремисты всевозможных оттенков...

...Каждое утро, приходя на семинар, мы получали кипы газет — «Франкфуртер альгемайне», «Франкфуртер рундшау», «Зюддойче цайтунг», «Ди вельт», «Дн цайт», к нашим услугам были университетская и городская библиотеки, устроители семинара правильно поняли, что переводческое мастерство вытекает из знания жизни, ее примет и реалий.

С газетных страниц отрешенно смотрел на людей похищенный террористами Ганс Мартин Шлейер. Похитители распространили его фотографию: он был без галстука, с припухшим, усталым лицом. В руках он держал табличку: «Тридцать один день под стражей». В левом углу фотографии была изображена пятиконечная звезда, а рядом — две буквы: «Б-М».

Кажется, это была его последняя прижизненная фотография.

13 октября я смотрел телевизионную передачу. Бронзоволицый, с толстыми пунцовыми губами негр в смокинге в ритме танго гнул к полу ослепительную блондинку. Вдруг передачу прервали, диктор сообщил, что неизвестные злоумышленники угнали самолет, который с Мальорки следовал во Франкфурт-на-Майне...

Дальнейший ход трагических событий известен...

И снова перед глазами людей запля-

ЛЕВ ГИНЗБУРГ
ГЕТТИНГЕНСКИЙ СЕМИНАР

сали две буквы: «Б-М», и вновь раздались напугавшие всю Европу эловещие имеиа: Баадер — Майнхоф...

...В июне 1963 года в Гамбурге в поисках материала для очерков я наткнулся иа молодежный левый журнал «Конкрет». Он помещался в третьем, кажется, этаже дома на Вильгельмштрассе, над магазнном игрушек. В тесных редакционных комнатах все кипело. Журнал делали с эадором, с вызовом. Среди всеобщего тогдашнего самодовольства и внешней благопристойности «Конкрет» выглядел эадиристым эабиякой. В нем было перемешано все: полнтнческая левиэна, сексуальная «раскованность», хлесткая критика буржуазных нравов.

То и дело приходили экэальтированные молодые люди, авторский, должно быть, актив: онн бредили Брехтом, произносилн громкие «революционные» фразы. Все это было для меня тогда ново и неожиданно. Ничего похожего в Западной Германии я еще не встречал.

Вечером меня прнгласилн к себе домой, как они выражались в свою «хижину», нздатели журнала — Ульрнка Майнхоф и ее муж Клаус Райнер Рёль.

В отличие от скромного редакционного помещения эагородная «хнжика» Рёлей напоминала буржуазную виллу. Одиа комната была обставлена в романтическом средневековом стиле, другая — в ультрасовременном, третья была — детской.

Ульрика Майнхоф была красивой молодой женщиной. В ней сочетались острый ум и женское обаяние. Она говорила не торопясь, внимательно и напряженно, с некоторым оттенком недоверия слушая собеседника, готовая к обсуждению, к беззлобному спору.

Клаус Рёль выглядел несколько возбужденным, нервным он сразу стал эаострять разговор, уводнть его от литературы к полнтике.

Супругн были настроены резко отрицательно к стране, в которой онн жили, настолько отрицательно, что казалось, им действительно не остается ннчего, кроме борьбы. Они горели желанием переустронть жизнь, мыслили «большнми категориями», но в их рассуждениях отсутствовало одно важное звено: л ю д и. Человеческие жизни, представляющие собой все же какую-то ценность.

Позднее, переводя стихи Энценсбергера «О трудностях перевоспитания», я вспоминал эту встречу в «хижине», разговоры о необходимости «всеобщего переустройства».

Все это было б вполне достнжимо,
если б не люди..
Люди только мешают,
путаются под ногами,
вечно чего-то хотят,
от ннх одни непрнятности...
Если б не они,
еслн б не люди,
какая настала бы жизнь!
Как бы нам было легко,
как бы все было просто!..

Мы сидели, раэговаривали, ели луковый суп. Ко всему Ульрика Майнхоф оказалась еще искусиой кулинаркой... Когда пришло время уходить, она стала настаивать, чтобы я непременно взглянул на ее детей-близнецов. Она приоткрыла дверь в соседнюю комнату, тихо, привстав на цыпочки, наклонилась над двумя белыми кроватками, в которых сладко спали ее малыши...

Спустя несколько лет вся Западная Европа была буквально терроризирована анархистской группой Баадера — Майнхоф, которая именовала себя «Фракцией красной армии». Террористы — выходцы из буржуазных семей, не связанные ни с одной из левых политических партий, ни с рабочим движением, убивали н похнщали людей, грабили, совершали налеты на банки. Однажды они пригрозили взорвать Штутгарт.

На улнцах европейских городов появились бронетранспортеры, полицейские с автоматами и ручными пулеметами охраняли вокзалы, аэродромы.

Душой террористической организации была Ульрика Майнхоф.

В 1972 году страшную террористку схватили. Я видел на фотографии эту женщину: неузнаваемо изменившуюся, с одутловатым лицом и мутным взглядом... Оиа покончила с собою в тюрьме...

Теперь, оказавшись в Западной Германии в дни похищения и убийства Ганса Мартина Шлейера, угона самолета с эаложннками, загадочного самоубийства в штутгартской тюрьме «Штаммгейм» Баадера, Энслнн, Распе — ближайших сообщнников Майнхоф, я вспомнил тот далекий вечер в «хнжнне»-вилле, малюток, спящих в белых кроватках...

Чем руководствовались эти люди? Что их вело? Что развратило?.. Этнм вопросом задавался в те дни не я один. Мои друзья, литераторы-коммуннсты, говорили о них с горечью н резким негодованием. Своимн безрассуднымн и жестокнмн акциями взвинчивая нервы населения, терроризируя его, они помогалн самым черным силам реакции.

...В газетах появилось еще одно сообщение: в городе Заульгау состоялось последнее заседанне «Группы 47»; она закончила свое трндцатилетнее существованне...

На гёттингенском семинаре с докладом о литературной ситуации в ФРГ выступал Дитер Латман, бывший председатель западногермаиского Союза пнсателей, депутат бундестага.

Он пояснил:

— Фактически группа распалась давно, она погибла под ударами левого студенческого движения. Молодежь говорила: «Из вас растут железные орденские кресты»... А ведь когда-то «Группу 47» едва не запретилн американские военные власти: она казалась чересчур левой...

И снова передо мной возник 1963 год,

глубокая осень, маленький баварский городок Заульгау, где все было серое — туманы, серые, под туманы, каменные дома, серые дымы над крышами. В отеле «Клебер-пост» — очередное заседание «Группы 47» — прокуреииый зал, Ганс Вернер Рихтер как добродушный старый хозяин, гремя колокольчиком, ходил между столиками, созывая на собрание. Это было время его взлета — 25-е заседаиие созданной им группы, коигресс наиболее видиых писателей немецкого языка западиых стран. В Заульгау тогда собрались Эрнст Блох, Вальтер Йенс, Гюнтер Грасс, Вальтер Хеллерер, Уве Йонсон, Зигфрид Ленц, Петер Рюмкорф, Ганс Магнус Энценсбергер, Фриц Раддац: впервые на заседании группы присутствовали гости из Советского Союза, из ГДР — там я познакомился с Иоганнесом Бобровским... В «Группу 47» входили также Геирих Бёль, Иигеборг Бахман, Альфред Андерш, Гюнтер Айх, Петер Вайс, Ильза Айхиигер... Какое было соцветие!..

Теперь все это отцвело, осыпалось. По газетной фотографии Рихтера трудно было узиать: состарившийся, располиевший, с седой мальчишеской челкой. И под фотографией — сообщение о роспуске группы, как иекролог.

4

На переводческом семииаре, конечно, ие могли не говорить о мастерстве перевода. Выступали представители Союза писателей и Союза переводчиков ФРГ; профессор Шеффель прочитал доклад — «В какой степени перевод означает интерпретацию оригинала?»

Переводить, сказал ои,— зиачит интерпретировать... Лютеру во время перевода Библии привиделся дьявол. Лютер запустил в иего чернильницей, в крепости Вартбург и сейчас еще можно увидеть иа стене коричиевое чернильное пятно... В даиием случае «дьявол» — воплощение дьявольской трудности, которая возникла перед Лютером-переводчиком и которую испытывает, должио быть, каждый из иас. Как преодолеть языковой барьер? Как истолковать подлииник «по своему разумению», оставаясь, однако, исполнителем авторской воли? Как сделать перевод явлеиием своей литературы, своего языка, сохраняя при этом, как того требовал Вильгельм Гумбольдт, едва заметиый оттенок чужого? И какова допустимая здесь мера?..

Сам Шеффель переводит французов: Флобера, Пруста, Натали Саррот, ио он знаком с иемецкими переводами русских классиков. Оии производят на него не слишком благоприятное впечатлеиие. Чехова стали хорошо переводить лишь в самое недавнее время, а столь популяриый и даже любимый в Германии Достоевский все же в известной степени Достоевский «не подлиииый», сильно онемеченный переводом, приспособленный к немецкому языку, а не свободно живущий в ием.

В переводе, наверно, самый тяжкий грех — ложь. Грех перед автором, перед самим собой. Есть ложь предиамеренная, когда чужое выдают за свое и свое — за чужое. Есть ложь невольная — от недостатка зиания, главным образом, языка! Слово в наши дни, как никогда прежде, обросло множеством дополнительных зиачений, смысл, заложенный в нем, непомерно разросся. Не проиикнув в ядро слова, невозможио интерпретировать текст: переводчик читает его слепыми глазами.

В жизни мне приходилось участвовать в разных переводческих диспутах, всякий раз мы упирали на то, что переводчик — писатель. Все это так. Однако гёттингенский семинар напомнил, что у перевода своя, отличная от всех прочих литературиых жанров, специфика. Перевод есть прежде всего перевод. Перевод — сиитез литературоведения (интерпретация), лингвистики (знание языка, чтение текста иа языке) и самостоятельного творчества (художественное воспроизведеиие подлиииика). Это — в теории. На практике же часто одно из звеньев выпадает. Об организации переводческого дела в ФРГ рассказывали Роземари Титце и Урсула Бракман. Они говорили, что в ФРГ есть одии лишь (одии!) переводчик с русского, для которого перевод является не побочным, а основным заработком...

Я спросил, собираются ли в ФРГ издавать, скажем, Лермоитова, Тютчева?.. Мне ответили, что это вопрос, к сожалеиию, ие столько творческий, сколько коммерческий. Где тот издатель, который рискиет заказать переводы их стихов, где гарантия, что издания будут рентабельными?..

Рентабельность — знакомое слово. Однако умные издатели умеют не только идти на риск, но и чувствуют время, его перспективы, его запросы. Так, Бертельсман начал издавать новую русскую прозу: читатели хотят знать советскую жизиь, отраженную в правдивых и хорошо написанных книгах.

Примеру Бертельсмана желали бы последовать и некоторые другие издатели — встречаясь со мной, они спрашивали, не подскажу ли я какие-нибудь имена. Я «подсказывал», издатели записывали: стоило, однако, заговорить о поэзии, о классиках, о замечательных наших литературных мемуарах, о существовании которых на Западе иногда даже не подозревают, как мои собеседники прятали караидаши. Мало кто верил в успех, они заранее считали, что спроса не будет. Может показаться невероятным, но мне всерьез приходилось чуть

ЛЕВ ГИНЗБУРГ
ГЁТТИНГЕНСКИЙ СЕМИНАР

ли не упрашивать издать стихи Пушкина, Лермонтова, «рекламировать», например, мемуары дочери Льва Толстого — Татьяны Львовны Сухотиной. Я пытался прибегать к самым доступным аргументам: увидите, это раскупят мгновенно, это же интереснее любого приключенческого романа. Один уход Льва Толстого из Ясной Поляны чего стоит!..

Счастливые немецкие переводчики! Им еще предстоит открывать для своих читателей Державина, Пушкина, работать над стихами Баратынского, Тютчева, упиваться Лермонтовым, Некрасовым, Блоком, прикоснуться к русской мемуаристике и заново, на уровне новейших переводческих достижений переводить великую русскую прозу...

В Гёттинген на семинар приехал из Франкфурта-на-Майне Карл Дедециус. Он выпустил отдельной книжкой «Облако в штанах» Маяковского: приставил к русским строчкам свои — немецкие, на глазах у читателя переливается из одного языка в другой живая поэтическая кровь.

Перевод Дедециуса чрезвычайно, почти неправдоподобно точен и выразителен тоже до крайности. Вслед за переводом и параллельным русским текстом следуют немецкий подстрочник и два предшествующих перевода поэмы: Гуго Гупперта и Альфреда Тосса.

Каждый из этих переводов имеет свои достоинства, во всяком случае они достойно соперничают друг с другом, а возможность сравнивать их между собой и сопоставлять с русским текстом таит особую радость...

Сейчас стало модным употреблять в отношении переводчиков термин: «доноры». «Литературное донорство»!.. Высокомерные поэты считают, что жертвуют свою голубую кровь тем, кого они переводят...

Но что значит «переводить»? Это — брать и отдавать. Брать от другого, отдавать от себя. Перевод — это высшая степень литературного бескорыстия, высшая форма понимания чужого языка, чужой души, чужой жизни, понимания настолько, что происходит таинственная метаморфоза: я становлюсь тобой, ты — мной...

У Пауля Флеминга есть стихи:

Я жив. Но жив не я. Нет, я в себе таю
Того, кто дал мне жизнь, в обмен на
смерть мою.
Он умер, я воскрес, присвоив жизнь
живого.
Теперь ролями с ним меняемся мы снова.
Моей он смертью жив. Я отмираю в нем..

В этой причудливой диалектике — существо переводческого искусства.

Возьми меня всего. И мне предайся ты!..

...На семинаре один день был специально отведен Генриху Гейне. Видимо, не случайно. Известно, что в гитлеровские времена Гейне был запрещен, книги его сжигали; менее известно, что Гейне тайком читали — не только в домах, в некоторых гимназиях на это отваживались даже учителя на уроках. На отношении к Гейне проверялась человеческая порядочность. Пока человек жив и остается человеком, он сохраняет способность противостоять злу. Даже тем, что полушепотом читает стихи запрещенного классика.

Устроители семинара знали, что за границей иногда складывается впечатление, будто в ФРГ запрет на Гейне не отменен до сих пор: конфликты вокруг установления памятников, борьба за присвоение имени Гейне Дюссельдорфскому университету, которая окончилась поражением. Неприятие Гейне — позорное пятно: расизм, отвращение к свободомыслию, старые счеты с «французским духом». Вокруг Гейне кипит борьба и сегодня. В Дюссельдорфе удалось открыть научный центр — Институт Гейне, создать общество его почитателей. Песни Гейне, положенные на музыку Шубертом, Шуманом, Листом, пели певцы и певицы в строгих концертных залах. Сейчас молодые шансонье-гитаристы в прокуренных студенческих клубах кричат в микрофон его тексты — песни протеста...

Профессор Лаузр читал лекцию «Гейне в переводах на славянские языки». В странах Восточной Европы, особенно в России, Гейне всегда был больше чем поэт: символ свободомыслия, борьбы, страдания. Из России Гейне в 80-х годах пришел в Болгарию, всколыхнув множество свободолюбивых сердец. В Польше Сенкевич называл его «боевым союзником», им зачитывалась Мария Конопницкая. В Хорватии Гейне воспринимался как предшественник новейшей литературы. В годы войны его книги были среди партизан Югославии.

Его «Книга песен» вошла в песни народов. Стихотворение «Азра» стало боснийской народной песней, «Красавица рыбачка» — народной песней грузин, «Хотел бы в единое слово...» — известнейшим русским романсом. Его стихи переводили лучшие поэты славянских стран. Профессор Лаузр говорил о переводах Лермонтова, Тютчева, Блока. Из современных русских переводчиков он особо выделил Тынянова, Левика. Они, с его точки зрения, нашли к Гейне наиболее верный ключ.

Чем, однако, близок Генрих Гейне людям нашего времени? Я думаю, остротой, беспощадностью мысли, насмешкой над напыщенными, бездарными негодяями, над их затянувшимся, постылым всесилием. Сражаться с ними было опасно: расплачиваться приходилось кровью, жизнью. Навязчивый образ у Гейне — «Enfant perdu» — боец, который, не выпуская оружия из рук, все же гибнет: Nur mein Herze brach...

Говорят: гибну, но не сдаюсь!.. У Гейне логический акцент перемещен: не

сдаюсь, но гибну! Отсюда — особый трагизм его горькой иронии.

Нравственная победа почти всегда дается ему ценой физической гибели; например, в «Фортуне» он яростно наседает на самое судьбу:

Я тебя превозмогу!
Я тебя согну в дугу!
Ты вот-вот оружье сложишь...

И вдруг — тут же — горестное признание:

Но и мне уж не поможешь...

Цель достигнута, но поэт истекает кровью; над ним восходит солнце победы, но голова его никнет:

Я изранен, изможден,
Дух угаснуть осужден...

Час торжества означает час смерти. Таково состояние мира.

В этом мире все шатко: чувства, настроения, истины, объявленные непреложными. Лиризм самых проникновенных его стихов разбивается об ироническую концовку, как лодочник о скалу Лорелеи. Он и почти непереводим потому, что обычные слова содержат у него часто иной, глубоко скрытый смысл. Его ласкательные обращения не поддаются прямому переводу: Mein Kind, mein Schatz, mein Liebchen. Если перевести это как «дитя мое», «мое сокровище», «моя любимая», получится слащаво, фальшиво. Блок попробовал перевести «mein Schatz», как «моя звезда». Но и это слишком приподнято, в немецком контексте «mein Schatz» — грустнее, проще.

Никто не знает, как он, в сущности, выглядел. Фриц Раддац в своей книге «Гейне, немецкая сказка» (1977) подметил, что вне зависимости от возраста его изображали то романтическим красавцем, с вьющимися светлыми волосами, то полнеющим тоскливым иудеем, то изможденным старцем, то пышущим здоровьем юношей. И только его посмертная маска передала его подлинный облик: таким изображают лицо распятого Христа. Его звали Генрих Гейне, но в его метрике стоит имя «Гарри», а на его могильном камне начертано имя «Анри».

Гейне открыл закон относительности ценностей в расколотом, разорванном мире. Он установил и другое: великая мировая трещина проходит через сердце поэта...

5

В программу работы семинара входила поездка по стране: Брауншвейг, Гамбург, города Рейна и Рура; завершалось все посещением Франкфуртской книжной ярмарки. Мне удалось посетить еще и Мюнхен: повидать давних друзей, возложить цветы на могилу Макса.

В 1976 году, весной, я видел в последний раз с моим другом, издателем Максом, который когда-то организовал мне мучительные для него и для меня «потусторонние встречи» с уцелевшими главарями нацистской Германии. Он понимал, зачем мне это нужно: прикасаясь к вершинам немецкого духа, я обязан был знать также бездны, мрачные закоулки и тупики немецкой истории.

Макс был тяжело, безнадежно болен, ценил каждый отпущенный ему день, но считал своим долгом не только прожить этот день, просуществовать как-то, но прожить со смыслом, с пользой для других. Втайне он верил, что именно этим сможет одолеть, пересилить болезнь. Часто он повторял: «Главное, чтобы мы были живы, любили друг друга и оставались людьми». Некоторым эта истина казалась банальной, между тем в ней содержался глубокий смысл: не так-то просто «любить друг друга» и «оставаться людьми», когда кругом воют волки...

Мы ехали с ним в машине, и по всей дороге, прекрасной, солнечной, в зачарованный апрельский день, вырастали на каждом шагу предостерегающие знаки: «Lebensgefährlich!» — «Опасно для жизни!» — желтые таблички с изломанной красной стрелой.

Макс довез меня до гостиницы, обнял, мы распрощались, и я еще раз увидел его в дверях — рыжего, непривычно худого, ставшего вдруг как бы прозрачным. Подняв руку, он с чувством сказал: «Gott mit Dir!» [1]

Я думаю, что переводчик не меньше чем оригинальный автор нуждается в прототипах, в поисках жизненных ситуаций, схожих с теми, которые ему предстоит воссоздать своим пером, на своем языке. Перевод возникает на пересечении двух действительностей: переводчика и автора.

Когда я переводил «Бедного Генриха» Гартмана фон Ауэ, мне виделся Макс. Скованный болезнью, обезображенный, павший духом, бедный Генрих исцелился только тем, что осознал, что выше собственного страдания — долг перед другими. «Проказа с Генриха сползла» в тот миг, когда он заслонил собой, оборонил готовую отдать за него жизнь маленькую крестьянскую девочку. Обретение высшей, нравственной красоты и есть очищение от проказы.

Так ли уж далек двенадцатый век от двадцатого?..

...Мы приехали в Вольфенбюттель, в библиотеку герцога Августа, снаружи, да и, пожалуй, изнутри, чем-то похожую на храм. В этой библиотеке некогда работал Лессинг... На полках белели корешками старинные фолианты, инкунабулы...

И вот я держу в руках моего «Рейнеке-лиса», народную поэму XV столетия,

[1] Храни тебя бог *(нем.)*.

том в переплете из белой телячьей кожи, листаю хрупкие страницы старинного текста, вижу слипшиеся строчки, как бы врезанные в текст гравюры: дурашливый, самодовольный лев, избитый мужиками кот Гинце, потешная сцена так и не состоявшейся казни хитроумного Рейнеке.

Никогда я так не ощущал значения слова «подлинник», его сладости: подлинное, истинное.

Подлинный «Рейнеке» носил длинное, во весь титульный лист название:

Хитроумный Рейнеке-лис

Сие есть весьма преполезная, столь же забавная, сколь и поучительная книжица, в коей обиходным, однако любезным манером под личиною льва, медведя, лиса, волка и прочих зверей примечательно изображены и живыми красками обрисованы жизнь и суть придворного, а также всех прочих сословий не токмо в свете их добродетелей, но более того, в свете владеющих ими пороков.

В 1975 году в антикварной лавке я случайно наткнулся на позднее, уже середины XIX века, издание этой книги, стал читать и тут же с увлечением принялся за перевод. В древней поэме яростно клокотал неистовый народный темперамент. В недрах раешного стиха слышался гул возмущения надвигавшейся Реформации и Крестьянской войны. Балаганный немецкий стих — «книттельферз» — родила раскрепощенная народная душа.

Что, собственно, означает ритм, как не биение сердца, перешедшее в стих?

Гёте в своей поэме-пересказе загнал юркого Рейнеке-лиса в гекзаметр. Раешный, ярмарочный «книттельферз» он приберег для другого: «книттельферз» угадывается в стихе, которым написан «Фауст». «Faust-Vers» — не что иное, как материализованный в ткани почти раешного стиха ирокичный и трезвый разум народа, который торжествует над всеми коллизиями, философскими исканиями и нравственными выводами Фауста

Не случайно, видимо, «книттельферз» в наши дни избрал для своей известной пьесы «Марат — Сад» Петер Вайс. Над хаосом, над суесловием над суетой, над мучительными и кровавыми распрями, поисками «абсолютной истины», над абстракцией хохочет «книттельферз» — здравый народный смысл в балаганных лохмотьях райка.

Признаюсь, более всего я люблю переводить этот, рожденный в народной утробе, немецкий стих. Современных, пишущих «голым» верлибром поэтов я перевожу редко, они мне даются с трудом С рифмованным немецким стихом мне жаль расставаться. Помню, как почти физически ощущал силу рифмы в поэзии барокко, например, в сонетах Грифиуса, где неумолимая рифма замыкала строку: приговор, не подлежащий обжалованию. В народных балладах, в лирике вагантов, в стихах раннего Шиллера рифма привносила в хаос и сумятицу жизни гармонию, блаженное умиротворение. В «Лисе» рифма била током, от нее слова как бы отпрыгивали, перебегали в следующую строку. В спотыкающемся ритме, в набегающих друг на друга словах, увенчаниых рифмой-погремушкой, таилась музыка великого карнавала: жизни...

На этот раз, встречаясь с западногерманскими поэтами, я задавал всем без исключения один и тот же вопрос: «Почему вы избегаете рифмы?..»

Одни говорили, что немецкая рифма себя изжила, другие объясняли это внутренним диссонансом.

В Дюссельдорфе поэт и рисовальщик Рольфрафаэль Шреер, острый, думающий человек, пытался втолковать мне:

— Рифма сохранилась только как средство иронии или — в шансоне. Я не вправе рифмовать. Если я рифмую, то, значит, сознаю себя хозяином положения, а я таковым не являюсь Я даже — не хозяин собственной речи!.. На каждого из нас льется такой поток информации, что мы не в состоянии его ни осмыслить, ни подобрать для него нужные слова. Стоит кому-нибудь кашлянуть на другом конце света, как радио, телевидение тут же доносят до меня этот кашель!..

Он говорил о переизбытке информации как о серьезной человеческой драме; я добросовестно слушал его, но понять не мог...

В Эссене, после того как нас провезли через весь прокопченный, продымленный, угольный Рур, для участников семинара устроили встречу с писателями округа Оберхаузен — Эссен — Гельзенкирхен. Это были профессиональные писатели рабочего Рура: поэтесса Лизелотта Раунер, старый горняк, поэт и прозаик Йозеф Бюшер слесарь, поэт Рихард Лимперт, поэт, преподаватель физкультуры в школе Герберт Комплецки, руководитель городской библиотеки, поэт Гуго Эрнст Койфер. Нам вручили био-библиографические справочники о писателях земли Северный Рейн — Вестфалия: «Они пишут между Падеборном и Мюнстером», «Они пишут между Гохом и Бонном», «Они пишут между Мерзом и Хаммом»... Именитые и почти безвестные авторы представлены здесь как собратья по перу, равные перед судьбой и литературой: фотография, краткое жизнеописание, сведения о литературных премиях (от Нобелевской — до премии вечерней газеты), отрывок из произведения, домашний адрес, номер домашнего телефона, писатель о себе — несколько слов...

Из писателей Рура мы хорошо знаем Макса фон дер Грюна, Йозефа Рединга; между тем у Рура — давние литературные традиции, его сложная жизнь, его

борьба — в строках стихов, рассказов, очерков. Они ждут перевода...

В тот вечер мы говорили о важных вещах. Как преодолеть глупость, неподвижность мысли, умственный застой, переизбыток «холестерина» в мозгах?.. Подобно тому как от обжорства и неподвижности страдает организм человека, так неподвижность мысли, ожирение ума способны привести общество на край катастрофы.

Когда снова вернулись к литературе, я все же не удержался, задал свой вопрос: «Отчего пишут без рифмы?...»

Это вызвало оживление.

Они считают, что это идиосинкразия: в третьем рейхе слишком много было рифмованной лжи, складных лозунгов, складных изречений среди нескладной, чудовищной жизни.

Лизелотта Рауиер ответила:

— В 1945 году мы сказали: после Освенцима стыдно писать стихи...

Она перефразировала изречение Теодора Адорно: после Освенцима стыдно заниматься литературой. Я хотел было возразить ей, но она продолжала:

— Да. Стало вдруг противно. Освенцим, скелеты, тюки с женскими волосами — и вдруг мы, узнав об этом, глядя на это, должны изъясняться стихами, хореями, ямбами, анапестами, когда все внутри сломано!.. Какая может быть мелодия, когда внутри скрежет?

...В Бохуме меня пригласили выступить перед студентами-русистами, почитать свои переводы... Я часто слышал, что нынешняя западногерманская молодежь стихов не любит, а классическую поэзию и вовсе.

Я начал с того, что рассказал им о себе, о Москве, о первой встрече с немецким языком... Моя студенческая жизнь прервалась 27 сентября 1939 года: через двадцать семь дней после того, как меня, выдержавшего труднейший вступительный конкурс, приняли в Институт истории, философии и литературы; началась вторая мировая война: нас призывали в армию... Это и был мой первый настоящий университет — шесть с половиной лет, шесть курсов, из которых четыре — Великая Отечественная война. В огромной солдатской семье, собравшейся со всех концов страны, я постигал жизнь, ее смак, ее горечь. Я вбирал в себя русскую речь, которой не обучишься ни на одном факультете, постигал вес русского слова, его вкус, бесконечность его оттенков...

Вот они, мои любимые немецкие стихи по-русски. Я стал читать их: Шиллера, Гюнтера, Флеминга, Гергардта, Гейне — по-немецки и сразу, в переводе, по-русски.

Я посмотрел на аудиторию: они жадно слушали, многие стихи они узнавали впервые.

Меня просили читать еще и еще, и я приводил к ним их же немецких поэтов, с их тоской, с их страстью... Мне показалось, что — пусть на минуту — стихи этих старых немцев сблизили всех, сплотили, коснулись каких-то затаенных струн... Что-то, значит, трепещет в людях, если они в состоянии вдруг притихнуть, замереть, принизиться перед вечной поэзией. Может быть, она, выражаясь словами Пастернака, и есть как жизнь — «растворенье нас самих средь всех других, как бы им в даренье».

Прозвенел звонок, я думал, что уже закончил, но после перерыва меня попросили продолжить, и я стал было рассказывать им о переводе, о том, как слова переливаются из одного языка в другой, но вдруг заметил, что они перешептываются, передают из рук в руки небольшую зеленую книжечку. Я догадался, что это за книжечка, я ее раньше листал: словарь Вольфганга Казака «Русская литература после 1917 года».

Словарь Казака можно было бы назвать необъективным, оценки пристрастными, впрочем, кто может диктовать ему, как он должен оценивать русских авторов?.. В книжке убивало другое: тайный привкус сыска, следы какой-то особого назначения картотеки. Составитель словаря прежде всего выявлял партийность, общественную активность, оттенки политических настроений, участие в выборных органах, в писательских правлениях, съездах — такая у него была схема,— раскрывал нераскрытые самими писателями псевдонимы, выдавал интимные детали иных биографий: какое-то полицейское это было литературоведение... Особое внимание он уделял участию в войне...

Обо мне в этом справочнике было написано:

«...выступил в 1959 году как переводчик немецких баллад от Грифиуса до Бехера, в дальнейшем стал одним из виднейших сов. журналистов в области сов.-германских отношений...»

Это было неточно. «Выступил» я не в 1959 году, а значительно раньше, Грифиус баллад не писал баллад Бехера я не переводил, «виднейшим сов. журналистом» никогда не считался.

Из моих произведений Казак сделал упор на «Бездне», «Потусторонних встречах» и на переводе пьесы Петера Вайса «Судебное разбирательство» — о процессе над палачами Освенцима:

«...историческое прошлое Гинзб. рассматривает крайне односторонне, видя у немцев только преступления... Публицистика Гинзб. важна для понимания искаженной картины Германии в СССР».

Я сказал:

— Я вижу, что вы читаете. Наверно, у вас есть вопросы?...

Все притихли.

Я сказал им, что думаю об этой книжке. Я обижался не за себя. Я стоял пе-

---

ЛЕВ ГИНЗБУРГ
ГЁТТИНГЕНСКИЙ СЕМИНАР

ред этими студентами со своей жизнью, со своими книгами. Горько было другое: в чистое дело литературных связей, обмена вливалась отрава. Людей ожесточали, подстрекали к настороженности, к распрям... Одних писателей противопоставляли другим, кого неуклюже «возвышали», кого преднамеренно компрометировали.. Маленькая зеленая книжечка с портретом Анны Андреевны Ахматовой на суперобложке должна была стать инструментом вражды...

Все же меня спросили:

— Почему в советской литературе, в советском искусстве такое место занимает война? Судя по этому справочнику, о ней пишут чуть ли не все, эта тема поощряется сверху...

Я ответил:

— Вы — будущие русисты. Может быть, некоторые из вас уже бывали в в Советском Союзе, а те, кто еще не были, непременно будут. На перекрестках дорог, на городских площадях, скверах, в парках, повсюду, вы увидите солдатские памятники. Это — не украшения и не демонстрация творчества зодчих. Под каждым из таких памятников лежат люди. Сотни, иногда — тысячи. Каждый памятник оплакан слезами миллионов... Война обожгла наше сердце, нашу память... Вы должны это знать...

Поднялся невероятный шум; они начали спорить между собой:

— Ответственность перед миллионами людей лежит на каждом из немцев!

— Да, да! На нас, на детях, на внуках тех, кто вторгся в Россию, лежит эта ответственность!..

— Мы хотим знать, что было на самом деле, мы требуем, чтобы нам сказали всю правду о наших отцах!..

И только одна девушка упорно повторяла:

— Я не считаю себя ответственной. Я тут ни при чем... Я тогда не жила...

На нее все накинулись, но она стояла на своем.

Я смотрел на них и думал: в какой мере ответственны они за своих предков? Ответственны ли? Видимо, да, все люди, видимо, ответственны за своих предков... Но нельзя забывать и о том, что первыми жертвами Гитлера были все-таки сами немцы...

Я говорил с ними откровенно, серьезно. Надо учиться думать, сопоставлять, ничего не принимать на веру... Мы не должны жить только вчерашним днем. Искать пути к тому, как нам существовать на этой земле сообща, в понимании друг друга, в согласии... К этой мысли меня самого все возвращал долгий гёттингенский семинар...

Потом уже, в комнату для преподавателей, ко мне снова ввалились студенты и один — красивый, большерукий, высокий, с копной густых волос,— протягивая ко мне свои сложенные «лодочкой» большие ладони, как если бы в них покоилась истина, сказал:

— Когда мы слушали вас, мы решили заглянуть в справочник Казака. Мы были потрясены. То, что там написано, это — продолжение войны, разжигание вражды, злобы. Вы не должны удивляться! Реакционная пропаганда — самооборона реакции... Но мы ей не верим.

...Через три месяца меня вновь пригласили в Бохум. Было начало января 1978 года, в окнах еще горели рождественские елки. После затянувшихся праздников люди медленно разминались, возвращались к своим делам: из гостей, из загородных путешествий.

Страсти, которыми жила страна в октябре, как будто бы улеглись. Притаились разыскиваемые полицией террористы, с экранов сошел фильм о Гитлере, еще не прочистили горло завзятые крикуны.

Все было тихо. И в этой тишине, в тягучем предрассветном сумраке, над крышами, над переплетениями железных и шоссейных дорог, над людскими жизнями, вставал, выплывал из темноты вопрос — ожидание и надежда — а что же дальше?..

Октябрь 1977 г.— февраль 1978 г.

◆

Публицистика

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

ИНТЕРВЬЮ О КОНТАКТАХ

В беседе с корреспондентом «Иностранной литературы» Е. СТОЯНОВСКОЙ писатель рассказывает о недавней поездке в США

В амплуа лектора

Существует в США Канзасский университет, вернее, университет в городе Лоренсе штата Канзас — в 60 милях примерно от Канзас-Сити, самого крупного города штата. Отделение славистики там возглавляет сейчас профессор Джеральд Майклсон, по его инициативе уже третий, нет, четвертый, наверно, год университет регулярно приглашает советских писателей читать лекции о советской литературе: побывал там с этой целью Евгений Винокуров — читал лекции о советской поэзии; потом — украинский поэт Виталий Коротич — его очерки в «Знамени» напечатаны в прошлом году, целая большая книжка; теперь вот из прозаиков меня пригласили на три недели; планы эти у них на длительный срок — кажется, собираются дважды в год посылать приглашения нашим писателям...

Таким образом, в течение трех недель я должен был прочитать шесть лекций — по две в неделю — о современной советской прозе...

Признаюсь, поначалу путешествие пугало меня — «неизведанностью», что ли, континента этого для меня, тем, может быть, что ехал я один,— в каком-то смысле это было интересно, конечно, хотя язык я знаю слабовато, могу объясниться, что называется, «в бытовой сфере»: куда пойти, где остановиться, что заказать — почти все могу сказать сам, но понимаю речь с трудом, иногда приходилось даже просить американцев писать отдельные фразы... Правда, через месяц, когда я остался еще на три недели — уже в качестве гостя госдепартамента,— мне дали переводчика, аспиранта Канзасского университета...

Сложным оказалось начало еще и потому, что в сущности две поездки объединились в моем маршруте: сначала предстояло пять-шесть напряженных дней провести в Копенгагене — по приглашению издательства «Фремад», оттуда я должен был прямо лететь до Нью-Йорка и сразу же дальше — до штата Канзас... Но в итоге все сложилось довольно благополучно...

В Копенгагене меня встретил представитель издательства — некий Эрик Ланкьер,— я познакомился с ним год назад на Франкфуртской книжной ярмарке, мы ездили туда вместе с Валентином Распутиным... Узнав, что я лечу в США, он рассказал, что двадцать пять лет — всю свою молодость — прожил в Америке, работал там тоже в издательской системе, а лет десять назад возвратился в Данию. «А почему я вернулся,— говорит,— вы там сами увидите...» Не стал ничего больше объяснять, расшифровывать, просто сказал: «Почему я уехал, вы сами увидите»...

■

Пробежаться по «рабочему маршруту»? Ну, сначала об амплуа, так сказать, педагогическом... Хоть я и не профессор и не литературовед, все же какой-то опыт общения со студентами имею, несколько лет веду семинары в Литературном институте, слежу за тем, что печатается, многих интересных писателей хорошо знаю лично — знаю, с чего они начинали, какие-то есть в памяти впечатления об их студенческих годах, со многими учился в Литинституте. Собственно, весь этот материал был у меня в голове, готовился я непосредственно перед днем выступления — каждая лекция была рассчитана на полтора часа. Аудитория — примерно тридцать-сорок человек —

студенты, аспиранты, преподаватели, приходили и просто люди, интересовавшиеся русской, советской литературой, те, кто понимал по-русски. Правда, одно большое выступление, организованное университетским начальством, состоялось с переводом на английский в большом студенческом клубе «Для всех желающих...», собралось тогда много — двести или триста человек, это была общая беседа о современной советской прозе...

Шесть лекций на отделении славистики я разделил по темам: первая — о литературе 60-х годов, практически это был разговор о литературе после XX съезда; затем — «писатели-деревенщики»; третья — «городское направление»; четвертая — писатели «военной темы». Потом — революционная и историческая проблематика: авторы серии «Пламенные революционеры» и больших исторических романов... Ну, и рассказывал, как сам писал «Нетерпение», какие сложности возникают у писателей исторической темы, какие подчас подстерегают ловушки... И, наконец, последняя лекция, это был разговор о собственных вещах — студенты читали их по-русски, готовясь к моему приезду,— «Обмен», «Долгое прощание», «Другую жизнь», «Дом на набережной»... Все это вызвало споры, столкновение мнений, в общем по характеру оказалось довольно похоже на наши встречи с читателями...

Должен сказать, что лекции, судя по всему, привлекали студентов, ведь там нет обязательного посещения, часто бывает, на какие-то лекции они просто не ходят, но вот «русисты» собирались исправно, даже еще прибавлялась какая-то публика, очевидно, предмет интересовал их...

Кстати, как раз к этому времени в издательстве «Ардис» вышла на английском языке под заголовком «Долгое прощание» трилогия («Обмен», «Предварительные итоги» и «Долгое прощание»). Экземпляры продавались во всех университетах, куда я приезжал (между прочим, их покупали, несмотря на довольно высокие цены — издание в твердой обложке стоило, к примеру, 12 долларов, в мягкой — 5...).

Потом последовало приглашение в Калифорнийский университет, точнее, в пять университетов Калифорнии. Начал с университета Ирвайн — южнее Лос-Анджелеса, самолетом это почти в трех часах лета от Канзас-Сити... Две недели я пробыл в Калифорнии, выступил в университетах этого штата: самом крупном — в Лос-Анджелесе, в университетах Санта-Крус, Дэвис и, наконец, Беркли, под Сан-Франциско — в каждом провел по одной-две встречи-беседы. Как они строились? По-разному: в одном случае — как обсуждение английского издания «Долгого прощания», в другом — читал, как, например, в университете Дэвис, отрывки из своей книги воспоминаний, заметок о труде писателя — для видеозаписи, такое же чтение состоялось и в Беркли, где собрались крупные слависты этого университета...

В Сан-Франциско приехал сопровождавший меня в дальнейшем переводчик Лен Стэнтон, и мы получили следующее приглашение — в университеты Миннеаполиса, Оберлин-колледж штата Огайо, в Мичиган, где я помимо университета хотел еще посетить издателя, выпустившего мою книгу.

Интересная встреча состоялась в Миннеаполисе, это очень крупный город на севере, на границе с Канадой, после юга — Калифорнии с 20 градусами тепла — мы попали в снег, метель, мороз — 10 градусов мороза — громадная страна Америка!.. Три дня провел в Энн-Арбор — большом университетском городе в штате Мичиган, после этого — в Оберлин-колледж в штате Огайо, где есть тоже группы славистов, в так называемом «Русском доме» там живут студенты, изучающие русский язык...

К этому времени я уже настолько устал, что ехать в университет Виргинии отказался и прямо из Огайо полетел в Нью-Йорк и потом в Вашингтон: в университете Джорджа Вашингтона состоялась содержательная встреча, там тоже собрались люди, которым была интересна беседа о советской литературе, показывали свои работы, статьи...

В Нью-Йорке пробыл семь дней, в университет там так и не попал, но встречался с профессорами этого университета, в том числе с Верой Данхем, которая принимала участие в нашей московской встрече [1]...

Знают ли наших писателей...

Каков нынешний уровень представлений американцев о современной советской литературе? Ну, что касается среды специалистов-славистов, то интерес к изучению русской литературы есть, и в общем-то он устойчив, постоянен: выходит масса диссертаций — особенно много о Чехове, о Достоевском, конечно, и так далее... К советской же литературе интерес пока невелик, очень невелик... Главный объект внимания — книги, получившие одиозную, скандальную политическую известность, авторов, оказавшихся за пределами СССР, или тех, что печатаются на Западе. А теми, кого называют «официальными» советскими писателями, до сих пор занимаются мало, практически их почти не издают... Не раз доводилось мне спрашивать тамошних славистов: «Ну, вот вы изучаете во многих университетах русскую литературу, современную литературу, существуют ли у вас, например, диссертации о Твардовском?» — «Нет». Зато о каком-нибудь десятистепенном поэтическом персонаже вроде Елены Гуро — всего две маленькие книжечки она выпустила когда-то в 10-е годы,— одной из «малых символисток», так сказать, о ней, оказывается, есть работы. Называешь одно за другим имена крупных советских писателей — о них нет диссертаций в Америке, а о Константине Вагинове, скажем, одном из полузабытых авторов 20-х годов, среднем,

[1] См. об этой встрече статью И. Зориной в «Иностранной литературе» (1978, № 2) *(прим. ред.)*.

в общем, литераторе, забавном стилисте, но фигуре отнюдь не значительной, вот о нем — пожалуйста, о нем — да, его даже в переводе издают на английский, переиздания выходят...

Или вот, скажем, мой переводчик Лен Стэнтон, аспирант-славист Канзасского университета — знаете, как называется его научная тема? «Образ монаха в русской литературе XIX века». И вот он советуется со мной, бедняга: «Юрий Валентинович, где материалы отыскать для этой работы, как вы думаете?» «Ну, там, у Мельникова-Печерского возьмите, Лескова «Соборяне»,— что-то в этом роде называю ему... Он сам даже толком не знает, как подступаться-то к работе, но намечена, так сказать, «проходимая тема»... И в общем, конечно, это характерно для Америки, да и не только для Америки — для славистов на Западе... Лоренс — до сих пор, прямо скажем, редкий случай, редкий случай, когда американский университет проявляет довольно серьезную заинтересованность в советской литературе,— вообще-то пока нет такого интереса к нашей литературе... А предубеждения? Предубеждений немало, кстати сказать, они тоже достаточно типичны. И связаны — повторяю, об это спотыкаешься сразу же — не столько с литературой, сколько с политикой — той самой, которая «идеям Хельсинки» отнюдь не способствует, наоборот, противостоит...

Сталкивался ли я с такими предубеждениями лично? Да, и не раз — отвечая на вопросы после своих лекций и бесед, в частности, и в связи с моими собственными книгами, особенно не в Канзасе, а в Калифорнии... Справедливости ради замечу, что было их не слишком много, чувствовалось, что в большинстве случаев просто не хотелось людям, что называется, неприятные вопросы мне задавать, разного рода провокационные вопросы... Так, например, о «правах человека» меня ни разу не спросили ни в Канзасе, ни в Калифорнии, об «эмиграции евреев» тоже не задавали вопросов... Раза два о Солженицыне спрашивали, ну и о диссидентах так невзываемых... Я отвечал обычно, что русских писателей, оказавшихся вне России, могу только пожалеть, как писатели они, я считаю, погибнут... ведь это, можно сказать, все равно, что аккумулятор у невключаемого мотора — нет никакой подзарядки; когда писатель оказывается вне своего народа, вне языка и вне среды, практически вне читателя, все его запасы, запасы его «тока», что называется, быстро иссякают, а «подзарядки»-то нету... Ведь, как это ни грустно, даже очень крупные писатели старой эмиграции практически хирели, не смогли по-настоящему работать... Ну вот, Бунин... Не могу сказать, что он стал хуже писать на Западе, нет, с этим не согласен, у него вышел там ряд прекрасных рассказов, но ведь за тридцать три года, которые он прожил там, до обидного мало написано... А иные просто не смогли ничего написать...

По поводу моих сочинений? В день приезда в «Нью-Йорк таймс» появилась статья — упор там был сделан на «Доме на набережной», с заглавием весьма характерным: «Не диссидент, но критик общества»... Ну и как следствие, естественно, в дальнейшем приходилось сталкиваться с соответствующими вопросами во время лекций и встреч: «За что вас критикуют в советской печати?», «Почему вас там ругают?» — и так далее в таком же духе...

Как отвечал я на такого рода вопросы: говорил, что наша литература вовсе не занимается «славословием», что в нашем обществе есть и недостатки, с которыми мы боремся, что литература призвана об этом писать, более всего о недостатках в душах людей, так сказать, в нравственной сфере — это главная материя искусства,— поэтому я считаю существенной свою основную писательскую тему... Правда, не все критики так ее толкуют, приходится иной раз выдерживать баталии с теми критиками, кто воспринимает ее с раздражением, и к этим баталиям я отношусь вполне спокойно: вначале нервничал, каждый раз стремился непременно «отбрыкаться», а сейчас полагаю, что писатель должен делать свое дело, что помимо толковой, конструктивной, к которой стоит прислушаться, бывает и такая критика, на которую не стоит расходовать душевные силы,— примерно в этом духе я отвечал на такого рода вопросы...

Более подробно о том, чем заняты сегодня отделения славистики американских университетов, намечаются ли новые веяния в их исследованиях и деятельности?

Прежде всего что такое Лоренс... Об университетских американских городках-кампусах уже много говорено и писано, поэтому подробно я не буду рассказывать... Конечно, когда впервые попадаешь в такой городок, многое там удивляет — вся эта масса студентов — «государство в государстве»... Лоренс — маленький городок, основан он около ста лет назад, здесь учится 27 тысяч студентов — потом я побывал в университетах, где обучается по 40 и 45 тысяч, в Миннеаполисе, например, или в Мичигане, в гигантских университетских центрах... Но не принадлежа к самым большим университетам Америки, все же в число, быть может, сорока крупнейших учебных заведений страны он входит...

Ну и вот, в этом огромном университете есть небольшая группка людей, профессионально занимающихся русской литературой и языком, объединены они «славянской кафедрой», там как-то вместе — кафедра славянской и германской филологии... Особенно звонких имен славистов, которые были бы знамениты на всю Америку, здесь нет, но все же несколько известных ученых работают — специалисты по Достоевскому, Лескову, Чехову...

Джерри Майклсон — совсем молодой человек; собственно говоря, он всего несколько лет назад избран руководите-

лем русской кафедры и вообще только начинает деятельность литературоведа, прежний руководитель кафедры — Джозеф Конрад — специализируется на творчестве Чехова, много писал о нем... Есть еще и несколько молодых людей, аспирантов, некоторые из них сейчас начинают обращаться к изучению советской литературы — так, например, один из аспирантов — бывший военный, офицер, двенадцать лет в американской морской пехоте прослужил, а потом армия, как он говорит, ему надовла, увлекся русской литературой; сейчас аспирант пишет диссертацию о советских писателях «военной темы».

Что в первую очередь привлекло его в советской литературе? Я его спрашивал об этом, говорит: человечность советских военных писателей; он бывал у нас в стране — туристом, руководителем группы студентов, изучающих русский язык, собирается и в этом году приехать... Джерри Майклсон пишет сейчас, между прочим, работу о поэзии Винокурова... После всех моих лекций он мне рассказал о своей идее подготовить новый курс «Москва и Ленинград-Петербург в произведениях русской литературы» — не только классику включить в этот курс: Гоголя, Достоевского, Пушкина, но и советских авторов 30-х годов и нынешних взять... Такой замысел возник, а сейчас он, кажется, уже осуществлен... В общем, программа преподавания советской литературы в маленьком Лоренсе вроде бы расширяется...

Реалии славистского обихода: есть у них в помещении огромной студенческой столовой — целый этаж она занимает четырех- или пятиэтажного здания, там и под землей этажи какие-то: продуктовые магазины, универмаг для студентов, залы всякие, клуб, кино,— так вот, в столовой есть так называемый «Рашн тейбл» — «русский стол»,— во время ленча, обеда, ужина здесь собираются только те, кто говорит по-русски, есть и «украинский стол» — направления мыслей в среде этих студентов, к сожалению, далеко не все нам близки, но это уже вопрос отдельный, хотя и весьма существенный...

Элен Вайл из Калифорнии — чрезвычайно деятельна, энергична, как и Майклсон. Она тоже проявляет желание расширять программу «русской темы». Университет Ирвайн молодой, он существует около десяти лет всего. И кафедра славистики молодая. На ее базе Элен Вайл — директор факультета — «русскую школу» организовала, каждое лето тут проводятся занятия с теми, кто желает изучать русский язык, около месяца ведутся эти занятия... Сейчас и тут планируют изучать советскую литературу, включают новые имена писателей в обязательный курс... А вообще, повторяю, в калифорнийских университетах интерес к нашей литературе пока весьма незначителен; знают буквально единичные имена — Айтматова, Симонова, Аксенова — он ведь в этих университетах сам бывал, кстати, мне показывали людей, о которых он написал в своей книге, познакомили, так сказать, с героями его очерка...

Из путевых впечатлений

Как складывался в моем представлении образ Америки... Ну, ближе всего я познакомился со штатом Канзас... Это так называемый Мидл Уэст — Средний Запад, самая «сердцевина» Америки, края прерий, пшеницы — кстати, там и русская пшеница есть, которую завезли в прошлом веке еще немецкие переселенцы-менониты из России, она там очень хорошо прижилась, мне все об этом рассказывали... В общем, глубокая провинция. Когда я оказался потом в Калифорнии — в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско — и когда там узневали, что, приехав в Америку, я три недели прожил неподалеку от Канзас-Сити, надо мной потешались: «Как вы это выдержали, ведь это все равно что, впервые попав в Советский Союз, сразу на три недели засесть в Чебоксарах, допустим, не повидав ни Москвы, ни Ленинграда, ни Киева...» Потому, видимо, и реакция моих слушателей была здесь спокойней, и не было в этой «глубинке» политически «воспаленных» реплик, что студенческая аудитория здесь более проста; отчасти это связано и с материальной стороной дела — небогатый университет в Лоренсе не требует большой платы за обучение. Лен Стэнтон и его жена Джинни в одном из восточных штатов платили за обучение четыре или пять тысяч долларов: в некоторых университетах до семи тысяч доходит такса, а в Лоренсе — две тысячи семьсот, кажется, поэтому Стэнтоны и перебрались сюда...

Так что три первых недели я прожил в Америке жизнью, можно сказать, «обыкновенного американского профессора»: ездил по субботам, по воскресеньям в Канзас-Сити — большой город, в эти дни, правда, производивший на меня удручающее впечатление, вымерший он был совершенно, огромные здания и пустые улицы... Вообще вот эта ноябрьская дорога из Лоренса в Канзас-Сити, да и сам Канзас-Сити удручали еще и потому, что американцы двигаются только на автомобилях, совсем не видно пешеходов на улицах — все это довольно мрачно; первое впечатление от города — какого-то общего городского «неуюта» — оттого, пожалуй, что американцы почти все время проводят в автомобилях... Они все делают в автомобилях — едят, пьют, любят — все, что хотите, даже деньги получают, не выходя из автомобиля: однажды такую сценку мне довелось наблюдать вместе с моими знакомыми в Лоренсе — банк, к какому-то желобку в наружной стене здания подъезжает машина, откручивается стекло, какой-то купончик укладывается в желобок, из окна в ответ машет девица: «Привет, привет! Хай, хай!» — и опускает в целлофановом пакетике деньги, которые сидящий за рулем получает, буквально не вылезая из автомобиля... Наблюдение из жизни маленького города вроде Лоренса: американцы либо ездят в машинах, либо бегают трусцой, пе-

шеходов нет... Унификация, стандартизация жизни, зрелищ, развлечений — ее отчетливо чувствуешь во многом...

Общий уровень жизни? В Западной Германии, где я был несколько раз, считают, что у них этот уровень выше, чем в Америке. Американцы с этим, кажется, не согласны... Точнее было бы, видимо, сказать, что в ФРГ этот уровень ровнее. В Америке представители среднего класса действительно более обеспечены, чем «средние немцы» из ФРГ или «средние французы»... Этот «мидл-класс» в Америке — большая, очень большая прослойка... Но там есть и очень большая бедность — негритянские, пуэрториканские кварталы, люди без работы, люди, которых безработица толкает на преступления; настоящими резервуарами преступности служат кварталы-гетто пуэрториканцев, мексиканцев, негров... Так что контрасты, разрыв между слоями населения в Америке очень заметен, резок...

Не раз за время своего пребывания там я возвращался к мысли о том, что это страна очень большого беспокойства, иногда мучительного беспокойства... Во-первых, это беспокойство какой-то гонки, жизнь, которая представляет собой нескончаемую погоню, иногда за призраками... А потом, то, о чем они пишут,— я с этим сам столкнулся, в общем-то, со страхом людей... Этот страх действительно существует, иногда не очень-то обнаруживая себя, но он есть, особенно в больших городах — в Вашингтоне, Нью-Йорке, преступность очень распространена, ее все больше. Все время об этом читаешь, все время где-то слышишь об этом, вечерами не рекомендуют выходить на улицу... Мне кажется, что в этом смысле Америка находится в состоянии тяжелого и долгого кризиса — не могут они эту проблему решить, слишком глубоки, видимо, ее социальные, исторические корни... И запретить продажу оружия нельзя, многие возражают: вы лишите нас возможности защищаться. Говорят: это право американца, дарованное ему американской конституцией... Получается заколдованный круг...

Кое-что о досуге и спорте

Американский характер? Бросается в глаза непосредственность, даже, можно сказать, детскость, инфантильность «среднего американца»... Вспоминаю в этой связи, например, характерные передачи по телевидению... Отгадывают какие-то неизвестные предметы или части предметов... На сцене сидят несколько человек, часто среди них — популярные эстрадные артисты... Показывают нечто непонятное — какой-то винтик, шпунтик или, допустим, какую-то ложечку с шариком на конце ручки,— нужно угадать, что это такое. Один из артистов говорит что-нибудь вроде: «Я думаю, это ложка для разливания жидких специй на кухне — горчицы или особого соуса...» Дама — его соседка — возражает: «Нет, это — приспособление для растирания кремов, применяется во французской парфюмерии»... Еще одна дама — негритянка — не согласна: «Все, что было сказано до сих пор,— чепуха, это особая ритуальная ложка, употребляется одним из африканских племен в Кении во время такого-то обряда»... Бородатый старик возмущается: «Да нет, это совсем не для того, это — особое приспособление для размешивания типографской краски или клея...» Иногда кто-то один угадывает в конце концов, бывает, никто не угадывает, но все резвятся при этом почти как малые дети...

Ну и, конечно, типично американские игры и представления, по телевидению их особенно часто показывают — всякие «отгадки за деньги», выигрыши большие, иногда до сотен долларов... К примеру, отгадывают, сколько стоят новые товары, американцы очень любят в это играть — сколько что стоит... Сидят за столом какие-то люди, иногда и артисты, приносят им, предположим, новый телевизор или магнитофон... И следует угадать, сколько он стоит,— кто ближе всех к истинной сумме окажется, тот получает бо́льшую премию. Невероятные страсти разыгрываются, ну, а платит, разумеется, фирма...

Вообще все эти азартные игры «на деньги» американцы очень любят — всякого рода шарады по телевизору, игры в слова. Самые разные участники испытывают свою удачу — домохозяйки, студенты, служащие, солдаты, команда на команду на глазах у зрителей играют в слова. И в то же время не только слова, но и деньги тут главное... Выигравший — порой, повторяю, это может быть сто, двести, триста долларов, случается, даже тысяча долларов,— так вот, выигравший дико радуется, на глазах у телезрителей он прыгает, скачет, обнимает всех, целует — сумму выигрыша огромными цифрами показывают на экране,— ну, и с людьми творится что-то невероятное, вы видите, как они... у них слезы на глазах... все это очень непосредственно, искренне и в то же время сугубо по-американски, понимаете?

В каком-то смысле об американцах можно сказать, что это люди игры... Недаром, кстати, целый город Лас-Вегас вырос в пустыне Невады — в других штатах играть в азартные игры было запрещено, предприимчивые люди и построили город в песках, буквально в пустыне в штате Невада, куда со всей Америки стали стекаться любители азартной игры, и очень скоро — он был построен в 20-х годах — этот город превратился в своего рода «столицу» мира азарта, мира порока, всякие темные дельцы сюда съезжаются, проститутки, сутенеры, маклеры, торговцы наркотиками; с этим городом я познакомился, когда был в Калифорнии — видел игорные дома, громадные казино со всякого рода автоматами, рулеткой, видел людей опустившихся, пропащих, утративших власть над собой, женщин с безумным блеском в глазах, каждый из клубов, можно сказать, кишмя

кишит людьми, погибшими для осмысленной жизни...

Помню один павильончик с надписью: «Мы отгадываем... Мы можем угадать, кто вы, ваш возраст, вес, национальность, профессию... А если не угадаем,— следует далее разъяснение,— ваше право — выбрать для себя любой предмет с нашей витрины...» Друзья предложили мне «попытать счастье», я заплатил положенных два доллара и предъявил свою руку молоденькой девушке. «отгадчице». Разглядывала она мою ладонь долго, потом произнесла: «Вы учитель»... Отвечаю: нет, не учитель. Опять долго в меня вглядывалась, снова рассматривала руку, наконец, призналась: «Нет, ничего не могу сказать, ничего не могу угадать». Ни возраста не назвала, ни веса, ни национальности... Потом задала еще один вопрос: «Какого цвета ваш автомобиль?» Ответ «У меня нет автомобиля» буквально сокрушил ее, тут уж совсем ничего нельзя было понять: «нет автомобиля»! «Возьмите, пожалуйста, что вам понравится на нашей витрине»... Хотел взять какую-то игрушку, которая ближе лежала, но спутник-американец деловито посоветовал: «Нет, нет, эта будет меньше двух долларов стоить, поищите другую — подороже»...

Ну и чтобы уж покончить с этими «зарисовками», расскажу еще два-три «спортивных эпизода» — спортом, как вы знаете, я интересуюсь особо,— потом от основной темы мы отвлекаться не будем...

Прежде всего, познакомился я в Канзасе с американским футболом... Внимательно смотрел спортивные передачи по телевидению — в частности «рестлинг», американскую борьбу,— оказалось, кстати, это не то, что я думал... Ездил в Канзас-Сити на родео... Но, во-первых, о футболе... У нас несколько преувеличено представление о том, что это нечто чрезвычайно «брутальное», грубое, жестокое. Не совсем так, ничего особенно зверского в этой игре нет, просто она основана на силе, на беге, на прямых стычках, прямых столкновениях спортсменов.. Там меньше комбинаций, чем в европейском футболе, как зрелище это мне нравится гораздо меньше, но это еще связано с тем, что я далек от обычного для спортсменов, для любителей спорта полного знания предмета, турнирной борьбы — я этого всего не знаю, меня просто интересовал спорт «в чистом виде»: что такое американский футбол?.. Так вот, во-первых, это зрелище, а потом уж игра... Это праздник в городе! На одно из главных состязаний сезона — встречу команд университетов Лоренса и Канзас-Сити — мне довелось попасть... По общему счету американских студенческих лиг обе команды довольно слабы, но когда они играют друг с другом, это обычно встречи зверские по напряжению, по накалу, по страсти... Так что в воскресный день, о котором я хочу рассказать, весь маленький городок был охвачен «футбольной лихорадкой», чуть ли не все 40 тысяч жителей перекочевали на стадион... Публика была празднично разодетая, болельщики одной команды в красных и белых тонах — цвета флага клуба этой команды: какие-то, уже не очень молодые, дамы — в красных пиджаках и белых брюках, мужчины — в красных галстуках и белых шляпах... Из Канзас-Сити прибыло огромное количество автомашин и автобусов — в основном все на автомобилях,— болельщики команды университета в Канзас-Сити обязательно имели на себе что-нибудь светло-фиолетовое, в тон цвета флага второго клуба. Каждая команда привозит свой оркестр и свою команду девочек, которые парадно вышагивают в своих мини-юбочках и танцуют, отмечая каждый забитый гол своей команды,— все очень ярко и нарядно. Но сама игра, повторяю, основана целиком на каких-то бросках, прорывах, образующих очередную «кучу малу»,— вроде как в регби, то и дело игроки со страшной силой сталкиваются, потом кто-то вырывается из этой «кучи», выскакивает, чтобы попытаться «приземлить» свой мяч на территории противника: очень все это похоже на нашу лапту или на регби, только гораздо более жестко, мощно. Очень много негров играет, вообще, пожалуй, негры — лучшие игроки в американском футболе. Видел я там, конечно, и большой бокс, и профессиональный баскетбол... Очень высокого класса баскетбол.

Стоит еще рассказать о родео — состязании фермеров и ковбоев. Происходят эти состязания в южных штатах — в частности, в Канзас-Сити происходит так называемое «королевское родео», когда съезжаются спортсмены и ковбои со всей Америки, тоже большой праздник...

Это было тоже, конечно, воскресенье — 13 ноября... Мы с моими друзьями из университета отправились в Канзас-Сити — за 60 миль, значит,— специально, чтобы посмотреть родео... Устраивают его на большом крытом стадионе, вместимость, наверно, 50—60 тысяч зрителей... Сначала прошли вниз, в особых больших помещениях там размещают животных, ковбои и дети там обихаживают их, готовят к выступлениям. Девочки расчесывали их, поглаживали.. Там же, внизу, происходило соревнование свиноводов: гоняли свиней хворостиной в загончике какие-то мальчики и девочки — дети фермеров. А специалист — знаток свиней, ковбойского вида мужчина — внимательно наблюдал за прогонкой свиней по кругу и ставил какие-то отметки в блокноте: определял лучшего кабана или свинью... Там же готовили к выступлению страшного вида огромных быков, запах такой — навоза, сена... И масса деревенских лиц — загорелых, обветренных,— и дети такие же обветренные...

Потом мы поднялись наверх, заняли свои места на трибунах. Наверно, часа два с половиной длится родео, с перерывом, с музыкальными паузами... В общем, это интересное состязание наездников-ковбоев. Сначала девочки соревновались, каждый штат представляла одна его победительница... Они должны были проскакать на лошади полстадиона, развернуться вокруг столба в центре и скакать обратно. Засека-

лось время. Девочки все такого ковбойского вида — очень стройненькие, тоненькие. А стадион в этот день был заполнен молодыми фермерами со всей Америки — в это время в Канзас-Сити происходил их съезд... В программу входили и обычные номера — ковбои выскакивали на необъезженных лошадях, очень злобных, горячих; кто дольше на такой лошади продержится — интересное соревнование, причем участвовали в нем не только ковбои, но и студенты, видимо, привычные к такого рода спорту, тоже откуда-нибудь из южных штатов... Потом то же самое на быках — бык хочет сбросить, прыгает, вскидывается, а ковбой подскакивает на нем, как на батуте...

И еще такое состязание: из загончика выпускали быка, и он сломя голову мчался, почему-то в противоположном направлении. Из соседнего загончика выпускали ковбоя на лошади. И вот мчится бык, рядом с ним на лошади скачет ковбой, примерно в центре стадиона ковбой спрыгивает с лошади, прыгает на шею быку, хватает его за рога и сваливает на бок, в этом задача ковбоя — свалить быка на землю; бык почти всегда оказывался поверженным, хоть сопротивлялся отчаянно. Ковбой вставал, бык тоже вставал, отряхивался и уходил с поля... Один бык на моих глазах проявил недюжинные интеллектуальные способности, пожалуй, он мне больше всего понравился... В общем, прыгали на быка все, только один ковбой промахнулся, и почти всем удавалось повалить быков на землю, после чего, понурив голову, быки отправлялись в противоположный загон. Ну вот, выскочил, как положено, бык, одновременно с ним выпустили ковбоя на лошади, и вдруг, пробежав пять шагов, мой «интеллектуальный» бык внезапно остановился как вкопанный. А ковбой по инерции проскочил дальше, короче говоря, вся игра сломалась... Бык постоял минуту-другую и преспокойно, с достоинством побрел в противоположный загон — перехитрил, обманул ковбоя, это было поразительно... Публика страшно радовалась, приветствовала его находчивость — это был единственный бык, на чью долю не досталось пережить унижение... Это было интересно, истинно американское зрелище, и вообще — все вокруг этого стадиона...

А выйдя со стадиона, наткнулись на павильончик с надписью: «За 50 центов вы можете посмотреть на самую большую лошадь в мире — лошадь-гигант». В самом деле, какая-то гигантская кобыла стоит, повернувшись к вам огромным задом, и косится довольно злобно. Лошадь-гигант из Канады... Повторяю, мне показалось, что у американцев, у простого народа, много непосредственности, какого-то неизжитого детства, особенно в тех местах, где я был, это сердце Америки — Мидл Уэст, — там много фермеров, рабочих... Канзас-Сити — город мясников, скотоводов, над городом как символ его скотобоен и родео стоит гигантская башня, и на ней — огромный черный бык, он возвышается над городом, как его герб, как надежда, мечта, как American dream[1].

Что касается спортивных передач по радио и телевидению — их очень много, и они, конечно, разнообразны, но все-таки это тоже типично американский спорт. Понимаете, Америка живет своим спортом — то, что интересует Европу, американцев часто не волнует. Ну вот, рестлинг, например, американская борьба, где можно как угодно хватать противника, бить головой об пол — эти передачи еженедельно показывают, я смотрел их. Абсолютно ясно, что это не настоящий спорт, а инсценировка, театр с участием отличных спортсменов, представление для детей... Все спортсмены размалеваны: один — какой-то знаменитый турок, другой — «казак Иван» с бородой лопатой, третий — свирепый викинг, все это напоминает нашу спортивную борьбу дореволюционного времени и, конечно, далеко от спорта. Какие-то огромные люди — туши с чудовищными животами, огромными бицепсами, рычат друг на друга... Это — шоу, понимаете, публика смотрит это как дурацкую пьесу, как балаган, дети в восторге... К спорту не имеет отношения, совершенно не интересно...

■

«Итоговые» впечатления об Америке? Я не собирался изучать эту страну во всех ее ипостасях, во всех сферах: даже с писателями не смог встретиться, цель моя была иной... А впечатления «итоговые», как вы говорите — в двух словах не обобщишь. Страна слишком велика, слишком пестра, динамична, многообразна... Короче говоря, хоть я и пробыл здесь два месяца, писать об этом не стану. Слишком много впечатлений, слишком много и написано уже об Америке. Для того чтобы что-то незамеченное заметить и написать по-своему, нужно слишком... слишком много на это нужно истратить сил и работы, что не входит сейчас в мои замыслы. А писать просто какой-то очерк путевой — не интересно...

Ну вот: почему же Эрик Лангкьер возвратился из Америки в Копенгаген? Что ему надоело в Штатах? Что напугало? Что наскучило?.. Кое о чем я, наверное, смог догадаться...

Возвращаясь к основной теме

О перспективах издания советской литературы в США: на мой взгляд, намечаются некоторые сдвиги в этом направлении, со скрипом, но все же дело стронулось с мертвой точки... В ближайшее время сборник Шукшина выходит в издательстве «Ардис», книгу Искандера они напечатали...

---

[1] Американская мечта *(англ.)*.

«Харпер энд Роу» заключили договора на издание «Белого Бима» Троепольского и «Путешествия дилетантов» Окуджавы...

Между прочим, на американской земле я встретился с делегацией советских писателей — Федор Абрамов, Елизар Мальцев и Георгий Злобин входили в ее состав. Очень это была приятная для меня встреча — с Мальцевым мы в Сан-Франциско столкнулись, а с Федором Абрамовым оказались в одной гостинице в Нью-Йорке... Славистам Абрамов известен, несколько лет назад перевели его очерк «Вокруг да около», правда, последние вещи не переведены, но, думаю, две повести — «Пелагея» и «Алька» — вскоре могут появиться в антологии современной советской прозы, задуманной Джерри Майклсоном. Состав антологии сейчас уже подготовлен — туда должна войти еще небольшая повесть Распутина «Деньги для Марии» (две его книги издаст «Макмиллан»)...

И еще рассказы Шукшина включаются, рассказы или повести Битова, Богомолова, Тендрякова и так далее. Мэйклсон специально прилетел в Нью-Йорк из Каизаса, мы получили рекомендацию в крупное издательство «Фарер, Страус и Жиро», где встретили реальный интерес к идее издания такой антологии, дело теперь за переводом. Книги отсюда ВААП уже отправил после моего возвращения в Москву. Всю большую работу по переводу почти двадцати пяти листов прозы берет на себя кафедра славистики университета в Лоренсе...

■

О контактах с издательством «Саймон энд Шустер» сегодня уместно рассказать отдельно... Именно в день, когда мы встречаемся с вами, чтобы завершить «беседу о контактах», газеты сообщили о выходе в свет в этом издательстве — «одном из наиболее крупных и известных в США», как пишет «Правда»,— книги «Леонид Брежнев. Страницы из жизни», с предисловием Л. И. Брежнева «К американским читателям».

В интервью корреспонденту ТАСС, которое цитирует «Правда», это событие комментирует Майкл Корда, главный редактор издательства.

Ну, сначала о том, что я знал о Майкле Корде: когда я был в Нью-Йорке, он пригласил меня для переговоров по поводу издания «Другой жизни». Помимо своей должности там он еще и писатель, публицист, автор книг, одна из которых — называется она «Власть»,— посвященная искусству управления, фигурировала на Московской книжной ярмарке прошлогодней... В самолете по пути в Нью-Йорк я случайно познакомился с отрывком из другой его книги; что-то на тему о том, как добиться успеха — он был напечатан в популярном тонком журнале — не помню уж, как он назывался, помню только, что речь шла об условиях, необходимых для процветания в деловой сфере,— советы, как строить отношения на службе, с начальством, с коллегами, как планировать режим работы и отдыха, как одеваться, даже какому типу портфеля отдавать предпочтение в том или ином случае — короче говоря, все то же извечное американское РАСШИФРОВАТЬ ТАЙНЫЙ КОД УСПЕХА; впрочем, вероятно, и пушкинского Германна уместно вспомнить в этой связи...

Изрядно покружившись в бесшумном лабиринте устланных толстыми пушистыми коврами коридоров — кажется, это был 15-й этаж небоскреба в Манхэттене,— авеню Америк,— я со своими двумя спутниками очутился в кабинете Мэйкла Корды. Что обнаружил там раньше всего?.. Боксерские перчатки, фотографии лошадей на стенах и очень яркий плакат: огромными буквами начертаны два слова — в русском произношении они звучат «Оу, вау!» — «Oh, wow!» — пресловутое восклицание-девиз хиппи, некий «стон блаженства», исторгаемый, можно сказать, самим чревом, что-то вроде «О, восторг!»...

Хозяином кабинета оказался молодой сухощавый рыжеватый человек, деловой американец, немного читающий по-русски, потомок выходцев из Венгрии, племянник знаменитого кинорежиссера Александра Корды, знакомого советским зрителям по фильму «Леди Гамильтон»,— один из шести нью-йоркцев, владеющих собственными... скакунами: встает в шесть утра, чтобы два часа — до восьми — ежедневно уделить верховой езде в Сентрал-парке... Да, чуть не забыл еще об одной, едва ли не самой специфической принадлежности кабинета: увидев некий непонятный прибор на столе и поинтересовавшись, не магнитофон ли это для записи происходящего в сих стенах, я услышал в ответ: «Наоборот!» — устройство, как объяснил хозяин, предназначено для стирания записи, буде кто-либо из присутствующих вздумал бы тайно ее произвести: конкурентные нравы — ничего не попишешь...

Корда рассказал тогда о готовящемся к выпуску издании — книге о Л. И. Брежневе,— осуществляемом в соответствии с договором с АПН, показывал макет этой книги—она стояла у него на полочке рядом со столом, поделился своим желанием приехать в Москву, чтобы вручить книгу Л. И. Брежневу, когда она выйдет в свет...

Говорил он и о заинтересованности в издании книг советских писателей: «Когда-то надо начинать всерьез...» — это были его слова. Давно, лет пятнадцать, если не больше, тому назад, «Саймон энд Шустер» издали «Жестокость» Нилина, потом последовала длинная «пауза», и вот теперь — продолжение...

Что касается переговоров со мною, то, хоть я и признался честно, переступив порог, что «не прохожу» ни по одному из параметров делового преуспеяния, разработанных Майклом Кордой,— даже портфель оказался не тот, который необходим,— итогом встречи явилась договоренность о контракте на издание «Другой жизни» и «Дома на набережной». Весьма

существенной была оговорка: об исключении возможности появления в книге — в сопроводительном ли комментарии или статье, на суперобложке ли — текста, который своим содержанием мог бы вызвать возражение автора.

■

В общем, если обратиться к выводам, впечатление такое: хотя до сих пор советская литература не заняла еще в умах американских читателей подобающего ей места, все же границы этого пространства раздвигаются, некое движение воды наметилось. И самое главное, американцы начинают, кажется, постигать простую истину: настоящая русская литература творится советскими писателями, живущими и «официально» печатающимися в своей стране. Буквально так эта мысль сформулирована, между прочим, на суперобложке английского издания «Долгого прощания», только что вышедшего в США.

С чем я эти намечающиеся перемены связываю? С тем, что мы привыкли обозначать понятием «дух Хельсинки», если уж на то пошло, с интересом к контактам, к общению, в том числе и к приездам советских писателей. Это ведь не пустые слова-то, что такие контакты в самом деле завоевывают сердца... после периода известной «замороженности», после перерыва, я думаю, в этой сфере намечается некое «оттаивание», медленное, но обещающее движение вперед. И суть в том, что это соответствует реальной потребности времени, положению в мире, и американцы и мы понимаем, что мы должны интересоваться друг другом, должны дружить... Недавний приезд сюда к нам Джона Чивера — очень хорошего американского писателя, крупного писателя — он тоже был показателен в этом смысле: у Чивера как у читателя на каком-то новом уровне возник интерес к нашей литературе, встреча с ним на нашей земле была очень полезна, как, видимо, должна оказаться полезной и готовящаяся новая советско-американская встреча, которая продолжит дело, начатое прошлым летом у нас здесь, в Москве...

◆

ТАДЕУШ КУЛИСЕВИЧ. Мать.
Из серии «Люди Мексики»

Антирубрика

ДЖЕЙМС ПАТРИК ДОНЛИВИ

КОДЕКС БЕЗ ИЗЪЯТИЙ И СОКРАЩЕНИЙ. ПОЛНЫЙ СВОД ПРАВИЛ ВЫЖИВАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Перевод с английского СЕРГЕЯ БЕЛОВА

Как добиться того, чтобы вас перестали ненавидеть

И не пытайтесь.

Полезные правила социального восхождения

Мечтая о грядущем могуществе, потверже уясните себе, в чем оно, на ваш взгляд, заключается и что вы будете делать, обосновавшись на его сверкающих вершинах. Не теряя времени даром, начинайте держать себя, словно вы уже там. Это потребует от вас умения принимать разнообразные, на первый взгляд, и неестественные позы. Порой над вами будут и потешаться, особенно когда начнете охотно снисходить до окружающих. Самое главное здесь — поменьше обращать внимания на тех, кто тычет пальцем, хохочет и острит на ваш счет.

Установите предел скорости восхождения. Тем изящнее оно будет выглядеть. Кроме того, нельзя же, чтоб вокруг находились сплошные незнакомцы. А это обязательно произойдет, если вы пулей промчитесь мимо всех попутчиков. К тому же небрежная неторопливость шествия послужит вам прекрасной рекомендацией в придирчивых глазах других, не менее самоотверженных социальных альпинистов.

Не пустив достаточно крепких корней в обществе, категорически воспрещается устраивать пиршества, где шампанское льется рекой, а столы в орхидеях так и ломятся от запотевших мраморных чаш с икрой. Лучше приберечь эти дорогостоящие деликатесы для личного потребления. А то когда ваш дом заполонит этакая орава и примется уминать ваши припасы, не будет недостатка ни в тайных заговорах с целью опорочить вас и ваши честолюбивые устремления, ни в тесных дружеских компаниях, где при вашем появлении, увы, смолкают.

Вслед за деньгами и умением льстить в экипировке социального альпиниста очень котируется умение улыбаться. Рекомендуется делать это как можно чаще, не прослыв при том полным болваном. Может статься, кто-нибудь сообщит вам, что ваша улыбка ему не нравится. Подождите. Вдруг окажетесь вдвоем на сафари. И вас осенит множество удачных возражений, навеянных образами экзотических животных, а обстановка будет благоприятствовать меткому удару.

Легко реагируйте на шутку. Чем охотнее вы это проделываете, тем вернее прослывете человеком света. Это свойство, впрочем, нуждается в некотором контроле, и корчиться в конвульсиях от смеха допусти-

мо — ради вашей же безопасности — лишь среди людей\проверенных и близких. Если же вам как назло не до смеха, а некто влиятельный и, стало быть, для вас небесполезный на совесть потрудился над шуткой, обязательно улучите момент заметить:

— Какая прелесть!

Поистине блистательных успехов можно добиться, заявляя со всей прямотой и в глаза собеседнику, как он прекрасен и удивителен, особенно если речь идет об умении одеваться:

— Какие милые у вас лацканы, нет, серьезно!

Услышав «нет, серьезно», собеседник заметно оживет, ибо побаивался, не дал ли маху с этими самыми лацканами и не издеваетесь ли вы. Помимо того, это добавление свидетельствует о восхищении, которого вы, человек открытый, просто не в силах были утаить. Это может пригодиться, если представитель элиты недоверчив. Разнообразные восклицания — «черт возьми», «надо же» и «вот это да» — всегда удачно оттеняют трогательную искренность ваших оценок. Они же, с другой стороны, обретают иногда и оскорбительный смысл. При неоднократном повторении.

Назад не оглядывайтесь. Уж больно неприятные там лица. Ваши победы обязательно вызовут у тех, кого вы оставили внизу и далеко позади, коррозию личностного начала, что и накладывает на физиономии отпечаток уныния и озлобленности.

Мимика

Поскольку без нее в жизни никак не обойтись, ежедневными утренними упражнениями оттачивайте искусство создавать на лице нужное выражение. Начните с сердитых взглядов и рычаний. Затем изобразите удовольствие и неудовольствие, безразличие и замешательство. Прежде чем закончить смехом во всех его оттенках, не забудьте как следует поработать над робостью и сознанием собственного ничтожества, если в этот день что-то не клеится с отвагой и чувством превосходства. Тренируйтесь в обстановке строжайшей секретности, ибо столь быстрые переходы как это ни печально, могут быть расценены как свидетельство умственной неполноценности.

Если вы задумались о смысле жизни,

начните поститься и голодайте до тех пор, пока желание поесть не вытеснит вашу озабоченность. Если подобные мысли посетят вас на сытый желудок уйдите из дома и раздайте все добро: проблема ночлега мигом победит все прочие. Если и это не поможет, значит вы просто лгун и на самом деле ни в чем себе и не думали отказывать.

Телефон

Очень многие пользуются этим приспособлением, дабы подчеркнуть собственную значительность. Именно по этой причине, услышав звонок, ни в коем случае не отвечайте сразу, а то злодей на другом конце провода живо догадается, что вы дежурите у чертова аппарата в надежде, что кто-нибудь позвонит. Не спешите вешать трубку, если звонок непристойный: фантазия у абонентов такого рода порой рождает образы редкой изобразительности. Если вы кому-нибудь звоните, подольше не называйтесь, дабы заинтриговать собеседника и придать тем самым чуть больше живости этому бездушному способу общения. Всегда говорите так, словно ваш телефон прослушивается, а потому время от времени пошучивайте. Остроумие весьма ценится теми, кто по долгу службы вынужден день-деньской сидеть и вникать во все ваши телефонные глупости.

Если вы уютно устроились в своем привилегированном мирке и страшно этим довольны,

благодушно посмеивайтесь, глядя на тех, кому повезло меньше вашего, но именно поэтому будьте еще бдительнее.

Если вы фотографируетесь с известными людьми,

придвиньтесь вплотную к намеченной жертве, положите руку ей на плечо и улыбнитесь. Проделайте все это в самый последний момент, чтобы знаменитость не успела ускользнуть.

В минуту счастья

будьте особенно настороже, ибо как раз тогда и обрушиваются все потрясения.

По поводу исчезновения

Это проверенное средство, и прибегают к нему, когда крайне необходимо избавиться от кредиторов и вообще тех, кто ждет не дождется вашей погибели. Следовательно, исчезать надо бесследно. Что совсем не легко, даже если пластическая операция изменила до неузнаваемости рост, внешность и отпечатки пальцев. А вас, к примеру, разыскивает супруга.

Когда вы пристроили свою одежду с бумажником на берегу моря или у самого края действующего вулкана, инсценируя тем самым трагическую кончину, важно не наследить, облачаясь в запасной комплект одежды. В новой жизни будьте как можно обходительнее с новыми друзьями, а главное — во что бы то ни стало остерегайтесь запутаться в той куче небылиц, что наплетете им о своем прошлом, умейте дважды правильно рассказать одну и ту же историю. А то у лжи и впрямь длинные ноги, и вы даже не представляете, какую сомнительную славу она вам может снискать.

Если хочется укусить руку, которая вас кормит,

первым делом надо выяснить, какого черта она этим занимается. Если у нее и впрямь на то веские основания, можно потребовать увеличения порций.

О гневе

Никогда не скандальте впустую. Обидно тратить столько энергии, если это некому оценить. Хотя вспышки ярости издавна считаются исключительной привилегией руководителей частных компаний, их можно порекомендовать и тем их подчиненным, кто находит особое удовольствие в риске вылететь с работы. А как радует глаз зрелище разрушений, учиненных вами в порыве неистовства. Особенно если от этого страдают другие. Ярость, однако, может принести много бед тому, кто предается ей безудержно. По этой причине следует остерегаться твердых и взрывчатых предметов, а также лиц, способных дать сдачи. Вознамерившись прошибить кулаком стену, предварительно убедитесь в ее крайней непрочности.

Грабитель

Это не бог весть какой смельчак, но и вы быстро оробеете, если имеющееся у него оружие тычется вам в живот или приставлено к горлу. Потому необходимо всегда иметь при себе приличную сумму, дабы в случае чего умилостивить разбойника. Считайте, что это страховой взнос. Такая предупредительность, при условии, что вы, конечно, ее успеете оказать, неизменно окупается. Если у вас, как на беду, при себе лишь очень крупные банкноты или, скажем, часовой браслет ювелирной работы слишком бросается в глаза, принесите извинения. Только забудьте вашу любимую привычку кривить душой, это может вывести из себя вашего молодца,— он сам себе голова и терпеть не может, когда его водят за нос.

СУДХИР ДАР.
Индия.
Помогите!

Непростительные обиды

Записывайте таковые в книжечку, указывая место, время и обстоятельства нанесения. Вы просто ахнете, так быстро станут разрастаться эти записи и превратятся в вашу краткую биографию. Особо нелепые и клеветнические измышления передайте адвокату для ознакомления, он одновременно установит, что о вас думают окружающие, и прикинет сумму, на какую им придется раскошелиться за оскорбление личности.

На оглашении завещания

Это испытание не из легких. Но так или иначе не хлопайте себя по коленкам, разражаясь при этом диким хохотом, если вдруг оказалось, что все состояние или по крайней мере его большая часть принадлежит вам, а вашим недругам либо вовсе ничего, либо какие-то жалкие крохи. Можно, однако, принять вид человека довольного, что восторжествовала справедливость, а уж отвести душу потом.

Если же о вас в завещании ни слова или ваша доля просто смехотворна, пусть все видят, что вы плачете. Но только не вскакивайте и не начинайте буянить. Лучше, смахнув слезы, приступить к спокойным переговорам с вашими адвокатами где-нибудь под дверью, чтобы все слышали, как ведется подготовка к той грандиозной юридически узаконенной резне, что будет устроена сегодняшним триумфаторам.

Если вы предстали перед следственной комиссией,

оденьтесь скромно, но по моде, во что бы то ни стало изгнав с лица вороватое выражение. Не рекомендуется заламывать руки, облизывать губы и метать косые взгляды. В самом начале заседания принесите извинения за непроизвольное подергивание лица, дрожание рук и срывающийся голос. Если вы жуете резинку, чтобы не нервничать, выньте ее изо рта и приклейте к столу или стулу, но подальше. А то, ерзая на месте, вы рискуете выпачкать брюки этой липкой штуковиной. Хоть изредка, но улыбайтесь, не стесняйтесь и посмеяться вместе с комиссией, особенно если смеются над вами. Помните, что справедливость, а когда и снисходительность — отличительные признаки разбирательств такого рода. Если вас уличат во лжи, не упорствуйте, а тотчас же извинитесь. Плохо, конечно, если и дальше то и дело будут вас изобличать, но даже тогда не вздумайте в недоумении пожимать плечами. Лучше при первой же удобной возможности постарайтесь дать всем понять, что и сами кровно заинтересованы в установлении истины, а потому всякий ответ предваряйте фразой: «Я рад, что мне задали этот вопрос». Будьте неизменно вежливы и почтительны. Если дела ваши совсем плохи, сделайте вид, что вот-вот расплачетесь, дабы вернуть сочувствие и расположение комиссии. Здесь только важно не увлечься и взаправду не разрыдаться. Глав-

ное же — ни при каких обстоятельствах не вскакивайте с места и, грозя членам комиссии кулаком, не сообщайте им, что они сами жалкая кучка жуликов, прохвостов, мошенников и лгунов, которым просто на время удалось увильнуть от подобного расследования. Все и без вас прекрасно знают, что людей свободных от недостатков нет, просто в каждый данный момент одни в этом отношении чуть-чуть посвободнее других.

Если вы даете ложные показания,

первым делом отработайте перед зеркалом честное выражение лица и добейтесь максимального правдоподобия. Затем, убедившись, что некому схватить вас за руку, показав нечто совсем противоположное, принимайтесь за дело и самым что ни на есть нудным и безучастным голосом начинайте громоздить одну бессовестную ложь на другую. Будучи-таки пойманы с поличным, не пускайтесь в тошнотворно лицемерные заверения, что, дескать, искренне полагали, что все так и было на самом деле. Вместо этого лучше заготовить перечень душераздирающих бедствий и лишений, что якобы свалились на вас перед самым лжесвидетельством и заставили плести такую околесицу. И можете смело надеяться, что теперь-то уж никто не посмеет усомниться в вашей искренности.

В театре

Хотя театр нынче привлекает людей изрядно одряхлевших в культурном отношении, худшие из которых еще и безбожно опаздывают к началу, вы тем не менее и там сможете потешить себя и своих спутников подвигами, без которых ваше существование потеряло бы большую часть своей притягательности.

Если в ходе спектакля кто-нибудь из исполнителей забудет или безбожно переврет реплику или, скажем, на главного героя с колосников начнет опускаться декорация, к данной сцене не имеющая отношения, удержитесь от смеха (если это, конечно, в человеческих силах). Тонкое понимание театральной специфики требует не скупиться на аплодисменты актеру, который не дрогнул в эту трудную минуту. Однако не забывайте, что где-нибудь в проходе непременно затаился негодяй, который вложил во все это деньги, а потому умело руководит аплодисментами — даже когда на сцене ровным счетом ничего не происходит. Не попадитесь на эту удочку.

Сообщая вашему спутнику из первых рук полученные и мало кому, кроме вас, известные сведения о скандале с деятельным участием главного героя, передавайте эту захватывающую весть шепотом, дабы ваши соседи не сочли рассказ куда более интересным, нежели сам спектакль. Но если вам решительно не нравится пьеса или ее исполнение, тотчас же встаньте и громогласно поделитесь своими соображениями с присутствующими. После чего сядьте и дайте пьесе возможность продолжаться. И будьте снисходительны к актерам, которые не сразу придут в себя после вашего страстного монолога и некоторое время будут путать текст. Будьте также готовы к засаде, которую может устроить вам автор.

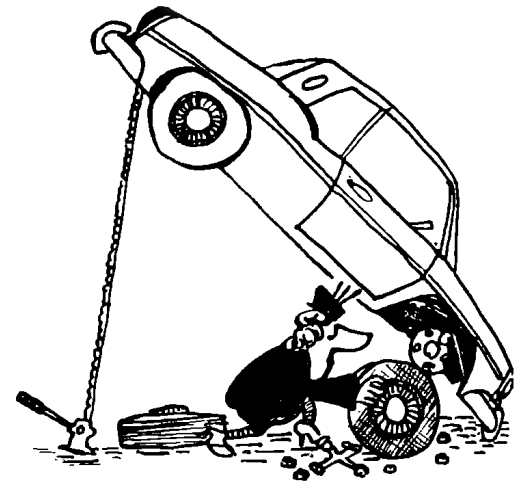
Если же вы довольны спектаклем, не скупитесь на аплодисменты, когда опустится занавес. Нет ничего более трогательного, чем эти накатывающиеся волны рукоплесканий, побуждающие актеров снова и снова выходить к публике, кланяться и благодарить, купаясь в лучах софитов. Когда же весь зал стоя устраивает овацию и отовсюду несется «браво», вы вполне можете рассчитывать на бесплатную выпивку там, за кулисами, ибо актеры буквально тают от подобного к ним отношения.

Одевайтесь понаряднее. Все, что обычно бережется для торжественных случаев, может очень пригодиться, особенно если в театр так просто не попадешь. Весьма изысканно появляться или задолго до начала, или, наоборот, под самый конец. Но поистине верхом аристократизма считается присутствие на последнем представлении с треском провалившейся пьесы. Модные новинки привлекают самую неразборчивую публику, и если вас не дай бог застукают на одной из них, это будет неопровержимым доказательством того, что вы столь же заурядны, как и пьеса, которую пришли посмотреть.

Последнее пристанище

Прежде всего там не должно быть никакой сырости. Жизнь положив на покорение социальных вершин, вы естественно

РЕМО.
Швеция.
Без слов



хотите, чтобы на конечной стоянке было сухо и уютно. Если у вас нет своего собственного кладбища, подыщите такое общественное, администрации которого не нужно было бы долго объясиять, что такое величие, красота и достоинство. Час-другой потолкуйте с этими джентльменами, и все устроится наилучшим образом. Не тяните с выбором участка, его наличие сулит удивительное умиротворение будущему обитателю, и не только после его смерти, но и — что куда важнее — при жизни.

Обратившись к любому мало-мальски уважающему себя архитектору с просьбой придумать вам усыпальницу понарядиее, вы просто осчастливите его. Убедившись, что вы человек состоятельный, он буквально забросает вас вариантами. Не скупитесь. Нет зрелища более уиылого, чем новехонький мавзолей, в котором явно чего-то не хватает, что самым невыгодным образом аттестует его владельцев — мертвых и живых. Всеми силами избегайте дешевой саморекламы и не упражняйтесь в глубокомысленных надгробных изречениях. Вы умерли — и этим сказано все. Но в крайнем случае можно с легкой горечью заметить что-то вроде:

ухожу непрощенным!

А как легко становится на сердце, когда в один прекрасный вторник, часика этак в три, вы подъезжаете на машине, а то и, отпустив шофера, совершаете прогулку с тросточкой к тому самому месту, где рано или поздно суждено вам покоиться в мире. И вот вы стоите, щегольски одетый, и посмеиваетесь, сочиняя себе эпитафию и время от времени окидывая критическим взором стройные очертания сверкающего элегантного мемориала с вашим именем на самом видном месте. Всю жизнь это имя отовсюду вычеркивали, а вот теперь его наконец можно начертать самыми крупными буквами, ибо мало кто желал бы увидеть там вместо вас себя.

Когда ликующий архитектор воздвигнет этот чертог, вы не раз воспользуетесь возможностью укрыться в нем от мирских забот и треволнений и поразмышлять в одиночестве, а в другой раз и потешить воображение живописными макабрическими видениями. Плохо только, что вокруг постоянно ошиваются типы, которые, снедаемые завистью, постараются испортить вам праздник, обвинив черт знает в чем, например, в некрофилии. Это лишний раз говорит о том, что личное кладбище предпочтительнее. Оно как нельзя лучше устроит и тех, кто любит сельскую жизнь и радуется мысли, что над его останками домашняя скотина будет безмятежно пощипывать травку,— мысли, свидетельствующей о редкой утонченности того, кто ее лелеет.

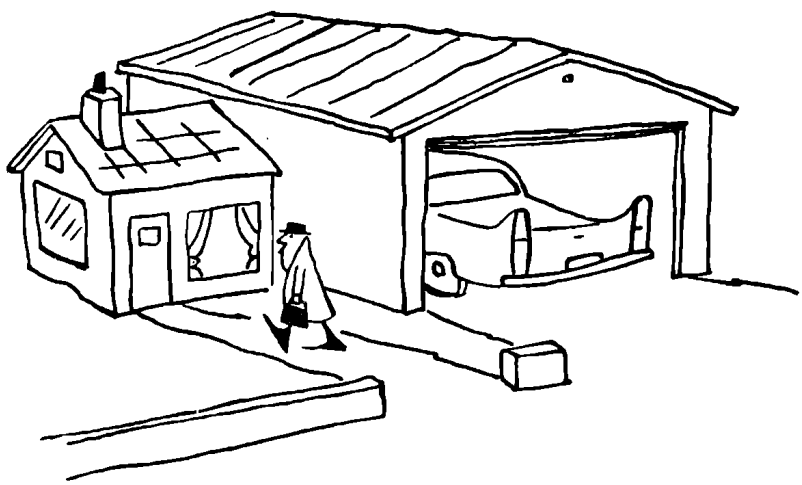
— Зачем это ты напустил коров на кладбище, Билл?

— Видишь ли, Боб, как эколог душой и телом, я желал бы, претерпев соответствующие изменения, стать однажды чьей-нибудь отбивной.

— Господи боже мой!

■

СТЕФАН ВЕРВЕЙ.
Голландия.
Без слов



АКИЛЛЕ КАМПАНИЛЕ

РАССКАЗЫ

Перевод с итальянского НИКОЛАЯ ЖИВАГО

Пособие по практике разговорной речи

Книги, по которым изучают иностранные языки, наверное, содержат много полезных сведений, но отнюдь не способствуют развитию логики и здравого смысла, что, в общем, не так уж плохо, ибо с их помощью можно научиться поддерживать весьма легкомысленные и причудливые отношения с окружающими. А это чрезвычайно украшает жизнь.

Из английской грамматики:

«Вы принесли бинокль?»

«Нет, но я принес ваш веер».

Несомненно, при этом заучивается много новых слов. Но ведь веер не бинокль, между ними нет ничего общего. Так зачем, скажите на милость, говорить о веере, если спрашивают о бинокле?

Давайте разберемся: где, когда и почему уместно поинтересоваться, принесли ли бинокль?

Например, в театре, или на экскурсии по живописным местам, или во время военных действий.

Впрочем, в театре пригодится и веер. И, уж конечно, не он позволит мне по достоинству оценить прелести кордебалета! Но на вершине горы! Что я стану делать с веером, если мне нужен бинокль?

Не говоря уже о крепостной башне или палубе военного корабля.

Представьте себе генерала на командном пункте или адмирала на капитанском мостике в разгар сражения, который, собравшись наблюдать за маневрами противника, спрашивает адъютанта: «Вы принесли бинокль?» — и в ответ слышит: «Нет, но я принес ваш веер». Даже если очень жарко, дело командующего — наблюдать.

Авторы упражнений по переводу, вероятно, изображают общество каких-то олухов царя небесного. Вот еще диалог из английской грамматики:

«Мама, ты купила скатерть?»

«Нет, но я купила бритвенный прибор твоему брату».

Семейство помешанных, не иначе. Помешанная мать, уверенная, видимо, что стол можно сервировать бритвенными приборами, и помешанная дочь, которую ничуть не тревожат явно сумасбродные речи выжившей из ума старухи.

Вот еще:

«Вы не видели мой воротничок и манжеты?»

«Нет, но я видел вашу платяную щетку».

Здесь хотя бы угадывается отдаленный проблеск взаимосвязи, поскольку речь идет о предметах, имеющих отношение к одежде. Тем не менее между вопросом и ответом — бездонная пропасть.

Кстати, одним из недостатков разговорных упражнений является то, что они почти никогда не содержат третьей реплики. И напрасно. Желающие могли бы узнать множество прочих не столь ортодоксальных выражений. В самом деле, что бы вы сказали человеку, который разглагольствует о щетке, когда его спрашивают о воротничке и манжетах? Это понятно:

«Или ты болван, или издеваешься надо мной. Как ты смеешь мне так отвечать?»

Далее следует поток сквернословия, что также полезно для приобретения навыков разговорной речи.

В довершение всего мне самому не раз случалось, употребляя иностранные выражения, выученные по книге, впадать в редкую непоследовательность. Однажды на вопрос прохожего: «Не знаете ли вы, как пройти к такому-то переулку?» — я вдруг ответил словами диалога из грамматики:

«Нет, но я знаю, сколько лет двоюродному брату вашего отца».

Прохожий в свою очередь произнес какую-то фразу, которую я не понял, потому что, как было сказано выше, разговорным упражнениям недостает третьей реплики.

А сколько жизненно важных наблюдений можно сделать сквозь призму этих экзерсисов, особенно если собеседники углубляются в такие подробности:

«Вы были с вашим отцом?»

«Нет, я был с другом моего отца, но мои сестры были с вашей матерью. Мы ходили смотреть собор».

Компания кретинов, ей-богу! Между прочим, бьюсь об заклад, ни один из них во время этой славной прогулки в собор не соображал, в каком родстве он состоит с окружающими.

Дело было, вероятно, пасмурным утром в готическом городе на севере Европы. Легкий моросящий дождь едва задевал лица прохожих. Наши друзья, выйдя из гостиницы и оставив там и здесь некое количество неуточненных родственников, поспешно направлялись к собору с путеводителями в руках.

В полутемной церкви, среди колонн, они исподтишка разглядывали друг друга:

АНТИРУБРИКА

«Это кто?»

«Это друг вашего отца, а я мать одного молодого человека, которого здесь нет, потому что я пришла с вашими сестрами».

«А какое отношение вы имеете к другу моего отца?»

«Он друг отца тех девочек, которые пришли со мной и которые приходятся вам сестрами, в то время как вы друг моего сына».

Полная неразбериха.

«А я кто?»

«Вы сын друга того господина и брат девочек, которые пришли с матерью одного вашего друга, которого здесь нет, то есть со мной».

Хватит, хватит! Помилуйте! С ума сойдешь.

И заметьте, все фразы с достоверностью выведены из упражнения, где говорится о родстве, дружбе и простом знакомстве между участниками пресловутого похода в собор.

Во время которого гид наверняка успокаивал их:

«Господа, господа, чем заниматься выяснением запутанных семейных связей, обратите внимание на собор. Перед вами витражи на исторические сюжеты...»

После экскурсии все вышли на улицу.

«Не позавтракать ли нам где-нибудь?»

«Нет, но послезавтра приезжает шурин вашего сына».

И дальше — вскачь, без единой мысли. Легкий моросящий дождь ложится на скользкую мостовую, низкие загородки и фруктовые лавки серого готического города. Пахнет вареной капустой, пивом, и перезвон металлических фигурок на ратуше возвещает полдень.

Европа ты моя, Европа! Ну когда ты образумишься?

Ораторами становятся

«Садитесь, пожалуйста,— сказала секретарша вошедшему Луиджи Винелли,— лекция сейчас начнется».

Лектор был знаменитый профессор Кодаро, один из тех баловней судьбы, которые обладают завидным даром в любое время встать и разразиться речью перед публикой.

Сколько людей издавна мечтали о подобном умении! Сколько раз вы сами, глядя на этих счастливцев, с завистью думали: если б я мог, если б только умел!.. И сколько раз ваш праздничный обед отравляла мысль, что в конце концов и вас заставят произносить какие-то слова, что на другом конце стола вдруг прозвучит ваше имя и все хором потребуют тоста, а вы предпочтете провалиться сквозь землю, нежели подвергнуть себя испытанию, где на каждом шагу подстерегают тернии и неизвестность.

Луиджи Винелли никогда не выступал перед публикой. Оратор он был никудышный, сознавал свою беспомощность, и это было его проклятием. Потому и решил воспользоваться объявлением в газете, которое обещало ораторское мастерство за один-единственный урок, тем более что вечером предстоял званый ужин.

Знаменитый Кодаро вступил в переполненную аудиторию.

«Неумение говорить перед публикой,— начал он,— зависит от двух причин: робости и отсутствия темы. В сущности, обе причины сводятся к одной, поскольку робость в девяноста случаях из ста происходит от незнания, что сказать, а точнее, от собственной убежденности, что сказать нечего. В голове образуется внезапная пустота, и сколько вы ни силитесь, слова на ум не идут. Спешка лишь усугубляет путаницу. При этом обстановка позволяет свободно высказать тысячу мыслей, но вам кажется, что и одной-то не найти. Вы отнекиваетесь, ищете отговорки. Или заставляете себя встать и открыть рот, но при этом испытываете состояние бычка, которого ведут на убой: мямлите скудные, бессвязные слова, упирая на то, что вы и вообще не оратор, и крайне взволнованы, в отчаянии хватаетесь за спасительное «благодарю вас всех за все...» и втайне надеетесь, что ваш конфуз и ужас обернутся для вас единственным выигрышем, то есть сойдут за чрезвычайную взволнованность, способную вызвать даже некоторые аплодисменты. Но в обоих случаях вы сами превращаете в жалкий лепет все, что могло бы вылиться в такую сенсацию, при которой ваш голос тонул бы в буре аплодисментов. Я открою вам секрет настоящего ораторского искусства!»

Аудитория напряженно слушала.

«И это — не камешки Демосфена,— продолжал маэстро.— Прежде всего надеюсь, вы не страдаете заиканием. Но даже если так, вам на помощь придет основное правило плюс непринужденность, с какой вы отнесетесь к собственному дефекту (лишь бы он не был, разумеется, чересчур явным, иначе потребуется не менее двух уроков). С другой стороны, пусть даже вы не заика, без основного правила вам некуда деться. Между тем секрет прост. Это не что иное, как формула...»

«Хе-хе! Волшебная?» — перебил Луиджи.

«Почти,— ответил Кодаро.—Формула, позволяющая выступать в любое время на любую тему».

«Да ну!» — послышались голоса.

«Какая-нибудь абракадабра»,— скептически заметил один из слушателей.

«Нет ничего проще,— сказал Кодаро.— Формула выражается тремя словами: **говорить о будущем.** Разумеется, она позво-

ляет вести разговор и о прошлом, опираясь на метод противопоставления. Помните, однако, что если прошлое может взволновать и даже растрогать до слез, то лишь идеи, обращенные в будущее, способны вызвать подлинный энтузиазм, к которому обязан всеми силами стремиться каждый, кто называет себя оратором».

И поскольку смысл сказанного, по-видимому, не дошел до аудитории и она не уловила еще самый способ действия, преподносимый ей как наипростейшее в мире средство, Кодаро взял тоном выше:

«Перехожу к подробностям. Необходимо постоянно иметь в виду основное правило. Независимо от предмета речи, будь то событие или обстоятельство, в любой момент и в любой аудитории, что бы ни случилось, вам обеспечен ответный энтузиазм слушателей при соблюдении одного условия, а именно: вы должны объявить, что:

а) событие, о котором идет речь, позволяет с полным основанием уверенно глядеть в будущее. Упаси вас бог сказать о неполном основании, или вдруг намекнуть на отсутствие такой уверенности, или заявить о полном основании с неуверенностью глядеть в будущее (хуже не бывает!); публика оцепенеет в ледяном молчании, и всякий энтузиазм безнадежно исчезнет, причем эту идею будущего именно в таком виде необходимо сохранить для заключительной части выступления;

б) событие, о котором идет речь, следует считать не завершающим, а исходным рубежом. Здесь, кстати, возможна альтернатива: «решающий поворот».

Итак, вы должны произнести: «То, к чему мы (вы, они, я, он) пришли (или пришел), следует считать не завершающим, а исходным рубежом!»

Аудитория оторопела. Все ждали чего-то большего.

«И вы утверждаете,— воскликнул Луиджи,— что эта формула...»

«Позволит вам говорить о чем угодно в связи с любым событием,— повторил Кодаро.— Разумеется,— поспешил добавить он,— я предполагаю, что вы не круглые идиоты и, ухватив нить рассуждения, сможете продвинуться по ней хоть немного. Впрочем, иногда достаточно просто и внятно произнести указанную фразу. Вас сочтут за немногословного оратора и будут аплодировать столько же, сколько и остальным, если не больше. Неплохо, конечно, придать фразе более пространный облик, что совсем не трудно. Ну, к примеру: «Позвольте поблагодарить вас за предоставленное мне слово. Я не претендую и т. д., особенно после предыдущих выступлений, в которых было убедительно высказано...» Или: «Еще много ораторов, которые убедительнее, чем я, выскажут... и т. д. Однако, пользуясь предоставленной возможностью, хочу сказать всего несколько слов, поскольку не имею намерения, да и не могу злоупотреблять вашим вниманием; скажу только: пусть все присутствующие, без различия чинов и званий (или еще чего-нибудь), проникнутся ощущением того, что наше событие является отнюдь не завершающим рубежом, но исходным...» И далее в таком же духе.

Один из слушателей попросил слова.

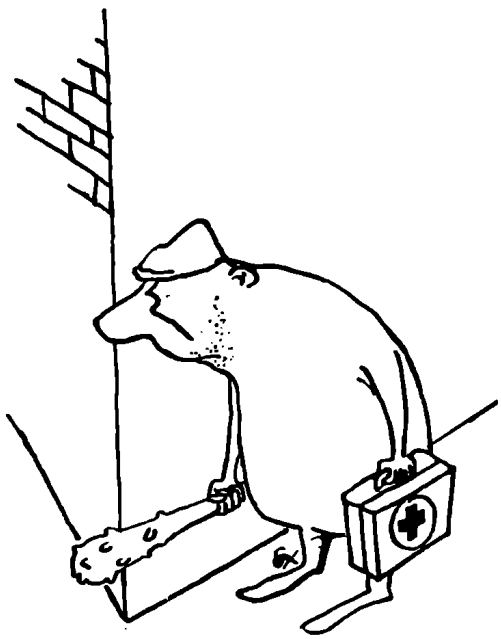
«Допустим,— сказал он,— эта фраза эффектно прозвучит на собрании, съезде, банкете промышленников, словом, всюду, где люди куда-то движутся в прямом и переносном смысле или думают, что движутся. Но бывает еще масса других случаев. Например, свадьба».

«И прекрасно! — воскликнул Кодаро.— Где как не на свадьбе заявить, что бракосочетание представляет собой исходный рубеж! Рождается новая семья, появляются дети, пополняя собой золотой запас родины и всего человечества! То же самое на крестинах, или на открытии чего-нибудь, или на этапе велогонки Джиро д'Италия».

«Хорошо! — не унимался оппонент.— А попробуйте-ка сказать это не на этапе, а по окончании велогонки. Неужели и здесь — исходный рубеж!»

«Почему бы и нет? Более того, фраза становится глубокомысленной, в крайнем случае остроумной. Это, мол, не завершающий, а исходный рубеж. И если слушатели молчат, добавьте: победитель, не останавливайся, шагай вперед к новым победам! — и т. д. И если же они засмеются, то разъясните: это была лишь первая гонка

ШИМОН КОБЫЛИНСКИЙ
Польша.
Без слов



чемпионата; впереди немало еще предстоит... и так далее».

«Я не согласен! — упорствовал оппонент.— Формула действительно превосходная, она с успехом пригодится в упомянутых вами случаях и даже во многих других, считая золотую и серебряную свадьбу. Однако можно ли воспользоваться ею, скажем, на похоронах?»

«Ну конечно! Идет дождь. Все стоят под зонтами вокруг открытой могилы. Оратор печально произносит: «...и этот последний причал, где упокоился наш незабвенный друг,— отнюдь не конец его славного пути, а лишь начало. Блуждающий огонек во вселенной, он не прибился к темным вратам забвения, чтобы исчезнуть навсегда. Нет, напротив, сегодня начинается его вторая, вечная жизнь. Он будет жить в памяти людей, в своих деяниях, в любящих детях. Его горестное, многотрудное земное странствование окончено. Но душа его отошла, отлетела к светлым небесам...»

Слушатели не сдержали радостных аплодисментов. Лектор загремел в колокольчик, и тишина восстановилась.

«А что в конце?» — спросила ученица за первым столом.

«В конце выступления,— произнес Кодаро, утирая взмокший от напряжения лоб,— достаточно применить формулу а, то есть: «Все вышесказанное позволяет нам с полным основанием уверенно глядеть в будущее».

«Так ведь похороны!»—воскликнул кто-то.

«Будущее понимается в широком смысле слова. Жизнь идет вперед».

Еще один ученик поднял руку.

«Очень скоро,— возразил он,— все заметят, что вы говорите одно и то же».

«О, господи! — ответил профессор.— Тут, молодой человек, все дело в приправе. Она придает новизну любой давно известной пище. Помните об основном правиле, помните о том, что главное — мысль, а не слова, и вам останется всего-навсего подать отбивную под нужным соусом. Это совсем не трудно, только не следует спешить. Начните с благодарности, с похвал, после чего можете жонглировать фразой как вздумается. Поднявшись с места, скажите с загадочным видом: «Господа, вдалеке виднеется полоска земли, за нашей спиной морские валы; это не причал, это трамплин...» В другой раз от водного транспорта обратитесь к авиации. «Это,— скажите,— не посадка, мы на стремительной взлетной полосе». Или: «Оглянемся вокруг, господа. Мы — на вокзале (лучше, если действительно на вокзале). Вот перед нами вагоны, вот окутанные клубами пара локомотивы, вот указатели, семафоры. Но вдумайтесь, господа: мы не на той платформе, куда поезда прибывают (паузв; затем, возвысив голос), мы там, где начинается их дальнее странствие» (бурные аплодисменты). Или с тоской в голосе и устремив взгляд в пустоту: «Нет, мы с вами не приближаемся к станции назначения, а отъезжаем. Мы вечно в пути, мы неустанно стремимся к цели», и так далее, смотря по обстоятельствам».

Лекция закончилась, все встали. Кто-то, выражая общую благодарность, сказал:

«Теперь каждый из нас выйдет из любого положения. Мы достигли заветной цели и владеем секретом ораторского искусства».

Кодаро поднял взгляд, и лицо его неожиданно приняло суровое выражение.

«Очень рад,— сухо произнес он,— и горжусь моим скромным участием в вашем достижении. Тем не менее должен заметить, что вы заблуждаетесь, допускаете серьезную ошибку. **[Пораженная аудитория затаила дыхание.]** Вы не достигли цели. Много сделано, но многое предстоит сделать, дабы отточить мастерство, развить ораторские способности. Хочется дать совет: вы, молодые, бойтесь почить на лаврах, неустанно трудитесь, сохраняйте бодрость и будьте всегда готовы смело заявить о своем мнении. Потому что,— он возвысил голос,— ваш сегодняшний успех следует понимать не как завершающий, а как исходный рубеж!»

Аудитория разразилась долгими аплодисментами. В головах слушателей уже теснились грандиозные замыслы.

«Мне приятно,— сказал в заключение Кодаро,— отметить ваше усердие и вашу уверенность в себе, ибо они позволяют нам с полным основанием уверенно глядеть в будущее!»

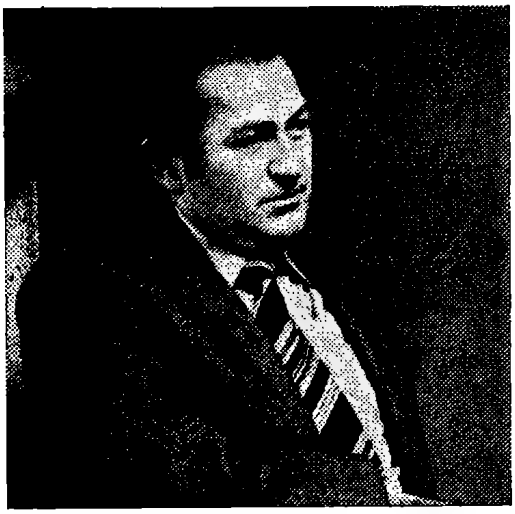
Гром аплодисментов вновь потряс аудиторию. Счастливые, просветленные ученики расходились по домам, оживленно обсуждая лекцию.

◆

Наши гости

Андраш Фодор, Миклош Вереш, Ференц Можи

ВЕНГРИЯ



Андраш Фодор

Известный венгерский поэт Андраш Фодор — автор 10 сборников стихов, дважды лауреат премии Аттилы Йожефа. В последние годы он выступает и в роли критика, в частности, представляет молодых поэтов в специальной книжной серии «Молодые авторы». Андраш Фодор много переводит, в том числе русских и советских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Пастернака, Твардовского, Мартынова, Вознесенского. Особой популярностью в Венгрии пользуется его перевод «Руслана и Людмилы». За переводы стихов поэтов Болгарии он награжден болгарским орденом. В Союзе венгерских писателей Фодор является секретарем секции поэзии и отвечает за работу с молодежью. Вместе с ним у нас в гостях его коллеги и «подопечные»: поэт Миклош Вереш и прозаик Ференц Можи.

Мы просим Андраша рассказать о новых именах в венгерской литературе.

— В начале 70-х годов в нашу литературу стремительно ворвалось целое поколение молодых. Среди прозаиков, в первую очередь, следует упомянуть Йожефа Балажа, который опубликовал, начиная с 1975 года, несколько талантливых книг. Вышла вторая книга рассказов Сильвестера Эрдега, очень одаренного «деревенщика». Мне нравится, что и он со временем обещает стать крупным писателем. Подают большие надежды Янош Уйхейи, Миклош Вамош, Вильмош Чаплар. Правда, оценивая творчество прозаиков, я чувствую себя немного не в своей тарелке. Но думаю, самый молодой из нас, Ференц Можи, меня дополнит.

Что касается поэзии, тут я могу судить и точнее, и объективнее. Прежде всего мне бы хотелось назвать Йожефа Уташи, Ференца Буду (он, кстати, переводил Олжаса Сулейменова), Шандора Чоори, Йожефа Ратко, Анну Киш и непременно, пусть говорить об этом при нем и не совсем педагогично, Миклоша Вереша. Я люблю поэзию Миклоша, она близка мне по духу. С большим уважением я отношусь к и его переводческой деятельности. Особенно мне нравятся его переводы Есенина.

Миклош Вереш, несмотря на свою молодость, уже обременен и титулами — он лауреат премии Аттилы Йожефа,— и многочисленными обязанностями: входит в Правление Союза венгерских писателей, является членом ЦК венгерского комсомола, руководит редакцией литературного молодежного журнала «Мозго вилаг». А за последние несколько лет он выдвинулся в

Миклош Вереш

первый ряд переводчиков русской и советской поэзии.

Молодой поэт рассказывает нам о своем творчестве:

— Я только что закончил работу над сборником детских стихов «Снежное утро», который выходит в издательстве Ференца Моры. Увидела свет новая книга моих «взрослых» стихов «Жестяной король». С большим волнением и напряжением сил я переводил стихотворения Александра Блока. Он потряс и покорил меня именно сейчас, когда я работал над переводами его произведений.

Не стану, да и не хочу скрывать, что русская и советская поэзия оказали и продолжают оказывать на меня большое влияние. Поэтому я с радостью и готовностью делаю переводы и молодых советских поэтов: Петра Вегина, Николая Дмитриева, Ольги Чугай и многих других. Перевожу по заказу журнала «Советская литература» (на венгерском языке) и для нашего журнала «Надьвилаг».

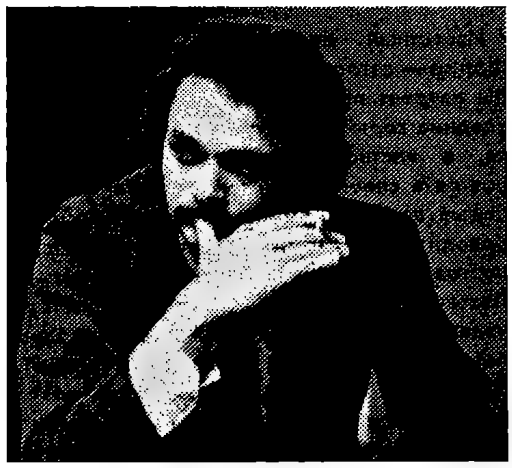
Творчество Андраша Фодора хорошо известно в нашей стране, стихотворения Миклоша Вереша печатались в журнале «Сибирские огни», в еженедельнике «Литературная Россия», а вот с Ференцем Можи советский читатель совершенно незнаком. По нашей просьбе Миклош Вереш представляет его нам и читателям журнала.

— Произведения отца Ференца Можи — Ференца Шанты, насколько я знаю, широко известны у вас в стране, фильмы по книгам Шанты даже получали награды Московского кинофестиваля. А о его сыне Ференце мы услышали в 1969 году, когда в одном из журналов был напечатан имевший большой успех рассказ «Виман». Но первый сборник его рассказов появился только в 1977 году. Рассказы и очерки Можи постоянно публикуют толстые журналы, много времени он отдает общественной работе: организует встречи молодых писателей с читателями, занимается комсомольской работой в клубе молодых литераторов имени Аттилы Йожефа. Что еще можно добавить — Ференц Можи в Советском Союзе впервые.

— Поездка по вашей стране,— говорит Ференц Можи,— произвела на меня незабываемое впечатление. С большим интересом я познакомился с тем, как у вас работают с творческой молодежью: нас принимали студенты и преподаватели Литературного института имени Максима Горького, в Совете по работе с молодыми Союза советских писателей. Особенно мне понравилось то, что опытные писатели берут шефство над своими начинающими коллегами, становятся их литературными наставниками.

Если же вернуться к разговору о молодой венгерской литературе, мне кажется, нельзя не упомянуть имена прозаиков Дюлы Мароши и Золтана Тарнока. А из поэтов я бы еще назвал Миклоша Зепеи, Золтана Пап Шумваньи. Но всем нам предстоит выдержать испытание временем и новыми книгами. А это очень серьезное испытание.

С. ФАДЕЕВ



Ференц Можи

◆

Среди книг

Издано в СССР

МАРИО БЕНЕДЕТТИ — В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Марио Бенедетти. Рассказы. Перевод с испанского. Составитель и автор предисловия В. Земсков. Москва, «Прогресс», 1977.

РАЗГОВОР С АВТОРОМ

Эта книга известного уругвайского писателя вышла в момент его пребывания в Советском Союзе. В связи с этим событием по просьбе редакции беседу с Марио Бенедетти провел Ю. Грейдинг.

— Какое впечатление оставило у вас путешествие по Советскому Союзу?

— Для меня приезд в СССР — исполнение давнего желания, мне всегда хотелось побывать в стране, которая так много значит для всего прогрессивного мира, и то, что я приехал сюда,— большая радость. Я много увидел за время своих немногочисленных, но весьма обстоятельных поездок. Оценил великолепные природные и архитектурные пейзажи. Но особенно важно для меня было увидеть пейзаж политический — это стало для меня своего рода практическим занятием, великолепно дополнившим занятия теоретические, которые заключались в основном в чтении книг об Октябрьской революции, о жизни и деятельности Ленина, о построении социализма в вашей стране. Для меня очень много значило увидеть своими глазами «Аврору», Мавзолей Ленина, музей Революции, Зимний дворец. Многие встречи с людьми, с реликвиями прошлого, с приметами будущего были действительно волнующими.

— Советские читатели хорошо знакомы с вашим творчеством — ваши произведения неоднократно переводились на русский язык. Как вы сами оцениваете советские издания, особенно последний сборник рассказов, выпущенный издательством «Прогресс»?

— Я очень рад, что этот сборник вышел как раз в дни моего пребывания в Москве. Он имеет для меня особую ценность. Дело в том, что мои романы, особенно «Передышка» и «Спасибо за огонек», изданы уже во многих странах, а вот рассказам до сих пор не везло, и эта московская книжка — первое издание моих рассказов за пределами испаноязычных стран (если не считать публикаций отдельных рассказов). Издание это достаточно полное, в него вошли рассказы и из моей первой книги, и даже из будущей, которую я еще только готовлю. Я знаю, что переводили мои рассказы превосходные переводчики. К сожалению, мне трудно оценить качество переводов, потому что я не знаю русского. Но я не могу не отметить достоинств самого издания и его оформления.

Стихи мои были напечатаны в сборнике «Поэты Уругвая» и в антологии латиноаме-

риканской поэзии XX века, вышедшей в серии «Библиотека всемирной литературы». Так что эти три книги вместе с уже давнишним переводом моего романа «Спасибо за огонек», опубликованного в журнале «Иностранная литература», означают, что моему прибытию в Советский Союз предшествовало появление моих скромных работ, а это всегда радостно — сознавать, что читатель уже знаком с твоими произведениями.

— Вы много лет посвятили изучению и пропаганде латиноамериканских литератур. Как, по вашему мнению, обстоит дело с изданием латиноамериканских авторов в СССР, пользуются ли они вниманием советского читателя?

— На встречах, которые состоялись у меня в издательствах, редакциях журналов Москвы, Ленинграда и Киева, на встречах с испанистами и латиноамериканистами на меня большое впечатление произвел тот интерес, который проявлялся к латиноамериканской литературе. А об интересе широких читателей красноречиво говорят огромные тиражи, потрепанные экземпляры книг латиноамериканских авторов в библиотеках и часто возникавшие в разговорах названия лучших наших книг. Особенно мне понравилось, что этот интерес, касающийся в первую очередь писателей так называемого «бума» (Габриэля Гарсиа Маркеса, Хулио Кортасара, Карлоса Фуэнтеса и Марио Варгаса Льосы), не ограничивается ими, а распространяется на гораздо более широкий круг авторов. Этот интерес, естественно, не имеет никакой коммерческой подоплеки, это проявление подлинного интереса к тому действительно ценному, что создается в Латинской Америке. Любой из нас, латиноамериканских писателей, может гордиться тем, что наши произведения систематически и к тому же в хороших переводах доходят до советских читателей.

— Год 1977 был годом 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Чем является Октябрь для вас?

— Октябрьская революция не только для меня, но и для всех прогрессивных писателей, для всего прогрессивного мира — событие основополагающее. Можно сказать, что это — краеугольный камень всей современной истории. И пусть ваша революция гордится теми достижениями, которые я увидел за три недели, проведенные в Советском Союзе. Для всех нас это не только повод для глубокого удовлетворения, но и гарантия того, что свободы человека и будущее человека обеспечены.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОТ ПРОТИВНОГО

В своем интервью М. Бенедетти справедливо отмечает, что книги латиноамериканских писателей не залеживаются в нашей стране на полках книжных магазинов и библиотек. Таким же спросом будет пользоваться, конечно, и сборник рассказов самого М. Бенедетти.

Из предисловия к книге читатель узнает, что ее автор прошел достаточно длинный путь от либерального реформизма до открытого протеста против диктатуры буржуазного насилия. И если в самом первом рассказе читатель попадает в атмосферу удушающей пошлости огосударствленного мещанства «в тихом буржуазном чиновничьем государстве» («Хотели пошутить»), то в последующих рассказах уже звучит призыв к борьбе.

Однако М. Бенедетти — не трибун, а скорее хирург, который вскрывает болезни своей страны. Слой за слоем рассказчик снимает декорации «спокойного» общества, где нет спокойных, где все проникнуто ожиданием каких-то глубинных перемен. В конечном счете все герои рассказов М. Бенедетти только марионетки в спектакле, который ставит истинный хозяин страны: Капитал и его прислужник — государственный аппарат.

Включение в книгу рассказов разных периодов позволяет увидеть не только писательскую зрелость М. Бенедетти, но и его зрелость как борца против замшелости «тихого государства», где живут и, увы, умирают люди. Да, в рассказах М. Бенедетти люди умирают слишком часто. Они гибнут от пистолетных выстрелов, инфарктов, бросаются под колеса автомашин. М. Бенедетти мастерски передает атмосферу этой «тихости» и благостности буржуазного государства, которое, по определению В. И. Ленина, всегда является «машиной для угнетения одного класса другим». Тот «другой класс», который угнетает, очерчен в рассказах М. Бенедетти контурно. Мы не увидим здесь яростность классовой борьбы, пролетариев, осознавших необходимость этой борьбы. Но М. Бенедетти словно доказывает теорему от противного — нет, не сможет обыватель подняться до высот классовой борьбы до тех пор, пока не возьмет на вооружение идеологию пролетариата.

Б. НИКОЛАЕВ

О. ГЕНРИ ИЗ ГРИНСБОРО

О. Генри. Избранное в 3-х томах. Перевод с английского. Составление и предисловие А. И. Ставрцева. Москва, изд-во «Правда», Библиотека «Огонька», 1975.
О. Генри. Избранное в 2-х томах. Перевод с английского. Кишинев, «Литература артистика», 1977.

Я знаю, как популярен О. Генри в Советском Союзе, где ежегодно выходят все новые и новые переиздания его произведений. И я надеюсь, что советскому читателю покажется интересным совершить небольшое путешествие

по тем местам, где родился и жил наш знаменитый писатель, и окунуться в мир его рассказов.

«Гринсборо (Северная Каролина), столица Пидмоита,— истинно американский город» — вот что можно прочесть на плакатах, украшающих шоссе при подъезде к городу. Слово «Пидмонт» указывает на его географическое расположение (от французского «пье дю мон» — «подножье горы»), а «истинно американский» — звание, присвоенное ему в шестидесятых годах за его типичность. Но эти два определения вряд ли могут вызвать особый интерес к Гринсборо (названному так в честь генерала Нэтенизла Грина, который во время Войны за независимость выиграл сражение в графстве Гилфорд против отряда лорда Корнуоллиса). Однако у него есть свое право на славу: во-первых, здесь родился О. Генри, а во-вторых, это центр производства джинсов. Иностранные туристы, попадая в Гринсборо, как правило, удивляются, узнавая эти два факта, к которым жители Гринсборо давным-давно привыкли. Строго говоря, О. Генри (его настоящее имя было Уильям Сидни Портер) родился в Сентр-Комьюнити, на Поулкет-Крик, в трёх милях от нынешних границ города. Сентр-Комьюнити давно уже перестал быть самостоятельной административной единицей, но дом, в котором родился О. Генри, сохранился, и его почтовый адрес — Гринсборо. А потому Гриисборо с полным правом может считаться родным городом О. Генри. К тому же его отец после смерти жены в 1865 году переехал с детьми в Гринсборо — Уильяму, будущему писателю, было тогда три года. Он жил в Гринсборо до 1882 года, после чего уехал в Техас и начал странствовать по свету. Умер он в Нью-Йорке в 1910 году.

Когда О. Генри жил в Гриисборо, это был южный город, и южным он остается и по сей день. Определение «южный» означает не только географическое положеиие, но и определенный образ жизни, который сложился в этих краях, когда они заселялись в XVIII и начале XIX века. Это был сельскохозяйственный район с огромными плантациями, иа которых до 1863 года трудились рабы, и маленькими участками издольщиков. После окончания Гражданской войны Юг Соединенных Штатов превратился в настоящее экономическое захолустье.

О. Генри рос в Гринсборо как раз в те годы. Семья его не принадлежала к «южным аристократам», владельцам фамильных состояиий, и он должен был сам прокладывать себе путь. А жизнь в родном городе, разумеется, не могла его удовлетворять не только с материальной, ио и с интеллектуальиой точки зрения. В экономике южных штатов царил застой, а в интеллектуальной и духовной сферах властвовал культ былых традиций. Несмотря на военное поражение — а может быть, именно из-за иего,— наиболее влиятельные южные семьи питали презрение к грубым и неотесанным янки с Севера. Разумеется, со времен О. Генри в этих краях произошли большие перемены, и к ним вернулось процветание, чему способствовали сельское хозяйство (хлопок и табак, а также рис в Луизиане) и мощная текстильиая промышленность, производящая продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Тем не менее Гринсборо остается южным городом — чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по улицам его старой части. Там мы найдем и дань уважения самому знаменитому из сынов Гринсборо: это бульвар О. Генри, который ведет от центра города к северу и переходит в магистральное шоссе, а также «Отель О. Генри», когда-то очень фешенебельный, но в настоящее время закрытый в ожидаиии перестройки. Неподалеку находнтся одно из старейших зданий Гринсборо — церковь, в которой в дни войны Севера с Югом помещался госпиталь, а теперь устроеи городской музей. В обширных залах музея и прилегающем к нему красивом саду выставлено множество экспонатов, связанных с О. Генри и его временем. В музее есть особый зал, посвященный жизни О. Генри. (Дом в Сентр-Комьюнити, на Поулкет-Крик, в котором он родился, давно перешел в посторонние руки, и музей в нем так и ие был открыт.) В этом зале посетитель может ознакомиться с богатейшей коллекцией фотографий и писем О. Генри, увидеть первые издания его произведений. В зал входят через реставрированную старинную аптеку, похожую на аптеку Кларка Портера, дяди О. Генри, где он работал учеником.

Из исторического музея можно пройти в городскую библиотеку. Там, кроме произведений О. Генри, также собраны посвященные его творчеству работы многочисленных американских и иностранных критиков. А всего в трех кварталах к западу от библиотеки, на одной из главных улиц города, стоит Шервуд-хаус (названный так по имени человека, его построившего) — большой особняк, некогда принадлежавший Уильяму Сузйну, деду О. Генри по матери. Таким образом, турист, который любит рассказы О. Генри и интересуется его жизнью, найдет немало пищи для своего воображения в этих местах. Но где такой турист может найти подлинную атмосферу Юга, которой дышал О. Генри, пока жил здесь, и которую воссоздал в некоторых своих рассказах?

Нам придется вернуться к старому «Отелю О. Генри» и пойти на юг по Элмстрит. Это одна из главных городских магистралей, но она кажется тихой, так как крупные торговые центры теперь перекочевали на окраины. Там, где Южиая Элмстрит пересекает железнодорожные пути, город предстает перед нами совсем таким же, каким он был много лет назад. Эта железная дорога соединяет Вашингтон с Новым Орлеаном, и по ней за сутки проходят на юг и на север десятки товарных

поездов — но всего один пассажирский поезд дальнего следования. У переезда турист может отдохнуть в сквере, в тени южных сосен, дубов и диких яблонь. Здесь в жаркий день все еще случается увидеть на скамье бродягу, словно сошедшего со страниц О. Генри,— вылитого персонажа его сборника «Благородный жулик». Нередко из кармана у него торчит бутылка виски, и время от времени он к ней прикладывается. Эти изгои американского общества, существующие на подачки, забыты всеми, кроме Армии Спасения. Бюро этой благотворительницы (если воспользоваться любимым словечком О. Генри) находится чуть дальше по Южной Элм-стрит, за железной дорогой. Здесь, как во многих южных городах, выражение «за железной дорогой» имело свой особый смысл и означало беднейшие кварталы города. Как правило, железнодорожные пути отделяли негритянские кварталы от белых районов, и слова «он живет за железной дорогой» означали, что он живет там, где живут бедняки — и не обязательно черные. Эти районы в таких городах, как Гринсборо, и по сей день остаются самыми непривлекательными. Бюро Армии Спасения расположено на Южной Элм-стрит, где обитают бедняки, тогда как преуспевающие белые горожане населяют теперь, как и тогда, Северную Элм-стрит. Черные, что живут «за железной дорогой», облюбовали сквер у переезда, и он, как уже говорилось, словно хранит память о былых днях Гринсборо, хранит атмосферу Юга. Туда приходят не только бродяги. Черные (в дни О. Генри их называли цветными) собираются там, чтобы посидеть и поболтать с друзьями. В безмятежной, благодушной атмосфере и этого сквера, памятника старого Гринсборо, и расположенного по соседству вокзала есть что-то от неторопливого, размеренного темпа жизни Юга, каким его знал О. Генри.

Во многих своих рассказах О. Генри рисует картины того Юга, который еще не исчез бесследно, и несколько таких рассказов включены в недавно вышедшие на русском языке издания. Безусловно, О. Генри не принадлежит к писателям, в первую очередь стремившимся к созданию атмосферы, однако местный колорит у него всегда очень точен. В этом отношении великолепен рассказ «Джефф Питерс как персональный магнит» из сборника «Благородный жулик». С каким неподражаемым юмором обрисован главный персонаж Джефф Питерс, продающий снадобья, сулящие чудесные исцеления! Шарлатаны, торгующие сомнительными зельями, стали редкостью даже в южных городах, однако любители выманивать деньги обманом у доверчивых простаков отнюдь еще не перевелись. Вспомните, как Джефф Питерс и Энди Таккер встречаются в вестибюле плохонькой южной гостиницы, а потом поглядите на какую-нибудь гостиницу в старом Гринсборо неподалеку от Южной Элм-стрит — и вы получите полное представление о месте действия этого рассказа, хотя городок там называется Рыбачья Гора и помещен в Арканзасе. Речь Джеффа Питерса настолько сочна и своеобразна, что читатель от души сочувствует мошенникам, а не их жертве — мэру, который, в сущности, всего лишь напыщенный дурак. Юмор ситуации в значительной мере сохраиен в превосходном переводе Корнея Чуковского, однако воспроизвести во всей комичности речь черного слуги, умоляющего Джеффа помочь его хозяину, вообще невозможно. Ведь это особый язык, со своим словарем, со своим построением фраз, со своими типичными интонациями — так говорили только старые негры, и больше никто.

Характерные особенности речи главного персонажа столь же неподражаемы и столь же смешны. Совершенно восхитительно обыгрываются имена: Бидл (фамилия очень известной и богатой семьи в Северной Каролине), Фидл, Тидл, Ридл; или Воф-Ху, напоминающее имя американского индейца, которое коверкается в Хоа-Хо (что соответствует русскому «тпру») и в Пу-Пу (междометие, выражающее пренебрежительное недоверие). Когда мы уже убеждены, что Джефф Питерс разоблачен как шарлатан и его ждет тюрьма, вдруг выясняется, что арестовавший его сыщик Медицинского общества штата мистер Бидл — не кто иной, как Энди Таккер, помощник Джеффа. Другими словами, мэр, считавший, что он одурачил Джеффа, оказывается сам одураченным. В этом весь О. Генри! Финал его рассказов всегда бывает неожиданным вне зависимости от того, насколько правдоподобны или неправдоподобны ситуации, положенные в их основу. Рассказы полны юмора, они увлекательны — к чему и стремился писатель. А тот факт, что действие их развертывается на Юге, придает им дополнительный иронический оттенок.

Не так смешон и гораздо более зол и сатиричен его рассказ о Нэшвиле в штате Теннесси «Муниципальный отчет». Следует повторить, что О. Генри как писатель был не столько творцом атмосферы, сколько удивительно умелым рассказчиком и создателем запоминающихся характеров. Но в «Муниципальном отчете» он достигает совершенства во всех трех элементах, и рассказ этот остается одним из лучших его произведений. Он неоднократно у нас переиздавался и не раз включался в «Карманную книжку рассказов» — антологию издательства «Вашингтон сквер пресс» — наряду с «Господином из Сан-Франциско» Бунина и «Бог правду видит» Льва Толстого. Соседство обязывающее! Но рассказ О. Генри вполне заслуживает подобной чести.

Почему же «Муниципальный отчет» так важен и интересен? Начнем с заглавия. Оно мало о чем говорит и совершенно не выразительно, резко отличаясь от большинства заглавий О. Генри, которые, как и заглавия у Лескова, привлекают внимание читателя неожиданностью ассоциаций или странными словосочетаниями. О. Генри,

как правило, отказывается от обиходных выражений ради редких и непривычных. Однако тут он отступил от своего обыкновения. Заголовок «Муиициnальный отчет» обещает что-то скучное, деловитое, тогда как рассказ рисует глубоко трогательную драму человеческой души. Нэшвиль, столица южного штата Теннесси, выглядит городом, где никогда ничего ие случается — но насколько неверно зто впечатлениеl Нэшвиль кажется чнным и спокойным, особенно по вечерам — как говорит рассказчику слуга-негр: «Видите ли, сэр, пожалуй, что после захода солнца здесь ничего не делается». Тем не менее скоро выясняется, что под внешней безмятежностью «делается» очень многое.

Действие происходит на фоне южного города, с его изысканной кухней, с его смешаиiыми ароматами жимолости, олеандров, светильного газа и угольного дыма, с чопорной атмосферой его тихих особнячков. Автор знакомит нас с тремя действующими лицами. Во-первых — это майор Уэнтуорт Кэсузл. Трудно найти более иеприятный тип южаннна. Рассказчик упоминает, что язык у него был «болтливый». Другими словами, он говорит не переставая, и от него невозможно отвязаться. Поражение южных армий и их капитуляция при Аппоматтоксе в 1865 году стали у этого человека своего рода манией, и за рюмкой виски он продолжает вести войну с тенями, порождаемыми его воображением. И он — редкостный негодяй, как мы скоро узнаем из рассказа. Второй персонаж — дядя Цезарь, извозчик-негр, который предлагает отвезти рассказчика по нужному ему адресу. Описание старика негра и особенно его длинного пальто, застегнутого на единственную роговую пуговицу, незабываемо: «На свете еще не было одеяния, столь фантастически разукрашенного и испещренного таким количеством оттенков. Одинокая пуговица, желтая, роговая, величиной с полдоллара, была пришита толстой бечевкой». Таких стариков все еще можно встретить в любом маленьком южном городе, хотя они уже больше ие сидят на козлах извозчичьих карет. И наконец, мы знакомимся с героиней, мисс Азалией Эдер, поэтессой, автором романтических набросков, к которой рассказчик приезжает по поручению редактора северного литературного журнала. О. Геири создает удивительно верный тип утонченной, образованной, но обедневшей южной дамы (в самом ее имени кроется что-то поэтическое, эфирное: «Азалия», прелестный южный цветок, и «Эдер» — от «Эр», воздух, — фамилия, звучащая по-французски, что на Юге всегда было знаком социального престижа). Она принадлежит к женщинам, все существование которых ограничено внутренней духовной жизнью, стихами и набросками. Она кажется предшественницей той группы прекрасных писательниц, которых дал американский Юг и которые сумели заглянуть за внешнюю оболочку вещей. Сразу же на память приходят Флэннери О'Коннор, Карсон Маккаллерс, Юдора Уэлти. И как проникновенен ее ответ на замечание рассказчика, что в Нэшвиле, по-видимому, «редко случается что-нибудь из ряда вон выходящее»: «Разве происшествия не случаются как раз в тихих, спокойных местах?» Глубокий смысл этих слов становится понятным еще до того, как она иачннает приводить примеры. Да, в этом городе есть и страдания, и радости, но они укрыты в душе, а не выставлены на всеобщее обозрение.

Хотя местом действия назван Нэшвиль, с этим городом рассказ связывают только вставные отрывки из «Муниципального отчета», никакого отношения к сюжету не имеющие. Но атмосфера «Муниципальиого отчета» в целом и во всех его частностях — зто атмосфера всего американского Юга. В «Муниципальном отчете» с особым блеском воплотился талант О. Генри, южанина по рождению, сумевшего преодолеть ограниченность и узость Юга. Однако он, вполне естественно, сохраняет любовь к родным краям и особенно к живущим там честным и добрым людям как белым, так и черным. В этой любви находит еще одно выражение глубокая гуманистичность О. Генри, а именно она в сочетании с иеобыкновенным даром рассказчика и делает его тем писателем, каким мы его знаем.

ИОАКИМ БЭР

г. Гринсборо

СТАРИННЫЕ ПОВЕСТИ О СЧАСТЛИВЫХ И НЕСЧАСТНЫХ ВЛЮБЛЕННЫХ, ДОСТОЙНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЖАХ, ПРЕЛЕСТНЫХ И ВЕРНЫХ НАЛОЖНИЦАХ И О МНОГОМ ДРУГОМ

Разоблачение божества. Средневековые китайские повести. Составитель В. А. Вельгус. Перевод с китайского, послесловие и комментарий В. А. Вельгуса и И. Э. Циперович. Ответственный редактор Л. З. Эйдлин. Москва, «Наука», 1977.

На протяжении десятков столетий в Китае существовали (да, наверно, и сейчас тайно еще существуют) «шохуажзнь» или «шошуди» — профессиональные рассказчики. Огромное

трудовое население Китая всегда было неграмотно, поэтому понятна популярность таких рассказчиков — единственных проводников и распространителей литературы, доступной для самых широких масс. На рынках, у колодцев, в харчевнях, около храма или кумирни «шошуди» рассказывали анекдоты, пересыпанные крупной солью народного юмора, забавные, страшные истории про благородных героев древности, трогательные новеллы про юных влюбленных, про лисиц-оборотней, волшебников и алчных чиновников, про прелестных и верных в любви женщин и о многом другом. Лу Синь придавал большое значение этой литературе «рынков и колодцев» и неоднократно подчеркивал ее народный, прогрессивный характер.

Творческая деятельность многих поколений этих рассказчиков шла и развивалась параллельно с работой профессиональных писателей — сначала новеллистов, затем драматургов и романистов. Длинной чередой шли века, письменная литература переживала то взлеты, то паденяя. А народные рассказчики продолжалн свою просветительскую деятельность, совершенствовали профессиональное мастерство.

Разумеется, никто не записывал рассказы «шохуажэнь», и бессчетные шедевры народных рассказчиков утрачены навсегда. Только в конце правления династии Мин (1368—1644) прекрасный литератор и редактор, любитель и знаток народного творчества Фэн Мэн-лун (1574—1646) собрал, отредактировал и издал народные повести эпох Сун, Юань и Мин, сохранив их таким образом для потомства. Всего он издал (между 1621—1627 гг.) сто двадцать повестей, разбитых на три сборника — по сорок произведений в каждом под общим названием «Сань янь» («Троесловие»).

Как известно, основой китайской повествовательной литературы была новелла, она породила — на разных этапах — повесть, драму, роман. Характерно, что и в творческом наследии основоположника современной китайской литературы Лу Синя главное место занимают рассказы. Многие литературоведы разных стран совершенно справедливо отмечают сильное влияние средневековой китайской новеллы и повести на классическую повествовательную литературу Кореи, Японии, Вьетнама.

В нашей стране издавалось много сборников китайских классических новелл и повестей разных эпох. Новый сборник, вышедший под названием «Разоблачение божества», содержнт тринадцать повестей, семь из них еще неизвестны нашему читателю.

Сюжеты средневековой китайской повести весьма разнообразны. Здесь и рассказы о героях-патриотах, и о несчастных и счастливых красавицах, о разбойниках и волшебниках, о коварных интриганах и благородных мужах.

Примером сюжета о благородном муже может служить включенная в сборник повесть «Шэнь Лянь и доклады Чжугэ Ляна». Ее герой Шэнь Лянь для всей своей жизни взял девизом слова Чжугэ Ляна: «И служению стране отдам все силы до последнего вздоха» и «Нет места под одним небом с предателями». Всю жизнь этот достойный человек, стараясь во всем походить на своего кумира, боролся со злом, несправедливостью, корыстолюбием и другими пороками, в которых погрязли имущие власть. Надо сказать, что образ Чжугэ Ляна чрезвычайно популярен в китайском фольклоре, повествовательной литературе и театре. Чжугэ Лян—историческая фигура, он был известным полководцем и политическим деятелем эпохи Троецарствия, когда на обломках рухнувшей империи Хань образовались три царства, враждовавшие между собой. Он был умен, находчив и остроумен, одно его имя внушало страх противникам. Он — один из главных героев знаменитого романа Ло Гуань-чжуна «Троецарствие» и многих пьес традиционного китайского театра.

Повесть «Разоблачение божества», по которой назван весь сборник, совсем другого рода. Применяя нынешнюю терминологию, ее можно назвать детективной: расследование коварного колдуна, соблазнившего императорскую наложницу, после многих приключений выводит на чистую воду средневековый китайский Шерлок Холмс.

В повести «Су Сяо-мэй озадачивает жениха» — новый сюжет. В ней рассказывается о замечательной девушке, «которая вряд ли имела равных себе по уму», она была младшей в славной семье Су, давшей Китаю «трех бессмертных» — Су Сюня (отец), Су Ши и Су Чэ (сыновья, братья Су Сяо-мэй). Уже в десятилетнем возрасте она писала прекрасные стихи, которыми все восхищались. Но она была девушкой, и традиционный путь к славе через экзамены был ей закрыт. Тем не менее имя ее прославлено в веках.

В этой повести рассказывается о том, как Сяо-мэй выходила замуж. Своему женниху она загадала три загадки, которые он должен был разгадать прежде, чем войти в брачный покой. По подсказке своего сметливого шурина Су Ши новоявленный Эдип разрешает последнюю, самую трудную загадку и оказывается в объятьях прелестного Сфинкса.

О благородстве и верности продажиой женщины — трогательная повесть «Знаменитый ученый-конфуцианец из-за пустяка затевает дело; твердая духом женщина идет на пытки». Это — ядовитая сатира на тех конфуцианцев, которые для достижения государственных должностей и власти готовы пойти на любые подлости и преступления.

Нет надобности говорить о всех повестях сборника, их лучше прочитать, и пусть сам читатель судит о мастерстве и остроумии средневековых китайских рассказчиков, имена которых, к сожалению, никогда не станут известны.

А. ТИШКОВ

Издано за рубежом

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ ДЖЕЯКАНТАНА

Дандапани Джеякантан. Джая джая Санкара... Мадрас, Моди прасурам, 1976 (на тамильском языке).
Дандапани Джеякантан. Манавелл манидаргаль. Мадрас, Моди прасурам, 1977 (на тамильском языке).

«Мы, индийцы, отлично понимаем, что, не будь Советского Союза, наша страна давно уже потеряла бы свободу. Поэтому мы не вправе забывать о том, что сделали в Чили с Альенде или что замышляли против Фиделя Кастро... Что же до «свободы слова», проповедуемой нашими мультимиллионерами, то я скажу так: их «свобода» нам не нужна, так же как и отвергаемый индийским народом гнет эксплуататоров. Когда я стал печатать в некоем «свободном» журнале серию правдивых статей об СССР, владельцы издания тут же воспротивились, заявив, что наша столица пока еще в Дели, а не в Москве. Я в тот же миг порвал с ними»,— так говорил крупнейший писатель сорокамиллионного тамильского народа Дандапани Джеякантан, выступая на массовом митинге летом 1975 года. Речь эта вспоминается сегодня, когда знакомишься с новым романом Джеякантана, имя которого уже известно советским читателям по ряду переводов.

Первая часть романа — «Да здравствует Санкара!..» — была опубликована в конце 1976 года, вторая — «Люди с открытыми сердцами» — вышла в начале 1977 года. Дилогия примыкает к «брахманскому циклу» писателя, создаваемому на протяжении более 15 лет и представляющему для современной тамильской литературы невиданную по широте охвата панораму жизни народа в условиях освобождения. Один из романов цикла — «Разное время, разные люди» — был удостоен высшей награды Литературной академии Индии.

«Люди с открытыми сердцами» охватывают большой круг проблем современной Индии. Действующие лица романа осмысливают вчерашнюю историю родины в свете сегодняшнего дня, но все их помыслы устремлены в будущее.

В центре первой части дилогии — образ Ади из касты неприкасаемых, которому удалось занять достаточно независимое положение в обществе. Образ Ади, принадлежащего к старшему поколению неприкасаемых, несколько условен, так как из миллионов этих обездоленных во времена британского владычества только единицы могли «выбиться в люди».

Иное дело — сын Ади. Пользуясь льготами, предоставляемыми неприкасаемым в свободной Индии, он становится студентом колледжа, но порывает с отцом из-за расхождения во взглядах. Сознавая, что кастовость все еще далеко не изжита, Ади уверен, что церковь следует слить со школой, где будут учиться дети брахманов и неприкасаемых. В результате, по мысли Ади, родится новый тип брахмана — руководителя и наставника народа. Брахман (и только он!) должен занять столь важное общественное положение в сегодняшней Индии.

В первой части дилогии читатель расставался с Ади, оставшимся в одиночестве и никем не понятым.

Нужно сказать, что южноиндийская брахманская община — специфическое историко-социальное явление в жизни Индии, и Джеякантан — первый прозаик Юга Индии, сумевший столь мастерски отразить эту малодоступную постороннему сферу жизни. Но задача писателя значительно шире и глубже. Роман затрагивает и общенациональные проблемы.

Тамильская пресса подвергла первую часть дилогии острой критике. Джеякантана обвинили в том, что в его романах «сквозит откровенный секуляризм» и «его перо стало служить интересам феодализма».

Между тем приближались мартовские выборы, и Джеякантан усиленно работал над второй частью, которая положила конец дебатам и нападкам на автора. «Люди с открытыми сердцами» — правдивый рассказ о честных и мужественных патриотах Индии, с которыми знакомится Ади.

Дом старого друга детства Ади — Синьгараяра, где он встречает своего сына, не зря называют «домом открытых сердец». Здесь находили приют и убежище борцы за свободу Индии, здесь же помещалась в свое время подпольная типография коммунистов. Рассказ Синьгараяра, издавшего в 1930 году крамольную по тем временам книгу «Почему я порвал с религией?» и за этот смелый шаг брошенного в британскую тюрьму, где он много дней провел вместе с покойным тестем Ади, открывает глаза гостю на историю индийского народа за последние десятилетия. Неторопливое повествование старика — это глубокие раздумья человека о судьбах своей родины. Он говорит о необходимости объединения прогрессивных сил, призывает к решительному отпору реакции как внутри страны, так и за ее пределами. Синьгараяр напоминает о друзьях Индии — мнимых и настоящих, о борьбе за освобождение Индии, о расправе англичан над беззащитными индийцами. «После этих расстрелов мы не могли равнодушно смотреть на белых с островов,— рассказывает Синьгараяр.— В те самые дни в нашем колледже появился

один такой профессор из Англии, чтобы читать нам лекции об эволюции человека. Не помня себя, я вскочил и закричал: «То, о чем ты вещаешь нам, болванам, туземцам, на своем языке, которого мы не понимаем, наши предки — индусы много веков тому назад изложили на родном языке. И вам, кичливым англичанам, не мешало бы поучиться у наших мудрецов... Вы извратили науку и пытаетесь извратить наши души. Да, человек произошел от обезьяны, и мы видим, что на нашу землю действительно пришли эти самые обезьяны, происшедшие от англичан!.. А убеждает нас в этом ваш обезьяноподобный генерал-убийца!..» Меня,— продолжал старик,— поддержали все ребята, а профессор трусливо бежал. С песней мы вышли на улицу».

Синьгараяр рассказывает о лучших сынах Индии: «В те годы коммунисты яснее всех сознавали, как нужна нам свобода, и настаивали на объединении честных сил страны. Коммунисты первыми стали плечом к плечу с конгрессистами, с которыми долгие годы считали прутья в английских тюрьмах... Уже в то время миллионы индийцев с надеждой смотрели на новую Россию. Над миром сгущались тучи... И тогда Россия... выступила против фашистов и спасла мир... Нелегко пришлось и нам... Англичане распространяли клевету о коммунистах, но Махатма Ганди и Джавахарлал Неру не пошли на поводу у сплетен... Сам Махатма заявил тогда народу: «Руки и совесть коммунистов чисты». После войны коммунисты первыми подняли знамя свободы, объединяли всех честных людей... Сегодня такого единения нет. Мне стыдно, что люди этого не понимают».

Перед Ади открывается мир совершенно новых людей, и он осознает главное: выход не в бегстве от жизни во вчерашнее прошлое, не в возврате к религиозным догмам индуизма. Будущее делают миллионы простых и честных людей с открытыми сердцами. Это Синьгараяр, это покойный тесть Ади — Садасива, отдавший жизнь за неприкасаемых; это молодое поколение в лице сына Ади и внучки Синьгараяра. Читатель догадывается, что сын Ади и внучка старика — коммунисты. Знает это и Ади. «Я был не прав,— говорит он сыну.— Забудь, что я когда-то наговорил тебе. Я вижу, что ты живешь среди людей с открытыми и честными сердцами. Оставайся с ними».

Так заканчивается вторая часть романа. Третья часть под названием «Отец и мать» должна вскоре выйти в свет.

Роман Джеякантана — о сознательном выборе жизненной позиции в условиях нынешней расстановки сил Индии. Лаконичный стиль, умение несколькими штрихами очертить ситуацию, стройная композиция — все это помогает достоверно воссоздать атмосферу сегодняшней Индии, показанной сквозь призму восприятия самих персонажей. «Люди с открытыми сердцами» свидетельствуют о творческой зрелости художника, выходца из бедных крестьян, сумевшего занять достойное место в тамильской литературе, которая вступила в этом году во второе столетие. Писатель с открытым сердцем, Джеякантан ясно сознает свой гражданский долг и остается верен светлым целям и идеалам, которым служит уже более четверти века.

В. ФУРНИКА

НЕСЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ ЖЕЛАНИЙ

Peter Handke. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Frankfurt-am-Main, Suhrkamp-Verlag, 1970.
Peter Haudke. Der kurze Brief zum langen Abschied. Frankfurt-am-Main, Suhrkamp-Verlag, 1972.
Peter Haudke. Wunschloses Unglück. Salzburg, Residenz-Verlag, 1972.
Peter Haudke. Die Stunde der wahren Empfindung. Frankfurt-am-Main, Suhrkamp-Verlag, 1975.
Peter Haudke. Die linkshändige Frau. Frankfurt-am-Main, Suhrkamp-Verlag, 1976.
Peter Haudke. Das Gewicht der Welt. Ein Journal. November 1975—März 1977. Salzburg, Residenz-Verlag, 1977.

Творчество прозаика и драматурга Петера Хандке (родился в 1942 г. в Австрии, живет большей частью в ФРГ и во Франции) неоднократно обсуждалось нашей критикой. Хандке — фигура показательная для нового поколения писателей ФРГ и Австрии. Он наиболее полно, а отчасти и художественно адекватно выразил то ощущение неприкаянности, всеохватывающего критицизма, бурного возмущения без позитивной программы, которое было характерно для студенческого бунта конца 60-х годов. Хандке разнообразен и изобретателен. Пишет он быстро и много. Начав печататься в 1964 году, он опубликовал около десятка пьес и радиопьес (среди них такие программные для «новой волны» и литературе, как «Каспар», 1967), сценарии, несколько романов. Хандке постоянно выступает с эстетическими манифестами и критическими статьями. При этом происходящие с ним изменения, вызванные как будто бы лишь собственным его бурным ростом, парадоксальным образом отражают не только сдвиги в умонастроениях молодого поколения, но и направление художественных поисков сверстников Хандке — писателей.

С самого начала стало ясно, что П. Хандке обладает особым чутьем к языку, и частности, к его современным стереотипам как к отражению стереотипов обыденного мышления. В уже упомянутой пьесе «Каспар» он с блестящей изобретательностью показал, как язык, его устоявшиеся штампы гасят способность к размышлению. В ряде произведений Хандке пытался оторвать

жизнь от языковых обозначений, реальность — от прикреплениых к ней обиходных формул, намекнув на бездну, едва прикрытую словами. Сосредоточившись на бессилии языка и бессилии человека, Хандке вплотную подошел к литературе «абсурда».

Однако его экзерсисы имели, как и у большинства «молодых», еще и другой, более определенный социально-критический смысл. Хандке хотел ощутить и показать жизнь, освобожденную от заезженных ритуалов, завещанного порядка, от калечащей душу демагогии.

В этом отношении интересна его проза последних лет, в частности, пять повестей, вышедших одна за другой с 1970 по 1976 год.

В прозе Хандке—иное, чем в его драматургии, внутреннее напряжение. И тут автору интересна не столько индивидуальная психология, сколько некоторые типологические черты в сознании поколения. Но если в пьесах главным был бунт этого сознания против давящего гнета «чужой» действительности, навязанной роли, «мертвого» языка (норой с этой сцены произносились яростные филиппики, прямо обращенные к зрительному залу), то в прозе конфликтны противоположные устремления человека, конфликтна сама действительность, навязывающая человеку судьбу, но и таящая в себе манящие, неясные до конца возможности.

Объясняя в одной из повестей причины перехода от драматургии к прозе, Хандке утверждал, что проза более подвижна, меньше фиксирует человека как нечто застывше-определеииое. «Если я кого-ннбудь характернзую,— признавался Хандке,— мне кажется, я лишаю его внутреннего достоинства». Личность, таким образом, в литературе и в жизни должна быть, согласно программе Хандке, свободна и подвижна, она не должна укладываться в четкие контуры социального типажа.

В 1972 году Хандке опубликовал повесть «Несчастье без желаний». Художественное напряжение, которое держит повесть, состоит в противоречии между точным описанием единичной судьбы, неповторимой (достаточно сильной и страстной) индивидуальности и тем стереотипом, который, коверкая и насилуя исходный «материал», лепит из всего этого среда, социальные обстоятельства, история. Хандке описал казус несостоявшегося, неосуществленного человека, вряд ли отдающего себе при этом отчет в драматизме произошедшего,— он рассказал о жизни своей матери.

Мать Хандке покончила с собой, приняв все имевшиеся под рукой снотворные. Чтобы проанализировать этот поступок глубже, чем сделал бы любой корреспондент, легко объясиив случнвшееся с помощью психоаналитических, социальных и всяких иных штампов, Хандке начинает издалека— со своего деда-плотника. Он был, замечает писатель, славянского происхождения и, как огромное большинство в той сельской местности, рожден вне брака, потому что стать на ноги и жениться здесь могли обычно значительно позже, чем становились мужчинами. Лозунгом всей жизни для деда стало слово «копить». Он копил еще до первой мировой войны, потом опять начал копить, потеряв все сбереженное во время безработицы начала 30-х годов, «после войны он снова принялся копить и занят этим до настоящего времени».

Действительность была неподвижиой, сонной и бедной. Все осталось «как в XIX веке». Оказаться выброшенной в эти обстоятельства и эту среду — «с самого начала смертельно». «С самого начала тебя не слышат, сама ты все меньше способна слушать, разговоры с самой собой, раздувшиеся вены, бормотанье во сне, рак матки...»

Хандке как будто лишь фиксирует вехи одной судьбы. Но факты сами собой обретают глубокий смысл. Как замечает автор, он «сопоставляет имеющийся запас общих формул для жизни женщины (заметим, что имеются в виду формулы, весьма характерные для взятой исторической эпохи.—Н. П.) с жизнью своей матери». Описывая стереотип, Хандке стремится разрушить стереотип ядеальный — тезис о том, что судьба человека обязательно неповторима. С редко встречавшейся до сих пор в литературе доказательностью он вскрывает стереотипность на примере индивидуального случая.

А иидивидуальной судьба его матери все же была. Натура, безусловно, более иезаурядная, чем большинство односельчанок, она бросила дом, ушла в город, стала кухаркой в приморском отеле, страстно полюбила человека непримечательного, так и оставшегося ев единственной любовью, чтобы впоследствии с удивлением вспоминать свою способность к подобным чувствам.

А политика? Политические событня? Шли тридцатые годы, Германия уже готова была развязать мировую войну: «Работа, развлечения, тяжело на душе, легко на душе, у Гитлера был приятный голос по радио». И это, и только это реакция на фашизм человека, научившегося самостоятельно действовать, а в какой-то мере и думать, реакция женщины, читавшей подраставшему сыну Достоевского? Хандке утверждает и соответствие описанного действительности, и распространенность подобной реакции. Писатель, сосредоточенный (вопреки самым противоречивым автохарактеристикам) на анализе связей частного сознания и идеологии, частного сознания и истории, Хандке предлагает задуматься над необходимостью пробуждения этого сознания, его ответственности за свои реакции. Если искать позитивное в этой страшной, жестокой, правдивой повести, то оно, конечно же, прежде всего в данной мысли, которая, может быть, и несет в себе сверхзадачу произведения. Иначе человек легко и без размышлений включается во «всенародный энтузиазм», раздувавшийся фашистской пропагандой, и «все до сих пор непонятное и чужое» выстраивается, наконец, в «вели-

кую взаимосвязь», поглощающую как пешку и бездумную жертву «маленького человека».

Хандке написал повесть о жизни своей матери. Он написал о том, что делает с человеком болезнь и старость, о его «животной покинутости», о иизмеином и страшном в нем самом и о высокотрагическом в этой жизни и в этом человеке. Написал о неповторимом в этой судьбе и о постоянном стремлении строптивой свободолюбивой натуры подстроиться под распространенный тип (тип молодой женщины довоенных лет, тип пожилой особы после войны), ибо так она обретала увереиность и спокойствие. Присоединение к большинству, стандартность поступков и мышления, стертость личности показаны им как опасность.

В повести 1970 года «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» предмет описания— современная повседневная действительность ФРГ. Страшное и драматическое в ней подано тоже как повседиевное, потому что если отдельные ее выплески (убийство) и экстраординарны, то их причины и следствия принадлежат к категории распространенного и баиальиого. Страшиое таится в нестрашной действительности.

В один прекрасный деиь рабочему-монтеру Блоху, в прошлом известному вратарю, объявили, что он уволен с завода. Мотивы увольиеиия неизвестны, как неизвестны Йозефу К., герою романа Ф. Кафки «Процесс», мотивы его ареста. Но то, что человека могут уволить, не объявляя ему причин,— в современной действительности случай обычный. Он уже ие пригоден для символических истолкований и не требует усилий постижения. По причинам весьма простым и очень реальным (ибо времени у него теперь сколько хочешь, а занятий нет) Блох начинает слоняться сначала по городу, а потом по маленькому местечку у самой границы. Случайио Блох заходит в кино, завязывает на языке заезженных штампов разговор с кассиршей, потом они едут к ней и после иочи и завтрака, мучимый тем, что будет мучить его потом всю повесть,— невозможностью завязать разговор, вернее, иайти хоть какой-то контакт в разговоре (он удается лишь на самом простом и конкретиом уровне: «Где ты живешь? — Во втором районе») — неожиданно душит ее. Убийство совершается не в угаре страстей, не от избыточного соприкосновения людей друг с другом, а, напротив, от отчаянья изолированности.

Повесть отличается, как всегда у Хандке, почти навязчивой пристальностью взгляда, отчетливостью деталей, «лезущих» в глаза. Художественно это оправдано не только страхом человека, который боится преследований и ареста и поэтому постоянно озирается, но и его стремлением заглянуть хоть когда-нибудь глубже лица собеседника или, скажем, увидеть в незнакомой местности больше, чем известно заранее из туристского проспекта. Движения и поступки Блоха проходят мимо сознания людей, хоть он преступник, портрет которого уже опубликован в газетах и должен, казалось бы, привлекать всеобщее внимание. Лишь куры сбегаются в огороде, куда он бросает через забор бумагу от бутерброда. Люди же лишены ответной реакции, даже когда лежат друг с другом в постели или сидят за совместной трапезой. В городке у границы, через которую он думает перебраться, Блох приглашает пообедать двух девушек-продавщиц. О чем бы он ни заговорил, они тотчас переводят речь на свои обстоятельства и беседуют с ним о них как о ему заведомо знакомом. Человек замкнут в скорлупу своего существования. В свою очередь и для Блоха реальность отодвигается все дальше, видится сквозь сетку собственного одиночества и страха.

Творчество Петера Хандке, так же как и некоторых писателей его поколения, в критике неоднократно определялось термином «новый реализм». Не все книги молодых авторов (и прежде всего самого Хандке) заслуживают этого обозначения. И все же в 70-е годы молодая литература явно предпочитает безудержному экспериментаторству углубленное постижение жизни. По сравнению с традиционным реализмом, в котором общественная закономерность была растворена в неповторимости индивидуальных судеб, молодая литература изображает закономерность как некий покров, скрывающий индивидуальное, то есть самое приметное в облике современного человека. Понимая давление нивелирующей закономерности как современные типические обстоятельства, молодая литература достигает выразительности тогда, когда ей удастся показать пульсацию личности под этим покровом, когда несчастная жизнь сохраняет муку желаний.

В прозе последних лет Хандке находит порой облегченный способ решения этой художественной и общественной проблемы. Самим сюжетом он отрывает персонажей от затянувших их обстоятельств.

В 1975 и 1976 годах вышли повести Хандке «Час подлинных ощущений» и «Женщина-левша». В обоих произведениях рассказано о самоустранении героев из, казалось бы, прочно сколоченной, продуманной, выверенной жизни. Грегору Койшнигу, культуратташе при австрийском посольстве в Париже, однажды приснилось, что он совершил убийство. Эта фиктивная причина заставляет его почувствовать себя не таким как все, отщепенцем, аутсайдером и разом нарушает его механическое существование, как нарушает сложившуюся жизнь почти не мотивированное решение героини второй повести расстаться с мужем и жить в одиночестве. Личность пытается утвердить свое право на новое, непосредственное соприкосновение с жизнью бегством. Но бегство как таковое и одиночество остаются отвлеченной формулой существования, если они не заполнены тем, что снова готово поглотить личность — жизнью, людьми. В обеих названных повестях Хандке такого заполнения не происходит. Грегор Койшниг лишь чувствует руку ребенка и краски, запахи, свежесть мира. Гармония ге-

роинн в «Жеищине-левше» неустойчива и искусственна, как искусственны вновь завязанные ею связи с людьми, как искусственна в целом эта изящная повесть.

Несколько раиее, в 1972 году вышла повесть Хандке «Короткое письмо на долгую разлуку». Характерная для прозы Хандке альтернатива фиктивиой или истиниой жизни связывается в ией с выбором между одиночеством, изолированностью или спасительными связями, рождающимися между людьми в простом и естественном существовании. В целом это повесть о муке покинутости, но и о возможности сохранить собственное лицо, отдав себя людям. Многое в сюжете кажется невероятиым, почти фантастичным. Достоверна повесть лишь в описании состояний автобиографического героя. В этой своей части проза Хандке неоспоримо подлиииа, а с другой стороиы, представительиа, ибо и герой и писатель Хандке — это, несомиенио, типы. (В жизни Хандке типичен даже в своей наружности: в конце 60-х годов он носил длиниые подстриженные под горшок волосы, брюки с широчайшим клешем, рубашки с броским рисунком, ничем ие отличаясь от студенческого типажа тех лет.)

Действие происходит в США и иачинается в отеле чужого для героя города. Повествование идет от первого лица, в котором постепенно угадываются черты автора. Мучимый одиночеством, тоской, бессмыслицей всего, что мелькает вокруг, герой звонит своей давней знакомой, и та предлагает ему отправиться в путешествие с ней и ее маленькой дочкой. В открывшейся череде дней героя успокаивает ритм жизни, в который он включается. Сборы, заботы о девочке, остановки в пути, обеды, ужины, беседы в доме «влюблеиных» (мужа и жены, которые прожили в неомрачеином счастье много лет) — все полно смысла, потому что включает «других» в обзор одного человека.

В душе героя и в повести в целом борются две идеи. С одиой стороны, он паиически боится быть подстриженным под общую гребенку и внутрение топоршится, стави превыше всего свою индивидуальность (позиция, знакомая по прежиему творчеству Хандке).

Но, с другой стороны, в повести, как никогда раиее, чувствуется и обратиое устремлеиие — к устойчивости, определенности, обшей для многих правде. Устойчивость привносится в повести дружеской открытостью, любовью. Ненависть влечет за собой неустойчивость, взрывы, метания.

В конце противоположные идеи сведены в один узел. После встречи с Юдифью, бывшей возлюблениой, проявившей по отношеиию к герою фаитастическую изобретательиость в иеиависти (само имя героини — опознавательиый зиак: библейская Юдифь, убившая Олоферна), виезапио выясняется, что для вражды у людей меньше оснований, чем им кажется. Пара попадает к прославленному американскому режиссеру Джону Форду, уже старику. Наступает своего рода просветление: Форд рассказывает о человеческих судьбах и объясняет, что все его творчество питалось ими. Главное, по миению режиссера, не отделять себя от других. «Мы» важиее «Я». Мысль автора, безусловно существеиная для него, ищет здесь, как мие кажется, лишь повод для своего выражения. «Я ие могу больше быть один»,— пишет Хандке, и это ощушеиие — то живое и подлиниое, что есть в произведеиии.

В многочислеиных интервью П. Хандке последнего времеии, в его диевииковых записях, собранных под названием «Вес мира» (1977), все чаше говорится о невозможиости понимать жизнь как «тотальиую иегативность» (термин известного философа и эстетика Т. Адорио). Еще недавио бунтарь и ниспровергатель, неиавидевшиий клише и шаблоиы, Хандке с ходом времени почувствовал и шаблонность еще недавно исповедовавшегося им самим абсолютиого отрицания. «Отрицая отрицаиие», он часто ратует теперь ие только против ангажироваиности, но и против социальио-критического значеиия художественного творчества вообще. Но не будем ловить на слове этого противиика всякой окоичательиости и любой абсолютной ясности. Отметим лучше его желание воспринять традицию классики (Гёте, Г. Келлер). Присмотримся к изменениям, происходящим в самом его художественном творчестве.

Из книги в книгу Хандке пытается связать воедино два вопроса: проблему человеческой общиости и проблему подлинного, исполнеиного смысла существования. Первое кажется ему теперь гараитом второго. Художественной убедительности этот писатель достигает тогда, когда искусственное, обезличенное существование сталкивается в его прозе «с шумом и яростью» жизии.

Н. ПАВЛОВА

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

НОВЫЙ СБОРНИК СТИХОВ

«Три золотых великана»— так называется новая книга стихов современного прогрессивного поэта Австралии Виктора Уильямса. Газета «Соушиалист» отмечает высокую оценку, которую дали этой книге критики, присутствовавшие на вечере, посвященном выходу в свет нового сборника. Писатели, драматурги, представители профсоюзов, члены социалистической партии Австралии тепло говорили об авторе и о его новой работе.

В течение сорока лет Виктор Уильямс, автор более десятка поэтических сборников, был активистом рабочего движения, многие годы проработал на верфях Фримантла. Темы и образы его стихов близки и понятны простым труженикам.

В годы напряженных классовых боев стихи Уильямса переписывали от руки и распространяли среди рабочих, призывая их к борьбе и верности своим идеалам. Созданные в самые ответственные моменты истории, они продолжают волновать читателей и в наше время, выражая уверенность в полной победе над эксплуатацией и войной.

Виктор Уильямс — один из выдающихся поэтов рабочего класса. Его стихи полны революционного оптимизма, любви к людям, преданности делу рабочего класса.

К. С. Причард писала о В. Уильямсе: «Он соединяет в своем творчестве страстную любовь к своей земле, к простым ее труженикам, которых хорошо знает и понимает. В этом, как мне кажется, заключается редкое и ценное качество поэзии Виктора Уильямса».

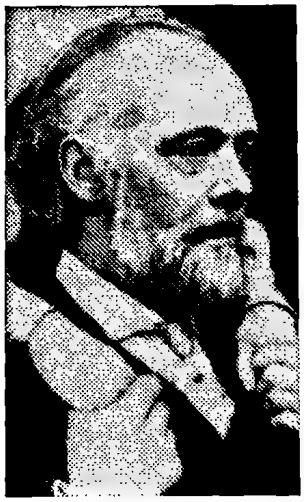
АНГЛИЯ

«ПОДЛИННОЕ ОТКРЫТИЕ 70-Х ГОДОВ»

Творческая судьба Барбары Пим сложилась необычно. Писать она начала еще в конце сороковых годов. Но в ту пору ее книги или отвергались английскими издателями, или получали весьма сдержанный, а иногда и холодный прием. По мнению известного поэта Филипа Ларкина, посвятившего Барбаре Пим большую статью в «Таймс литерари саплмент», она «самая недооцененная английская писательница, вступившая в литературу после войны».

Издательство «Кейп» выпустило сразу два ранних романа писательницы: «Великолепные женщины» (1955) и «Стакан, полный благословений» (1958). А издательство «Макмиллан» опубликовало ее новый роман «Квартет осенью», встретивший весьма теплый прием как критиков, так и читателей. Барбара Пим пишет о замкнутом мирке английской провинции, об одиноких и обездоленных людях, пишет с юмором, иногда сарказмом, но всегда — с сочувствием. Ее внимательный, зоркий взгляд напряженно всматривается в характеры персонажей, видит в непреклонности и нетерпимости молодости будущее одиночество, в притворном благочестии — цинизм и лицемерие. Ее произведения, пишет Эйн Дюшен в «Таймс литерари саплмент», можно назвать классическими английскими романами, весьма напоминающими по манере книги Джейн Остин и Элизабет Гаскелл.

В «Квартете осенью» действуют четыре главных героя. Каждый из них по-своему одинок и по-своему мужествен. Эдвину, Летти, Марции и Норману — за шестьдесят. Живут они под одной крышей, каждый ведет свое небольшое хозяйство. У всех у них, за



По сообщению газеты «Морниг стар», в лондонском театре «Риверсайд студиоз» состоялась премьера спектакля по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Режиссер спектакля Питер Гилл. «Этот замечательный спектакль,— пишет рецензент газеты «Мориинг стар»,— еще раз показал английским зрителям, почему Чехов — великий драматург. И что еще более важно, он возродил потерянную было веру в жизнеспособность театра». Рецензент отмечает превосходный перевод пьесы Эдвардом Брауном.
На снимке: Филип Лок в роли Гаева.

(Газета «Морнинг стар»)

исключением Эдвина, нет семьи. Герои этого романа связаны родственными узами с персонажами других книг Барбары Пим. И, таким образом, пишет Эйл Дюшен, «возникает камерный эпос грустной человеческой жизни, в которой большие чувства погребаются под мелочами быта». Английские критики единодушно считают, что Барбара Пим — «подлинное открытие 70-х годов».

«ЧУДО-СОБАКА» РИЧАРДА ХЬЮЗА

«Чудо-собака» — посмертный сборник рассказов для детей маститого писателя Ричарда Хьюза, известного советскому читателю антифашистскими романами «Деревянная пастушка» и «Лисица на чердаке».

Все рассказы, за исключением «Чудо-собаки», давшего название книге, были опубликованы ранее.

По мнению М. Баррз в «Таймс литерари саппмент», очень ценным в этой публикации является предисловие самого Р. Хьюза, написанного им незадолго до смерти. Из него читатель узнает, как создавались рассказы: в своем большинстве они были предназначены для устного изложения, писатель просил своих маленьких слушателей вносить необходимые, по их мнению, поправки в повествование.

Мир рассказов Ричарда Хьюза — мир фантазии, где все возможно и все подчиняется своим «неразумным» законам. Рассказы, отмечает рецензент, очень коротки, динамичны, язык прост и в то же время образен.

БЕЛЬГИЯ

ЭПОПЕЯ О БЕЛЬГИЙСКОМ ПРОЛЕТАРИАТЕ

«Год 1901-й» (издательство «Арбайдерсперс», 1977) — так назвал свой новый роман широко известный бельгийский писатель Луи Поль Боон, который, по мнению бельгийских критиков, может претендовать на Нобелевскую премию по литературе. Этому роману, а также ряду предыдущих, тоже посвященных описанию жизни и росту социалистического сознания передовых представителей рабочего класса Бельгии, посвящена большая статья в газете «Де ваархейд».

Луи Поль Боон (род. в 1912 г.) обращается к жизни трудовых слоев населения Фландрии, преимущественно ее восточной части. Острая классовая борьба, социальные конфликты между рабочими и капиталистами составляют тему его романов сороковых годов «Предместье подымается» (1943) и «Забытая улица» (1946). Наибольшего художественного совершенства писатель достиг в романе «Путь к часовне» (1953), в котором безжалостно разоблачает пороки капиталистического общества, его эксплуататорскую сущность, лицемерие, ханжество.

В романе «Питер Даенс» (1971) Боон от лица журналиста Питера Даенса описывает драматические перипетии борьбы рабочего класса за свои права еще в конце XIX века. Местом действия этой книги является небольшой промышленный городок в восточной Фландрии — Алст. И в последующих произведениях— «Черная рука» (1976) и в новом романе «Год 1901-й» — действие развивается все в том же Алсте. Писатель обращается к полицейским архивам города и в них находит очень интересный познавательный материал по истории анархистского движения в Бельгии, по истории образования социалистических революционных кружков.

Роман «Год 1901-й» не обладает единым сюжетным стержнем, он распадается на ряд жанровых бытовых очерков. Из полицейских архивов, донесений агентов, из судебных протоколов черпает автор книги материал, который неоспоримо доказывает, как капиталистическая эксплуатация, скудные, полунищенские условия существования доводят рабочих до отчаяния и толкают их даже на преступление. В описаниях драматических событий, скандалов, кровавых драк есть «нечто брейгельянское», замечает автор статьи и добавляет, что чрезмерно пристальное внимание к бытовым сценам зачастую ослабляет социальное значение романа по сравнению с его предыдущими книгами, такими, как «Путь к часовне» и «Питер Даенс».

Все же, несмотря на эти недостатки, резюмирует автор статьи, весь архивный, строго документированный, художественно обработанный материал обладает такой убедительностью, что в целом создается впечатляющая картина более чем столетней борьбы бельгийского пролетариата за свои насущные права.

На репетиции комедии немецкого драматурга Курта Барча «Канат». Исполнители основных ролей актеры Таамаш Йордан, Тери Тордан и Мария Байчаи.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

НАРОДНЫЙ ТЕАТР В БУДАЙСКОЙ КРЕПОСТИ

Вот уже несколько месяцев, как распахнул свои двери новый столичный театр, носящий название Государственного Народного театра. Театр размещается на территории Будайской крепости, в здании бывшего крепостного театра, что связано со знаменательным событием в истории венгерской культуры.

Именно здесь в октябре 1790 года состоялась премьера драмы писателя и ученого Криштофа Шимаи «Игазхази», впервые прозвучавшей на венгерском языке, хотя государственным языком уже был немецкий, отмененный лишь в 1843 году. Спектакль поставлен Театром Ласло Келемена — первым постоянным венгерским театром Венгрии. В 1800 году в помещении этого театра давал концерты Бетховен.

С театром в Будайской крепости связано и рождение Национального театра Венгрии, которое относится к середине XIX века. А с начала XX века вплоть до первой мировой войны спектакли Национального театра проходили здесь еженедельно.

В 1945 году во время боев за освобождение Будапешта Будайская крепость была очень сильно разрушена.

На снимке: афиша спектакля по пьесе Криштофа Шимаи «Игазхази», состоявшегося 24 октября 1790 г.

Нигде в Венгрии не пострадало столько домов, как здесь. И вот теперь, когда закончилось восстановление всей крепости, дома этого района приобрели свой первоначальный, средневековый, облик.

Новый Народный театр — это большой творческий коллектив, в его труппу входит сто восемьдесят профессиональных актеров, он имеет свою студию.

«В Народном театре,— рассказал на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика» его директор, известный венгерский писатель и драматург, депутат Парламента Ласло Дюрко,— сейчас две труппы: драматическая и опереточная, а с осени к ним прибавится хореографическая. Не исключены спектакли, в которых будут заняты актеры всех трех трупп.

Идейная и художественная направленность театра определяется актуальными проблемами современности и традициями шекспировской драматургии. Практика показала,— отмечает Дюрко,— что лучшее эмоционально-эстетическое воздействие на зрителя оказывают восходящие к глубокой древности такие художественные средства, как декламация, музыка, песня. Но театр будет использовать и новаторские приемы в области режиссерского искусства».

Сейчас в репертуаре Народного театра такие пьесы, как драма Дюлы Гернади «Эндре Байчи-Жилински» (см. «ИЛ» № 12, 1977), драма Жигмонда Ременика «Дьивольский пир по случаю убоя свиньи», комедия немецкого писателя Курта Барча «Канат», пьеса советского драматурга Евгения Шварца «Обыкновенное чудо».

ГРУСТНЫЙ КОНЕЦ ПОУЧИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Книга венгерского писателя Г. Дёрдя Кардоша «Конец истории» (1977) посвящена необычной теме. Необычной, правда, лишь для художественной литературы — в публицистике эта тема занимает в наше

время одно из первых мест. Речь идет об Израиле — о жизни, самочувствии, настроениях съехавшихся туда из многих стран мира людей. Самое ценное в книге Кардоша, пожалуй, то, что израильская действительность показана глазами не стороннего наблюдателя, а очевидца и участника происходящих в стране событий. Герой книги, от лица которого ведется этот правдивый рассказ,— бывший солдат израильской армии, не так давно еще веривший в будущее этой страны. Не прибегая к каким-либо хитрым приемам, просто и убедительно автор описывает сложнейшую обстановку, которая возникла в молодом государстве вследствие крайней разнородности его человеческого состава. Собравшихся здесь с разных концов мира, различных по своим обычаям, укладу, убеждениям, по языку, даже по цвету кожи людей, долженствующих стать единой нацией, объединяют чаще всего лишь такие призрачные вещи, как древняя, полумифическая общность происхождения да надежда обрести некую «историческую» родину. Собрать в одно целое этот расползающийся по швам конгломерат и призвана была националистическая доктрина «великого Израиля», породившая культ войны, пробудившая в людях темные инстинкты. Через восприятие своего героя автор заставляет читателей увидеть, с какой бесчеловечной жестокостью изгоняются со своих наделов, из своих хижин мирные арабы, как становятся убийцами ослепленные шовинизмом люди, как националистические предрассудки расшатывают моральные устои, превращая человеческий коллектив в сообщество преступников...

Со смятенным, опустошенным сердцем смотрит герой книги на то, что происходит вокруг. Для него это — действительно конец истории, расставание с надеждой, которая оказалась иллюзией. А для читателя произведение — «актуальное, мрачное предупреждение,— пишет в рецензии на книгу в журнале «Критика» Рафиш Г. Хайду.— Книга не является ни антиизраильской, ни проарабской. Она гуманистична, направлена на защиту человека».

ГВАТЕМАЛА

СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ РОМАНА АСТУРИАСА

Известный советскому читателю роман гватемальского писателя Мигеля Анхеля Астуриаса «Сеньор президент» переработан для театра видным драматургом и театральным деятелем Уго Каррильо, которому удалось подчеркнуть современное звучание романа, впервые увидевшего свет еще в 1946 году, отразить трагическую действительность под гнетом реакционных диктатур во многих латиноамериканских странах.

Инсценировка романа «Сеньор президент» впервые была показана театром Народного университета в Гватемале, потом — в разных странах Латинской Америки.

По свидетельству прогрессивной латиноамериканской печати, успех последней работы Каррильо снова подтвердил актуальность романа Мигеля Анхеля Астуриаса.

ГДР

ПОКАЗЫВАЕТ ЛЕЙПЦИГ

Десять тысяч книг представила Германская Демократическая Республика на весенней Лейпцигской ярмарке. Среди них три тысячи новых.

Видное место занимают произведения современных писателей: стихи Эвы Штриттматтер, 2-й том романа Эрика Нойча «Мир на Востоке», стихи и переводы Франца Фюмана, книга воспоминаний Гедды Циннер «На красном ковре», роман Гюнтера Гёрлиха «Объявление в газете», рассказы Вольфганга Кольхаазе «Новогодний вечер с Бальзаком». Много внимания уделено произведениям Брехта и книгам, посвященным его творчеству. (Как известно, 80-летие Брехта широко отмечается в этом году.)

На выставке представлены и книги классиков. Пресса выделяет произведения Клемента Брентано и Иоганна Готфрида Гердера, юбилеи которых тоже отмечаются в 1978 году, и книги иностранных авторов: письма Вольтера, выход которых приурочен к его 200-летию, и первый том собрания сочинений Василия Шукшина.

К 30-летию образования Германской Демократической Республики «Дид-ферлаг» издает «Историю СЕПГ», первый выпуск которой могли уже увидеть посетители выставки.

В ярмарке приняли участие 11 социалистических стран, Франция, Англия, Япония, Швейцария, ФРГ, Австрия, Нидерланды, США и другие страны.

Пресса ГДР поместила большие статьи, посвященные Лейпцигской ярмарке. Вышел специальный номер еженедельника «Зонтаг», поместивший рецензии на новые книги, интервью с главным редактором издательства «Миттельдойчер ферлаг», обзоры детской литературы и литературы по искусству, иностранной и научной литературы. В «Зонтаге» помещен большой отрывок из третьей части романа Эрвина Штриттматтера «Чудодей», который выходит в издательстве «Ауфбау».

«ФИЛОКТЕТ» ХАЙНЕРА МЮЛЛЕРА

«Дойчес театер» в Берлине поставил пьесу известного драматурга Хайнера Мюллера «Филоктет». К образу Филоктета — одного из героев Троянской войны — не раз обращалась мировая литература. Самое значительное произведение на эту тему — драма Софокла «Филоктет». Хайнер Мюллер взял за основу историю тя-

На снимке: сцена из спектакля «Филоктет». В роли Неоптолема — Роман Каминский, в роли Филоктета — Александр Ланг.

(Журнал «Театер дер цайт»)

жело ранеиного воеиачальиика Филоктета, которого греки высадили иа острове Лемнос и оставили там. Но поскольку Филоктет владел оружием Геракла и по предсказаниям только благодаря ему и этому оружию грекн должны были взять Трою, за Филоктетом посылают Одиссея вместе с сыном Ахилла — Неоптолемом. В своей драме Мюллер отошел от мифологического сюжета и придал событиям древиости современное звучание. Ои поставил вопросы морали, гуманизма, истиииых и фальшивых идеалов. Рецензеиты называют драму «Филоктет» «иастоящей антивоенной драмой».

В пьесе всего три действующих лица. Исполиители этих трех ролей — актеры Александр Лаиг, Роман Каминский и Кристиан Грасхоф — сами являются и режиссерами и постановщиками спектакля.

«Это очень интересная, запоминающаяся постановка»,— пишет рецеизент ежеиедельника «Зоннтаг».

ФРГ

НОВЫЕ ИСТОРИИ АЛЕКСАНДРА КЛЮГЕ

Александр Клюге широко известен не только как писатель, ио и как одии из крупнейших западногерманских кииорежиссеров, поставивший более двадцати фильмов. И в композиции его «Новых историй» (книга имеет подзаголовок «Тревоги времеии») есть иечто иапоминающее кинематографический монтаж. Оиа как бы составлена из миожества мелких разнородных фрагментов.

«Если попытаться как-то расчлеиить тот огромный материал, который содержится иа шестистах с лишиим страницах этой книги, — пишет в газете «Фрвикфуртер альгемайие» Михаэль Целлер,— то в ией можио выделить четыре осиовиых раздела. Прежде всего это расписанная по минутам хроника бомбардировки города Хвльберштадта британской авиацией в апреле 1945 года. Клюге, родившийся здесь в 1932 году, пережил разрушение города еще мальчиком-подростком, а затем исследовал это событие документально во всех подробиостях. Он описывает судьбы отдельиых людей, их попытки спастись, выжить, а затем и забыть пережитое, чтобы ие мучить свою память.

Другой раздел — рассказ о иацистском коицентрациоином лагере Лангенштайи в окрестиостях Хальберштадта. Здесь бесчинствует оберштурмбанфюрер СС Мадлох, разработавший свою «научную» теорию по уничтожеиию людей «посредством труда». Ои дожидается поры, когда после «окончательиой победы» концлагерь Лаигенштайи стаиет тем местом, где этот бред претворится в действительность.

Третий круг тем связаи с областью юстиции. Клюге, сам по образованию юрист, со зиаиием дела использует здесь судебные протоколы. Ои рассказывает о человеческих драмах, которые стоят за их сухими строчками.

Но самое большое место в книге занимают истории об ученых, о современных исследователях в различных областях зиания. Писателя прежде всего интересует этика этих людей, иаучная и гражданская; ои особеиио чувствителеи к самым незаметиым порой иравствеиным

изъянам. Характерный пример — рассказ о социологе, исследующем пути разных людей к карьере. Осуждая на бумаге беззастенчивость карьеристов, он сам грешит против совести, лишь бы пробиться «наверх».

Рецензент «Франкфуртер альгемайне» отмечает, что интерес к нравственным проблемам вообще объединяет разнородный материал этой книги.

Поэт Гаис Магнус Энценсбергер, рецензирующий книгу Александра Клюге в журнале «Шпигель», указывает на своеобразие писательской манеры автора. «Его книга производит впечатление поля, усеянного обломками. Формальным принципом повествования является катастрофа. Использованы всевозможные формы повествования: документы, семейная хроника, интервью, анекдот, биография, протокол заседания, классическая новелла, исследовательский отчет. Среди героев Клюге, отмечает рецензент,— рабочий, адвокат, телохранитель, «королева красоты», медсестра, вице-адмирал, проститутка, ракетный техник и так далее. «Едва ли не всем им пришлось пережить какое-либо потрясение, и они упорно пытаются восстановить разрушенную цельность мироощущения»,— пишет Энценсбергер. Эти слова можно отнести и к попытке самого Клюге создать цельную картину жизни из мозаичного материала.

РЭЙ БРЭДБЕРИ О РОЛИ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Известный американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери дал интервью западногерманскому журналу «Шпигель», в котором поделился своими взглядами на роль научно-фантастической литературы в современном мире. По его мнению, научная фантастика интересуется не столько будущим, сколько современными проблемами. «Но, говоря о сегодняшнем дне, она меняет день завтрашний. Не может быть никакого будущего, если активно, со всей фантазией не формировать его уже сейчас».

На вопрос журнала, как влияет научная фантастика на современный мир, Брэдбери ответил: «Она вызывает у подрастающего поколения желание проникнуть в тайны мира и изменить его... Когда мне было десять лет, я узнавал про Марс из книг Эдгара Райса Берроуза, Джона Картера и других. А когда мне было пятнадцать лет, прочел о межпланетных полетах у Герберта Уэллса. И я решил, что приму участие в этой работе, когда подрасту».

По убеждению писателя, современная космонавтика многим обязана научной фантастике. «И если мы побывали на Луне, то этим мы тоже обязаны научной фантастике».

Брэдбери отметил, что в самое последнее время интерес к научной фантастике сильно возрос. «Люди стали относиться к ней серьезнее. Интерес детей передался учителям».

ИНДИЯ

ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ

«Призыв к единству всех писателей-демократов» — под таким лозунгом проходило в городе Джабалпуре, крупнейшем промышленном центре Индии, заседание исполкома Ассоциации прогрессивных писателей штата Мадхья-Прадеш под председательством руководителя писательской организации штата известного писателя-сатирика хинди Харишанкара Парсаи. В заседании приняли участие многие видные литераторы: поэт Трилочан Шастри, прозаик Камла Прасад, критик Шьямсундар Мишра и другие. На заседании было принято решение провести в крупнейших городах штата ряд мероприятий, направленных на укрепление и расширение организации и повышение ее влияния в массах.

В резолюции говорится: «Мы, прогрессивные писатели, должны подчинить свое творчество интересам своего народа, свою жизнь посвятить служению ему. Будущее творческих сил страны неразрывно связано с его борьбой за основные свободы, за лучшую жизнь...»

ИРАК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «АТ-ТУРАС АШ-ШААБИ»

По сообщениям иракской прессы, редакция журнала «Ат-Турас аш-Шаабн», издаваемого Центром по изучению фольклора при министерстве информации Ирака, выпустила специальный номер, посвященный фольклору стран Магриба.

Среди материалов, помещенных в номере, статьи «Волшебная сказка в Западном Алжире», «Свадебные обряды в Тунисе», «Марокканская народная музыка», «Музыкальное наследие и песни Ливии», а также краткий очерк о народной песне горцев Атласа и сравнительное исследование марокканских и иракских пословиц. Номер содержит также рецензии на книги и подробную информацию о IX Международном фестивале народного искусства, состоявшемся недавно в Тунисе.

ИТАЛИЯ

ГЕРОИ А. П. ЧЕХОВА НА ГОЛУБЫХ ЭКРАНАХ ИТАЛИИ

О молодом режиссере Джанни Амелио после его «Города Солнца» — телефильма о выдающемся писателе и философе-утописте XVII века Томмазо Кампанелле (см. «ИЛ» № 4, 1976) — заговорили в стране как об одном из самых ярких телережиссеров. Последняя его работа — телепостановка по мотивам четырех рассказов А. П. Чехова. Сюжетную основу составляет рассказ 1886 года «На путн», который и дал название всему телефильму. Выбор этого литературного

На снимке: кадр из телефильма «На пути».

(Газета «Унита»)

источника режиссер объясняет прежде всего своей огромной любовью к Чехову, а также тем, что этот рассказ очень хорошо, по его мнению, поддается переводу на язык голубого экрана.

«Очень трудному и прекрасному рассказу,— говорит Амелио,— я попытался придать форму новую, в высшей степени соответствующую духу чеховского письма».

Создать фильм для огромной зрительской аудитории в доступной для нее форме, не упрощая литературного первоисточника, вот к чему стремился и чего, как он надеется, достиг Амелио в этой своей работе.

Дальнейший замысел режиссера, которым он поделился с корреспондентом газеты «Унита»,— создать двухсерийный фильм для большого экрана, и вновь на основе литературных произведений А. П. Чехова.

КОНГО

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

Большая литературная премия президента Республики за 1977 год присуждена писателю Сильвэну Бембе, прозаику и драматургу.

Сильвэн Бемба родился в 1934 году, был журналистом, долгое время возглавлял Конголезское агентство информации. В 1956 году начал печатать рассказы под псевдонимом Марсналь Малинда, а пьесы — под псевдонимом Мишель Бельвэн. В 1963 году его рассказ «Черная комната» получил первую премию французского журнала «Прёв» за лучший африканский рассказ на французском языке, в 1969-м его пьеса «Ад — это Орфей» получила третью премию на конкурсе африканских радиопьес. В последние годы С. Бемба издал пьесы «Человек, убивший крокодила» (1972) и «Черная тараителла и белый дьявол».

В статье, посвященной присуждению премии Сильвэну Бембе, опубликованной в еженедельнике «Этумба», органе Конголезской партии труда, говорится, что Сильвэн Бемба — это писатель, который уделяет большое внимание социальным проблемам своего времени, писатель, много сделавший для развития конголезской литературы.

НИДЕРЛАНДЫ

«ПАСТОРАЛЬ СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА» — НА ЭКРАНЕ

Газета «Нойе Роттердамсе курант» поместила 9.VII 1977 г. интервью с кинорежиссерами Вимом Ферстаненом и Пимом Де ла Парре, которые завершают съемки фильма по знаменитому антифашистскому роману крупнейшего нидерландского писателя Симона Вестдейка. Роман этот — «Пастораль сорок третьего года» — вышел в русском переводе в издательстве «Прогресс» в серии «Мастера современной прозы» в 1973 году.

Режиссеры указали, что они не только стремятся воссоздать условия национальной трагедии нидерландского народа, порабощенного нацистскими оккупантами, но и показать на ярких примерах моральио-психологическую эволюцию человека, живущего под террористической властью оккупантов. Фильм поставлен с большим размахом, в нем крупные массовки, много действующих лиц, до деталей воспроизведена бытовая обстановка 40-х годов. Режиссеры в беседе с корреспондентом газеты привели любопытный пример реакции амстердамцев на съемки картины. Когда съемочная группа прибыла на Центральный вокзал и у входа в него встал актер, одетый в форму эсэсовца, среди находившихся там людей началась паника и были даже попытки физической расправы с «фашистом».

Кинофильм «Пастораль сорок третьего года» должен выйти в ближайшее время на экраны страны.

ПОЛЬША

«БЕСЕДЫ С ПАЛАЧОМ»

Газета «Трибуна люду» поместила рецензию на спектакль «Беседы с палачом», поставленный в театре «Повшехны» Анджеем Вайдой. В основу спектакля

легла книга недавно умершего Казимежа Мочарского. Как пишет рецензент газеты «Трибуна люду» Михал Мисёрный, «книга Казимежа Мочарского «Беседы с палачом» является событием исключительным в польской «литературе факта».

Казимеж Мочарский, по профессии юрист, занимавшийся журналистикой, в годы войны принимал деятельное участие в польском Сопротивлении. После войны он по ложному обвинению был заключен в тюрьму и попал в одну камеру с гитлеровским военным преступником Юргеном Штроопом, генералом СС, палачом, уничтожившим варшавское гетто и возглавившим операции по массовым убийствам людей в Советском Союзе и на Балканах.

День за днем проводил Мочарский беседы со Штроопом, воспроизводя «жизненную карьеру» эсэсовца, доискиваясь до причин, приведших часть немцев к страшным преступлениям против человечества.

Материалы, полученные в результате бесед, автор будущей книги расположил в хронологическом порядке, в соответствии с историческими событиями. Начало книги относится к тем временам, когда Гитлер пробивался к власти, потом мы видим Штроопа в канун 1939 года и в годы войны, заканчивается книга показом разгрома третьего рейха. Автор намеренно сохраняет форму, ритм, колорит этих необычных диалогов, не подвергает их литературной обработке, благодаря чему у читателя складывается впечатление, что он присутствует сам на этих беседах.

Это необычное, многомесячное интервью воскрешает облик гитлеровского убийцы во всех его проявлениях. Вот он вспоминает о своем «творческом» участии в «гроссакции Варшава», тщательно описывает все подробности этой чудовищной операции по уничтожению варшавского гетто, как потом он вернулся в свою квартиру, с удовольствием принял ванну и съел превосходный ужин с ощущением человека, хорошо исполнившего свой долг. С такой же тщательностью, как описывал он все подробности уничтожения гетто, Штрооп перечисляет, что ел тогда на ужин.

Анджей Вайда, поставивший на малой сцене театра «Повшехны» спектакль «Беседы с палачом», не добивался сценических эффектов; как пишет Михал Мисёрный, «спектакль основывается только на фактах, он скуп в сценических средствах», это скорее урок истории, попытка создания психологического портрета гитлеровского убийцы. Станислав Зачык, исполняющий роль Юргена Штроопа, как отмечает рецензент, прекрасно справился с ролью.

Его Штрооп неоднозначен: циничный и наглый, он вместе с тем наделен сметливостью, незаурядными организаторскими способностями и беспредельной уверенностью в себе и в своих действиях

показывае
сивость и
леровског
глядывает

Как отм
ловский
«Жиче л
удалось
ющий об
звериным
верой в ф
ненависть
укладыва
ставления

Збигнев
инсценир
роли М
образ ум
ного чел
силу тра
тельств вы
диться в
лачом сво

КОНЧИНА
СТАНИСЛ

Умер
Всн польс
нулась на

В театре «Вспулчесны» во Вроцлаве с у
такль «Театральная повесть об Александ
ленный по пьесе Александра Штейна «
На снимке: Ежи Шейбаль в роли Алекса
жына Крукувна-Фрымар в роли Ольги.

гося польского писателя, журналиста, переводчика.

Из богатого литературного наследия писателя наиболее известны его романы «Боденское озеро», «Прощания», «Путешествие», «Диснейлеид». В Советском Союзе в издательстве «Прогресс» издан его однотомник, куда вошли романы «Прощаиие», «Диснейленд» и рассказы.

Станислава Дыгата можно назвать писателем одной темы, во всех своих произведениях он выводит героя, который стремится в любых обстоятельствах быть честным не только перед самим собой, но и перед людьми, хочет разобраться в происходящем вокруг, вмешаться, сделать жизнь лучше. Дыгат показывает жизнь во всех ее сложностях и противоречиях, часто ставит своего героя в парадоксальные ситуации. Он не щадит своего героя, не скупится ни иа иронию, ни на гротеск и вместе с тем утверждает, что человек должен быть активным участником и строителем реальной жизни, а не сторонним наблюдателем.

Как пишет еженедельник «Жиче литерацке», «Дыгат обладал даром сатирика, но сатирика, наделенного неповторимым лиризмом; он при всей своей ироничности и насмешливости мог всегда разглядеть человеческую потребность в любви; иронизируя над своими героями, он всегда глубоко сочувствовал им».

Герои Станислава Дыгата — ничем не выделяющиеся, рядовые люди. Писатель изображает действительность через их восприятие. Но он отнюдь не бытописатель, он целиком поглощен осмыслением морально-философских вопросов современности.

США

НОВАЯ КНИГА ФРЕДЕРИКА МАЙФРЕДА

Вышедший в начале этого года новый роман Фредерика Майфреда — двадцать третья по счету книга писателя. По словам обозревательницы еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» Х. Сэндберг, «Зеленая земля» — так называется этот роман — «производит впечатление животворного оазиса в пустыне сегодняшней американской литературы, которая преподносит нам, читателям, либо беспомощную неуверенность, либо бесчисленные убийства».

«Зеленая земля» повествует об американском Среднем Западе начала нынешнего столетия, о семье небогатых фермеров, арендующих небольшой клочок земли. В центре романа — судьба мальчика по имени Фри (Свободный), который, взрослея, учится видеть и постигать красоту окружающего его мира «зеленой земли». По мнению рецензентки, отличительной чертой стиля Майфреда является непринужденность и правдивость в изображении описываемых им будней простых американских тружеников. Майфред воссоздал доподлинную картину их жизни, продолжает Х. Сэндберг,— с ее радостями и горестями, удачами и неудачами. Несмотря на большой объем (в книге более семисот страниц), она читается легко, с интересом. Рецензентка видит достоинство книги Манфреда в том, что писателю удалось рассказать о самых, казалось бы, малозначительных в своей повседневности эпизодах из жизни фермерской семьи очень естественно, непретенциозно. «Так, любовные сцены,— отмечает Х. Сэндберг,— у Манфреда ничего общего не имеют с полупорнографическими «постельными эпизодами», которыми изобилует сегодня американская литература. И даже брань, которая иногда срывается с уст героев Манфреда, не звучит так отвратительно, как нецензурные слова, которыми сегодняшние наши писатели обильно пересыпают речь своих персонажей».

В «Зеленой земле» Манфред, по мнению рецензентки, поднялся до подлинных высот писательского мастерства. «Временами прозу Манфреда,— пишет в заключение Х. Сэндберг,— можно сравнить с прозой Томаса Вулфа».

ВОСПОМИНАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО СОЛДАТА

Вооруженная интервенция США во Вьетнаме все чаще и чаще становится предметом размышлений тех, кто участвовал в этой войне,— молодых американцев, обманутых лжепатриотическими лозунгами. Число выпускаемых книг-автобиографий, книг-документов о вьетнамской войне растет с каждым годом. Так, в 1976 году вниманию американской общественности, особенно молодежи, привлекла книга Рона Ковика «Рожденный 4 июля» (опубликована в «ИЛ» № 1—2, 1978).

Заметным событием прошлого литературного года стала книга и Филипа Капуто «Что говорят о войне», вышедшая в крупном нью-йоркском издательстве «Холт, Райнхарт энд Уинстон». Известный американский прозаик Уильям Стайрон, поместивший в литературно-критическом обозрении «Нью-Йорк ревью оф букс» статью об этой книге, дает ей высокую оценку. Документальный роман «Что говорят о войне» повествует о том, как простой американский парень Филип Капуто стал солдатом: в 1960 году он вступил в ряды морской пехоты. Об этом периоде своей жизни Капуто вспоминает с ужасом. По словам Стайрона, это были годы «кошмара военных занятий», во время которых Капуто «постигал основы науки убивать под истошные вопли: «Убийство — это здорово!» В 1965 году Капуто отправился во Вьетнам. «Шестнадцать месяцев длилась его вьетнамская одиссея,— пишет Стайрон.— И именно эти месяцы, когда Капуто, как и тысячи его соотечественников, оказался ввергнутым в болото вьетнамской авантюры, стали переломным моментом в его жизни». Из «возлюбившего войну» он превратился в «ненавидящего войну». После возвращения на роди-

ну Капуто в течение нескольких лет принимал самое активное участие в антивоенном движении.

«Эта книга,— подчеркивает в заключение Стайрон,— проникнута ненавистью к войне, горечью осознания своей моральной ответственности за зло, к которому был причастен и он, Филип Капуто».

Фильм Бертрана Тавернье «Избалованные дети» французская пресса называет одним из лучших в последние годы. «Он богат идеями, чувствами, глубоко правдивыми»,— пишет критик газеты «Юманите» Франсуа Морон. В нем рассказывается о борьбе квартиросъемщиков с домовладельцами, с повышением цен на жилье. Главная идея фильма состоит в том, что солидарность в борьбе за свои права помогает людям разных профессий преодолеть свою разобщенность и обрести богатство человеческого общения.
На снимке: исполнители главных ролей Кристина Паскаль и Мишель Пикколи.

(Еженедельник «Юманите диманш»)

ФРАНЦИЯ

«ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК» ЖОРЖА САДУЛЯ

Эта книга знаменитого критика и историка кино, опубликованная впервые издательством «Эдитер франсе реюни» спустя десять лет после его смерти, вызвала всеобщий интерес.

Изо дня в день, начиная с сентября 1939 года по июль 1940-го, в течение всей «странной войны», закончившейся вступлением гитлеровских войск во Францию, вел свой дневник тридцатилетний сапер Жорж Садуль. «Я старался быть объективным свидетелем, аппаратом, регистрирующим все услышанное и увиденное», — это слова из авторского предисловия, предваряющего дневник. Меткий наблюдатель, одаренный портретист и художник, в своих лаконичных записях Садуль сумел отразить весь ход «странной войны», царившую во Франции атмосферу, настроения армии и мирных жителей, поначалу преступное благодушие, а затем наивку и смятение, вызванные ложной информацией и беспорядочно следовавшими друг за другом приказами. «Сегодня нам говорят одно. Завтра — совершенно противоположное. Еще позавчера специалисты вроде меня должны были уезжать. Вчера уже все переменилось: нужно оставаться, чтобы показать немцам, что мы их не боимся. Но ведь если мы останемся, они заставят нас работать на себя, а в этого не хочу...»

Помимо этих горьких записей в дневнике нашли место и светлые страницы, посвященные коротким, случайно выпадавшим в эти дни встречам писателя-коммуниста с его друзьями: Полем Элюаром, Луи Арагоном, Жаком Превером.

Несмотря на трудности походной жизни, Садуль непрестанно работал: скрупулезно фиксировал происходящее, перечитывал любимых классиков и главка за главкой писал свою «Историю кино».

«Военный дневник? Да, и одновременно ценный документ о плохо изученном, хотя и недавнем периоде,— пишет критик журнала «Фраис нувель». — И прекрасный, предстающий перед нами во всей своей скромности автопортрет самого рассказчика».

О РОМЕНЕ РОЛЛАНЕ И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Вышел очередной выпуск «Бюллетеня общества друзей Ромена Роллана» — этот бюллетень выходит ежегодно вот уже в течение тридцати лет. Его бессменный автор и составитель — вдова писателя, Мария Ромен Роллан. Каждый выпуск содержит документы из архива Ромена Роллана и богатую информацию о новых изданиях, исследованиях, статьях, выходящих в разных странах. Здесь публикуются отрывки из писем, которые почитатели творчества Роллана пишут его вдове. Большое место в каждом выпуске занимает рубрика «СССР» — исследователи творчества Ромена Роллана есть и в Орджоникидзе, и в Тбилиси, и в Черновцах, и в Томске.

В рубрике «Франция» заслуживает внимания письмо, полученное Марией Ромен Роллан от писателя Роже Шатоиё (автора романов «Искры», «Через самую высокую дверь», см. «ИЛ» № 11, 1967 и № 11, 12, 1977). «Как нам был бы нужен сегодня Ромен Роллан, чтобы снова звучал его замечательный голос. ...Я не знаю, сможет ли Европа сохранить свое былое значение, останемся ли мы «на высоте» — в сопоставлении с теми гигантскими трудами, которые предпринимает и выполняет в настоящее время советская молодежь... Вы знаете, что прошлой осенью я провел две недели в этой стране и безумно влюбился в нее, я был в Москве, Ленинграде, я прогуливался там множество раз, в любых местах и в

Фильм режиссера Патрисио Гусмана «Битва за Чили», получивший восемнадцать международных премий, как отмечает рецензент испанской газеты «Паис», был восторженно принят во многих странах Латинской Америки и Европы. Сейчас Патрисио Гусман снимает вторую часть картины «Витва за Чили», которая будет называться «Государственный переворот».

«Современное кино,— отметил режиссер,— должно быть воинствующим, идеологически ясным, новаторским по форме. Многие латиноамериканские кинематографисты вынуждены работать нелегально или в изгнании, многие из них подвергались преследованиям, были брошены в тюрьмы. Но кино все равно борется и завоевывает новые позиции».

На снимках: Патрисио Гусман. Кадр из нового фильма «Государственный переворот».

(Газета «Паис»)

любые часы и, конечно же, провел день в Ясной Поляне — там погружаешься не в мир прошлого, а в неисчерпаемую жизнь, подобную реке... Что до имени Ромена Роллана, то оно вошло в коллективное сознание народов подобно имени Людвига ван Бетховена, или Менделеева, или Николая Лобачевского: это человек, который открыл новые двери... Я храню верность мысли Ромена Роллана, которая соткана из честности, справедливости, пламенной любви к свободе и справедливости для всех, из ненависти к войне и глубокого, искреннего и мудрого уважения ко всему человечеству — понимая, что движение по этому пути не может быть простым, беспрепятственным и легким».

ЧИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

«МОЛОДАЯ ЧИЛИЙСКАЯ ПРОЗА ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА»

Так назван вышедший в США сборник рассказов и повестей чилийских писателей, вынужденных сейчас жить в эмиграции. Здесь представлены десять имен писателей Чили: Поли Делано, Луис Домингес, Ариэль Дорфман, Фернандо Херес, Константа Лира, Эрнесто Мальбран, Карлос Осса, Антонио Скармета, Леандро Урбина и Эрнан Вальдес.

Все авторы своеобразной антологии, подготовленной Антонио Скарметой, молоды: их годы рождения — между 1934-м и 1948-м. Рассказы и повести, вошедшие в нее, различны по художественному уровню, но объединены общей темой: они воссоздают картину того, что произошло и происходит сейчас в Чили. Произведения, составившие данный сборник, по мнению критика мадридской газеты «Инсула», представляют несомненный интерес и для литературоведа, и для историка. Книге предпослан эпиграф — анонимное стихотворение, появившееся в трагический момент чилийской истории. Его заглавием — «Убивая народ, они убивают поэта» — выражено отношение писателей к террористическому режиму, установившемуся на их родной земле. Особое значение приобретает предисловие к сборнику «Культура и каструли», написанное Антонио Скарметой, представляющее собой своеобразную аналитическую панораму чилийской литературы до и после фашистского переворота. Антонио Скармета останавливает внимание читателя на эволюции малых жанров. «Именно эти жанры,— говорит он,—ярко расцвели при правительстве Народного единства: с рассказа начинает свое возрождение и чилийская литература в изгнании».

ТЕАТР — ОРУЖИЕ БОРЬБЫ

На латиноамериканском континенте ширится движение солидарности с чилийским народом. В него все активнее вливаются и прогрессивные деятели театра. С большим успехом в мексиканской столице прошла премьера драматической кантаты выдающегося чилийского поэта Пабло Неруды «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» («ИЛ» № 2, 1968). Спектакль этот поставлен режиссером Мерино Ласиллотти на сцене театра «Феликс Асуэла» при активном содействии и фи-

нансовой помощи Национального совета по культуре и отдыху трудящихся Мексики. Хотя, как известно, действие пьесы и разворачивается во второй половине прошлого века в американском штате Калифорния, образ главного героя, восставшего против несправедливости и эксплуатации, воспринимается как символ борьбы с черной ночью фашистского террора в Чили.

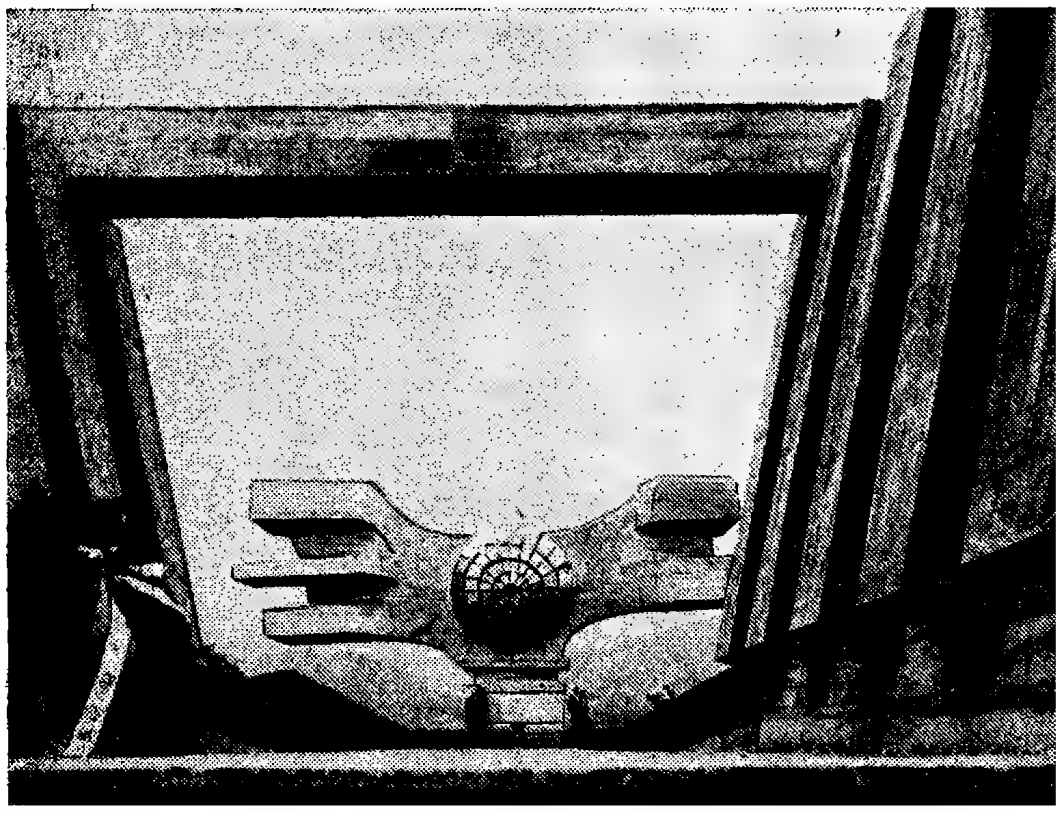
Ярким актом солидарности с борьбой чилийских патриотов явилась коллективная постановка «Чили, ты не одинока», осуществленная венесуэльским театром Андского университета в Мериде, руководимым Ильдемаро Мухика Оропесой. В репертуар театра недавно включены две пьесы чилийских авторов: «Детская игра» Хайме Сильвы и «Марихуана» Сергио Аррау.

Долгими овациями и лозунгами братской солидарности встретили жители кубинской столицы коллективную постановку «Чили: стихи и песни подполья», идущую на сцене театра «Амадео Рольдан». Спектакль этот был создан по инициативе Чилийского комитета солидарности с антифашистским сопротивлением. В его основу легли песни, стихи и письма, написанные в подполье борцами сопротивления и узниками концентрационных лагерей Чили. В спектакле, поставленном известной чилийской актрисой Шеидо Роман, заняты политические эмигранты, составившие любительскую театральную труппу, куда входят рабочие, студенты, домашние хозяйки.

ЮГОСЛАВИЯ

Душан Джамоня, один из лучших современных югославских скульпторов, особенно известен своими мемориальными комплексами, такими, как памятник Революции, воздвигнутый в Хорватии, и памятник Павшим на горе Козара. Сейчас скульптор работает над памятником Победы в честь павших во время второй мировой войны.
На снимке: памятник Революции.

(Журнал «Югославия»



Авторы этого номера

КОРНЕЛЬ ФИЛИПОВИЧ — KORNEL FILIPOWICZ (род. в 1913 г.).

Польский писатель. Советским читателям К. Филипович знаком по повести «Сад господина Ничке» («Иностранная литература» № 11, 1966) в сборнику «Микроромэны» (издательство «Художественная литература», 1972).

В последние годы писатель выпустил сборники: «Белая птица и другие рассказы» («Biały ptak i inne opowiadania», 1973), «Когда приходит тот, кто сильнее» («Gdy przychodzi silniejszy», 1974), «Свет и звук, или О несовершенстве мира» («Światło i dźwięk, czyli o niedoskonałości świata», 1975).

К. Филипович — лауреат Государственной премии ПНР, премий министра культуры и искусства (1965 и 1975).

Рассказы, предлагаемые вниманию читателей, взяты из его нового сборника «Кот в мокрой траве» («Kot w mokrej trawie». Kraków, Wydawnictwo literackie, 1977).

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА.

Советский переводчик с польского. Переводила произведения А. Рудницкого, С. Зелинского, Я. Ю. Щепанского, В. Маха, Я. Ивашкевича, К. Филиповича, М. Домбровской, Т. Новака, Ю. Кавалеца, А. Брауна и др.

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (род. в 1894 г.).

Известный польский поэт, прозаик, драматург и общественный деятель, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», Государственных премий ПНР, председатель Союза польских писателей, главный редактор журнала «Твурчость».

Отзыв Я. Ивашкевича о публикуемых рассказах К. Филиповича был напечатаи в газете «Жиче Варшавы» (октябрь 1977 г.).

АНТАЛ ГИДАШ — ANTAL HIDAS (род. в 1899 г.).

Венгерский поэт, романист, эссеист, переводчик. Лауреат премии имени Кошута. Первая книжка переводов стихов А. Гидаша на русский язык «Венгрия ликует» с предисловием А. В. Луначарского вышла в 1930 г. С тех пор его стихи выходили у иас отдельными сборниками («Сад моей тетушки», «Улица жасмина», «Ветви гудели»), печатались в журналах и антологиях. На русском изданы также его романы, составляющие трилогию: «Господин Фицек», «Мартон и его друзья», «Другая музыка нужна»,

книга «Шандор Петёфи», «Избранные произведения» в двух томах.

А. Гидашем переведены на венгерский язык многие произведения русской и украинской литературы.

■

ЭЛЬВИО РОМЕРО — ELVIO ROMERO (род. в 1926 г.).

Парагвайский поэт. Автор многих книг стихов, в том числе «Пробуждается пламя» («Despiertan las fogatas», 1953), «Лицом к сердцу» («De cara al corazón», 1955), «Солнце под корнями» («El sol bajo las raices», 1956), «Раненая молния» («Un relámpago herido», 1967), «Чужбина и сумерки» («Destierro y atardecer», 1975), «Угасший огонь» («El viejo fuego», 1977).

На русском языке выходили сборники избранных стихотворений Э. Ромеро: «Стихи» (М., 1961), «Земной зной» (М., 1966), «С этой суровой гитарой» (М., 1968) и книга «Мигель Эрнандес. Судьба и поэзия» (М., 1962). «Иностранная литература» неоднократно печатала подборки его стихов.

Статья «Розы в броне Рауля Гонсалеса Туньона» получена от автора в рукописи.

■

РАДКО ПЫТЛИК — RADKO PYTLIK (род. в 1928 г.).

Чешский литературовед и критик, кандидат филологических наук, занимается историей чешской литературы XX века, проблемами стилистики и теорией комического. Автор книг о Ярославе Гашеке: очерка творчества «Ярослав Гашек» («Jaroslav Hašek», 1962), монографии «Бродячий гусенок» («Toulave house», 1971) и ряда статей. Р. Пытлик — председатель чешского Общества друзей Ярослава Гашека.

Статья «У истоков социалистического реализма в литературе Чехословакии» получена от автора в рукописи.

■

ГИНЗБУРГ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1921 г.).

Советский поэт-переводчик, публицист. Лауреат премии имени Иоганнеса Бехера. Автор книг переводов «Немецкие народные баллады» (1959), «Слово скорби и утешения» (1963), «Лирика вагантов» (1970), «Немецкая старина» (1971), «Странницы немецкой поэзии» (1972), «Колесо фортуны» (1976), «Немецкие поэты XVII века» (1976), «Рейнеке-лис» (1978). Перу Л. Гинзбурга принадлежат также документально-художественные книги «Бездна» (1967), «Потусторонние встречи» (1969) и другие.

■

ТРИФОНОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (род. в 1925 г.).

Советский писатель. Автор романов «Студенты» (Государственная премия 1951 г.), «Утоление жажды» (1963), «Нетерпение» (1973), «Старик» (1978), повестей «Обмен» (1969), «Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971), «Другая жизнь» (1975), «Дом на набережной» (1976), сборников рассказов и очерков.

■

ДЖЕЙМС ПАТРИК ДОНЛИВИ — JAMES PATRICK DONLEAVY (род. в 1926 г.).

Американский писатель-сатирик. Живет в Ирландии. Автор романов «Человек с огоньком» («The Ginger Man», 1955), «Исключительный человек» («A Singular Man», 1963), «Нью-йоркская сказка» («A Fairy Tale of New York», 1973) и др.

Мы предлагаем вниманию читателя главы из его книги «Кодекс без изъятий и сокращений» («The Unexpurgated Code», New York, Penguin Books, 1975).

■

АКИЛЛЕ КАМПАНИЛЕ — ACHILLE CAMPANILE (1900—1977).

Итальянский писатель-юморист, драматург. Автор романов, сборников рассказов

и многих пьес. В последние годы вышли сборники «Изобретатель лошади и пятнадцать прочих комедий» («L'inventore del cavallo e altre quindici commedie», 1971), «Спаржа и бессмертие души» («Gli asparagi e l'immortalita dell anima», 1974).

Публикуемые рассказы взяты из книги А. Кампаниле «Пособие по практике разговорной речи» («Manuale di conversazione», 1973), удостоенной премии Виареджо.

■

ИОАКИМ БЭР — JOACHIM T. BAER.

Американский критик, преподаватель славянских языков и литератур университета штата Северная Каролина.

Статья «О. Генри из Гринсборо» получена от автора в рукописи.

■

ТАДЕУШ КУЛИСЕВИЧ — TADEUSZ KULISIEWICZ (род. в 1899 г.).

Польский художник-график. Лауреат Государственных премий ПНР, профессор Академии художеств в Варшаве.

Репродуцируемые рисунки Т. Кулисевича взяты из монографии Ирены Якимович «Тадеуш Кулисевич» (Warszawa, Widawnictwo Arkady, 1976) и из еженедельника «Политика» («Polityka», февраль 1978).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

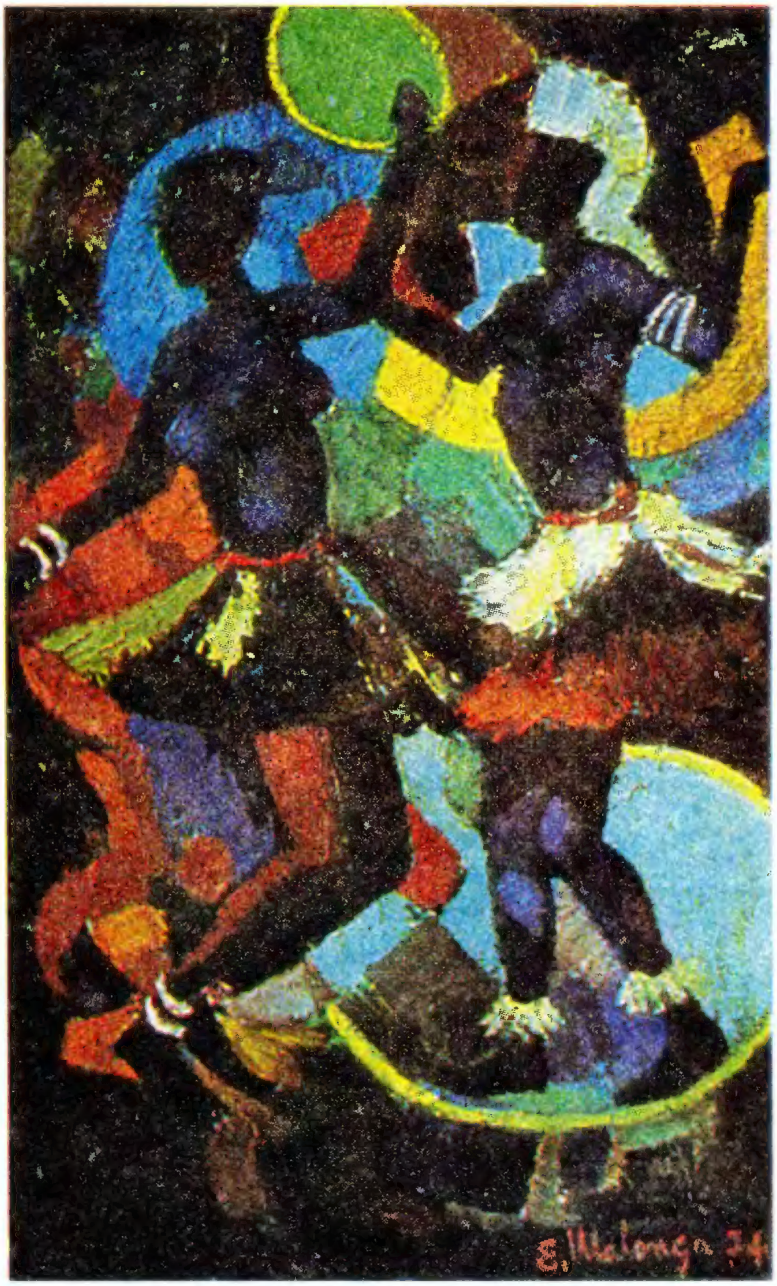
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/IV 1978 г. А 11884. Подписано в печать 6/V 1978 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,80.

Тираж 623.000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.) Зак. 1070.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394